

ISSN 0130-7673

Н О В Ы Й  
М И Р

N M I V R Y

12

1999

12

МИР

НОВЫЙ

1999

**В СВЯЗИ С 75-ЛЕТИЕМ ЖУРНАЛА  
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД  
И РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»**

**ПРИСУДИЛИ ПРЕМИИ СЛЕДУЮЩИМ АВТОРАМ:**

**СЕРГЕЮ БОЧАРОВУ —**

**за статью «Заклинатель и властелин много-  
образных стихий» (1999, № 6);**

**МИХАИЛУ БУТОВУ —**

**за роман «Свобода» (1999, № 1, 2);**

**ВЛАДИМИРУ ГЛОЦЕРУ —**

**за книгу «Марина Дурново. Мой муж Даниил  
Хармс» (1999, № 10);**

**БОРИСУ ИОФФЕ —**

**за статью «Особо секретное задание. Из исто-  
рии атомного проекта в СССР» (1999, № 5, 6);**

**ВЛАДИМИРУ КОРНИЛОВУ —**

**за цикл стихотворений «Круговорот» (1999,  
№ 10);**

**А ТАКЖЕ СПЕЦИАЛЬНУЮ ПРЕМИЮ**

**СЕРГЕЮ АВЕРИНЦЕВУ —**

**за публикации последних лет: «Моя носталь-  
гия» (1996, № 1); «Из Книги псалмов Давидо-  
вых» (1998, № 1); «Два слова о том, до чего  
же трудно переводить библейскую поэзию»  
(1998, № 1); «Так почему же все-таки Ман-  
дельштам?» (1998, № 6); «Гёте и Пушкин»  
(1999, № 6).**

## **АЛЕКСАНДР ЛЕБЕДЕВ,**

первый заместитель руководителя движения «Наш дом — Россия»

## **НИКИТА МИХАЛКОВ**

## **ВЛАДИМИР РЫЖКОВ,**

лидер фракции «Наш дом — Россия» в Государственной Думе,  
первый заместитель руководителя движения

# **ПОЧЕМУ МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ «НОВЫЙ МИР»**

Почему не столь велика в отечественном предпринимательстве, на уровне государства или в зарубежных филантропических организациях поддержка культурных институций, подобных журналу «Новый мир», — авторитетных, не разменивавшихся на скандально-поверхностную публицистику, давших заметные ценности нынешнему веку? Почему недостаточно поддерживаются учреждения отечественной культуры, которые являются опорами свободы не только творчества, не одного лишь слова, но мысли и мировоззрения, постоянным пристанищем интеллектуальной и моральной ответственности? Не потому ли, что «свободомыслие» у нас часто выступает в ополовиненном виде? Либо — мысль, чуждая или даже враждебная идеям свободы, либо — бессмысленная, неосмысленная свобода: с крещенской водой выплескивается ребенок, ванна опрокидывается вместе с Архимедом, после реформ остается разворованное и «лежачее» хозяйство. А может быть, дело просто в том, что такие культурные явления, как «Новый мир», не ищут рыночного успеха в стиле «афишек собачьей комедии» (выражение А. С. Пушкина, да простит он нас за именно этот стиль его недавнего всероссийского юбилея). «Новый мир» не изменил своей традиционной голубой обложке, скромному, даже аскетичному полиграфическому оформлению. Мы солидарны с опубликованными в «Новом мире» откликами тех читателей, которые видят достоинство журнала и в этом постоянстве. Мы бы добавили, что дурной вкус проявляется не только в броских глянцево-каникулярных обложках; но и менять целевые идеалы жизни народа в сторону отказа от строгих моральных устоев, от готовности к самопожертвованию, от уважения себя и ближнего не за сундук денег, а за ума палату, в пользу утопически сочных телекартинок типа «Мы сидим, а денюжки идут» — тоже отсутствие вкуса, только оборачивающееся уже голодом и нищетой. У каждого народа, у каждого государства *своя* ментальность, и «Новый мир» все свои плодотворные десятилетия стремился по мере сил понимать и выражать *отечественную* ментальность. Недаром его читает замечательная и скромная

интеллигенция, *подлинная элита России*, к ней обращен журнал. К ней должно обратиться всякое уважающее собственную страну политическое движение.

Итак, почему мы и учрежденный в феврале 1999 года представителями движения «Наш дом — Россия» Благотворительный Резервный Фонд считаем необходимым поддержать журнал «Новый мир», способствовать распространению номеров журнала среди рядовых библиотек и неплатежеспособных подписчиков, выделять средства на вручение традиционных премий «Нового мира» его авторам, сделать все, чтобы 75-летний юбилей журнала стал среди множества сегодняшних презентаций истинным праздником, а не пустопорожним карнавалом, какими слишком богата сейчас наша бедная российская жизнь? Почему мы *делаем* все это? Ответить — и легко, и трудно. Легко, потому что журнал в последние годы сформировал — видимо, не думая о том специально, а просто заботясь о читателе, отыскивая интересных авторов, уважая собственные традиции, — *идейную парадигму*, которой многое созвучно в выработанной нашим движением *новой программе*, да и просто в мировидении нижеподписавшихся. Трудно потому, что в таком прикосновении к большому культурному явлению таится определенная моральная опасность: нельзя «подтаскивать» к себе такие культурные ценности, как «Новый мир», это попахивает саморекламой, а среди разливанного моря самовосхвалений в политрекламных кампаниях хотелось бы сохранить островок устаревающей скромности.

«Новый мир» — это удивительная, чтобы не сказать образцовая, гармония *традиционализма и свободы*. Займитесь медленным чтением журнала — его прозы, поэзии, публицистики, критики, — и вам станет понятно, что такое *либеральный традиционализм*, или *традиционалистский либерализм*. А нам это стало понятным после многих и разноаспектных анализов экономической и политической ретроспективы и перспективы России. Сегодня в России можно сделать много полезного, если в нее, как подсказано Тютчевым, в самом деле верить — в ее духовный потенциал, в ее исторические силы, которые засвидетельствованы веками преодоления исторических катаклизмов с раннего Средневековья до Второй мировой войны.

Наши ценности — **Свобода, Развитие, Традиция**. Дело тут не в простом их перечислении, а в их взаимопроникновении. Интеллектуальная стратегия, выработанная журналом «Новый мир», показывает, что по крайней мере на уровне мысли и слова такое взаимопроникновение возможно. А наша задача — перевести его на уровень *дела*. Мы должны **вернуть идею свободы в России традиционалистское измерение**. А это — измерение моральное, даже религиозное. Свобода в религиозно-моральном измерении есть *ответствен-*

*ность.* Ответственность свободных граждан связана с правовым государством. Внутреннюю же потребность в ответственности формирует религиозная жизнь.

**Развитие.** Многие привыкли понимать развитие по диама-ту: через революционные скачки и проч., в новой терминологи-и — через «шоковую терапию». Мы же полагаем, что в осно-ве любого развития лежит нечто рутинное, даже скучное, без скачков и потрясений. Есть простые реалии, требующие по-вседневной заботы, они-то и гарантируют развитие. Например, человек, цена его жизни, включая цену его труда. Сохранение и поддержка человеческого потенциала государства (через си-стему охраны гражданских прав, систему образования, через здравоохранение и систему социальной защиты) — это гаран-тия развития страны.

Особо следует выделить защиту понятий собственности, деловой этики, *своего дела*. Что заповедано в Библии? Не свя-тость ли собственности? «Не укради» ли? Неужели не ясно, что всякое соблазнительное надувательство вроде «МММ» как раз идет в русле забвения библейских заповедей. Но не будем ждать от тех, от кого нечего ждать, будем трудиться сами. В России традиционно недолюбливали такие деньги, которые не делают ничего, кроме денег. Вспомним, как гоголевский Чи-чиков строит свой капитализм на «мертвых душах», а в «Масте-ре и Маргарите» Булгакова разбрасываемые в варьете денеж-ные знаки превращаются в нарзанные этикетки. Русские пред-ставления о собственности отличало тяготение к ее долговеч-ным воплощениям, с которыми тесно сращен труд, — к земле, фабричному производству... Но когда русские христиане ока-зывались, как старообрядцы, в условиях государственных гоне-ний, собственность раскрывала широту своих форм, поскольку помогала им отстаивать свои гражданские права. Излишне на-поминать, что ведущие русские миллионщики были старообряд-цами и что именно старообрядческим капиталом обязан су-ществованием, например, Художественный театр.

Нынешняя интеграция России в мировое хозяйство и труд-ное экономическое положение внутри страны требуют объеди-нения обеих моделей отношения к собственности. На уровне политики это означает, во-первых, выработку и принятие четко-го законодательства по охране собственности, а во-вторых, проработку специальных блоков законов, защищающих раз-личные формы собственности на землю, участие работников предприятий в праве владения ими, а также и менее традици-онные для России виды собственности и деловой активности, например, связанные с банковским и страховым делом.

**Традиция.** Модернизация России возможна только на пло-дотворной почве традиции. Все исторические примеры «модер-низации с расчисткой от традиции» показывают, что традиция

возвращалась в домодернизационном и карикатурном виде. Чего стоят петровский культ империи на месте церковного культа или сталинский культ советско-партийного государства на месте культа империи... Вернемся к здравому смыслу. Почва традиции плодотворна, об этом свидетельствуют новаторские деяния крупнейших художников, назовем только несколько имен: Александр Солженицын, Георгий Свиридов, Виктор Астафьев, Фазиль Искандер... А что возможно в сфере искусства, возможно и в практической жизни (само искусство это многожды доказывало). Так вот, наш путь — путь *модернизации России на базе традиций*. Это означает прежде всего осторожность и сугубую внимательность в этнологических подходах. Россия — полиэтническая страна. Что хорошо для ненца, не обязательно замечательно для карачаевца, что прекрасно для жителя Курской губернии, совсем не настолько же хорошо для населения Красноярского края. Мы собираемся использовать возможности Благотворительного Резервного Фонда (в планах которого — конкурс исследований по этноантропологическим критериям развития), чтобы быть по возможности адекватными условиям нашей великой страны.

Тут и к журналу «Новый мир» можно обратиться некоторые пожелания-вопросы: отчего в последнее время на страницах журнала потускнела «региональная» публицистика? Для того, чтобы не оказаться народом лишь в собственном воображении, чтобы быть великим **невыдуманным** народом, совершенно необходимы документальные, очерковые свидетельства с мест — свидетельства непредвзятые, точные, образно-емкие. Общество должно знать и понимать, что происходит в повседневной жизни огромной страны, во всех ее уголках, во всех областях. И политики, и избиратели должны слышать, что говорит, допустим, учительница сельской школы в N-ской области и на что надеются ее односельчане... Мы хотим *знать* свою страну, и именно этим, возможно, мы отличаемся от носителей готовых концепций. Традиция — великая сила, но никто не имеет исключительного права на ее истолкование, только коллективный голос народа — голос самой традиции — может звучать правдиво. *«Наш дом — Россия» хотел бы услышать этот голос*. Иначе мы никакой не «наш», не «дом» и не «Россия».

В журнале «Новый мир» десятилетиями реализовывались принципы, образующие уникальный идеологический комплекс: *Свобода, Демократия, Отказ от утопий, Компромисс, Ответственность, Деловая свобода, Открытая страна, Социальная солидарность, Историческая память, деспособное Государство, Духовное наследие, Патриотизм*. Только в конце 90-х мы внесли в нашу политическую программу то, что давно продумывали и доносили до своих читателей интеллектуалы — авторы и сотрудники журнала «Новый мир». Но совпадение — ве-

ликое дело; независимо друг от друга недавно обновившееся политическое движение и авторитетный журнал, десятилетиями влиявший на мировидение публики, пришли к сходным ориентирам, и дай Бог этим ориентирам не затеряться в бурном и зачастую мутном море российской политики.

Главная цель НДР — сделать Россию мощной, процветающей, демократической страной, занимающей достойное место в ряду экономически и социально развитых и богатых государств планеты. Для этого нужны *социальная солидарность* и *интеллектуальный консенсус* всего общества. Немалый вклад в обретение такого консенсуса может внести независимый в лучшем смысле слова журнал «Новый мир». А вопросов множество. Обстановка в мире не способствует общественному и частному благодушию: войны, терроризм, эпидемии старых и новых болезней, природные и техногенные катастрофы, непрерывные политические скандалы, нередко инициируемые с явными геэкономическими целями... Готовы ли мы к более суровым условиям жизни? Сможет ли Россия стать единым целым, способным дать отпор любым вызовам времени? Что — в этих условиях — общество вправе потребовать от действующей власти? Жизнь в России — что делает ее осмысленной?

Мы хотим *правды*, потому что хотим процветания для России.

#### **АЛЕКСАНДР ЛЕБЕДЕВ:**

«Я хочу, чтобы в России не было безутешных, слабых, не получивших помощи. И чтобы были системные ресурсы для улучшения жизни каждого».

#### **НИКИТА МИХАЛКОВ:**

«Я хочу, чтобы современное российское искусство, оставаясь по духу и смыслу российским, стало мировой ценностью. Это касается и России в целом».

#### **ВЛАДИМИР РЫЖКОВ:**

«Я хочу, чтобы Россия перестала быть „этой страной“ и стала нашей родной страной — страной для всех и каждого. Хочу, чтобы Россия была правильна и права, чтобы в России было правильно жить и чтобы жить в России можно было в соответствии с правом, законом».

#### **БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД:**

«Мы хотим помочь тем точкам боли, которые могут стать точками роста».

# NEW!

Частные лица и организации, находящиеся в любой точке земного шара за пределами Российской Федерации и стран СНГ, могут подписаться на журнал «НОВЫЙ МИР» без посредников, круглый год, с любого месяца, на любой срок и на любое количество экземпляров.

**СПОСОБ ЗАКАЗА:** по факсу, по электронной почте или по Заявке (см. ниже).

**СПОСОБ ОПЛАТЫ:** 100 % предоплаты на счет АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир”» № 40702840938040101095 в Московском банке Сбербанка г. Москвы, Российская Федерация, Тверское отделение 7982, корр. счет 30301840638000603804.

Tverskoe OSB 7982 MB SBERBANK PF, Moscow, Russia, ACC. 30301840638000603804, ACC. Beneficiary: 40702840938040101095.

Заявка принимается к исполнению с момента поступления денег на счет редакции. О возможности купить номера журнала за прошлые годы можно узнать в редакции.

**СТОИМОСТЬ** одного экземпляра в 1999 и 2000 годах: \$ 14,

**СТОИМОСТЬ** годового комплекта: \$ 168.

АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир”» обязуется: отправлять заказчикам журналы в экспортном исполнении (белой обложке) по почте бандеролью в течение 5 дней с момента выхода тиража за счет редакции, обменивать бракованные экземпляры или повторно высылать не полученные заказчиком экземпляры за счет редакции, немедленно информировать заказчиков о всех затрагивающих их изменениях (объем журнала, периодичность, цена и проч.).

С момента передачи оплаченного тиража журнала на Московский почтамт обязательства продавца считаются выполненными и право собственности переходит к подписчику.

Адрес редакции: Россия, 193806, ГСП, Москва, К-6,

Малый Путинковский переулок, 1/2, Редакция журнала «Новый мир».

Телефон/факс: (095) 200-08-29, (095) 209-62-13.

E-mail: nmir@aha.ru



## Заявка на подписку на журнал «НОВЫЙ МИР»

*(вырезать или ксерокопировать Заявку, заполнить и отправить в редакцию по почте или по факсу либо отправить все требуемые в Заявке сведения по факсу или по электронной почте)*

Я (фамилия, имя или название организации) \_\_\_\_\_

прошу подписать меня на ежемесячный журнал «Новый мир»  
с \_\_\_\_\_ (месяц, год) на \_\_\_\_\_ месяцев.

Количество экземпляров \_\_\_\_\_

Стоимость заказа \_\_\_\_\_ (число месяцев x число экземпляров x \$ 14).

Дата оплаты (заявка заполняется и отправляется в редакцию после оплаты) \_\_\_\_\_

Контактный телефон (факс, e-mail) \_\_\_\_\_

Адрес для отправки журнала (почтовый индекс, страна, город, улица, дом, имя и фамилия получателя) \_\_\_\_\_

Подпись заказчика и дата заполнения Заявки \_\_\_\_\_





## УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписной индекс «Нового мира» — 70636 в зеленом Объединенном каталоге «Подписка — 2000» (том 1, стр. 144, вверху). Спрашивайте этот каталог во всех отделениях связи. Каталожная стоимость подписки на первое полугодие 2000 года — 210 рублей плюс стоимость доставки.

Те из вас, кто имеет возможность приходить за журналом в редакцию «Нового мира», могут оформить *льготную* подписку на первую половину 2000 года по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 9 до 17 часов. Стоимость льготной подписки — 198 рублей. Для членов творческих союзов, преподавателей высших и средних учебных заведений, студентов вузов, постоянных подписчиков, пенсионеров и инвалидов предусмотрены дополнительные льготы.

В редакции можно приобрести отдельные номера «Нового мира». Журналы выдаются подписчикам в понедельник, вторник, среду, четверг с 9 до 18 часов, в последнюю субботу месяца — с 10 до 13 часов. (Справки по тел. 200-08-29.)

Спрашивайте наш журнал в московских книжных магазинах «Ad marginem» (1-й Новокузнецкий переулок, 5/7), «Библио-глобус» (Мясницкая, 6), «Гилея» (Большая Садовая, 4), «Графоман» (ул. Бахрушина, 28), «Летний сад» (Большая Никитская, 46), «Мир печати» (2-я Тверская-Ямская, 54), «Эйдос» (Чистый переулок, 6) и в киосках «Мосинформ».

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются:

германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218; Электронная почта: postmaster@kubon-sagner.de Адрес в Сети: <http://www.kubon-sagner.de/ksinfo>

американская фирма «Ист Вью Пабליкейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел. (095) 318-08-81, факс (095) 318-09-37).

*Просим зарубежных подписчиков и покупателей «Нового мира»*

*обращать внимание на обложку журнала.*

*За пределами России и стран СНГ наш журнал распространяется только в специальной экспортной обложке — белой, с надписью «Novy Mir»; торговля журналами в голубой обложке не является законной.*

# НОВОЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 12(896)

Декабрь, 1999 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

ОЛЬГА СЛАВНИКОВА — Один в зеркале, роман	11
ТАТЬЯНА БЕК — Меж звездой и булыжником Пресни, стихи	111
СЕРГЕЙ АЛИХАНОВ — Мы не нужны тебе, моя страна, стихи	115
ДМИТРИЙ ШЕВАРОВ — Расскажи мне что-нибудь о пароходах, рассказ	119

### ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. ПОЛИТИКА

ЮРИЙ КАГРАМАНОВ — Америка далекая и близкая	126
ВЛАДИМИР ОШЕРОВ — Тнейджеры у власти	153

### ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

ДЖЕЙМС МЕЙВОР — Граф Лев Николаевич Толстой. 1898 — 1910. Вступительная статья, перевод с английского и примечания В. Александрова	163
--	-----

### ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

А. СОЛЖЕНИЦЫН — Иосиф Бродский — избранные стихи. Из «Лите- ратурной коллекции»	180
--	-----

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

НИКИТА ЕЛИСЕЕВ — Мыслить лучше всего в тупике. Кое-что об экзистенциальных мотивах в нашей литературе	194
--	-----

#### *По ходу текста*

ИРИНА РОДНЯНСКАЯ — Свято место правее Чубайса?	217
--	-----

### РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Глеб Шульпяков. Пропорция Вайля	224
Н. В. Перцов. Непричесанные мысли о «Непричесанной биографии»	226
С. Ларин. Судьба «Русского острова»	231

(См. на обороте)

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

Татьяна Давыдова. — П. Е. Спиваковский. Феномен А. И. Солженицына. Новый взгляд. (К 80-летию со дня рождения)	235
Мстислав Князев. — М. Бубер. Проблема человека	236

### НЕКРОЛОГ

ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ ЛИХАЧЕВ (Л. Д. Опульская, Сергей Аверинцев)	239
---	-----

### БИБЛИОГРАФИЯ

Книжная полка (составитель Сергей Костырко)	242
Периодика (составитель Андрей Василевский)	245

### ВЫБОРЫ-99

АЛЕКСАНДР ЯКОБСОН — Разговор о демократии: от Протагора до 19 декабря	255
СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ЗА 1999 ГОД	264
SUMMARY	272

---

**ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА  
ВАЛЕРИЯ ГЕОРГИЕВИЧА ПОПОВА  
С 60-ЛЕТИЕМ!**

Из общего тиража каждого номера институт «Открытое общество» выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 3500 экземпляров журнала «Новый мир».

Из общего тиража каждого номера Благотворительный Резервный Фонд выкупает с благотворительными целями 1500 экземпляров журнала «Новый мир» для их последующего бесплатного распространения среди неимущих читателей, а также для провинциальных библиотек.

---

---

ОЛЬГА СЛАВНИКОВА

\*

## ОДИН В ЗЕРКАЛЕ

*Роман*

Итак — подбираемся к концу.

*Владимир Набоков, «Приглашение на казнь».*

### I

**О**чень хорошо одетые, они поднимались по грязной лестнице, изгаженной кошками, что лежали тут же на окнах и батареях, будто старые шапки в полупустой комиссионке, — и там, куда не достигал скошенный пролетами и перилами свет уцелевших ламп, кошачьи глаза отсвечивали, словно полированные металлические кнопки. Вика шла впереди, ее небольшие крепкие икры, окрашенные, точно малярной кистью, серой белизною перекрученных чулок, поочередно напрягались, спадала пятка правой розовой туфли, — и ее законный муж Антонов, шагая следом через две ступени в расстегнутом, ка-савшемся коленей пиджаке, махал руками, точно неумелый лыжник.

Дверь, которую им предстояло открыть, была на шестом этаже и железной коробкой выпирала из стены. Лампа здесь не горела давно, грязно-белые осколки колпака лежали в железной сетке, будто в мусорной корзине. Недовольная Вика отошла в сторонку и прикурила сигарету от шелкового длинного языка зажигалки, осветившего на минуту матовую, сильно втянутую щеку и сахарную вату ее обесцвеченных волос. Антонов, нащаривая в маленькой новомодной сумке ключи, более похожие на слесарный инструмент, чувствовал запах лестницы, одновременно острый и пустой, намертво впитавшийся в голые стены, набравший от них застарелой горечи штукатурки и кирпича, — запах совершенно нежилой, неспособный уже принять никаких посторонних примесей и бывший как бы выражением безнадежности возвращения всегда в одно и то же место, в именуемый «домом» двухкомнатный либо трехкомнатный тупик. Терпкие нити табачного дыма, что вились в полутьме, словно продолжая колебания породившего их огонька, не могли заполнить пустоты, стоявшей в шахте лестницы косыми срезами света и мрака; эта лестница всегда напоминала Антонову заброшенный цех.

Налегая телом на вошедший по самый набалдашник рубчатый стержень, Антонов отворил железную махину, ударившую о соседский грубо сваренный сейф; внутренняя дверь, с незакрашенным прямоугольником от сорванного почтового ящика, требовала кропотливой работы мелкими ключиками, похожими на разные пилки. Управившись, Антонов снова вышел на площадку, чтобы пропустить вперед нахмуренную Вику, — эта возня с двойными дверьми всегда создавала у них неловкость и замешательство, будто переход через неисправный турникет. Вика, нагнув крахмальную головку, прошагала мимо Антонова; упрямо держась к нему спиной, она включала электричество и одновременно стаскивала короткий розовый жакетик, который, выворачива-

---

Славникова Ольга Александровна родилась в Свердловске. Закончила факультет журналистики Уральского государственного университета. Прозаик и критик. Печаталась в журналах «Новый мир», «Знамя», «Урал» и др. Живет в Екатеринбурге.

ясь, показывал атласную подкладку и кучу этикеток — их Антонову всегда хотелось состричь. Квартира, неистребимо похожая на тот, где покупалась мебель, самодовольный магазин, стояла дневная, раскрытая: ночь в незашторенном окне темнела до потолка, свежевылитое яйцо светильника подрагивало там сырым желтком, Викины цветы на подоконнике напоминали китайские иероглифы. Морщась, Антонов потянул портьеру, зацепившуюся за кактус; строго придерживаясь к Вике геометрической спиной своего превосходного пиджака в полоску (не защищавшего, впрочем, от жаркого зуда между лопатками), он прошел в неосвещенную спальню, немного постоял, глядя сквозь собственный темный, манекенный силуэт на улицу, где в соседнем доме пара окон желтела, будто застежки на портфеле, и горели ночными соблазнами коммерческие киоски, числом напоминавшие гаражи. Потом Антонов все проделал аккуратно: задернул, поправил, зажег прикроватную лампочку в шелковом чепце, повесил на плечики костюм с безупречными елочками швов. У него разрывалось сердце, поэтому он постарался по крайней мере не порвать тесноватую и очень тонкую рубашку, зная уже, насколько бессмысленно выражать через что-то внешнее свои настоящие чувства. Переодевшись в домашнее трико, он вернулся в большую комнату: вывернутый жакетик, похожий на освежеванную заячью тушку, валялся на полу, а Вика, полусъехав, сидела на диване и пыталась закинуть ногу на ногу, виляя на каблуке, что странно напоминало попытку взобраться на лошадь. Ее глаза, раскрашенные будто елочные игрушки, совершенно слипались, лиловая помада с серебром, красоты которой Антонов не понимал, была размазана по подбородку; увидав у нее под рукою на тумбочке мутную рюмку и полупустую бутылку коньяку, которая с утра была не распечатана, Антонов понял, что Вика абсолютно пьяна. Собственно, все проходило нормально: они без приключений вернулись с вечеринки и были в собственной своей квартире, где прожили уже полтора счастливых года; то был укрепленный семейный остров среди недавно переименованного города, место, где хранилась их новая одежда и где они иногда натыкались друг на друга, от неожиданности обнимаясь в напрасном усилии заполнить пустоту.

История, которую я собираюсь рассказать, случилась в действительности — с людьми, мало мне знакомыми и не сумевшими выразить собою суть произошедшего. Собственно, так они все и восприняли: как совершенно чужое, но свалившееся почему-то на них. Женщина, названная Викой, была лет примерно на десять старше героини, имела толстый нос-грибок и страшноватые навывкате глаза под нарисованными тоненькими бровками; мужу она изменяла спокойно, со знанием дела, полагая это частью своих коммерческих контактов. Впрочем, никто не мог, как это всегда бывает в реальной жизни, засвидетельствовать с точностью факта измен, происходивших за горизонтом видимого — всей этой суеты с накладными и наличностью в полиэтиленовых мешках, разездов на груженых товаром «чебурашках», куда псевдо-Вика мотилась задом, будто на качели, и потом каким-то ловким поворотом подбирала в кабину полные ноги в тугих коротких сапожках. Помню эти сапожки на стесанных о землю каблуках, морщинистые и остроносые, «производство Италия», но видом совершенно азиатские; помню замерзшую пухлую руку, большой, глупо-радостный перстень с рубином, похожий на конфету в развернутом фантике, на разгрызенный пушкинской белкой золотой орех. Почему-то этот перстень, пускавший солнечных зайцев, когда псевдо-Вика тыкала ногтем в кнопки калькулятора, вызывает теперь саднящую грусть; говорят, накануне того, как с нею случилось несчастье, у нее вильнул наточенный кухонный нож и рассек ей указательный палец вдоль, будто рыбе брюхо. В памяти моей вокруг псевдо-Вики всегда двадцатиградусный холод, всегда зима, похожая на пустую белую ванну с резкой, исходящей паром струей кипятку; все бесплотное и дымно в морозном тумане, перспектива улицы сияет, будто выставка сантехники, псевдо-Вика, похожая в меховом жакете на ежика, бежит

от подвального склада к полуразбитой, еле теплой, хлюпающей дверцами машинешке. Возможно, кипятик — это предчувствие. Возможно также, что товарищ ее по несчастью был ей вовсе не любовник, а просто служащий фирмы; никто ничего не узнает наверняка — реальность имеет свойство ускользать и прятаться в тени своих незначущих мелочей.

Существовал, разумеется, и псевдо-Антонов. Человек как все, кандидат упраздненных ныне наук, тоже пытавшийся продавать не то мануфактуру, не то растительное масло, он запоминался единственно способностью подолгу стоять на ногах позади спокойно сидящих и что-то обсуждающих людей: внешность его при этом терялась совершенно, и дело, по которому он явился, для большинства оставалось неизвестно. По-моему, бизнес его не клеился: пока этот невзрачный человек, всегда дополнявший своей фигурой число присутствующих до круглой цифры, терпеливо дожидался очереди, держа перед собою кремовую папочку с каким-нибудь договором, сделка, о которой он хлопотал, преспокойно совершалась за его спиной. В сущности, про реальных людей можно сказать гораздо меньше, чем про литературных героев: в распоряжении автора имеются только сплетни и личные впечатления, остающиеся так или иначе личным его, автора, делом. Мое впечатление: псевдо-Антонов в помещении сильно отличался от себя же самого под открытым небом, особенно на ветру. На улице псевдо-Антонова можно было даже и вовсе не узнать: верхняя одежда, всегда болтавшаяся кое-как, странно его увеличивала и даже как бы приподнимала над землей, на голове залихватски сидело что-то клетчатое — беретка или кепка, — закрывавшее левое ухо и выставлявшее правое, похожее на большую красную тройку. Встречный псевдо-Антонов несся посередине тротуара, придерживая подбородком шарф. Думаю, если бы он двигался без направляющего протяжения улиц, где-нибудь в лесу, то энергично бегал бы по небольшому кругу, находя свои же окурки среди бело-бумажного, полуобсыпанного курева березовых стволов. Впрочем, и в городе он старался преодолеть его прямоугольную геометрию, обставленную светофорами: перекрестки перебежал наискось, где-нибудь на середине проспекта отделяясь от идущей по «зебре» толпы и пускаясь в пляс среди потока вкрадчиво-стремительных автомобилей. Думаю, что пешая ходьба была для псевдо-Антонова формой свободы и одиночества, она возмещала ему стеснительное и стесненное стояние в разных конторах, где он становился физически меньше, но все равно загораживал свет из окна, делая комнату заметно темней, либо не давал хозяевам кабинета открыть как раз необходимый по делу шкаф; его, как самого невидного, всегда подозревали в порче комнатных цветов и присвоении зажигалок.

Все-таки, несмотря на какое-то количество всплывающих в памяти подробностей, я не вижу его лица, только неопределенное пятно с резким носом и тенью от носа; при попытке разглядеть яснее подставляются разные лица других знакомых, даже и не совсем подходящего возраста, которых я тут же вспоминаю по именам. Думаю, что для бедного псевдо-Антонова лицо не имело личного смысла: он, приученный тишайшей жизнью подолгу стоять в очередях, был принципиально человек со спины, имевшей в его персональном случае некий перекосяк, какой бывает у мебели от застрявшего ящика; он видел перед собою всегда другую спину, то есть стену, воплощенное ничто, иногда с торчащей из-за ворота петлей или этикеткой, а в конце встречался лицом к лицу с представителем власти или товара: думаю, его приводили в замешательство автоматические руки и скользящие туда-сюда, будто костяшки на счетах, взгляды продавщиц. Почему он не работал в бизнесе вместе с женой, которой крупноблочный пресный шоколад и голубоватые бутылки водки, оклеенные небрежно, будто столбы объявлениями, блеклыми этикетками (иногда по две и три зараз), приносили реальный доход? Вероятно, псевдо-Антонов искал в коммерции то, чего там не было никогда, то, чего ему не доставало и в прежнем скудном, наперед расписанном благополучии. Он хотел свободы и самостоятельности, а может, даже одиночества и носился по улицам с

пластиковой папкой, в то время как его опережали, будто хищные клекочущие птицы, телефонные звонки, — и место, куда он наконец вбегал, тяжело дыша застегнутой на пуговицы грудью, было для него совершенно пустым.

Псевдо-Антонов получил в конце концов свое одиночество; не представляю, на что он теперь живет. Как убедить читателя и убедиться самой, что это реальный человек? Вероятно, его тщедушный облик потому и стерт в моем представлении, что существует оригинал. Можно выбрать время, сесть на троллейбус, проехать четыре остановки, выйти возле универмага, в чьей витрине, помнится, томился дамский манекен с отбитыми под корень пальцами поднятой руки. Память смутно сохранила расположение дома, мрачной шестизэтажки горчичного цвета, осторожно спускающейся под уклон нечистоплотного переулка, подставляя под себя дополнительный, зарешеченный и скошенный, этаж. Из восьми или девяти подъездов, похожих коричневыми разбитыми дверьми на старые шкафы, мне нужен четвертый или пятый; около квартиры, расположенной в точности как у одной моей знакомой, прибит очень опасный для хозяина металлический крючок: по рассказам псевдо-Вики, муж ее не раз и не два оставлял на нем висеть полные сумки продуктов, исчезавшие с поразительной быстротой, а потом интеллигентно и оскорбленно объяснялся с шустрой соседкой пенсионного возраста, не стеснявшейся его посылать на буквы русского алфавита. В общем, примет у меня достаточно: можно как-нибудь вечером поехать туда, позвонить в запачканный звоночек. Хозяин выйдет в чистой, поспешно наброшенной рубаше, словно оттертой от загрязнений стирательной резинкой, и в слабых на коленях тренировочных штанах; будет непременно лето, с его огрубелой зеленью, с холостяцкими запахами несвежей пищи и пыли, а в прихожей на вешалке я увижу похожий на большого игрушечного медведя псевдо-Викин китайский пуховик. Надо думать, псевдо-Антонов очень удивится моему приезду, и удивление это будет написано на его возникшем в проеме лице, которое я смогу рассмотреть во всех реальных подробностях. В самой возможности такого смотрения кроется нечто фантастическое; боюсь, что ничего не смогу ему объяснить.

Кажется, я наконец понимаю, чем реальный человек отличается от литературного героя. Человека можно встретить и разглядеть, но ничего нельзя увидеть его настоящими глазами: когда я пытаюсь представить что-нибудь от имени псевдо-Антонова или псевдо-Вики, в моих глазах темнота. Но темнота эта получается разного качества. В первом случае — выпуклая и влажная, будто под закрытыми веками: густая капля на предметном стекле микроскопа, где подрагивают толстые реснички и проплывают косыми толчками одноклеточные существа. В случае втором — темнота абсолютная, в которой открытым глазам всего лишь холоднее, чем закрытым, — та непроглядная тьма, что поглощает смотрящего, через отверстия пустого взгляда заливая мозг; тьма, которая входит в тебя настоящей и полней, чем может видимый мир, и растворяет протянутую руку до потери счета истончившихся пальцев. В такой темноте исчезнувший человек становится совершенно прозрачен и делает робкие летательные движения, точно превращается в ангела.

## II

Литературный герой прозревает вдруг, имея при себе, будто нераспакованный багаж, собственное прошлое и будущее: там, в этих двух увесистых чемоданах, может оказаться нечто совершенно лишнее, не его размера и цвета, нечто от его прототипов, приходящихся ему как бы дальними родственниками. Прозревание напоминает то, как человек пробуждается от глубокой задумчивости: только что он витал далеко, перебирал в уме события и возможности событий, и внезапно — здесь, где вроде бы и должен находиться, но все вокруг него немного недостоверное; он осторожно кладет на место самый странный из всех окружающих предметов, который бессознательно держал в руках.

Я представляю, как Антонов помещает на тесно и грязно заставленный стол свою тарелку с куском горбуши, похожей грубым мясом на размоченное дерево; вилка, проехав по касательной, падает на пол, к мужским и женским, очень дорого обутым ногам. Антонов на вечеринке, он приглашен сюда как муж своей жены. Это — офис фирмы, где Вика работает менеджером по сбыту: несколько жестко-белых комнат с темной упитанной мебелью и глухими суконными полами представляют друг друга в дверных проемах как бы обещанием разнообразных деловых возможностей и словно не имеют отношения к тому, чем представляются с улицы. Находясь внутри, нельзя вообразить, что офис расположен в одном из длинных корпусов скучного жилого дома, с болотными потеками по старой штукатурке и ржавыми балконами, похожими на пустые железные клетки, где иногда появляются, будто служители зоопарка, неряшливые жильцы. Кажется, что пристроенные к фасаду мраморные сенцы с вывеской «КОМПАНИЯ ЭСКО» и есть вся компания ЭСКО — декорация, аттракцион, временное украшение для какого-то городского праздника. Однако серый мрамор, рисунок похожий на здешние косые снегопады и дожди, — самый настоящий; взошедшего на крыльцо обозревает лиловый птичий глаз телекамеры, а после автоматического щелчка серьезных дверных запоров встречает невысокий крепыш в камуфляже, чьи коротко стриженные волосы напоминают Антонову распределенные в магнитном поле металлические опилки. Антонов знает по секрету с пьяных и хвастливых Викиных слов, что деньги, на которые приобретаетсся сбываемая компанией бытовая техника, — тоже аттракцион, один необеспеченный «воздух», чьи-то кому-то долги, так возросшие в рублевом и долларовом исчислении, что теперь принимаются всеми за положительные и реальные суммы; с другой же стороны, самый товар забывает до полной непроходимости городские торговые площади, выстраивая целую Арктику из холодильников, морозильных камер и микроволновых печей. Всякий раз, когда Антонов в привычном для себя математическом виде воображает полувоздушный замок фирмы, куда незадачливая Вика преспокойно ходит на работу, он чувствует неразрешимое преобладание мнимых, подставных величин. Фрагменты реального, встроенные в эту конструкцию, кажутся ему потенциально опасными: математическое чутье подсказывает моему герою, что не будет ничего удивительного, если его жену попросту раздавит какой-нибудь упавший набок двухкамерный «Индезит».

...Служебная пьянка была щедра, и перед крепышом в его закутке тоже стояли тарелка со снетью и туфельный, как боксерская груша, баллон с коричневой пепси-колой, грузно бултыхавшейся, когда охранник наполнял мягчеший и темневший изнутри пластмассовый стакан. Парень жевал и прихлебывал, вздувая жилы на висках, и не отрывал совершенно прозрачного взгляда от маленького экрана, испускавшего синий свет и являвшего скошенное, как бы зимнее крыльцо: там, в синеватой искусственной зиме, мерзло двигались по белому асфальту голорукие прохожие. Праздновали чей-то день рождения — Антонов думал, что сухопарой дамы в алом мохнатом платье с висячими блестками, что-то говорившей, нелепо вспыхивая, круглому, как соенок, исполнителю директору фирмы. Исполнительный директор — очень грешный перед шефом, но незаменимый, по сообщениям Вики, в иных деликатных ситуациях, когда требовалось изыскать приемлемые формы участия в прибылях для некоторых нужных персон, — вежливо кивал и скашивал глаза в свою коньячную рюмку, которую грел и кругообразно покачивал в ладони, как бы ожидая от содержимого сосуда результатов какого-то химического опыта. Сухопарая дама (кажется, это была супруга владельца компании) мученически улыбалась, перетаптываясь и наступая на собеседника, а собеседник пятился на Антонова неряшливой, со ссадиною мела, толстенкой спиной, и отсиженные хвосты директорского пиджака, выдавая трудолюбие владельца, были заскоружлы, точно сапожные стельки.

Если бы Антонов был совсем посторонний, он бы решил, что чествуют именно Вику, с которой они расстались, едва переступив порог. Словно в под-



зорную трубу, он видел жену в перспективе двух раскрытых кабинетов: она сидела, слегка покручиваясь на высоком кресле, и юбка ее лежала мягко, будто рукоделие на коленях у примерной девочки. Запрокинутое лицо с полузакрытыми глазами было спокойно, будто Вика загорала на пляже, руки расслабленно стекали с подлокотников, едва не теряя своих потупленных колец, — и Антонов знал, что контраст между этой ручьистой расслабленностью и напряжением кривой чертой поставленных ног есть сильнейшее Викино оружие, против которого не устоит ни один мужчина. Сколько он мог разглядеть, общество дальней комнаты и состояло из одних мужчин: они разгуливали там вразвалку, плечистые, с маленькими рюмками, чинно беседовали, обратив друг к другу сложные профили, напоминая резьбу различных, к разным замкам подходящих ключей. Некто важный, лысый, будто осьминог, — между прочим, шеф и владелец конторы собственной персоной, — медленно склонился к Викиной руке, коснулся ртом и носом безвольных пальцев, и по морщинам шефа, резко сдвинутым выше на лоб, Антонов догадался, что он глядит туда, где у Вики в нежной дышащей ложбинке играет кулон. У траурно-внимательного шефа, чье опьянение всегда выражалось в чрезвычайно пристальном рассматривании вещей, было все написано на лбу, — а другой, в подбритой, словно тушью нарисованной бородке и в острых лацканах, изображавших вместе с галстуком орла, распластанного на узенькой груди, держался около, качаясь с пятки на носок и приподымаясь так высоко, что его голова выскакивала над прочими, будто поплавок над мелкими волнами. Антонов знал, что этот, в чертячьей бородке, — какой-то средний чин из деятельной, украшенной крупными дамами районной администрации и что он получает от фирмы регулярное вознаграждение за какой-то интеллектуальный вклад. Он и еще один представитель не то комитета, не то комиссии — рыжий молоденький толстячок в курчавой шевелюре, похожей на женскую шапку, на которую он в холодное время года сверху, двумя руками, торжественно и осторожно опускал свою мужскую, — неуловимо отличались и от химерически улыбчивых сквозь самый мутный алкоголь сотрудников фирмы, и от настоящих партнеров по бизнесу, неизменно являвшихся на вечеринки в окружении собственных химер. Эти, богатые самостоятельно, обладали некой общей недоверенностью облика, не очень заметной издали, но нарастающей по мере сближения до полной невозможности стоять вплотную около субъекта. Странная коротконогость в сочетании с благородными лебедиными линиями пиджаков; сочетание плотных, неуловимо инсектицидных мужских парфюмов и ненатурально ярких галстуков, словно как раз и источавших в пространство эти дурные ароматы; молодые шелковые морды над галстуками, неприятно милотвидные, с минимальной мимикой, целиком уложенной в минимальное число волнистых, словно детской рукою нарисованных морщин, — все это составляло странно стилизованную картину, цветастый и грубый лубок. Антонов удивлялся тому, для чего он притащился на очередной служебный прием, — и ему становилось как-то не по себе, когда на расписного королевича садилась отдохнуть совершенно живая и достоверная муха.

Не было сейчас для Антонова ничего более запретного, чем эта дальняя, сверху вниз освещенная комната, где пластмассовый, очень натурально выполненный плющ шуршал и шелкал на вентиляторном ветру. Антонов убеждал себя, что непринужденно подойти к жене ему мешает какая-то невидная симметрия офиса, замаскированная отсутствием некоторых стен и расстановкой неодинаковой мебели, тучнеющей по мере приближения к украшенному полуколоннами шефскому кабинету. Все-таки эта симметрия существовала и делала другую половину офиса как бы не вполне реальной, словно это было отражение в зеркале, где каждому человеку по эту сторону зеркального стекла уже соответствовал двойник. Поэтому Антонову не было места там, где Вика теперь ужимчиво пощипывала большую, как баранья голова, виноградную кисть, которую услужливо держал перед нею на тарелке рыжеволосый консультант. Такой же точно чернильный виноград имелся и на этой половине

помещения: Антонов, машинально поедая сырые несладкие ягоды (возможно, там они были более сахаристы), старался не думать, кто из тех вальяжных, в аккуратную меру пьяных мужиков действительно является тайным его заместителем, кому принадлежит так ясно видная отсюда, как бы театральная на расстоянии и свету красота его кокетливой жены. Между тем ее хрипловатый мальчишеский голос, черная, похожая на перченное зернышко родинка над верхней губой, манера с дрожью потягиваться, сжимая кулаки, остались те же, что и тогда, когда Вика вроде бы любила Антонова и заставляла его смеяться над устремленными к ней мужскими взглядами. Эти взгляды, с каким-то боковым пугливым блеском или тяжелые, мутные, Вика чувствовала кожей, как рыба чувствует толчки и звуки в воде, и насильно целовала Антонова, у которого что-то обрывалось в груди и выдавливалась набок, в сторону от поцелуя, глупая улыбка. Из тех, кто на нее смотрел, Вика не пропускала ни одного, все они оказывались примечены, и каждому, в зависимости от позы и более или менее определенной внешности, давалась роль в сумасшедшем доме: Вергилий, Цезарь, Наполеон. Впрочем, когда полуживая Вика сама однажды оказалась в стационаре того самого комедийного жанра, она уже не смеялась и выходила к Антонову понурая, со слезящимися глазами, держась почему-то за правый бок, в ужасной голубой косынке, которые там полагаюсь носить: видно, не нашла в свежестроенной и хорошо озелененной психбольнице ни одного Бонапарта. Антонов знал за собой одно бесполезное свойство: иногда он глядел на что-нибудь и чувствовал, что будет это вспоминать потом, безо всякой связи с настоящим; так он запоминал иногда случайных уличных Наполеонов — бокастого генерал-майора с погонами как пирожные, украшенные звездами вместо кондитерских розочек, пригожего представителя какой-то фирмы, раздававшего, в костюме и при галстукe, блекло отпечатанные рекламные листки, злого обритого пацана с неправильным, будто картофелина, шишковатым черепом, в длинной узкоплечей куртке, подвернутой до локтей, смотревшего на Вику глазами убийцы, в то время как его подружка, полная девка в черной коже с заклепками, раскрашенная, будто чашка, прямо по фарфоровой коже лица, держала приятеля двумя руками за брючный ремень. Должно быть, эти двое (каждый по-своему) думали, что Антонов старый высохший зануда, — а Вика, только что сдавшая сессию на счастливые тройки, требовала мороженого.

Сейчас Антонов знал, что запомнит эту вечеринку, над которой, шевеля золотые конфетные фантики и наматывая, будто водоросли, сигаретный дым, плавно ходили вентиляторные винты. Антонов снова очнулся в тех же самых комнатах, схематичных и знакомых, будто некий уровень компьютерной игры, где симметрия была только одной из замаскированных ловушек и где его только что убили из непонятного оружия. Перед ним топталась и что-то вежливо говорила дама в красном, виновница торжества: бокал в ее руке, где давно угасли остатки перекипевшего шампанского, был весь замазан по краю ее губной помадой. Она была невыносимо лишняя, угнетающе трезвая, и более всего Антонов хотел глядеть сквозь нее на белую, декоративно-шершавую стену, но все-таки видел мягко выделяемые платьем тазовые кости и низкий наплыв живота. Тело хозяйки вечера походило на старый, с женственным изгибом и оплывшей корою, древесный ствол; Антонов знал, что где бы ни встретил ее теперь, в другой беседе будет незримо присутствовать ее двойник, одетый в красное, безмянный, протягивающий, опасно наклоняя в сторону собеседника, тарелку крошева от шоколадного печенья.

Женщина не загораживала дальней комнаты, где Вика, облитая светом, теперь танцевала под невнятную, словно водою размытую музыку, и лысый ее партнер, расплываясь у нее на плече улыбкой, похожей на шелковый бант, все двигал ищущими руками, поднимая дыбом Викино короткое платьице. Антонов знал заранее, что, когда эта пьянка совсем распадется на части, он снова встретится с Викой у порога в маленькой передней, где женщины, слегка при-

седая, столпятся со своей расчехленной косметикой перед наклонным зеркалом. Потом остатки компании выйдут в чернильную, на асфальте отпечатанную ночь с химической зеленью фонарей, и те, с кем Вика будет напоследок обмениваться поцелуями в щечки, вскоре, усевшиеся, проедут мимо в одинаково ныряющих и исторгающих магнитофонную музыку автомобилях, перенимая друг у друга вкруговую освещаемых пешеходов, отступивших в кусты. В сомкнувшейся наконец темноте, расставляющей потихоньку припрятанные вещи на места, Вика под конвоем безмолвного Антонова угрюмо побредет к трамвайной остановке и в пустом вагоне будет стоять над тусклыми, в затылок выстроенными сиденьями, опасаясь за костюм. А дома она напьется и будет бестолково шевелиться, словно перевернутый на спину тонконогий жучок, — уже неспособная поговорить с Антоновым, помнящим, что надо так ее раздеть, чтобы не испачкать расплывшейся косметикой это чертово нежное платьице, разнимаемое мелкой, как песочек, молнией на два свисающих куска и стоящее даже без жакета три его доцентские зарплаты. Вика, всхлипывая, коленями полезет на кровать и рухнет поперек, а Антонову останется пухлый, но короткий плюшевый диван, всю ночь терзающий ворсом сбитую простыню; наутро сквозь остатки сна раздастся отдаленное пиканье, и незрелый Антонов, сумбурно ища ногами тапки, разбегаясь вместо тапка на попавшейся под ногу игрушечной машинке, ринется в тяжелые ароматы спальни, чтобы выключить забытый под собственной подушкой электрический будильник. Так с головной угарной боли и телесной ломоты начнется новый день — не хуже и не лучше остальных.

Можно было и не ходить на пьянку, а остаться дома и провести свободный вечер с какой-нибудь пользой. Тогда бы Вику привезли на автомобиле к подъезду, откуда еще минут пятнадцать, изнуряя Антонова, доносилось бы птичье хлопанье клюющих дверей и возбужденное кудахтанье разнообразных голосов. Она бы поднялась одна, заранее пьяная, уже вполне в кондиции, о чем известила бы Антонова сумасшедшая синусоида дверного звонка. Этой Вике, с нежным, мармеладным, чьими-то зубами прикушенным синяком на шее под волосами и с более грубым, курино-синюшным, на бедрышке, от удара о мебель, было бы глубоко плевать на украсившее отворот жакета пищевое пятно; размалеванная, будто маленький клоун, в ярко-красной помаде, размазанной до ушей, она бы развлекала Антонова, пока бы тот возился с нею, умывал и раздевал, а повалившись в постель, увлекла бы законного мужа за собой и, поднимая одеяло, будто косою тяжелый флаг, забросила бы ему на спину вместе с полотнищем косоплапую ногу. Когда она вот так приезжала с вечеринки одна, хмель ее, круживший предметы будто прозачный ветер, отличался от тяжелого и стоячего, который она высасывала из домашней запывлившейся бутылки; иногда ее рвало в унитаз тягучим шоколадом, иногда она, не справившись с застежками, долго плясала с вывернутым шелковым мешком на голове, давая Антонову возможность как бы тайно разглядеть свое небольшое, простоватое, чуть оплывшее тело, изогнутой спиной и задиком напоминавшее поварешку. Кружевные трусики от миниатюрности своей сидели низко и наискось, открывая сзади две темные мягкие ямки, а потом, когда Антонов осторожно их тянул, они оказывались приклеены, будто бумажный обрезок на засохшую кисточку. Какой-то азиатский, соевый запах изменил не то ощущался, не то мерещился под вздыхающим одеялом. Антонов знал, что может получить жену, только когда она приходит вот так, принося в себе другого, имея на белье крахмал измены; стерильная, она была недоступна, и Антонову уже казалось умонепостижимым, что когда-то именно он преодолел ее девическую дрожь, защиту скрещенных рук.

Он никому бы не смог рассказать, что делает дома один. Он не смог бы объяснить, почему становятся так ужасны топот и шлепот соседских детей над головой, новенький, послушный пульту, с лопающимся звуком и сухими мурашками расцветающий телевизор. Предлогом, чтобы остаться, была работа Антонова, незаконченная монография для мифической уже докторантуры: ею

он оправдывался перед взбудораженной и обиженной Викой, за которой ходил будто на привязи, пока она яростно терзала утюгом его беспомощную парадную рубашку, извилисто влезала — сверху и снизу — в колготки и платье, чем-то душно и густо опрыскивалась, надевала вприпрыжку валкие туфли, заранее вынутые из папиросного нутра коробки и неуверенно стоявшие на полу. Наконец наступал момент необходимого полупримирения: в прихожей Вика, криво улыбнувшись, целовала Антонова в щеку и выскальзывала, плечиком вперед, в полукрытую дверь, после чего Антонов основательно запирался — с отчетливым чувством, будто заводит часы. На его рабочем стуле висела длинная, словно бы ночная, ненужная рубашка: Антонов бережно переносил ее вместе с воздухом на измятую сборами постель, потом усаживался плотно, по пояс, зажигал излишнюю и бледную при дневном убогом евете настольную лампу.

Рукопись молчала. Последние ее измазанные страницы были будто раскисшая в слякоти дорога, где, буксуя, оставляя так и сяк рубчатые следы зачерканных строк, навсегда застряла мысль. Антонов пробовал разбежаться с середины, оттуда, где мысль, бывало, брала поворот за поворотом, проскакивала с ходу боковые интересные возможности, на полях помеченные сидящей птицей да несколькими съехавшими, как под насыпь, торопливыми символами. Но рукопись теперь была как будто чужая: вполне понимаемая написанное, Антонов чувствовал так, словно не сам вывел все это из чудесно-сумрачного ниоткуда, а заучил когда-то наизусть и теперь подзабыл. Антонов не знал, как дальше: записи разными ручками на пересохшей, будто из опилок сделанной бумаге существовали отдельно от него, объективно существовал измаранный, с земляным пятном от пролитого кофе, последний лист, — и Антонов, пытаясь в отчаянную минуту делать какие-то вставки, проследить боковые тропинки мысли, вдруг замечал, что даже почерк у него сделался другой, стоячий, неуверенно переходящий в печатную разборчивость, и теперь даже простенькое уточнение не влезает между прежних, стремительных, словно на колесах несущихся строк.

В иные минуты собственная рукопись казалась Антонову кем-то сокращенной: он не находил в опростившемся тексте тех драгоценных мест, где прежде, помнится, ощущал живительные толчки, внезапные вспышки осмысленности. Тогда, еще не смея записывать, оттягивая удовольствие (которое вот-вот потускнеет), Антонов бежал, счастливый, курить на свою холостяцкую кухню, где на плите торчала кривая, как дупло, почерневшая кастрюля, а из громоздкого буфета, содержавшего осевшие в мешках, пенициллиновые от времени запасы квартирной хозяйки, без конца вытекала на пол серая крупа, — и, бывало, пытался вместо сигареты затянуться чадом подоженной, липко почерневшей шариковой ручки, которую бессознательно вертел танцующими пальцами. Сырая набухшая форточка тянула в себя неохотно расплетавшийся сигаретный дым, Антонов вдыхал саднящим, словно разбитым носом жесткий, с запахом мороженой крови холод полуночи, глубокого безлюдья: мерещилось, будто он сейчас дышал единым тесным воздухом с чем-то близко подступившим, почти показавшим из темноты нечеловечески странное лицо. Гармоничная эволюция многомерных сущностей, поколения множеств, описанные в нескольких упростившихся, путем взаимного поглощения, формулах, симметрия бесконечно малого и бесконечно большого относительно любой клопиной точки на мокрой от перекипевшего чайника кухне — все это было полно для Антонова самых заманчивых свойств. Ему, молодому и самонадеянному, представлялось очевидным, что человеческое знание, условно изображаемое в виде сферы, окруженной областями непознанного, есть в действительности не сфера, а тело неправильной формы, подобное, быть может, разбрызганной кляксе в тетради первоклассника. Антонов думал, что в иные периоды развития науки эта неправильность становится критической и приводит к обмелению, отмиранию длинных отростков, а тело знания оказы-

вается как бы червивым, изъеденным изнутри. С сатанинской гордостью, пережевывая без хлеба размокший снизу, будто мыло, совершенно безвкусный сыр, Антонов воображал, как силой и полностью открытия заполнит темноты, выровняет край, где тут же снова набухнут вегетативные узелки. Пока его результаты, достаточно стройные, не взаимодействовали, каждый вывод лживо представлял конечным: сокровищем тупика. Однако Антонов чувствовал неким органом равновесия, что способ есть, что единая формула уже записана на обороте одной из имеющихся мыслей. Стоит только отыскать подсказку, ключ, как все неуклюжее хозяйство, где одно все время выезжает поперек другого, сразу оживет и быстренько избавится от лишнего, сойдется в единый вывод — и будет странно, как это раньше глаза не видели очевидного.

Были времена, когда не только свои, но и чужие работы, попадавшие в сборниках между скучных, как доклады, целым президиумом авторов подписанных статей, казались Антонову живыми. Пристрастно исследуя находку — четыре-пять листочков где-нибудь в конце кривовато, чуть ли не по тексту, прошитой тетрадки, — Антонов переживал, одновременно с чтением, процесс ее создания, как если бы автор был вторым антоновским «я». Он чувствовал отзвуки авторского восторга там, где хорошо заряженная мысль внезапно поражала цель, и порою усыновлял чужие работы, как, должно быть, поэты усыновляют и бормочут на ходу чужие стихи. Изредка случалось так, что незнакомый новосибирец или москвич внезапно приближался к его, Антонова, неогороженной территории: эта встреча в многомерных дебрях, жарко освещенных настольной лампой, иногда служила неопубликованному и потому невидимому Антонову косвенной помощью. Путь незнакомца среди математических растений, заряженных, как ружья выстрелами, возможностями роста, показывал ему несколько важных позиций, откуда он мог по-новому посмотреть на проблему. Чтобы читать зарубежную периодику, сильно отличающуюся атласными обложками от отечественных сборников, одетых в грубое белье, Антонов частично освоил английский (кандидатский минимум, сданный на «отлично», оставил в его распоряжении одни окаменелости, а о школьных, тоже «пятерочных» запасах лживого «англ. яз», жуткой помеси советской газеты с букварем, лучше было не вспоминать). Неважно знакомый со многими разделами своей науки, Антонов заносчиво воображал, что современная математика не так уж далеко ушла от университетского курса, представлявшего ее законы чем-то вроде заводного механизма, встроенного, точно в игрушку, в каждый материальный предмет. Антонову мнилось, будто черта, которую его усилиями вот-вот пересечет математическая наука, такая же радиальная, как и черта между живой и неживой материей, — впрочем, материя как таковая редела и исчезала в понятии бесконечно малого, асфальт из элементарных частиц расступался под подошвой, поглощая ботинок, и пишущая рука погружалась в письменный стол, будто в ванну с плавающим бельем почерканных бумаг. Несмотря на нынешний застой, Антонов верил в будущий триумф. В иные длинные минуты он неотвязно слышал ритм результата, мычал его по слогам, осязал пустой шепотью дробную работу мелка по доске, на которой он буквально несколькими ударами набросает формулу и обернется к коллегам, машинально положив мелок в карман пиджака.

### III

Кандидатская у Антонова выскочила сама собой, как продолжение диплома, дополненного несколькими главками, не столько существенными, сколько остроумными, — а Вика в том сыром, как старый холодильник, феврале срезала косу и получила паспорт. Тогда у Антонова была другая женщина — старше на два года и выше на два сантиметра, с широким, всегда блестящим белым лбом и гладко зачесанными медными волосами, дававшими, точно обмотка трансформаторной катушки, угловатый правильный отлив. Антонова странно привлекало противоречие между ее тяжелой, забирающей влево по-

ходкой и легкостью больших, приятно пахнувших рук, которыми она невесомо касалась собранной на кафедре чумазой чайной утвари, клавиш компьютера, нежно, как он ни отнекивался, расшатывала и вынимала из стоячей книжной кладки плотно засевавший кирпич. Ни один предмет из тех, что она брала, не издавал ни единого звяка и шелеста, точно она руками напускала на вещи умиротворенное беззвучие, таинственную тишину. Простая ее одежда на крепко пришитых, почти пальтовых пуговицах скрывала ото всех, кроме Антонова, что тело у женщины в точности как у мраморной Венеры Милосской; поэтому руки ее, какой-то небесной голубоватой белизны, в иные минуты вызывали у Антонова приступы благоговения, желание поцеловать эти длинные мягкие пальцы, не знавшие колец. Однако желание это никогда не осуществлялось; отношения Антонова и его подруги были уклончивыми, как бы не до конца откровенными. Антонов, очень сильно в это время занятый собой, любил при ней молчать, уткнувшись в книжку, пока она, обласкивая вещи бархатной от сырости и пыли тряпкой, прибирала в его однокомнатной берлоге. Он ни о чем не спрашивал подругу, если она замирала, подоткнув поясницу кулаком, или подолгу глядела в раскрытое окно, вытряхнув туда с тряпицы мелкий мусор бедного его жилища, который словно растворялся в солнечной пустоте вместе с тревогами и печалью, осевшими на колченогой хозяйской обстановке, скопившимися в четырех кое-как оклеенных зелеными обоями стенах. Она, эта женщина, была, по-видимому, очень несчастна со своим звероподобным маленьким мужем, водившим, едва виднеясь в кабине, громадный дальнобойный грузовик, но ни отзвука их скандалов не доходило до Антонова, жившего спокойно, точно под защитой и опекой законной родственницы.

Его подруга не умела выражать свои запряжанные чувства: при всяком радостном известии ее малоподвижное, заостренное книзу лицо делалось недовольным, при виде Антонова она сперва отворачивалась и глотала какой-то комочек, а улыбки можно было от нее дожидаться разве часа через три. И все-таки она была, по-видимому, привязана к Антонову. По каким-то сложным семейным причинам переезжая в Подмоскowie, она умудрилась, отправив мужа и дочь, еще неделю оставаться с ним и была в эти дни особенно тиха и сильно мерзла в дешевом плащике на тяжелом и водянистом, будто нашатырем пропитанная вата, майском снегу. Во всю неделю Антонова преследовало чувство, будто они с подругой теряют время, но не так, как это бывает в магазинной очереди или за никчемным, нудным разговором, а как-то необъяснимо: считанные дни словно проваливались в неизвестность, не оставляя по себе ничего, кроме ощущения утраты, их отсчет, никак не согласованный с календарем, велся в направлении, обратном календарному, то есть к конечной, заранее потерянной единице. Антонова раздражало, что он в эти дни совершенно не может работать; а внешне оба сохраняли размеренное спокойствие. Несмотря на то, что дома женщину уже никто не ждал, не требовал ни стирки, ни еды, она ни в какую не хотела ночевать у Антонова и уходила, как обычно, около шести часов: все было точно так и точно в то же время, что и всегда, только что-то секундно обмирало внутри, и она, задерживая чайник над вспухающей чашкой, обливала стол.

В день расставания, единственность которого взволновала Антонова сильнее, чем можно было ожидать, он в первый и последний раз был у нее в квартире — собственно, уже не у нее, потому что она держалась в голых комнатах словно чужая, а бокастая и легкая, как мячик, сумка, которую следовало захватить, стояла в коридоре, у самых дверей. Гулкие комнаты пели ее редко слышным, а вот теперь зазвучавшим голосом, когда напоследок пошла проверять оконные шпингалеты; пространство, храня на блеклых стенах яркие прямоугольники висевшего, а на мытом полу — вмятины стоявшего здесь, было для Антонова будто незаполненный кроссворд. Их одноактная опера, когда они, полусняв-полузакатав одежду, все-таки легли на старую искусственную шубу подальше от пустого, высоко светившего окна, сопровождалась еркест-

ровым гудением водопроводных труб — а грязно-розовый, в талых колоннах, вокзалище, куда они прискакали на разбитом, с сумасшедшими зеркальцами частном «жигуленке», звучал как переполненный театр. Антонов на бегу, вывернув тетке рвань рублей из лохмотьев бумажника, купил какие-то оранжевые гвоздики, похоже на клоунские помпоны, и почему-то остался с ними, оттертый чужим багажом и выкинутый из поезда, уже поплывшего от ног, мимо киосков и торжественно переполненных урн. Серое окно, где ее лицо еще виднелось, как на очень старой фотографии, внезапно сверкнуло на повороте, и все исчезло, — а гвоздики, принесенные домой, долго еще стояли осклизлыми будыльями в двухлитровой банке, мешая Антонову, у которого как раз замелькали идеи, полностью лишившие его способности что-нибудь прибирать. Женщина в своей не интересной Антонову подмосковной жизни помнила о нем: редко, но регулярно от нее приходили письма, явно ношенные в сумочке, протертые до ваты по углам, — их Антонов почти не читал и отвечал открытками к Восьмому марта, какие мог бы отправлять добродетельной старшей сестре.

В это самое время у пятнадцатилетней Вики был отчаянный роман с одноклассником, проходивший большей частью в разбитой телефонной будке, откуда она, заплаканная, в самодельно и криво укороченной юбочке, звонила Павлику домой. Мало-помалу на этот угол, открытый железнодорожному полотну и ползущим враскачку, словно взвешивая на рельсах собственную тяжесть, товарным поездом, стекались, несмотря на поздний час, желающие позвонить со всего района; среди них тихонько, последней в очереди — лицо в тени, домашние тапочки на свету — иногда стояла и грела в горсточке ненужные жетоны маленькая Викина мать. Этот Павлик, по-видимому угрюмый и самолюбивый малый, погиб во время турпохода, предпринятого в одиночку: утонул в холодной бешеной речке, ухавшей, будто вытряхиваемый половик, с черных от ее воды горбатых камней, — и когда его случайно нашла на отмели компания грибников, на его нагретой солнцем спине сидела, поеживаясь, угловатая птица.

Эта глупая и романтическая смерть давала Вике право держать фотографии Павлика в столе и на столе: он везде был один, везде без нее — представлял небывшие Викины воспоминания, потому что она, очевидно, отсутствовала во всех любительских пейзажах с мутными соснами, странно похожими на пальмы, где светловолосый Павлик без улыбки, словно исполняя обыкновенную походную обязанность, для которой его отвлекли от палатки либо от ковра, позировал неизвестному фотографу. В жизни Антонова Павлик появился как образ нечеткого снимка, точно так же, как появился он и в этом повествовании: аккуратный милицейский стенд, чей верхний угол то и дело ошупывала слепенькая тень кривобокой рябины, являл, наряду с белошеей улыбчивой мошенницей и невозмутимым рецидивистом, прищуренного молодого человека, о котором сообщалось, что он ушел из дома и не вернулся. Через несколько дней буквально этот же снимок бросился в глаза поверх оградок умиротворенного, словно детскими кроватками заставленного кладбища: он располагался на пирамидке, торчавшей неловко и шатко, вроде табуретки, на подсохшей могиле. Дата рождения и дата смерти, записанные на жестяной табличке разборчивым, как бы учительским почерком, напоминали вместе уравнение с дробями, и нетрудно было высчитать, что икс равнялся восемнадцати годам.

На похоронах уже окончательно отвергнутые девочки, слушая надрывную фальшь и блажь оркестра, могли почувствовать себя совершенно взрослыми, имеющими прошлое; они могли пореветь, а потом покурить, затягиваясь сладящими после слез сигаретками, могли по-бабьи обняться, глядя на темные обезьяньи ручки и осевшее лицо покойного, узнавая в гробу полупустой, памятный по одному-единственному «медленному» танцу выпускной костюм. Конечно же Вика или подобная ей солистка была среди девочек на первом

месте; ей, как первой, не было нужды изображать красивое горе с закушенной губкой и акварелькой поплывшей косметики, либо горе деятельное, проявляемое толстыми «хорошистками», которые то искали для матери Павлика, превращенной возле гроба в медленно дышащую лягушку, какие-то непрошенные таблетки, то трудились для домашних поминок, обслуживая на кухне чадающие пироги. Вика могла сморкаться в слежавшийся платок и мусолить нос до красноты, могла вообще ни на кого не обращать внимания и курить отдельно, изъязвляя до паленых дыр свернутый под пепел бумажный кулек. Зато она одна заметила на соседней могиле, заставленной рыжими от старости еловыми венками, большую тускло-черную птицу, птица возилась, приподымая крылья, как бы неловко надевая подаваемый сзади пиджак, а потом внезапно размахнулась и, тяжело черпая густой настоявшийся воздух, поднялась над плывущими соснами.

Возможно, в этот миг странного, вслед за птицей, расширения и брожения мира Вика увидала и сосны, чьи корни, словно снабженные когтями наподобие птичьих лап, держали по горсти стиснутой земли, и саму землю, почему-то еще летевшую из могилы, царапая лопаты запеченными в ней тяжелыми камнями. Вероятно, Викина натура, которую Антонов так и не сумел постичь, не была чужда художественных впечатлений; положение центра мироздания, порождаемое такими впечатлениями, воспринималось Викой буквально. Наверное, она вообще слишком много принимала на собственный счет; в конечном итоге память о покойном Павлике досталась именно ей, прочие девчонки уступили, занявшись простоватыми мальчиками, понаехавшими учиться из пыльной и честной провинции, или же своими давними приятелями из соседних пролетарских подъездов, которые теперь, плотные, как боксерские груши, в новеньких кожаных, пасли коммерческие киоски и угощали бодрым баночным пивком.

Иногда девчонки по-душевному, компанией, забегали к Павликовой матери, одиноко шаркавшей по сумрачной квартире, разгоняя опухшими, в чернильных узорах, слабыми ногами легкие пыльные катыши и странно поводя осевшей в плечи головой. Она всегда притворяла в присутствии посетителей маленькую комнату, где те успевали заметить накрытую, как накрывают мертвецов, несвежую постель; усаживая девочек на кухне, хозяйка потчевала их синюшными облупленными пряниками, старыми холодными крутыми яйцами, разбиравшимися на части, будто неразрисованные матрешки, подливала в стаканы еле окрашенную и еле тепленькую водицу с черными чайнками, не бравшую сахару и оставлявшую на дне шершавую корку, чью невыпитую сладость уже ничто на свете не могло растворить. Вместе с развитием горя в маме Павлика развивалась метафизическая скупость: она экономила вещество и вела почти бесплотную жизнь. Большую комнату, всегда закрытую от света туго натянутой шторой, она превратила в род музея, всюду разложив сыновние вещи — засыхающие приманки для неотзывчивого призрака, тем меньше готового обнаружить свое присутствие, чем более страстно взывала к нему материнская память. Комната и вся квартира были настолько готовы к тому, чтобы Павлик вдруг возник из спертого воздуха, что по ночам осиротевшая мать боялась сына, как будто ховившего невидимой тяжестью по длинным половицам и исчезающего в стенах, чтобы возникнуть неясным пятном с обратной стороны, — побаивалась его и днем, совершая «для него» разные суеверные усилия вроде попыток перешагивать через уличные препятствия непременно правой ногой, более тяжелой из двух, или отказа от утреннего умывания, отчего лицо на целый день оставалось словно разрисовано каким-то туземным узором. Душевные девочки, приносившие к чаю бело-кремовые тортики (после засыхавшие в холодильнике в известку и снег), не могли решить, радуется ли им несчастная мать, или их появление только причиняет лишнюю боль; девочек буквально ставило в тупик, что хозяйка, медленно дыша и лаская их исплаканными светлыми глазами, похожими на тающий ледок, все время путает, как кого зовут. Вероятно, память женщины, перегруженная реконструкцией



сыновнего образа, ослабела и не держала настоящего, которое бессмысленно, с упорством растения, порождало будущее, так что казалось, будто и пуховая пыль под ногами содержит семена. Мама Павлика отчасти помнила, что у сына были девочки, одноклассницы; то одну, то другую она, выделяя шершавым поглаживанием по обмирающей руке, называла Викой.

Разумеется, настоящая Вика не казала глаз в этот самодельный музей, где не было и не могло оказаться мужчин. У нее имелась своя экспозиция: ей, как духовной вдове, приятели Павлика, небритые брезентовые туристы, пахнувшие потом и средством от комаров, натащили Павликовых фотографий — блеклых снимочков с водой вместо солнца, где присутствовали и сами, более молоденькие и круглолицые, чем явились Вике во плоти. Раздосадованная их невнимательностью и дружным намерением сегодня же ехать куда-то на проходящем поезде, Вика туристов отрезала ножницами и выбросила в ведро, отчего любовно выделенный Павлик оказался словно окружен невидимыми существами, то наполнявшими его протянутую кружку из призрачной, висящей в воздухе бутылки, то как бы сверху его приобнимавшими.

Экспозиция, каждый раз скромно составленная не более чем из пяти экспонатов, требовала зрителя, причем ранимого и восприимчивого — то есть способного впасть в отчаянье и торчать под окнами, сутулясь среди пятен собственных следов, будто дерево среди своей облетевшей листвы. В интересах повествования можно предположить, что при отсутствии зрителя Вика, предоставленная снимкам, испытывала боль: накатывало, например, воспоминание о ледяной по тону Павликовой записке, пришедшей на уроке литературы через четыре парты равнодушных одноклассников, или о сентябрьском походе по грибы, когда ногастый Павлик, шатаясь, перенес ее на руках через синюю стоячую болотину и бережно опустил на зашуршавшие кочки. Если же обратиться к реальности, то есть к тому прототипу героини, от которого взялись не события, а душа и потаенный, устремленный вовнутрь кровотоков (об этой subtilной полудевочке, с кровеносной системой будто плакучая ива, с душою подобной перепонке снега в продуваемых зимних ветвях, еще представится случай поговорить), — словом, если держаться жизненной правды, то боль у Вики возникала не из пережитого прошлого, а из настоящего, из собственного одинокого и неизбывного присутствия, когда вместо Наполеона общаешься с большим, мужского роста, плохо протертым зеркалом и безнадежно красишься перед ним в половине двенадцатого ночи, под тоскливое мычание далеких поездов. У женщин того мечтательного склада, как Вика и ее вполне реальный прототип (ментоловая сигаретка, белые, словно выдавленные из тюбика, складки морщинок под крашеной челкой, взгляд, хранящий свою пустоту ото всех являемых зрению вещей), боль изначальна, мужчины — лекарство; мир, не выделивший им влюбленных представителей, кажется до ужаса плоским, за невнимательным зеркалом твердеет стена.

Вполне вероятно, что до появления Антонова Вика опрометчиво испытала экспозицию на одном или двух подвернувшихся молодцах, глянувших искоса, куда им указывал дрожащий, будто птичкой исклеванный подбородок, и тут же приступивших собственно к предмету, который не зря же пригласил к себе домой и плотно прикрыл от матери комнатную дверь. Возможно, эти неудачные опыты, с барахтаньем в грубых руках, с расстегнутым лифчиком, бесполезным, как спустивший спасательный круг, подсказали Вике не пренебрегать сравнительно молодым преподавателем, не лишенным угловатого сутулого изящества и окруженным к тому же глухим ореолом непризнанной гениальности. Из последнего обстоятельства по-своему чуткая Вика вывела околичностями женского ума, что этот многоговорящий доцент, с преобладающим лбом в форме широко раскрытой бабочки и с прекрасными руками слепца, окажется весьма восприимчив, если удастся его как следует зацепить. В последнем Вика не сомневалась ничуть: она гораздо раньше, чем думал Антонов, заметила его окольные взгляды, как будто не находившие ее в аудитории, хотя она

сидела на самом виду — откинувшись, с журнальчиком на коленях, норовившим сплечь и шлепнуться под стол. Ее умиляло, что в долговязости доцента просматривается что-то от покойного Павлика, что ходит он так же, словно нащупывая высоко занесенной ногою невидимую воздушную ступень и временами присполюсываясь какой-то бесполезной двигательной энергии, сообщаемой встречным дверям и болтавшимся после его прохождения на кнопках, точно сбитые мишени, студенческим стенгазетам. Лекции Антонова сделались для Вики совершенно необязательны: она прекрасно чувствовала, что содержание этих двух академических часов совсем иное, не имеющее отношения к объявленной теме и к тому, что доцент, ограниченный пиджаком, тянется писать на белесой, будто промерзлой от скуки доске.

Интуиция Вики не подвела: Антонов оказался восприимчив, хотя не все в его смущении при виде экспозиции было доступно ее небольшому рациональному уму. Подсознательно Вике хотелось мелодрамы, чтобы с ней без конца выясняли отношения на повышенных тонах, хотелось промерзших, жалко пахнущих снегом цветов и сумасшедших писем на шестнадцать страниц — словом, новых экспонатов, которые можно было бы накапливать до лучшей (или худшей) поры. Но Антонов (когда-то не меньше Павлика побродивший по лесам, спасаясь там от вездесущего, как деньги, комсомола) держался в рамках, будто вписанный в невидимый ограничительный прямоугольник, — и когда он, обнимая, неловко притягивал Вики к себе, ей мерещилось, будто они сошлись в каком-то проеме, каждый из своего пространства, и между ними, под ногами, имеется порожек, через который надо еще переступить.

Сам Антонов, не склонный ни к каким театральностям, не вполне понимал, чего же от него хотят. Когда он входил, постучавшись, в узкую девичью комнату с далеким от двери окном, где стоял еще более далекий, синеватовоздушный башенный шпиль, — неизбежный Павлик встречал его сощуренным взглядом из обрамленного снимка, а непричесанная Вика медленно, опираясь руками, вставала от стола, словно прерывала на важном месте какой-то долгий разговор. Несчастный парень, поступивший в Политех (где Антонов тоже читал небольшой факультативный курс), но так и не явившийся на лекции, несомненно, влиял на его отношения с Викой: видимо, пережившая слишком большое потрясение (что давалось понять большими печатными буквами ясно читаемой мимики), Вика словно унаследовала его надменность и все права на то, чтобы быть самой по себе. В комнате, усадив смущенного Антонова на кое-как заброшенную покрывалом смятую постель, а сама оставшись на стуле, Вика подолгу молчала, будто попутчица в поезде, и сходство комнаты с купе подтверждалось твердым чемоданом под кроватью, толстым хламом плюшевых игрушек на шифоньере и тем, как Света, Викина мать, постучав еще слабее и просительней Антонова, вносила чай. Иногда случалось, что Вика, выскочив «на десять минут позвонить» (при этом теща Света, как мысленно называл ее Антонов, менялась в лице), исчезала на целый вечер и заявлялась хмурая, с каким-нибудь цветочным скелетом в пустоватой бумаге, в очень грязных, наворстивших целые галоши глины сапогах, которые молча стряхивала с ног, держась за стену и мотая ими над чистеньким полом прихожей. Она не удаивала посмотреть на Антонова, который тут же начинал собираться, разыскивая у Вики под ногами среди дамской благородной обуви свои неуместно большие плоскородные туфли. Вика любила говаривать, что у нее особые отношения со смертью, — а Павлик на фотографии, с неуверенно сходящимися черными бровями и губами в юношеских усиках, будто треугольная почтовая марка, смотрел в никуда, словно не видел фотографа и пейзажа за ним — не видел ничего за особой чертой, отделившей кадр от остального мира, и только являл себя, будто неодушевленный незрячий предмет. Неумолимая Вика сумела перенять и эту манеру: держаться в кадре ровно перед линией, разделяющей мир пополам на то, что около нее, воспринимается вместе с ней, и то, что несущественно и потому принадлежит другим — в частности, Антонову, не смевшему в такие минуты даже притронуть-

ся к ее тогда еще каштановым и теплым волосам, собранным заколкой в мягкую кисточку. То, что условная Викина часть была всегда тесней и меньше чужого, придавало ее неестественным позам какую-то болезненную беззащитность, а горько опущенный рот и надменный взгляд из-под поднятых на лоб коротеньких бровей, явно у кого-то заимствованные, оправдывались этим ее выставленным напоказ, неуклюжим одиночеством. Все-таки несчастный Павлик представлялся Антонову немножко выдумкой, скорее персонажем, чем реальным человеком; поэтому Антонов был бы потрясен, если бы увидел вдруг изодранный дождями милицейский стенд и знакомое, словно бы опухшее лицо, смотревшее на обширную лужу, всюю тяжестью привалившуюся к борту тротуара, или бы забрел для чего-нибудь в дальний угол раскисшего кладбища (Вика не бывала там со дня похорон) и обратил бы внимание на лоснящуюся влагой пирамидку, откуда Павлик всегда глядел вверх железных кроватей на дальнюю ретрансляционную вышку, самую небесную и чистую из всей стеклянной посуды, выставленной на горизонте.

После снимки перекечевали в коробке из-под конфет на новую квартиру, доставшуюся молодым от Викиной прабабки со стороны отца, долговязой старухи с лицом будто жухлое кружево, которая неожиданно, вместо того чтобы умереть в больничной палате у голой стенки, крашенной в один из российских хозяйственных цветов, укатила во Францию к двоюродной сестре. Там она, судя по отсутствию печальных известий, обрела вторую, непочатую жизнь — среди сельских, чрезвычайно зеленых красот, дополненных элегантной бензоколонкой, в каменном домике, где темный плющ на стене был словно положен грубыми мазками масла на загрунтованный холст. Хотя фотографии и не стояли больше на виду и не выдавали Павлика за члена семьи, все-таки они, пересыпанные старым сахаром, как шерстяные вещи бывают пересыпаны нафталином, хранились среди Викиных бумажек для какого-то будущего.

Правда, одной, самой романтической фотографии в коробке недоставало: после того как Вика, подтверждая свой особый статус между жизнью и смертью, все-таки изыскала способ физически соединиться с уклонившимся возлюбленным (ложем послужила рябая, словно каменной сметаной залитая ванна), — после этого возмущенный Антонов, тогда еще жених, изорвал размокший снимок на мелкие клочки. Хитрая Вика сделала вид, будто не заметила потери, а может, и в самом деле не обратила внимания, что один из экспонатов куда-то пропал: слишком уж она тогда сбилась со счета, даже март с его солнечными слезами и косою тетрадной синевою древесных теней упорно виделся ей февралем, а еще она все время пугалась, что кончатся деньги, хотя денег было столько, сколько всегда. Возможно, при переезде на бабкину квартиру растерянная Вика собрала не весь архив, что-то исчезло еще. Так или иначе, фотографии Павлика на время пропали с глаз, хотя ревнивый Антонов отлично знал, что конфетная коробка, перевязанная Викиной школьной ленточкой черного атласа, хранится в нижнем отделении новой блондинисто-светлой итальянской стенки, украшенной длинными лужами якобы древесных разводов, — и где-то там же свернулась слабая, переплетенная тем же галантерейным трауром, уже немного войлочная Викина коса.

Из-за тайного присутствия Павликовых фотографий Антонов не мог открыто прочитывать письма из Подмосковья: он вообще не любил повторять за другими то, что ему не нравилось, был в этом смысле болезненно щепетилен и старался даже случайно не отразить в себе чужого — поэтому в детстве, бывало, здоровенные двоечники, ужасные своими куцыми, какими-то арестантскими школьными формами, буквально обездвигивали его легкими, на пробу, тычками под ребра, и Антонов превращался перед ними в безвольную куклу с прижатыми вдоль тела руками разной длины, с одной побитой молью бровкой, выскочившей, будто знак ударения, косо на бледненький лоб.

Разумеется, этот вздернутый, пляшущий перепутанными ногами, но неподатливый объект не мог не раздражать: Антонову доставалось так, что после петляющая водичка, вслепую ловимая над железной, с воспаленным дырчатым стоком, дребезжащей раковиной, обжигала расквашенное лицо, будто неразбавленный спирт. Все-таки Антонов не желал защищаться и держал иллюзорную, но важную лично для него дистанцию, без которой, он чувствовал, нарушится цельность мира, где он всюду видел собственное, далекое и близкое, отсутствие. Между тем терпеливые письма все приходили и приходили на новый адрес через руки прежней квартирной хозяйки, чью суровую благосклонность подруга Антонова как-то умела заслужить. Эта профессорская вдова, с бурыми пятнами на папиросном бумажном лице и словно крашенными йодом остатками волос, пережившая пятнадцать лет лагерей, теперь пересылала нежелательных найденышей с тою же неотвязной пунктуальностью, с какою прежде требовала и получала плату за жилье. Нераспечатанные письма, то толстенькие и тяжелые, то истончавшиеся почему-то до единственного твердого листка, хранились у Антонова глубоко под рукописью, под экземплярами его статей и всеми скорыми набросками на разных, от чего попало оторванных клочках, из которых он когда-то думал быстро сделать монографию. Он теперь уже не мог вскрывать конвертов, всегда глядевших с детским выражением, встав впереди больших, открытым текстом набранных газет, из дырок почтового ящика. Слишкомросло отчуждение, и та, другая жизнь, что проходила в полумонастырском, электричками пронизанном городке, сделалась непонятна и тем более далека, что Антонов чувствовал вину, непоправимость своего незнания и запоздалость любого ответа.

Возможно, женщина и не ждала от него никакого отклика, а всего лишь хотела регулярными сведениями о себе сохранить одно временное течение собственной жизни и жизни Антонова: если так, то он ее прекрасно понимал. Собственно, то же самое Антонов пытался проделать относительно себя и Вики: все в нем восставало от сознания, что его, Антонова, попросту не было в ее полудетском прошлом, которое жестокая Вика представляла теперь как прежде всякого замужества свершившуюся судьбу.

Чувство было примерно такое, как при мысли о нескольких темноватых годах, непосредственно предшествовавших рождению Антонова. Они рисовались ему провалом, промоиной времени, где события обрели невиданную свободу — и мать с отцом запросто могли не встретиться, не стукнуться две неуклюжие, на веслах как на костылях, прогулочные лодки посреди Центрального пруда, тогда заросшего кривыми, наклоненными к воде березами, теперь налитого до половины гранитных берегов очень спокойной водой, с неизбывным отражением Дома Правительства, при котором пруд теперь лежал, будто относящийся к нему волнистый гарнир. Это время начала шестидесятых казалось Антонову более далеким и фантастическим, чем правление Екатерины II или Крымская война. Будущие его родители, круглолицые провинциалы, приехавшие учиться «в область» из тишайших городков, прозябавших на одной и той же словно пальцем проведенной речке, уже записались в стеклянном загсе у торжественной женщины с небольшими пронзительно-ясными глазами, очень похожей на Валентину Терешкову; они поссорились, потом помирились, сняли «квартиру» в длинном бараке, где зимою окошки превращались в ванночки мутной белизны, а по углам проступала жесткая синтетика инея. Молодые-расписанные бегали по театрам, смиренно сидели там в глубоких плюшевых креслах, куда, как бумага на ластик, льнула их парадная одежда; они рисовали стенгазеты против прогульщиков; платили членские взносы; выступали за институт на лыжных соревнованиях — и потому, что снег, пылью осыпавшийся с холодных сосен в лесную тишину, пьянил сквозь запаленное дыхание не хуже водки, на бессолнечном финише, под темными и словно мокрыми флагами союзных республик, произошла какая-то антисоветская ис-

тория, из-за которой чуть не исключили из комсомола студента четвертого курса Антонова В. П., без одиннадцати месяцев молодого отца...

Теперь же упрямая Вика задним числом лишала Антонова бытия и тогда, когда он уже читал студентам лекции в тех самых отсырелых, с разбитыми рядами аудиториях, куда ей только предстояло прийти. Антонов как мог отставил себя, сопоставляя события своей и Викиной жизни, что были до первой встречи — до столкновения в дверях аудитории номер триста двадцать семь, куда Антонов устремлялся читать первокурсникам вводную, а Вика, тогда незнакомая особа в тесной розовой кофточке, с темными, необычайно широко расставленными и оттого как будто испуганными глазами, почему-то бежала прочь, прижимая к груди расстегнутый, елозивший крышкой портфель. Антонов посторонился, пропустил, прошагал, привычно потряхивая длинными, свисавшими из рукавов руками, на преподавательское место, — но отчего-то сделались тягостны эти новые, слишком свежие и уличные лица, неприятно тронутые серым воздухом науки, и первые пустые столы, через которые надо было, как через оградку, что-то говорить скопившимся на задних рядах, в разных позах облобоченным о парты новичкам.

Опираясь на шаткую кафедру, замусоренную внутри, точно старая дворовая беседка, Антонов чувствовал, что у него в дверях буквально отняли жизнь. Не-существование Антонова продлилось до того момента, пока он наконец не увидел среди опостылевших первокурсников свою прогульщицу, обособленно сидевшую на затененном штормой месте у окна. Прогульщица, оттянув кулаком ненакрашенный, бледный, точно разваренный рот, лениво разлеглась над косо открытой тетрадкой, и когда Антонов наконец заговорил, она принялась черкать шариковой ручкой, изгрызенной в хрящик, время от времени вскидывая на преподавателя припухшие глаза, полные холодного внимания, явно не имеющего отношения к лекции, — так что Антонову показалось, будто прогульщица рисует на него карикатуру.

После Антонов узнал, что отбирать существование было главным Викиным свойством: она терпеть не могла, когда он, гулко кашлянув в надувшийся кулак, начинал говорить о себе. Те несколько довольно условных совпадений, что Антонов, с помощью сочувствующей тещи Светы (впрочем, часто не имевшей представления о месте пребывания дочери и о ее делах), все-таки обнаружил в своем и Викином прошлом, вызывали у нее демонстративную, ладошкой взбалтываемую зевоту. Вика не желала признавать, что Антонов был записан в той же, что она, библиотеке, переплетавшей потрепанные книги в пожарно-красный дерматин, что он мог ее встречать в единственном на город киноклубе, который откочевывал, по мере приватизации центральных ДК, на все более далекие и гиблые окраины — где чаще автобусов ездили трактора, оставлявшие на травяных обочинах полосатые следы, похожие на домотканые половики, да сквозило между деревянных крыш то или иное озеро, оставшееся в городе без естественных своих лесистых берегов, всего лишь с водой, отражавшей погоду, оживляемой изо всех природных явлений только ветром и дождем. Впрочем, Вика мало замечала пейзаж, особенно безлюдный (допуская, вероятно, его исчезновение за границей кадра и присутствие там невидимого зрителя); памятью на даты, впрочем, обладала великолепной и легко доказывала Антонову, что он если и присутствовал там же, где она, то раньше на несколько лет или хотя бы на несколько часов.

Никак не удавалось сократить это мистическое расстояние — тем более что город, где протекали их неодинаковые жизни, менялся с поразительной быстротой. На месте булочной, где студенту Антонову когда-то взвешивали, с грохотом нагребая из короба и осторожно растряхивая с совка на весы, его любимые молочные ириски, теперь располагался пункт обмена валюты; на месте скромной сапожной мастерской, где, бывало, небритый красавец приемщик задумчиво вертел измозоленную сбрую женских босоножек или постукивал, глядя на подошвы, парой прохудившихся башмаков, теперь сиял магазин «Меха», куда Антонов даже не решался заходить. Казалось, что разрушение,

как и строительство, ускорилося многократно: понизу улицы, особенно центральные, сплошь оделись в новое стекло и зеркала, выставляли мраморных и раззолоченных крылечек там, где прежде не было и вовсе никаких дверей, — зато наверху, если кто решался почему-либо поднять глаза от витрин и реклам, высились руины прежних добротных зданий, отсыревшие и выветренные, в пятнах небесных чернил, которыми были полны проходившие поперек дорожного движения сырые облака. Прошлое отделяла от настоящего inferнальная трещина, которая могла отныне только расширяться, — и непонятно было, как вообще удалось перебраться с другого края на этот и оказаться здесь, около Вики, настигнутой Ахиллесом юной черепахи, лениво жующей, согласно рекламе, полезную для предупреждения кариеса резинку «Дирол».

#### IV

Антонов и без Вики мог бы доказать, что жил в разрушаемом прошлом: предъявить хотя бы свои бумажки и картонки с нацарапанными полувыводами, совпадавшие краями с тем, от чего когда-то были оторваны, — с чужими блокнотами, с коробками из-под обуви, с экземплярами газет многогодичной давности, с обложками старых студенческих курсовых. Но эти лохматые шпионские билетки потеряли всякую силу, потому что нанесенные на них математические смыслы утратили способность развиваться и не совпадали, не были взаимно ключами и шифрами, как это мерещилось давнишнему счастливому Антонову, всюду срывавшему бумажки, будто листья в своем лесу райски расцветающих множеств. Что до Вики, то она вообще не понимала, зачем нужна эта коллекция потертых обрывков, где ей порою виделись номера каких-то давних женских телефонов. Очень скоро обнаружилось, что Вика не только не обладала способностями, минимально необходимыми на факультете, но и не испытывала ни малейшего уважения к науке, которую почему-то поступила изучать. Ее пятерки в школьном аттестате по двум элементарным дисциплинам, чьи благодушные задачки, снабженные простыми и удобными ответами, играли с детьми в поддавки, оставались загадкой; каким-то образом содержимым всех математических абстракций, предметом математики вообще, ей виделись деньги. Не то чтобы Вика хронически болела «красивой жизнью» или млела, шлепая страницами атласных журнальчиков, — но ей представлялось естественным, что если вещи и имеют в себе нечто помимо своего физического присутствия, нечто не видимое глазом и выражаемое цифрами, то это «что-то» — цена. Деньги казались Вике числовыми двойниками вещей (что подтверждалось свободным обменом одного на другое), — и сколько Антонов ни бился, но не сумел втолковать, что математика не считает какие-то единицы, а описывает мир. Позже бедность Антонова смутно воспринималась Викой как его научная простоватость, арифметический уровень личности, — тогда как ее осьминогообразный шеф, дополненный за огромным стеклянным столом множеством телефонов с витыми перепутанными шнурами, свободно оперировал, по налу и безналу, гораздо более серьезными числами, обладавшими к тому же свойствами реквизита эстрадного фокусника. Вика, пожалуй, подсознательно верила, что мрачный артист в нахохленной, как курица, чалме, усыпляющий предметы коварно наброшенным платком, производит научный опыт, — но Антонов не манипулировал платками и не выпускал из расписного короба молотящей воздух стаи голубей. Для глупенькой Вики, каждый раз встававшей в тупик, если латинская или греческая буква в уравнении означала не то, что в прошлый раз, ничего не могло свершиться чудесного в голых, как сараи, помещениях факультета, в аудиториях с ужасными черными досками — разделочными, кухонными досками науки со следами грязной тряпки и мелким мусором недостертых уроков: ошметками пиши, спущенной вариться в ленивые умы. Если бы кто сказал здравомыслящей Вике, что математика — не выпендрож иностранного алфавита, где все эти *abcd* вечно сидят на каких-то непонятных трубах, а приключение интеллекта и философский предмет, она бы только покрутила пальцем у тонкокожего виска.

Самым мучительным воспоминанием Антонова был первый, какой он принимал у Вики, простенький зачет. Зимняя сессия начиналась при минус двадцати пяти, безжизненный снег крахмально поскрипывал под туповатыми и словно очень маленькими, детскими ногами торопливых прохожих, трамвайные рельсы уходили, будто плавная лыжня, в заросший туманную мглу завешенного белыми деревьями проспекта, — и ненавидимые Антоновым первокурсники, в валенках и толстых свитерах, неуклюже и беззвучно оскальзывались на сером полированном камне университетского вестибюля. Накануне ночью Антонов не спал; стоило задремать, как ему невнятно слышалось, будто кто-то, мелко топоча, бегаёт наверху, без конца таскает там упирающуюся многоугольную мебель. Никогда, ни перед одним из доброй полусотни сданных за жизнь экзаменов, Антонов не волновался, как теперь: ему мерещилось, будто он и сам все перезабыл — при попытке думать о простеньких, машинализно известных ему темах завтрашних билетов впадал в неуверенность, какую вдруг испытываешь, когда переспрашивают номер квартиры старого-престарого знакомого или собственный твой домашний телефон.

Ощущение, будто над головою происходит некое движение, небесная перестановка долго и крепко стоявших на месте вещей, не исчезло и тогда, когда Антонов уместился за низеньким столом, возле покрытого ледяными перьями окна. Перед ним легли совершенно чистенькие, деревянные от новизны зачетки первых пяти добровольцев — как пить дать будущих отличников, красы и гордости курса, всегда сидевших, вслед за пустующим первым, во втором ряду аудитории и знакомых Антонову буквально наизусть. Эти пятеро — среди них одна свирепая низколобая личность с прыщами как помидорные семечки и одна совершенно фарфоровая девушка с ошибочными движениями всегда дрожавших рук — ответили бойко и довольно приятно; за ними потянулись другие — долго, муторно готовились, мусолили три листка казенной бумаги и, отлично видные Антонову, вытягивали из каких-то потайных карманов длиннющие шпаргалки. Вика все не шла; уже билеты перед Антоновым лежали не широким веером, а жидкими отдельными полосками, уже он продрог от окна, где стекла, превращенные ледяными узорными рамами из прямоугольников в портретные овалы, были бумажно пусты.

Наконец она появилась, буквально ворвалась — нетерпеливая и растрепанная, в короткой юбчонке: ее колени в тоненьком нейлоне, полусогнутые от высоких каблуков, атели как яблоки. Теперь Антонов уже совершенно не мог выслушивать отвечающих, что качались перед ним, будто змеи перед факиром, и только автоматически, шоркая локтем, заполнял зачетки. Каким-то образом почувствовав его отсутствие, студенты расселись вольготнее, на пол шумно свалился учебник; Вика, высоко подняв левое плечо, царапала что-то у себя на листке, минутами знакомо, словно на обычной лекции, взглядывая на Антонова, — и тому опять мерещилось, будто Вика, как на лекции, рисует его горящее лицо. После, сделавшись ее законным мужем, он будет только удивляться тому, что никакими реальными надеждами не питалась его банально-беззаконная любовь. Антонову даже не мечталось, что, может быть, его схематичные черты, являвшие зеркалу единственно нос, унылой стрелой указующий неизменно вниз, могут быть запечатлены на Викином листке с каким-то трепетным чувством (впрочем, после выяснилось, что Вика вовсе не способна к рисованию и только может, будто дошкольница, обводить на бумаге свою распластанную ладошку, которая получается и больше, и как-то слабее настоящей — пятиконечная лапа, странно выражающая своей пустою белизной неумелость оригинала, ни на чем не оставлявшего заметного следа). Тем не менее ее прерывистое внимание на лекциях Антонов приписывал не предмету, но исключительно собственной персоне, долбящей доску тупым, до кубика сточенным мелком, — и теперь ему до смерти хотелось вскочить, подбежать, сцарапать со стола проклятые листки и увидеть наконец, что она там наковыряла синенькой кивающей ручкой, в то время как сосед ее, белокурый юнец с ушами будто человеческие эмбрионы, все отлично видел и все ближе

подъезжал на отставленном локте, ласково переглатывая, уже почти положив на Викино плечико костлявый подбородок.

Антонов, собственно, никогда не думал, что этот зачет окажется таким испытанием: молодые туманные болваны с шерстяными плечищами и страдальческие девицы, состоявшие из пятен и очков, проходили перед ним непрерывной чередой, а мучительница, с соседом на плече, все корпела, все шелкала расхлябанной ручкой, и когда ее колени непроизвольно стукались, книга, лежавшая, словно в колыбели, у нее в подоле, захлопывалась и глухо чихала. Наконец она поднялась, прошагала разболтанно, какой-то виляющей, икающей походкой, опустилась на краешек стула, подскочила, устроившись поглубже. Быстроглазая сощуренная Вика не знала ровно ничего: то, что ей удалось списать (нечувствительно стачав одно доказательство с другим по ложному сходству выражений и по прихоти слипшихся страниц), никак не относилось к теме измусоленного билета номер два, а решение задачи напомнило Антонову попытку перелезть через падающий забор. Он совсем одурел от близости ее, от завитых в шелковые трубочки локонов с плоскими корешками, от жалобного запаха каких-то оттаявших духов, от касания колен, напоминавшего трение легонькой лодки о грубый причал, изнемогший от поцелуев лнувшей и липнувшей снизу воды, — потому что Вика теперь раскачивалась на стуле, пытаясь сочинить какое-нибудь новое решение, и глаза ее в набухшей слезинками краске превращались в размокший чернослив.

«Вы ничего не знаете», — убито произнес Антонов, не совсем понимая, что конкретно имеет в виду: предмет или собственные чувства, которые вдруг, прямо в разгоревшейся апельсиновым солнцем аудитории, переросли в такое дикое желание, что Антонов боялся скрипнуть стулом, чтобы не выказать своего горячего неудобства. Он чувствовал — сквозь ритмичное шевеление толкавшей его волны, — что не знает столько же или даже больше, чем ерзающее перед ним мокроносое существо, — что он, Антонов, провалился на зачете и на месте базовых сведений у него зияют пустоты, где ему и Вике, пребывавшей там же, в незнании, просто нечего друг другу сказать. Невыносимо красивая, с этой перечной родинкой и гневными глазками, высохшими в два неодинаковых пятна, его оскорбленная первокурсница забрала зачетку и пошла туда, где на дверь ложился, не совсем совмещаясь, косо набегаая с пола, золотой оконный отпечаток. «Послезавтра, в четыре!» — каркнул ей вслед Антонов, но Вика даже не оглянулась и вышла не в солнце, предлагавшее как-нибудь иначе повернуть зажатую бликом дверную ручку, а в туподеревянную, толсто крашенную створу двери, в бубнящую темноту коридора, откуда сразу высунулось чье-то озабоченное лицо в сильных, как магниты, прямоугольных очках. Медленно остывая на твердом натертом сиденье, симулируя для сопящих и вздыхающих болванов печеночный приступ, Антонов кое-как довел до конца этот безумный зачет, стараясь только, чтобы не выскочила еще одна кандидатура на послезавтрашнюю передачу. Он уже мысленно промерял протяженность ни на что теперь не годных пятидесяти часов, испытывая особенное отвращение к завтрашнему вечеру, когда придется «наносить визит» квартирной хозяйке и чинно чаевничать с нею под маковым цветком обветшалого абажура, вежливо надкусывать засахаренные вензели домашней стряпни, всегда осыпаящиеся, в отместку за отломанный кусочек, неудержимыми колкими крошками. Отправляя восвояси последнего не верящего своему счастью кретина (того самого, белокурого, наивно списавшего у Вики третий вопрос), Антонов малодушно решил позвонить хозяйке и объявить о своей неплатежеспособности, а деньги, уже приготовленные в свежем, с цветочной картинкой, конверте, пока что оставить себе. Все еще держась за печень, хотя его уже никто не видел, он вылез в тихий, посмурневший коридор. Вика, заплаканная и напудренная, с толстым ватным носом, с осевшим портфелем в ногах и учебником в опущенной руке, поджидала его у выхода на лестницу, ведущую, если хорошенько поскользнуться, через замерзшее окошко напрямиком на мозолистый лед, под колеса машин.



После Вика охотно слушала про то, как Антонов страдал во весь осенний семестр, когда у нее, по собственному ее признанию, «тоже была хандра». Эти четыре месяца тяжелых погодных перемен, с плаксивым выражением очень длинных, долго обходимых луж, с напористым ветром, ломавшим, точно веники, прутьяные хлипкие зонты, были единственным временем, когда Антонову разрешалось существовать как персонажу Викиного прошлого. Впрочем, в его признаниях, сперва добровольных, а потом получаемых при помощи поцелуев, оставалось, по мере повторения, все меньше жизни и правды. Вика, между прочим, не преминула заметить, что Антонов представлялся ей самым тяжелым занудой, которого невозможно слушать, потому что зануда, сгорбившись, точно канюк, на кафедре или колотясь у доски, клекочет исключительно для самого себя.

Еще, несмотря на маленький рост, заставлявший ее порою даже на высоких каблуках подниматься, смешно припрыгивая, на короткие цыпочки, Вика первая разглядела (именно в месяцы, когда держалась от «зануды» на приличном расстоянии) первую нежную лысину, засквозившую на макушке Антонова; сам Антонов, сколько ни приседал и ни бычился перед зеркалом, видел только странный ракурс угловато обтянутого лица да поредевший хохолок с паутинкой ранней седины. Тем не менее голове Антонова теперь частенько становилось холодно и незащитно, ему казалось, будто кто-то сверху дует ему на макушку, точно на белый, растрепанный, дрожащий одуванчик; он приобрел неосознанную привычку поглаживать себя по голове теплой укрывающей ладонью, на что жестокая Вика также не преминула невинно указать.

Антонов никак не мог постичь, почему не такая уж роковая разница между Викиными семнадцатью и его тридцатью двумя заставляет его иногда ощущать себя покорным стариком. Когда-то давно, в свои университетские лета, Антонов прочел в темноватых, занимавших обувную коробку фотокопий роман одного эмигрантского писателя, на долгое время ставший его упоительной и жгуче-стыдной тайной. В романе, порождавшем грешные сны, американская малолетка погубила ученого, или он ее погубил, — но там действительно разверзалась пропасть, потому что девчонке, Лолите, было не то двенадцать, не то тринадцать и любовь действительно была преступлением, а не «метафорой преступления», как думалось молодому и умному Антонову о любой взаимности женщин и мужчин. Именно эта буквальность и поразила его в романе более всего; буквально и он сделался преступником, когда вступил в половую связь с несовершеннолетней, — когда сквозь страшный землестый мороз, в котором солнце горело, будто красный габаритный автомобиль, незадачливый доцент, со склеенными инеем безумными глазами, потащился к студентке домой «объяснять материал». Для передачи зачета не потребовалось двухсуточного перерыва: хватило полутора часов «занятий», во время которых двоечника ерзала на стуле, не удосуживаясь поправлять измявшуюся юбку; наконец Антонов, опутав жертву объяснениями и словно бы растянутой ее немой, не слишком яростным сопротивлением одеждой, в каком-то трансе совершил безумие — и ветхая тахта смешно повякивала под ними, будто игрушечный медвежонок.

Вот как это произошло. Антонова, наверно, стоило убить, но он был настолько счастлив, утешая драматически курившую Вику, целуя на ней припухлые следы своих недавних сумасшедших поцелуев, красиво, с филигранной дрожью руки и пера, заполняя зачетку, самолично найденную под тахтой, — что его не взяли бы ни яд, ни автомат. Чувство это было, наверно, подобно чувству человека, избежавшего гибели в какой-нибудь невероятной передрыге и как бы получившего в подарок сразу все радости земного существования. Такому спасенному подсознательно кажется, что оставленную жизнь будет теперь проживать не он, а какой-то другой, более свободный человек, — сказать по правде, такой же абстрактный, как и тот персонаж, которого имеет в виду ребенок, когда его спрашивают, кем он будет, когда вырастет большим. Внезапное вырастание и достижение первоначального идеала, того боль-

шо го человека, готового хоть сегодня отправиться в Африку или полететь на Луну (не способного, однако, понимать реального Антонова и погружаться во взаимоотношения математических частных, для которых скрытое целое являлось, надо полагать, все объясняющим и все разрешающим Богом) было для Антонова неожиданным последствием близости с Викой. Это было нечто совершенно новое, не испытанное ранее ни с одной из немногих, редко разбросанных по жизни женщин, — тем более не получалось с той, чьи большие и тихие руки, всегда одной температуры с антоновским телом, напускали истонную сонливость, сквозь которую еле-еле удавалось — едва ли уже не в воображении — довести нехитрое занятие до скромного финала. Близость с новой Лолитой напоминала отчаянный и оглушительный аттракцион лучшего в мире Луна-парка, в котором непонятно как, но неизменно остаешься цел и поднимаешься на деревянные ноги, не очень веря встречной твердости земли. Потому что сюжеты таких аттракционов (простейшие по сравнению с уровнем техники, аляповато намеченные в дизайне несущейся тележки или в грубых рисунках по дощатой обшивке павильончика) были того же космонавтско-первопроходческого, героического рода, что и предполагаемые деяния человека, выросшего большим, — Антонов с радостью, уже известной ему по его таинственной и благостной науке, ощущал гармонию процесса и результата. В отличие от многих героев литературы и жизни, он беспрепятственно пожинал плоды преступления, — и эти плоды были гораздо щедрей, чем могла бы собрать любая добродетель.

К недоуменному огорчению Антонова, Вика как будто не разделяла его беззаконного счастья. В постели она словно бы вовсе забывала об Антонове и глядела магнетическими глазами ему через плечо, потираясь головой о подушку и пяткой о край тахты, с которой постепенно переваливалось на пол груженное их одеждой ползучее одеяло. Как только затихали последние толчки, Вика сразу начинала искать в открывшемся развале свою пижонскую косметичку. Лежа рядом с нею, пытаясь затаить все еще тяжелое и частое дыхание и срываясь от этого на кашель, Антонов думал, что, может, он для Вики просто кое-как намеченный черновик. Иногда ему казалось, что разница в возрасте между ним и Викторией гораздо больше и преступней, чем между школьницей Лолитой и несчастным Гумбертом, который не совладал со своим кровосмесительным отцовством, потому что девчонка, одновременно и дочь и любовница, стала для него до такой невероятной степени единственным человеком, что не захотела этого терпеть. Возможно, в отдаленности Вики от Антонова отражалось нечто общее для всех растерянных от жизни и вечно от чего-то «фанатевших» ее ровесников. У этих долговязых и бледных детей, нескладных, будто пирамида из двух стоящих друг на друге акробатов, представляющих под общим балахоном шаткого ярмарочного великана, — у них личное пред-бытие пришлось на время, когда под балахоном великанского государства уже зашевелились будущие перемены, готовые сбросить шутовской разрисованный покров. Переход от нейтральной — готовой для учебников — истории общества к индивидуальному стечению обстоятельств, ведущих или не ведущих к рождению человека, совпал для этих детей с ситуацией, когда все вокруг сделалось неопределенным. В рождении каждого такого существа заключалось гораздо больше случайного, чем это нормально бывает у людей; вместо них, взятых в совокупности, мог бы жить другой народ, опять-таки случайно не явившийся на свет. Они и несли в себе эту случайность, частичность — юные люди с неопределенными уличными лицами, со странной несогласованностью между походкой и зрением: будто они вышагивали вслепую, будто их нелепо длинные ноги и правда принадлежали нижнему, скрытому балахоном акробату, а верхний только управлял, сутуло покачиваясь, окидывая рассеянным взглядом пассажира людскую суету. Разница в возрасте усугубилась каким-то повреждением механизма времени; между Антоновым и Викторией словно бы разверзлось не одно десятилетие. Повреждения сказались и в том, что теперь достопамятный роман, когда-то полученный для чтения на не-

сколько ночей, свободно продавался в веселеньких книжных киосках и даже имелся, среди потрепанной фантастики и еще советских детективов, на расстеленных газетах, около которых прохаживались или сидели на корточках незаконные мелкие продавцы. Когда-то роман, ставший лучшим украшением антоновского одиночества, передавался по длинной, на много месяцев распisanной очереди и связывал в мистическую цепь множество людей; теперь же его общедоступность — каждому желающему по экземпляру — ошарашивала Антонова. Он не мог себя принудить купить «Лолиту» на глазах у множества народу, не составлявшего, однако, никакого целого: каждый здесь имел по экземпляру самого себя, и только одиночество было общедоступно. Зато среди этой толпы Антонов сознавал, что может кичиться своей мужской и человеческой удачей, молча радоваться тому, что он, непризнанный и лысый, все-таки не один.

## V

Может быть, ревность Антонова началась как раз со злополучной лысины, которую сам он, вероятно, обнаружил бы не раньше чем через несколько лет. То, что главный виновник его несчастья (который, в отличие от Антонова, формально преступником не был) оказался впоследствии совершенно лыс, лыс, как осьминог или Фантомас, показалось Антонову злейшим сарказмом судьбы. Этот не проявленный до времени человек, этот шеф полуреальной конторы, словно выложенной в виде веселенькой мозаики на стене обыкновенного дома с опухшими и пьющими жильцами, не имел на голове ни единого волоса, и даже по дугообразным, много выше очков расположенным бровям, которые он, по-видимому, красил каким-то новейшим парикмахерским способом, невозможно было определить его первоначальную масть. Лысина его, отражавшая, будто собственный нимб, любую горящую лампу, была замечательно ровного желтоватого цвета, всегда присутствовавшего и в рисунке его болтливо-пестрых галстуков; при том, что Викин шеф совершенно свободно двигал рубчатой кожей на лбу, основная лысина казалась приклеенной к черепу, даже были как будто видны отверделые пятна, где клей оказался залит и прижат. Этот человек вздыхал, когда садился, вздыхал, когда вставал, иногда сморкался в радужно-клетчатый платок со звуком, напоминавшим аварийный визг автомобильных тормозов; сидеть рядом с ним на диване (что случалось нередко во время псевдодемократических вечеринок, где никто, однако, не смел выпить больше положенного уровня) было сущим мучением. Словно желая побыть в анонимном одиночестве среди оживленной толкотни рядных подхалимов (четко разделенных симметрией офиса на важных и гораздо менее важных персон), начальник ни на кого не глядя бухался на свободный край общедоступной мебели; его раздражение, бесконечное уминание под собою персональной ямы, нервное трясение высоко закинутой ноги физически чувствовалось всеми, кто имел несчастье быть застигнутым на коллективном насесте. Застигнутые старались держаться прямо и желали только одного: не свалиться на хмурого шефа в придачу ко всем несчастьям, которые тот, по-видимому, стойичко переживал. Иногда он сам, замахая рюмашку за рюмашкой, в одиночку переходил установленную границу — но все-таки лез за руль своего «мерседеса», всегда стоявшего поодаль от других машин, с черной дамской вуалью из лиственных теней и неясными игрушками за ветровым стеклом, которые при круговом выруливаннии на покатуую и пеструю дорожку разом начинали плясать, будто какие-то приборы, регистрирующие близость аномалии — или маячившего впереди фонарного столба.

Ревность Антонова как-то не выделяла этого страдающего типа из ассамблеи Наполеонов, всегда окружавших его невинную жену. Единственный, кто взаправду мог претендовать на место в Викином незрелом тверденьком сердечке, был покойный Павлик: по отношению к нему Антонов испытывал неловкое чувство, будто он, преподаватель, всерьез враждует или соревнуется

с подростком, которому смерть придала какие-то ложно-взрослые, даже, пожалуй, стариковские черты. Про остальных мужчин не было ничего известно наверняка: к их расплывчатому сообществу мог быть причислен любой, кто в университетском гардеробе подавал неторопливо изготовившейся Вике рыжее пальтишко с одним набитым, как верблюжий горбик, рукавом или исследовал тяжелым взглядом ее виляющую, ломкую походку, в которой мнилось что-то от попытки расписаться левой рукой, от угловатого полета бабочки на ветру. Неверность была, в представлении Антонова, не отношением Вики с неизвестным соперником, но собственным Викиным свойством, чертой характера, возможно, существующей только в его, Антонова, воображении.

Ревность Антонова постоянно держала Вику на виду. Нестерпимо было хотя бы на минуту выпустить из луча драгоценный предмет — и тщетно Вика на прогулках обращала внимание Антонова на темневших тут и там потенциальных поклонников, странно невидных из-за полной поглощенности просмотрением и искажавших собою течение толпы, как искажает негорящая буква течение световой рекламы. Праздношатающийся Антонов, как и остальные угрюмые Бонапарты, видел только Вику, от упругого хвостика на затылке до мелькающих каблуков, и плелся за нею, выполняя ею выбранный маршрут, нисколько не интересуясь киосками и торговыми чумами с многоярусным трикотажем, в которые приходилось то и дело слепо утыкаться. Удивительно, но именно угрюмость проступала на лицах всех заприметивших и пожелавших Вику мужчин; возможно, что отчаянье и маета ее отгуженного шефа, зачехотавшего тонкие, как машинная строчка, пижонские усики, были того же порядка, — возможно, именно они служили приметой имевших место отношений, о которых Антонов узнал последним из всех заинтересованных людей.

Ревность заставляла Антонова во время жениховства проводить непомерно много времени в праздности, которая для Вики была абсолютно естественна; ее совершенно не интересовала его заброшенная монография, более того — она была уверена, что все действительно талантливое делается за несколько минут. Антонов малодушно уходил от обсуждения природы творчества, которое разгоряченная его подружка продолжала сама с собой, перевирая фразочки из своего пошлейшего цитатника мудрых мыслей — тяжелого залистанного тома, как бы имевшего в переплете некий мускул, благодаря которому его упитанная толща слитно колыхалась и меняла форму, будто шепелявый глумливый язык. Заглянув туда разок-другой, Антонов обратил внимание, что цитатник составлен по принципу кулинарной книги; темы глав были намного уже собранных высказываний, что вызвало у него неприятие в смысле множеств и подмножеств, — но потом внезапно оживило в мозгу некую неуверенную точку опоры и поворота, обещавшую больше, чем было понято до сей поры. Благодарный за эту драгоценную точку, принадлежавшую в целом свете ему одному, он не особенно анализировал Викин максимализм, требующий, чтобы «подлинный» талант содержал в себе, словно подарочная коробка, все уготованные им для человечества продукты, в любой момент могущие быть предъявленными для проверки на «подлинность». Вика была уверена, что все «настоящее» должно возникать ниоткуда, как бы «не от себя», — и порою Антонов задавался вопросом, как она представляет себе исходную сущность или существо, соотносится ли оно с христианским Богом или с неким абстрактным Небесным Начальником, назначающим того или иного индивида, к примеру, гениальным живописцем либо прирожденным доктором математических наук.

Было, во всяком случае, что-то почти религиозное в ее стремлении к пустоте, к ничегонеделанью, к погружению в бесконечный настоящий момент, порой до крайности ее утомлявший. Вика словно специально держала чистым собственный ум и категорически отказывалась прочесть целиком те классические труды, которые так часто и с пафосом цитировала; а может, ей

это просто казалось лишней работой, уже проделанной составителями цитатника, за что она и заплатила, покупая книгу. К удивлению Антонова, скоро обнаружилось, что Вика ожидает от него, как от нормального влюбленного, чтения стихов. Для этого она сознательно выбирала обстановку — искала и находила в самых светлых кварталах подходящий кадр с раздобрешей березой и меланхолической перспективой, желательной еще с какими-нибудь сентиментально-парными предметами вроде беленых цветочных чаш или новеньких, похожих на стаканы в подстаканниках чугунных фонарей. В этом обрамлении Вика принимала позу выжидательной задумчивости, глаза ее пустели и подергивались дымкой. Антонов и правда перечитал за жизнь множество стихов: он с четырнадцати лет питался ими — сначала неразборчиво, радуясь уже одному отсутствию «ленинской» либо «рабочей» темы и считая любого маломальского лирика героем, после гораздо более взыскательно, не удовлетворяясь сходящимися, как карточные фокусы, разнополюми рифмами и прочими пасьянсными эффектами иного мастерского стихотворения, но отыскивая, как верблюду, ту глубокую влагу, что будит спящие обычные слова и, приподняв, пускает их по строке. Антонова привлекал в стихах поразительный закон сохранения слов — каждое слово, как билет, до конца поездки, — не действующий более ни в каком разряде литературы. Правда, некоторые стихи он помнил не наизусть, они удерживались памятью как бы в виде неполного отпечатка, с пробелами ритмической немоты, — но именно это и сообщало им удивительно яркую жизнь, точно Антонов угадывал авторский черновик и разделял волнение создателя, только еще расставившего по местам основные паролы и отзывы, но не проникшего в главную тайну. В общем, Антонов мог бы почитать для Вики кое-что хорошее — и в то же время не мог. Что-то подсказывало ему, что Вика, ожидавшая, облокотившись, под каким-нибудь романтическим локоном пейзажа, будет просто оскорблена, начини он ей читать не совсем про любовь. Антонова, в свою очередь, корбило, что Вика провоцирует его на стихоизвержение ухватками, какими скромницы обычно провоцируют кавалеров на вольности рук; однако, когда он пытался заменить декламацию всего лишь теплым поцелуем в щекотную детскую завитушку, что оставалась у нее за ухом от поднятых волос, возмущенная Вика грубо вырывалась и цокала прочь.

Антонов, автоматически устремляясь за убегающей Викой, ловил себя на том, что совсем не пытается ее изучать: ее неверность как свойство души отрицала всякие связи причин и следствий, побуждений и поступков; никакая ревность не заставляла бы Антонова рыться в завалах ее бумаг или читать невнятные (местами явно срезанные ножницами) подписи на оборотах Павликовых фотографий. Антонов даже не задавался вопросом, по-настоящему ли любит его молоденькая индивидуалистка: неожиданные Викины поцелуи, похожие на безграмотные запятые в скорой ее болтовне, были всего лишь проявлениями собственной ее пунктуации и прихоти. Наверное, Антонов пока еще не был готов по-настоящему встречаться с Викторией; он просто хотел держаться около нее, и хотя стеснялся молодежи в тяжелых хлопающих кожаных, неторопливо, с мерностью песочных часов, запрокидывающих к мокрым губам бутылки рыжего пива, но и радовался этим глупым детям как свидетелям, несомненно запоминавшим возле запоминающейся Вики такого длинного меланхолика, у которого пестрый турецкий свитер гораздо новее брюк.

Несколько раз Антонов приводил принарядившуюся Вику к старинным своими приятелям, еще сокурсникам, чье существование доказывало хотя бы то, что прошлое Антонова не исчезло бесследно. Собственно, оставался Алик, отравивший за последние годы изрядное брюхо, делавшее его похожим на матрешку, разделенную на половинки брючным ремнем, и Саня Веселый, когда-то смешивший всех своими обезьяньими выходками, а теперь действительно ставший как печальная больная обезьяна, с темной бодюю в обвисших морщинами глазах и с опущенными вдоль тела тяжелыми лапами, равнодушными,

будто карманы, иногда неловко бравшими бутылку. Оба были давно и монотонно женаты; супруги их, поначалу совершенно разные, сделались с годами похожи, как сестры, и стали готовить одинаковые сытные борщи, превращавшие кастрюли в неподъемные тяжести. Здесь еще помнили предыдущую подругу Антонова и говорили с Викой неестественными добрыми голосами, будто с чужим ребенком, на что она отвечала противным манерным кокетством — не столько ела, сколько прихорашивала содержимое своей тарелки и норовила чокнуться рюмкой с хозяином дома, избегавшим смотреть за вырез ее чрезмерно дамского платья, где рисовались в наклоне две нежные сосульки и узкая грудная кость. Антонов чувствовал, что присутствие Вики смущает всех, включая детей, которые за столом толкались и топили хихиканье в болбочущих кружках, выглядывая оттуда с блестящими глазами и мокрыми подбородками, — а потом их возбуждение переходило в буйное веселье и драку, отчего линияльные семейные пожитки, упрятанные в сравнительно новую мебель, оказывались бесстыдно вывалены на сравнительно чистый палас. Антонов, конечно, и мысли не допускал, что Викино кокетство может как-то подействовать на его друзей. Но ему почему-то не нравилось, что Вика, третируя обидчивого Алика и за глаза называя его «конфетным фунтиком», необъяснимо симпатизировала Сане и с готовностью разглядывала его пропыленные, сильно обедневшие коллекции минералов и значков, болтавшихся на рваных, как куски яичницы, поролоновых пластах, — а Саня, извлекая для госты на глазах жены этот забытый домашний хлам, не расцветал, а мрачнел, так что под конец уже не мог выдать ни слова и только мучительно скалился, показывая высоко заскобленные десны и старые трещиноватые клыки. Не отношение к Сане, а разница сама по себе была тревожно-подозрительна; кроме того, Антонов, несколько раз погостив семейно, почувствовал разочарование. Мир его прежних друзей, уже почти не встречавшихся между собой, становился, по общению и по интересам, все более женским — полным забот о покупке еды и выкраивании денег на ремонт, выкраивании времени на безделье в пределах собственной мебели, расставленной по стенам и лучше всяких стен ограничивавшей передвижения и желания своего владельца. Антонов рядом с юной Викторой стремился быть или хотя бы выглядет настоящим мужчиной; получалось, что он мог добиться этого только вопреки своей давнишней молодости (где тоже, между прочим, были рискованные походы на тихие, глотавшие огонек зажигалки старые шахты, похожие из-за лиственничных крепей на погребенные заживо избы, и были даже вызовы в КГБ за перепечатанные на пару с Аликом диссидентские стихи). Антонов понимал, что из-за Вики прошлое уже не с ним; он под каким-то туманным предлогом не повел ее на день рожденья к растолстевшей и страдавшей высоким давлением Саниной жене, что вызвало у Вики приступ злобной хандры. Ею был приготовлен, чтобы показаться «теткам», неимоверно узенький костюмчик, сшитый, на взгляд Антонова, из каких-то плохо совпадающих частей; поскольку у Вики имелось свойство на каждый праздник, чей бы он ни был, делать подарок прежде всего себе, теща Света без единого слова выложила ей четыре тысячи пятьсот, — ну а раз событие не состоялось, Антонову пришлось тащить ее за огрызающейся Викторой в «клуб». Клубом оказался крепко зарешеченный полуподвал, прежде принимаемый Антоновым за винный магазин; там, среди квадратных, будто табуретки, до самого пола укрытых бумагой столов и дико расписанных стен, перетапывались под музыку, словно едва выдерживая друг друга, задастые пары, между парами шатались полурасстегнутые типы с неуверенными, странно замедленными глазами, похожими на шарики, которые загоняют в лунку, качая в руках коробочку с игрой. Вечер вышел из самых худших: Вика не встретила ожидаемых знакомых, всем вокруг был по фигуре ее костюмчик из бутика «Евростиль»; Антонов, двигавшийся по «клубу» с опаской (может, из-за того, что музыка стояла где-то на полу), налетел спиной на перепуганное, обещанное спутанными бусами существо и, ударившись головою о банальное, задвинутое в угол

пианино, набил огромную шишку, похожую на поднявшийся в хвое и травке молодой груздок.

С этих пор, окончательно расставшись с друзьями собственной юности, он покорно следовал за активной Викой на все мероприятия. В оглушительных концертных залах на тысячи кишашщих мест, где музыка лупила из динамиков и не было, казалось, ни малейшей надобности в далекой сцене с блистающей и скачущей фигуркой певца, Антонов отсиживал смиренно, будто в чинной, по головам и рядам распределенной филармонии, целиком обращенной к гармоничной и стройной механике оркестра. Модная в городе дискотека за один-единственный раз до смерти утомила его духотой и бесплотным скольжением прожекторов, что бледно пронизывали ритмичную толчею и вдруг проливались, округлым желтком из своей железной скорлупы, прямо на застывшего Антонова, оставляя его в ослеплении, — пока не проступал перед глазами сосредоточенный, косо залезанный бармен, с клиновидными тенями на длинном лице и с каким-то профессиональным соответствием между галстуком-бабочкой и высоко приподнятыми остроугольными ушами, раскладывающий по коктейлям, словно сахар по чайным чашкам, толстые кубики белого льда. В этом мире, где даже кусочки застывшей воды странным образом обращались в сладости, Антонова поражал агрессивный, с неперменной прокладкой ритмически сердечной музыки, оглушительный шум. Если сам он при этом шуме был способен только молчать, то приятели Вики, словно приводимые в действие звуковыми толчками, начинали активно общаться, передавая по кругу приторно тлеющие, грубо набитые сигаретки, чей густой, как лапша, сытно разваренный в воздухе дым выпускался из молодых глубоких легких словно меловая пыль. Несколько раз пришлось посетить пресловутый «клуб»; однажды там проводилась выставка из четырех квадратных, как столы, темноватых картин, где схематичные человеческие профили с пустыми, четко прорезанными глазами напоминали гардеробные бирки, и десятка мелких абстрактных скульптур, которые понравились Антонову как бы естественным забвением форм реального мира, каким обладают многие точные механизмы. Зато ему не понравились незнакомцы, явно имевшие отношение к выставке, — интеллигентные перестарки его примерно возраста, с посеребрёнными бородками, укрывавшими нежный одутловатый жирок, и с волчьими взглядами, бросаемыми на ушибленных и мирных завсегдатаев «клуба»; один из незнакомцев, поговорив о чем-то с верглявой, до ушей покрашенной Викой, помрачнел и, отвалив разболтанную крышку давно оглушенного посторонней музыкой пианино, набрал на нем одной рукой что-то тоненькое, жиденькое, пролившееся как водица из испорченного крана в гулкую пустоту гудящих голосов — и почему-то запомнившееся Антонову, как много других мелочей, про которые он не знал, что с ними нужно делать и куда приложить.

Праздные прогулки по хорошей погоде, превращавшей в перец городскую жесткую пыль, обостряли у Антонова чувство безалаберно улетающего времени, буквально пускаемого на ветер, ставший из-за лысины врагом Антонова. Он добросовестно пытался по крайней мере теперь нанести себя на простенькую карту Викиной реальности. Он не выражал протеста, когда его наивная подруга из свойственного ей понятия об устройстве города выбирала, чтобы шляться, торговую толкучку, преобразившую некогда пустоватый, ровнейшими квадратными метрами серогулких плит выложенный центр в изобильный и тесный развал. Вика любила места, насквозь озвученные бьющими по ушам киосками магнитофонных кассет, которые дополнялись сумбурной музыкой из наплывавших на перекрестки автомобилей да рваным баритоном здорового мужика в растворявшихся на воздухе седых волосах и бороде, по виду того самого дворника, который когда-то заметал с безлюдных плит скромные бумажки да мучнистый, скудный прах прожитого дня, а теперь вот пел, рывками вздымая грудь в расходящемся, дополнительно отвернутом медалями пиджачишке. Иногда Антонов и Вика гуляли почти одни, в невесомости тополевого пуха, превращавшего лужи в сухие заячьи шкурки, — на задворках при-

возной торговли, где часто попадались мемориальные доски на крепкой, как точильный камень, кирпичной кладке старых домов, покосившиеся павильоны кружевного чугуна, чугунные же бюсты неизвестных писателей или ученых в окружении жестких ушастых цветочков, толстые пушечки с яблочной горкой червивых ядер, с бумажками от мороженого в мирно нагретых стволах. Беспokoйная Вика то и дело забегала вперед, обнимала голыми руками какую-нибудь неудобную, отвернувшуюся статую или облокачивалась, выгнув спину, о балюстраду пруда, где отражение Дома Правительства, целое у основания, постепенно размывалось колебательными полосами и оставалось без верхних этажей, замененное томным и солнечным сиянием воды. Вика улыбалась Антонову, словно в объектив, а он переминался с пустыми руками, не имея фотоаппарата и не умея с ним обращаться, не смея пересечь черту, за которой начинался кадр.

Иногда Антонову мерещилось, что она замирает и смотрит на него перед тем, как исчезнуть. Мучением Антонова были улицы, полные автомобилей: Вика, выкрутив руку, которую Антонов порывался схватить, безо всяких светофоров устремлялась вперед и через минуту уже запрыгивала, вильнув каблучком, на противоположный тротуар, — а растерянный Антонов замирал, не в силах уследить одновременно за мельканием ее как будто неподвижной фигурки и потоком слишком близкого и слишком неожиданного транспорта. Улица с автомобилями, будучи двойным потоком зеркал, буквально разнимала Антонова на множество угловатых и растянутых частей, оставляя только ужас, что, пока он медлит, Вика убежит или обернется афишей, будкой с абонементом, любым вертикальным, подходящим по цвету пятном. Может быть, Антонов чувствовал в улицах с автомобилями какую-то знобящую подсказку относительно будущего; собственное не-существование странно обостряло восприятие реальности, включая постоянное движение над головой, где высокие облака, будто улитки с чудовищно сложными раковинами на спине, волочились и пятнали зубья полуразрушенных домов. Вечерами, когда низкое солнце становилось особенно внимательно и рассматривало на просвет каждый древесный листок, косые тени на расщепленных, полосатых сторонах углубившихся улиц казались Антонову похожими на ответы, что печатают, курсивом и вверх ногами, под загадками в детских журналах, — но он никак не мог принять такого положения, чтобы хоть что-то прочесть. Близость ночи, проступавшей не тьмою, но бледностью асфальта, стен, просохшего и полегчавшего на воздухе белья, делали Викино лицо удивительно пустым, и Антонову приходила непонятная мысль, что даже это призрачное междувременье не может вызвать у нее ни малейшего страха смерти.

## VI

Сложный и своеобразный оттенок ревности Антонова порождался обстоятельством, не сразу им обнаруженным, но тем более разительным: у памятной Вики, никогда не ошибавшейся относительно дат и никогда не затруднявшейся соотнести день недели и число, совершенно не было чувства времени — не имелось даже простеньких ходиков, что тикают в самом несложном уме и позволяют жить в согласии с природным календарем. Вероятно, отсутствие чувства времени было как-то связано у Вики с полным отсутствием математических способностей; только память, где формулы высекались недвижно, будто на гранитной скале, помогала ей кое-как перетягиваться через экзамены, после чего коллеги иронически косились на Антонова или откровенно сочувствовали, предлагая перевести его «подопечную» в педагогический институт. Над самой простенькой, едва ли не школьной задачей Вика зависала, словно в невесомости, и могла неопределенно долго покачиваться на стуле, держась за виски и растягивая пальцами глаза; бугор леденцов за щекой или синяя тень от ветки на невымытом окне, придававшая всему наружному дымчатому миру странную двуслойность, погружали Вика в подобие транс,



отчего в духовке пригорал до черной смолы давно обещанный Антонову пирог. Условия задачи — их запоминание и было работой Вики, тем единственным, что она могла представить как работу за столом, — никак не связывались с решением, которое Антонов, покорно ломая зубами кусок фанеры с остатками перепрелой начинки, расписывал на ее листке неловким и разборчивым почерком третьеклассника: получался скачок, которого обозленная Вика была не в силах осознать.

Точно так же она, не оставлявшая и в замужестве диких повадок своего свободного девичества, убежала «ненадолго к подруге» и там проваливалась в совершенное безвременье. По мере того, как ясное утреннее солнце, от которого вся посуда на тесной кухне, включая зеленые пластмассовые ведра, казалась полной до краев прозрачной воды, уходило из квартиры куда-то вверх, Антонов все обреченнее предчувствовал бессонную ночь. Самым гнетущим был момент, когда, уступая требованию поскучневшей книжной страницы, пропитавшейся насквозь типографской чернотой, Антонов зажигал электричество; полная видимость комнаты, включая сбитый плед на плюшевом диване и три-четыре недопитых чашки на разных углах озарившейся мебели, давала понять, что он совершенно один. Ночное ожидание неизбежно таило предел: внезапно пошаркивание будильника, сливаясь с хромым постукиванием кухонных ходиков и еле слышным, но плотным шелестом двух непохожих наручных часов (Вика всегда забывала свои), делалось подобным стрекоту кинопроектора, показывающего на любой, к какой ни повернешься, стене домашний любительский фильм. Чувствуя на себе скользящие пятна нереального кино, Антонов, словно погруженный в какую-то водяную, цветную, зыбкую рябь, медленно стелил постель, медленно снимал одежду, отделяя ее от себя пятно за пятном (на которых тут же что-то начинало складываться и размыто жестикулировать). Холод под одеялом, особенно в ногах, не давал спокойно вытянуться в рост, и Антонов, скрючившись, захватив одеяло снутри, собрав его в ком под небритым подбородком, так дрожал, что у него из углов судорожно улыбавшегося рта бежала слюна. Он пытался отстраненно спланировать порядок утренних действий: звонки по больницам и моргам (тупики разбитых, еле шевелящих диски автоматов по дороге на службу, неизбежно отвлекающие от нужного номера троллейбуса), беспомощные переговоры между «парами» с бывшими приятельницами жены, которые своей хорошо прорисованной мимикой старшекурсниц неизбежно дадут понять, что их и «Антонову» разделили некие сложные обстоятельства... Наконец, когда Антонову начинало казаться, будто сам он лежит, с цветной и ледяной проказой, на больничной койке, в освещенной прихожей раздавался не свое время ный, словно снящийся сквозь тишину глубокой ночи, короткий звонок. Ничему уже не веря, Антонов как бы дважды надевал вывернутую рубаху и, полутораногий в недозастегнутых штанах, с каким-то посторонним ощущением одетости чужими руками, шаркал вприскочку на повторную трель. Очень бледная, смутно улыбающаяся Вика, с урчанием в круглом животике и с вульгарной розой, изображавшей выпученными лепестками готовый поцелуй, смиренно стояла на квадратах лестничной площадки; поодаль от нее, несколькими ступеньками ниже и ближе к выходу, вежливо скалился неизвестный мужик — вероятно, муж подруги, добросовестно доставивший до дому полусонное сокровище. Всякий раз этот тип, благоразумно державшийся, независимо от роста, в треугольной лестничной тени, был или казался Антонову не тем, что в прошлый раз: то мордастый, помеченный крупнозернистой оспой вроде дождевого сора на рыхлом песке, то в плоской крупно-клетчатой кепке на партию в крестикнолики, то неожиданно курносый, в больших не по носу, то и дело терявших равновесие очках, незнакомец не давал себя как следует рассмотреть и с неразборчивым учтивым бормотанием утекал по лестнице вниз, где, покрутившись в пролетах с возрастающей скоростью, будго в сливной трубе, бесследно утягивался в ночь. Вика, шаркая бедрышком по стенке, протискивалась мимо

Антонова; иногда от нее откровенно, будто от мокрых осколков на крыльце магазина, тянуло спиртным.

Антонов допускал, что подружки, собравшись на девичник, имеют право выпить под конфеты бутылку-другую вина; он соглашался с тем, что приятельница может одолжить своего мужчину для путешествия по ночному городу, раз уж пришлось засидеться и обсудить откровенно «очень-очень важный вопрос». Ревность его, носившая, если бы кто-то мог оценить явление со стороны, пространственно-математический характер, требовала единственного: знать, где именно находится Вика в каждый данный момент. Эта потребность, эта ежесекундная жажда простейшей трехмерной истины, готовность ради этой истины принять за плоскость разнообразный и холмистый город, местами прелестный в соединении естественного и строительного камня, по ночам являющий что-то непреднамеренно-праздничное в ярусах огней, не всегда дающих разобрать, что именно они обозначают в темноте, — все это не имело отношения к другим мужчинам, бывшим всего лишь обстоятельствами Викиных путешествий. Речь могла идти только о самом Антонове, брошенном в небытии, на протяжении почти что суток точно знавшем, сколько именно теперь часов и минут. На расспросы и попытки объясниться Вика реагировала готовыми слезами и нервной беготней, причем глаза ее казались слишком трезвыми и словно что-то ищущими на полу, пока внимание Антонова отвлеклось вытряхиванием вазы под злополучную розу, швырянием снятой одежды, падавшей иногда на сбитый торшер и впитывавшей, точно губка, содержимое комнаты. Вика не желала понимать, что Антонов не мог, в свою очередь, «сходить проветриться» в город, представлявшийся ей чем-то совершенно простым — несложной молекулой, явленной на схеме метро. Она не желала даже слышать что-нибудь про собственного мужа, просидевшего на всей пригодной для этого мебели целое воскресенье; она твердила все ту же историю про подругу, вспоминала чьи-то именины, куда они внезапно оказались приглашены, путалась, рассказывала то, что говорила уже неделю назад, — но Антонов почти не слушал и только сознавал, что занимаются опять не им, и старался не показать обиду, от которой, будто от неподходящих, слишком сильных очков, ломило переносицу. Он побыстрее нырнул от говорливой Вики в ледяную постель, где еще держалось слабое пятно его тепла, с которым он теперь не мог совместиться, — не мог опять задремать, не совместившись как бы с контуром тела, какие обводят и оставляют на месте убийства в интересах следствия. Вика, все еще ворча, залезала с краю и, бесцеремонно кутаясь, натягивала одеяло между собой и Антоновым; Антонов, придерживая угол одеяла, точно ляжку, на плече, что-то спрашивал напоследок, Вика сонно отвечала, и все это было абсолютно безнадежно.

Теща Света, наконец скопившая денег на установку телефона по коммерческой цене, иногда брала на себя вину и тяжесть Викиного отсутствия: говорила Антонову, выбравшемся из своего заточения до одного безотказного автомата (какого-то очень старого, памятного с детства, мойдодыровского образца), что Вика у нее и принимает ванну, либо пошла с поручением к какой-то тещи Светиной знакомой, либо послана к бабушке мыть большое окно — нелепый многоэтажный мушиный дворец, который, насколько помнил Антонов, теща Света сама ходила мыть неделю назад. Слушая в трубке деланно бодрый, почти что Викин голос, Антонов понимал, что теща Света лжет, — и мистика ночных, калечных, тут и там понаставленных автоматов (в сущности, оставшихся и днем предметами ночи) соединялась с представлением о подругах, подругах подруг, имевших где-то в сонно бормочущем городе, похожем на ловящий разные станции радиоприемник, свои таинственные адреса.

Антонов знал, что теща Света суеверна: боится жирной черной кошки с неопрятными, будто прилипшие семена сорняков, выпушками белого меха, живущей у нее в подъезде, пугается всяких несчастливых номеров, что бросаются ей в глаза с трамвайных абонементов и даже с магазинных ценников.

Теща Света, конечно, не могла не чувствовать коварной и тонкой связи между собственной ложью и возможным несчастьем, которое только и выжидает успокоения заинтересованных лиц, чтобы случиться не в воображении, а на самом деле; все-таки она старалась, как могла, наврать Антонову и в одиночку переживала терзания неизвестности, умножаемой стрелками часов на возрастающие цифры. Надо полагать, она, сидя у себя на кухне, где множество посуды, как будто в доме протекала крыша, стояло в самых неожиданных местах, перебирала мысленно все варианты насилий и убийств — в тщетной надежде, что судьбе не удастся изобрести что-нибудь такое, чего она не сумела мысленно обезвредить. Теща Света всегда переживала — словно чувствовала некую обязанность в полной мере ощутить любую неприятность и даже заплатить вперед, как платила вперед за квартиру и за все, что просила кого-то купить. При этом ей самой многие были должны и преспокойно не возвращали долгов — например, хозяйка черной кошки, пьющая плаксивая старуха с беспокойной клюкой, из-за которой звуки ее передвижения напоминали мытье полов при помощи швабры, регулярно притаскивалась «в получку» и брала, закалывая их в кармане тугой английской булавкой, регулярные пятьдесят рублей; на замечание Вики (почитавшей деньги как универсальную меру вещей), что старуха практически влезла в родство, теща Света отвечала виноватой улыбкой и по возможности делала дочери подарок на ту примерно сумму, какую соседка, по тещи Светиным смутным прикидкам, перетаскала за обозримое время. Выходило, что теща Света сама оказывалась должна — а у Вики всегда имелся в запасе проект покупки, которую она как раз бы сделала, если бы «чертова пьяница» наконец рассчиталась: магазины дорогой одежды, где даже зимой, при свете солнечного электричества, горели летние, чуть ли не пляжные краски, подвергали Вику неотразимому гипнозу. Теща Света тоже обожала тряпки, заваливалась ими по самый потолок, но ходила на свою охоту в рыночные ряды, от которых простодушно ожидала чуда, словно дитя от кочевого балагана; иногда, если ей удавалось откопать обновку «дешевле, чем в магазине», она начинала верить, будто перекошенное платье или дикого вида босоножки, похожие, по мнению Антонова, вообще не на обувь, а на пару тяжелых пресс-папье, «приносят счастье». Может быть, грошовая и призрачная выгода, которую теща Света сторговывала у ошалевших от своего товара продавцов, представлялась ей уже неотъемлемой собственностью, незримо заложенной в брентную тряпку, — тем немногим, что она уже никому не должна; может быть, мистическое отношение к деньгам было у женщин Антонова семейной чертой, — но скорее теще Свете подсознательно хотелось, чтобы одноразовое счастье стало постоянным, все время присутствующим в жизни, чтобы оно сохранялось где-нибудь помимо выдыхавшихся чувств, которых не хватало даже до нового, словно нарисованного под копирку серого утра. Как-то ей все время не везло; ничего не выпадало хорошего, что имело бы значение дольше чем на сутки; дурные приметы были куда как многочисленней счастливых, и теща Света, даже чтобы убедить язвительную Вику, остерегалась связывать с ними, с дурными, какие-то «конкретные случаи», отчего выходило, что все плохое, предсказанное трусливыми пробегами приседающей кошки или влетевшим в форточку воробьем, у тещи Светы еще впереди.

Отношения Антонова с тещей были нетипичные. Теща Света оказалась старше Антонова всего на четыре года, в то время как Вика была моложе на пятнадцать: получалось, что Антонов по возрасту пришелся ближе к теще, чем к жене. Худенькая и сутулая, из-за искривления позвоночника со спины похожая на ящерку, теща Света обладала зато небесно-синими, всегда припухшими глазищами, какие не могли достаться просто от природы, а могли единственно передаться по наследству, будто фамильная драгоценность. Небо, стоило теще Свете взглянуть вверх, проявлялось в ее глазах немедленно, точно в сообщающемся сосуде, — и, может быть, как раз поэтому настроение ее до смешного зависело от погоды. Если заряжали долги, с висячей бахромою по крышам, занудные дожди, она буквально расклеивалась и могла заплакать от

любого пустяка, кишечное бурчание далекого грома прерывало чтение любовного романа, после находимого на полу; мокрый снегопад, от которого блекло все, кроме ярко-красных трезвонящих трамваев, и круче казались спуски между еле видимых, махровыми полотенцами висящих в воздухе домов, наводил ее почему-то на мрачные мысли о кладбище. Теща Света была чувствительна: одиночество и отсутствие под боком близких людей всегда означало их страдания где-то вдалеке. Антонов мог легко вообразить, что переживала она плохими, ветреными ночами, когда беспутная Вика пропадала в неизвестности, увеличенной недавним враньем; вероятно, положив телефонную трубку, теща Света еще какое-то время сидела у аппарата, а потом включала телевизор, пустой почти на всех программах, кроме какого-нибудь шоу, будто книга с картинками и с исчезнувшим текстом. Ночная квартира, где никто не спал, была неодоушевленной, и никакие движения бодрствования ничего не могли в этом изменить.

Наутро невыспавшегося Антонова, отчасти уже забывшего терзания прошедшей ночи, звали к телефону в скромный, как домоуправление, предбанник деканата: в трубке, заглушаемая трескучим звонком из коридора, теща Света спрашивала, как дела, — голосом Вики, не сдавшей зачет, — и у Антонова внезапно сжималось сердце. Он стоял, глядя на серый, пустыми гнездами зияющий паркет и вспоминая почему-то, как по совету Вики купил для тещи на Восьмое марта билеты новой суперлотереи, но ошибся с датой розыгрыша — все номера оказались пустыми. Однако из-за отсутствия денег молодожены все равно вручили принаряженной теще Свете радужные бумажки, добавив какую-то парфюмерную мелочь, — притворились, будто не видали таблицы, и старались не думать, как она в одиночестве будет спускаться пальцем по расстеленному на столе газетному листу. Это было опасно — дарить такому человеку лотерейные билеты: числа, особенно свободные от реальных предметов счета, всегда таили неблагоприятные для тещи Светы комбинации, арифметика была для нее родом адской машины; лотерея могла обернуться несчастьем — выигрышем наоборот. Чувствуя себя совершенной свиньей, вспоминая всякие другие случаи собственной невнимательности (стараясь только не думать о сегодняшнем, о том, что мог, к примеру, позвонить истомившейся теще Свете домой с троллейбусной остановки), Антонов сообщал о полном порядке, — и счастливый звук ожившего голоса заставлял его залиться краской до самой лысины, отлично видной секретарше декана с ее высокого винтового стула. Антонов клялся себе, что непременно сделает для тещи Светы что-нибудь хорошее, что теперь-то уж точно не отложит это на неопределенное потом.

Несмотря на слабость духа и маленького тельца, теща Света работала на серьезной должности в большой рекламной фирме, оставившей город угрожающе яркими щитами, видными из самых неожиданных точек и гораздо более заметными, чем настоящие здания или, к примеру, бледные в своей однообразной и отсвечивающей зелени городские деревья. Шедшие мимо щитов человеческие фигурки не имели значения, как одиночные буквы, — тогда как буквы на щитах шагали в ногу и выстраивались в надписи, а кое-где даже показывали физкультурные упражнения; на щитах преувеличенные товары буквально лезли из небытия и порою даже подавались с техническими фокусами вроде надувания, вращения, перемены ракурса с мгновенной перестановкой нарисованных теней, — и было в этом что-то глубинно подобное как бы и з о б р а ж е н и я м новых контор на облупленных стенах домов, то и дело оживляемым проходами целеустремленных личностей в нейтральных костюмах, со спины одинаковых, будто игральные карты. Все это, словно бы выдуманное, взятое из головы, перло воплотиться, сделаться предметным — совершенно помимо предметного и реального мира, где многие вещи, особенно сваленные на железных балконах, были стары и уже никак не выражались в деньгах.

На работе у тещи Светы, как на всех богатых фирмах, часто случались по разным поводам служебные, по составу главным образом дамские, вечеринки, где она любила немножко выпить и являлась оттуда хулиганистая, с пылающим личиком, с бусами на спине. Впрочем, она была весела, пока оставалась на ногах, а стоило ей присесть на крытый ковровой попонкой кухонный табурет, как веселье переходило в тяжелые вздохи, и она уже не могла подняться, чтобы выключить под плюющимся чайником заливаемый желтою злобой, перекошено пышущий газ. На своей невидимой Антонову службе теща Света безысходно враждовала с какой-то «сукой Таней» и была неразделима с нею, будто со своим сиаемским близнецом, потому что неизменно делала работу за двоих; посмурнев на кухне, перед простой пролетарской пепельницей, похожей на рыбацкую банку с червяками и землей, теща Света неизменно объявляла, что их контора вот-вот разорится, как разорилась предыдущая фирма, где «сука Таня» работала не кем-нибудь, а коммерческим директором. Видимо, следы того разорения (от которого у «суки Тани» образовалась, словно из воздуха, новенькая «девятка») остались в синенькой душе у тещи Светы, тоже имевшей там какой-то трудовой договор — как, впрочем, и в городе, все еще содержащем кое-что из продукции того предприятия, по делам которого до сих пор ожидалось и откладывалось с месяца на месяц четыре суда. Эта реклама, представлявшая, в свою очередь, разнообразно разорившиеся структуры, преобладала в непрестижных выцветших районах, где не только штукатурка, но даже кора деревьев казалась размыва руслами дождей. Реклама торчала высоко над невнятной кириллицей плохо одетой, главным образом стариковской толпы: несколько облагороженные дождевой сентиментальной живописью, эти щиты оказались неустранимы потому, что крепились с социалистической индустриальной основательностью, еще не утраченной за несколько лет очнувшегося капитализма. Они возвышались на могучих, ржавых, словно прокипяченных осадками металлоконструкциях, прочней мемориальных досок держались на блекленьких стенах хрущевок, кое-где в декоре рекламы даже была использована яшма цвета сырой говяжьей печени, — и теперь демонтировать эти порождения цивилизации оказалось дороже, чем некогда установить.

В общем, разорение все время висело дамокловым мечом надо всеми, в том числе над тещи Светиной по видимости преуспевающей фирмой. Все время им кто-то не платил по договорам (очень может быть, что «сука Таня» крутила эти недошедшие деньги на стороне); раздражительная Вика, если ей случалось присутствовать при материнских полупьяных сетованиях, сильно дышала через нос и курила так, что сигарета наливалась воспаленной краснотой. Потом хорошая девочка набирала полные руки питья и еды и уходила к себе, шаркая и сплескивая из кружки в неподатливых дверях. Антонов, хоть его и тянуло вслед, в одних носках по кляксам пролитого кофе, все же оставался с тещей Светой на маленькой кухне, наполнял опустевший чайник, ставил его, забрызганный, на непросохшую, в горелой лужице, конфорку, поначалу дававшую, после нескольких обводов спички, только три-четыре голубых устойчивых шипа. Чайник, напитокный через водопровод водяным тяжелым холодом улицы, как это всегда бывает темными вечерами, ближе к двенадцати ночи, скоро начинал побрякивать крышкой; постепенно теща Света отходила от своей печали, доставала, чуть не падая с табурета в распяленную на полу хозяйственную сумку, измятые в компрессы остатки учрежденческого пиршества, и они с Антоновым замечательно ужинали слипшимися бутербродами, кусками разных тортов, красивыми, как медузы, в полиэтиленовом мешке, дававшими, при выворачивании мешка, картину вскрытия мясистого и влажного организма. Все получалось забавно и весело, у Вики за стеной звучала неясная, как будто содержащая и человеческий голос, магнитофонная музыка, теща Света, раскрасневшись, как уголек, рассказывала истории про «суку Таню» и неприличные анекдоты.

## VII

Выражения, произносимые в адрес этой особы за облитым и обсыпанным сахаром столом, Антонов не рекомендовал бы своим студентам, но все равно ему нравилось общаться с тещей Светой, когда она вот так откидывала все официальное и взрослое и становилась постаревшей девчонкой с ухватками шпаны, которой Антонов, некогда отутюженный и мешковатый, точно ногтем проглаженный отличник, смертельно завидовал двадцать лет назад. Тогда он, примерный маменькин сынок, не осмеливался даже близко подойти к сырой, оплывшей песком из песочницы и заплеванной дождичком детской площадке, где, разместившись с неосознанной картинностью, компания больш и х парней (среди которых непременно обнаруживалась парочка принарядившихся школьных мучителей) слушала по-собачьи лохматого гитариста, сидевшего, расставив джинсовые потертые коленищи, на спинке обломанной скамьи и мерно бившего по струнам своего обклеенного красотками щегольского инструмента. Настоящие, живые девушки стояли тут же, их короткие и тесные юбки словно соревновались за предельную высоту отметки. Робость почему-то обостряла зрение Антонова — он видел от спасительных дверей своего подъезда и отклеившийся пластырь под ремешком босоножки, и розовые звезды расчесанных укусов; иногда один из парней ленивой лапой обнимал подружку за плечо, и она переступала на месте, расставив чуть пошире тонкие ноги, делавшиеся странно неуверенными, что вызывало у Антонова приступ какой-то сладкой дурноты.

У тещи Светы в комнате висела реликвия юности: презираемая Викой настоящая гитара, украшенная увядшим бантом. Антонов, как всякий человек, не умеющий играть на инструменте, удивлялся ему как предмету сложно-бесмысленному, слишком легкому для своего объема. Эта старая облупленная штукавина словно оглохла, как деревянное ухо, и забыла всякую музыку, но сделалась зато болезненно-чувствительна к любому прикосновению, отвечая на него царапаньем, шорохом, стонущим стуком, отзываясь маленьким эхом на падение об пол тяжелых предметов. Все равно гитара возбуждала у Антонова сентиментальные чувства: он думал, что мог бы вместо Вики жениться на теще Свете, которая словно была одною из тех, на кого он когда-то заглядывался, нацепляя для конспирации сползающие по расплавленному носу новые очки. Тогда он мог бы не страдать, а просто воспитывать Вику как свою приемную дочку; порою быть без нее казалось Антонову таким же невыносимым, невероятным счастьем, как и быть ее мужчиной — главным Наполеоном, со всеми признаками клинического сумасшествия.

Теща Света, в общем, была одинока; в прошлом у нее имелась история любви и развода, о которой она, даже хорошо подвыпив, предпочитала не распространяться. От Вики Антонову было известно, что «бывший» ее отец теперь «состоит при церкви»: несколько лет назад он бросил тещу Свету, начинавшую зарабатывать для семьи первые небольшие, но тогда невиданные доллары, ради свирепой нищеты и жизни на далекой, как деревня, окраине, в какой-то котловине, изрезанной кривобокими подобиями улиц, почти немедленно кончавшихся либо реденьким забором, за которым простиралась на клочке цветущая картошка, либо полной неопределенностью, открытой в никуда и заросшей метровыми сорняками, между которыми длинные паутины поблескивали, будто трещины в мокром стекле. Теща Света, проглотив обиду, съездила туда однажды с полной сумкой хороших продуктов, почти нашла глуповатый по звучанию адрес (название улицы походило на название детского садика), но так и не решилась определить, в которой из нескольких черных халуп, имевших общий вид только что залитого пожара, обитает со своими книгами, буквально вынутыми из стен и из души квартиры, бывший супруг. Она, пораженная одинаковостью деревянного запустения, обзеленного сочной, как бы давленной травой, не осмелилась дернуть за сырую бечевку щеляс-

тых воротец, неизвестно к какому строению ведущих через закоулки сараек и тускло желтевших полениц.

Больше, чем одышливой собаки, таскавшей, с тяжелым ерзаньем и бряканьем, извилистую цепь по тесному, как тарный ящик, дощатому двору, теща Света боялась новой сожительницы мужа, богомольной женщины с толстым и гладким лицом в аккуратном ковшике сурового платочка, на котором не замечалось ничего, кроме небольшого шрама через щеку, похожего на белок, вытекший из трещины вареного яйца. Улыбнуться ей стоило такого же тугого усилия, как и нагнуться, например, за оброненными спичками. (Тут, помимо воли автора, в текст проникает совершенно реальный прототип, потому что Антонов не мог, конечно, знать эту двухметровую тетку, мало с кем вступавшую в разговоры, а теща Света старалась даже мысленно ее не видеть, тещи Светин страх как бы содержался в самом морозящем воздухе над халупами, где низко плыл сквозь морось печной пахучий дымок.) Эта разлучница, эта громадина, почти ничего не евшая и читавшая чуть ли не по складам, обладала тем не менее непонятной внутренней силой, не различающей в себе мускульного и духовного, и каким-то очевидным бесстрашием большого предмета. (В реальности тетка, работая санитаркой в роддоме, всегда боялась крови рожениц, все равно содержавших эту жидкость, несмотря на бледность при одном ее появлении с тяжелой, в собственный ком упиравшейся шваброй, — а у самой санитарки, бросавшей свои ежемесячные отходы в туалетную корзину незавернутыми кусищами, кровь была темная и жирная, точно мазут из протекающего грузовика.) Богомолка, совершенно заслонив собою тшедушную фигуру своего высокоученого приемыша, очень быстро делавшего новую карьеру и потому обвенчавшегося с нею немедленно после гражданского развода, отлучила тещу Свету и Вику от чего-то важного в жизни; словно мелкая бедная нечисть, они теперь избегали отстроенных церквей, звякавших нехитрыми, как ведра, новыми колоколами и собиравших вокруг себя порою больше иномарок, чем оживающее к ночи райскими огнями городское казино. Все-таки эти храмы, несмотря на свежую побелку и даже позолоту, торчали, как уцелевшие печи на пепелище, что-то вокруг них и над ними отсутствовало, их украшения выглядели нелепостью, — Антонов по крайней мере ссущал, что логичнее было бы их разрушить совсем, тем более что храмы, состоявшие по большей части из естественных материалов, способны были уйти непосредственно в природную среду, тогда как новейшие здания, сооруженные с применением пластика и химических красителей, не могли, даже после длительных воздействий, не оставить неуничтожимого мусора, хотя бы цветной шелухи. Но тещу Свету, множившую работой в рекламной фирме эту самую искусственную неуничтожимость, ужаснула бы одна только идея разрушения храма: под своими китайскими, пухом и бисером украшенными кофтами она всегда носила суровый, как дубовый лист, православный крест и стыдилась его, будто собственной наготы. Антонов подозревал, что это был единственный подарок сбежавшего мужа, род его завещания, разумеется, невыполнимого, потому что бедную тещу Свету совершенно некому было подержать.

Несмотря на фразы о «прошедшей молодости» и «конченой жизни», теща Света нуждалась, конечно, в обществе мужчин. Изредка к ней заходил «посидеть» потертого вида настырный мужик, вечно измятых джинсах, похожих на недонадетый на брюхо картофельный мешок, со сложно изломанным носом, напоминавшим грубо пользуемый тюбик детского крема. Он был какой-то «тоже журналист» со спортивным прошлым и непонятным настоящим: печатал во множестве газет заметки размером с трамвайные талончики, промышлял процентами с заказов для каких-то районных, донельзя чумазных типографий, чья продукция неистребимо пахла свеженачищенными армейскими сапогами, а также занимался мелким продовольственным бизнесом, по поводу которого имел контакты в десятках открывавшихся ему с торца коммерческих ларьков.

Впервые Антонов с ним столкнулся буквально во второй визит к неожиданно доставшейся ему ошеломительно-прекрасной Вике, разрешившей явиться официально и с цветами. Еще Антонов и оживленная теща Света не успели толком разглядеть друг друга за накрытым столом, украшенным похожей на голову насекомого, дико дорогой орхидеей (квартирной хозяйке все же пришлось подождать с деньгами), как в коридоре дернул и залился трелью как бы аварийный звонок. В поспешно распахнутой двери открылся заснеженный мужик, шатаемый взваленным на грудь картонным коробом, другой такой же короб, с шорохом тормозивший от пинков, стоял углом у него в ногах. Антонов, принявший короба за какие-то заказанные тещей Светой домашние припасы, с готовностью поднырнул, оторвал от пола заходившую ходуном неверную тяжесть, состоявшую из стопок каких-то брякавших консервов, еле донес до уголка, откуда взбодораженная хозяйка без разбора выкинула сапоги, и вовремя увернулся от верхнего груза, едва не съехавшего на место по его сподручно согнутой спине. После этого мужик, не вытирая зерен пота с багрового лба, деловито объявил, что эти шпроты постоят до завтра-послезавтра, пока не объявится покупатель, — но короба занимали угол целых четыре месяца, и страдательная теща Света постепенно скупала неликвид по розничной цене, так что Антонов по горло наелся солеными и жесткими хвостами, напоминавшими завернутый в промасленный пергамент мелкий инструмент.

Помимо того, что мужик использовал тещи Светин коридор как бесплатный склад (короба, бывало, совершенно зарастали шапками и шарфами), он еще искал у нее сочувствия своему историческому роману, который создавал не один десяток лет. Роман представлял собою три, не то четыре лопнувшие от натуги толстенные папки, едва державшие тесемками растрепанное содержание; в отдельной плоской папке красного дерматина у Геры (так он представлялся Антонову, тиснув ему саднящие пальцы поверх сырых от снега шпротных коробов) хранились отзывы на его произведение, которые автор охотно показывал всем — несмотря на то что ответы редакций, иные пожелтевшие от времени, иные свеженькие, откатанные на принтере, более или менее определенно выражали сомнение в Герином таланте и в возможности напечатать для начала главу. Однако Гера в каждой из этих бумажек умудрялся вычитать комплимент; один только вид собственной ласкательной фамилии, присланной ему из самой Москвы, заставлял его буквально пыжиться от гордости; его небольшое лицо, где морщины возле глаз и ниже казались настоящими, а на лбу — нарисованными для значительности и красоты, сияло самодовольством. Рукопись его была неистребима и продолжала подниматься словно на дрожжах — во-первых, потому, что герои эпопеи без конца рожали детей, которым автор давал чрезвычайно разнообразные имена, а во-вторых, текст размножался вегетативным способом: на серых страницах истертой и ветхой машинописи тут и там темнели свежие, мелким горошком, рукописные вставки, заключенные в пузыри, какими в комиксах показывают речь персонажей, — что в сочетании с обширными диалогами придавало роману невероятную болтливость и приводило к появлению все новых печатных стопочек. Над ними теща Света добросовестно просиживала при старомодном свете монументальной настольной лампы, набравшей полный колпак медлительного дыма от одной-единственной струящейся из пепельницы сигаретки. Похоже, что Герин роман было вообще невозможно издать: у рукописи была другая, вольная форма существования, книжные корки стали бы гробом дикому цветению разрастающихся образов; тем не менее Гера на чем свет стоит ругал издателей, местных и московских, высказываясь в том смысле, что все они подкуплены, и Антонов поражался, насколько сходна с Викиной его подспудная уверенность, что деньги мистически участвуют во всем и являются чем-то вроде нечистой силы, ополчившейся лично на Геру и отказывающейся ему служить, как другим, несмотря на то что Гера отрывается ради денег от творчества и мотается по всей ухабистой области на своей трескучей жукообразной машинешке.



У Геры имелся один на самом деле примечательный талант: везде, где он появлялся, он нарушал равновесие между предметами и людьми. От одного его присутствия Викина сухие «стильные» букеты с тряским шумом валились набор и ломались на царапучие будылья и труху; чаевничая, он как-то так перетягивал локтями скатерть, что пара блюдец друг за дружкой лодочками ныряла на ковер. У Геры была неприятная привычка — если кто вставал и начинал ходить по комнате, он пристально глядел человеку на ноги, с отвратительной буквальностью прослеживая именно действие, которое человек совершал, и заставляя того спотыкаться в бултыхающихся шлепанцах. Теща Света рассказывала, что маленькая, почти нарошешная Герина машинешка служила не раз причиной серьезной аварии: когда он очень медленно, плотно занимая собою свою таратайку, поднимался в гору, словно намереваясь не взобраться, а постепенно срыть препятствие, за ним выстраивался долгий, гудящий, но не заглушающий его рабочего треска автомобильный хвост, — и когда какой-нибудь нетерпеливый «жигуль» совался на обгон, его сметало и изрядно било встречным налетом свободного транспорта.

Но самое главное — Гера, посидев в гостях какой-нибудь час, нарушал и без того непрочное равновесие в отношениях между матерью и дочерью. Не отрывая от Вики тяжелого, как-то понизу идущего взгляда, он авторитетным голосом делал ей замечания, высказываясь в том смысле, что девицу мало пороли, и при этом поддегивал на себе висячее, отягченное бумажником и мелким железом джинсовое хозяйство, державшееся на обруче засаленного до черноты широкого ремня. Естественно, что Вика не оставалась в долгу и отвечала открытым текстом, не щадя и пресловутого романа; тещи Светин примирительный голосок поначалу робко вмешивался в спор, но скоро она и Вика уже орали друг на друга, а оскорбленный Гера, взвалив волосатый локоть на спинку стула, выставив перекошенное брюхо, густо рокотал и дергал ногой, как если бы у него молотком проверяли рефлекс. В конце концов пунцовая Вика, брякнув вилку поперек тарелки с истерзанным омлетом, бросалась вон из комнаты; теща Света, помигав, отправлялась к ней под дверь и там, сгорбленная над щелью, занудно требовала вернуться и доужинать, вымыть посуду. Тем временем Гера, оставив свою аккуратно обедынную, наполвину целую порцию, молча собирал и утряхивал проседающие кипы своего тысячесловного труда. Теща Света с разбитой улыбкой собирала дребезжащую, роняющую вилки посуду, оставляя голую скатерть со свежими пятнами и кусками хлеба, где отдельным букетиком курчавились Герины выеденные корки и колбасные шкурки. Антонов, тупо постучав, заглядывал со всеми предосторожностями в душную Викину комнату, странно напоминающую зоопарковую клетку с притаившимся зверьком. Отрешенная Вика, подтянув колени к подбородку и трогая слипшиеся, как пельмешки, некрасивые пальцы смутно белеющих ног, сидела далеко в стороне от включенного света; иногда ее и вовсе не было видно в неширокую щель — только под лампой раскрытая книга, как бы боком облокотившаяся на тонкий непрочитанный остаток, лежала в задумчивости, и необычайно резкая, почти фосфорическая белизна ее приподнятых страниц говорила Антонову о том, что в книге, быть может, напечатаны стихи. Антонов предпочитал, сделав назад и кругом танцевальный шажок, оставлять увиденное нетронутым: его пугало какое-то угрюмое вдохновение на опущенном, слепом, как локоть, Викином лице; он знал, что теперь она и теща Света будут «не разговаривать» несколько дней и держаться друг к дружке строго спиной, и Вика станет грызть сухари да морковку, не обращая внимания на приносимые тещей Светой ей под дверь обильные подносы с украшенными, будто торты, салатами и вторыми.

### VIII

Подвижник Гера с его бесконечным романом послужил причиной совершенно гнусной, не соразмерной его персоне неприятности, — впрочем, причина случившегося могла быть, по мнению Антонова, только глупой и ника-

кой другой. Накануне обычная ссора приобрела какие-то трагедийные, оперные оттенки, орущая троица все время попадала друг другу в рифму, пыльная гитара гудела, стол с посудой разболтанно брякал, отвечая каким-то китайским лепетом на удары тещи Светиною мизерного кулачка. Все это предвещало по меньшей мере неделю хандры — поэтому Антонов не удивился, что Вика не явилась на лекции, его беспокоило только, как теперь поступить с билетами на шоу пожилой, мужеподобно растолстевшей эстрадной знаменитости, чьи наивные глазки, похожие в распахнутых ресницах на солнышки с лучами, нарисованные детской рукой, красовались на всех городских афишных тумбах. Выждав небольшое время на видном месте у стадиона «Динамо», куда с трамвайной и троллейбусной остановок стекалась на концерт лоснистая от мороси толпа, Антонов позвонил: голос тещи Светы в холодной трубке был дрожащий и размытый, она как будто не понимала, чего от нее хотят, и только после нескольких заходов сообщила, что Вику увезла в больницу «скорая помощь».

Добиться от нее чего-то большего было невозможно; стоя выдержав тяжеловесные и вежливые маневры очень спокойного троллейбуса, кланявшегося каждой поперечной легковушке, сохраняя троллейбусные покачивания в нетвердых ногах, Антонов с трудом взобрался по разворачивавшей его туда-сюда, смутно сереющей лестнице подъезда. Теща Света не сразу пришла на звонок; когда она открыла (глухие обороты замка тоже были частью замедленного круговорота вещей), оказалось, что в квартире полный разгром, на полу валяется раздернутая чьими-то шагами ослепительно свежая простыня, а коридор затоптан водой, будто раздевалка в общественной бане. Теща Света была в костюме, но босиком, на мокром ее рукаве расплывалось двойное как бы фруктовое пятно.

Всклипывая сквозь сцепленные зубы, она повела Антонова в ванную: там по фасонистым стеклянным полочкам словно пронесся ураган, махровые полотенца, в разных стадиях сползания с вешалки и стиральной машины, были, как питоны пищевой, напитаны влагой, — а в ванне на треть глубины стояла, цветом похожая на компот из сухофруктов, темная вода, в которой Вика пролежала несколько часов. Расковыряв свои мягонькие вены тупыми лезвиями «Балтика», налипшими на бортик ванны вместе с жалкими, завитыми в вензель волосками, она улеглась умирать в новом итальянском купальнике, скусившемся теперь на полу, возле полного тяжелых овощных отходов мусорного ведра. Жизнь ее, как пояснила теща Света, так и не ступившая в разгромленную ванную, была вне опасности. Съездив с Викой в больницу, теща Света вернулась за вещами, которые теперь собирала, выкладывая и тут же теряя где-то в квартире, среди странно сохранявшегося присутствия чужих, ходивших и распорядившихся здесь, оставивших после себя ничейный холод и большие вафли уличной земли. Попутно теща Света пыталась прибирать — но предметы, которые она поднимала и ставила на полки, не держали прежнего порядка и располагались с ошибками, резавшими глаз, будто опечатки в знаковых строках; мокрая смерть из водопроводного крана, сколько теща Света ни шлепала тряпками, не могла исчезнуть из комнат, точно она была погодой, установившейся здесь на долгие времена. Антонов догадался, что теща Света не может себя принудить к тому, чтобы спустить из ванны в канализацию Викину кровь; закатав манжету, он сам полез в неожиданно холодную, как бы выпуклую глубину, на ощупь выдернул соску-затычку: глубина, оторгнув, заволновалась, попыталась проглотить и затычку, и руку Антонова, — как вдруг ему на костяшки налепилась какая-то бумага, до того беззвучно и плоско лежавшая на дне. Выудив раскисшую добычу из водоворота, уже образовавшего дудку, Антонов узнал одну из Павликовых фотографий — совершенно мертвую с лицевой стороны, но на обороте сочившуюся чернилами, вероятно, прибавившими цвета жидкости, что с присасыванием уходила в зарешеченную, с шапочкой пены, водопроводную дыру. Охваченный каким-то остервенением,

пачкая пальцы, точно первоклассник, Антонов растерзал реликвию на мелкие липкие, как пластырь, клочочки, словно оставившие на кончиках пальцев фрагменты своего изображения; какое-то время он еще сидел на краю опустевшей ванны, пупырчатой от холода собственной белизны, и думал, что человеку столь же неестественно лежать в этой мокрой и шершавой емкости, как покоиться в гробу.

Теща Света явно кого-то ждала; нетрудно было сообразить, что этот кто-то — Гера, тут же и ввалившийся, как только Антонов про него подумал: в напыженной короткой курточке, с полиэтиленовым кульком апельсинов, губчатых и тусклых, словно попорченных сыростью и серостью дня. Теща Света, бестолково кружась и подбирая подбородком шарфик, влезла в рукава своего размашистого пальто, и все поспешили вниз. На улице было еще мокрее, чем в квартире; сетчатый дождик вздрагивал в поределой листве, аттракционы детской площадки, сваренные из железных, словно во многих местах протекающих труб, казались порождением вылезшего на поверхность водопровода, и Антонов, ступив в застеленные листьями топкую лужу, почувствовал, как забирается в податливый ботинок отвратительно холодная вода. Герина машинешка, размером с перевернутую ванну, ожидала за углом; нагнув тугую спинку переднего сиденья, теща Света и Антонов пролезли друг за другом в сумрачную тесноту, где долго устраивались, вытягивая из-под себя какие-то длинные, умягченные сыростью робы и штаны. Внутри все было как бы детского размера и нежно пахло бензином, пара расклеившихся дворников неодинаково елозила по ветровому стеклу, со скрипом отжимая грязноватую влагу и показывая в косых полосатых окошках медлительную, будто кипящая каша, проезжую часть, уходящие влево и вправо смутные стороны улиц с неожиданно близкими столбами и спортивно-яркими, болтавшимися на проводах по нескольку штук дорожными знаками. Из негромких реплик, которыми теща Света и Гера обменивались в полутьме (когда последний говорил не поворачивая головы, он словно делался тяжелей, и его сиденьице, наполняясь, плотно поскрипывало), Антонов уяснил, что Вику увезли в отделение, которым заведовала какая-то Герина знакомая — тоже, вероятно, жертва без конца создаваемой исторической эпопеи. Антонова нервировало, что «самолучшая», по Герину выражению, клиника оказалась психушкой: ему казалось, что Вику надо спасать от потери крови, от возможных двигательных неполадок с руками, — уж он-то знал как никто, что на самом деле Вика абсолютно нормальна, куда нормальной тех, кто ее безответно любит и, полусуществующий, крутится около, вызывая Викино раздражение неспособностью заняться чем-нибудь своим. Наконец кружение и мокрый, длинный шелест улиц закончились: Гера привез пассажиров на самую окраину, в больничный городок, где они неуклюже вылезли, опасливо вставая на отнявшиеся ноги. Корпуса городка, расположенного на рыжем лохматом болоте и обнесенного драной железной сеткой, были разные по цвету и числу этажей: это блеклое и мокрое разнообразие показалось Антонову нарочитым, рассчитанным на то, чтобы сделать болото как бы обитаемым и жилым, скрыть от глаза одинаковость койко-мест, бывших элементарными единицами здешнего существования. Деловитый Гера, устроивший Вику по благу в это славное местечко, повел Антонова и тещу Свету не по одной из разбитых асфальтовых дорожек, наглядно выявлявших пустоту и дикость незастроенных частей больничной территории, а по протертой в болотном сене боковой тропе, что скрытно петляла между жухлых и встопорщенных, словно наизнанку вывернутых кочек и воровато жалась к корпусам. Служебная, сильно забеленная дверь привела в темноватые сенцы, где все переобулись в заношенные плоские тапки; даже избавившись от протекшего ботинка, Антонов чувствовал одной ногою сырую черноту, словно нечаянно ступил в какое-то мертвое вещество, и еле ковылял за Герой, взбиравшимся по лестнице, сильно размахивая кульком.

Его знакомая, заведующая отделением и кандидат наук, оказалась из породы тяжелых дам, что ходят на каблуках будто животные, вставшие на задние

лапы, что в данном случае противоречило властному выражению породистого лица, украшенного гипюровой сеткой шелковых морщин. В совершенно кубическом и очень холодном кабинетике она усадила загипнотизированную тещу Свету на низенький стульчик и сверху, через заваленный стол, долго расспрашивала ее, обнимавшую пакет, об условиях проживания, об употребляемых дочерью наркотиках и принимаемых лекарствах. Пospешные и чересчур подробные ответы она записывала в грубый гроссбух; кабинетик был битком набит этой медицинской писаниной — полуразваленными тетрадами и журналами, словно намокшими и высушенными, сильно покоробленными водой. Антонову, переминавшемуся у окна, за которым без неба, в одном белесом дожде, лежал маслянисто-туманный пейзаж, мерещилось, будто нога, побывавшая в луже, сделалась босой.

Исписав и отмахнув налево не менее десяти синюшных страниц, докторша наконец повела посетителей в палату, предупредив, что больная уснула и можно только посмотреть. В коридоре Антонов не увидел ожидаемых тюремных зарешеченных ужасов: тихие фигуры в сизых, почти бесцветных халатах бродили абсолютно свободно, вряд ли замечая даже обыкновенные стены со своими расплывчатями, тоже сизыми тенями; иные сидели рядами, будто на приеме в поликлинике, имея за спинами мягкие теневые темноты, и Антонов подумал, что незамечаемые, всюду длящиеся стены, скрытые в своей шероховатости и краске, отражают и видят людей ничуть не хуже зеркал.

Палата, куда они вошли, длиной и узостью напоминала собственную Викину комнату, и Вика лежала, укрытая до подбородка, словно бы на собственном месте — слева у окна. Она похрапывала, разинув в каком-то вялом удивлении расслабленный рот, ее всклокоченные волосы выглядели на плоской подушке темнее обычного и пушились, словно вымытые шампунем. Теща Света, неловко приподняв одно плечо, присела возле Вики на единственный стул; откинувшись назад, приняла у Геры, вставшего на цыпочки, кулек апельсинов и машинально поместила его на пустую тумбочку. Антонов, застыв у дверей, подумал, что и остальные три кровати могут быть частями иных, где-то существующих комнат; две, застеленные тощими одеялками, стояли незанятые, на третьей длинноногое существо с воспаленными глазами и торчащими из-под тугой косынки скорлупинами ушей ковырялось спицами в маленьком вязанье, временами высоко поддевая нитку и нисколько не заботясь о клубке, мягонько прыгавшем где-то на полу и утекавшем в неизвестность от каждого рывка. Эта терпеливая работа, протянутая через всю палату, косвенно выражала ненормальность происходящего; важный Гера, получивший где-то по дороге персонально белый халат с короткими, как у пионерской рубашки, рукавами, висевшими у него за спиной, пару раз задел ногою косо идущую нить, — но даже он, чье присутствие само по себе грозило разрушением всему, не мог ничего поделаться со странным равновесием этого места, в котором участвовали, учитывая друг друга, абсолютно все предметы и тела, включая посетителей, ногами ощущавших, что и им немедленно нашлось соответствие, примерный противовес. Тяжелый воздух (запах мочи, дезинфекция, кухонная вонь, поначалу разьедавшие ноздри, внезапно пропали в общей сладковатой духоте) контрастировал здесь с бесцветностью существ, чьи тени были больше и гораздо ярче их самих; казалось, пациенты — это самое последнее, что можно здесь заметить; даже скромные решетки, все-таки имевшиеся в отделении, но окрашенные белой эмалью и потому пропадавшие, как и запахи, в общей смутной неразличимости, были все-таки видней.

Теща Света между тем, вытаскивая вещи из туго набитого пакета, то и дело роняла их и нашаривала у себя под ногами, между ножек скрипучего стула. Она, по-видимому, уже торопилась уйти, выпить тихонько, дома, рюмку коньяку, — но от удара об пол раскрывшейся мыльницы Вика тяжело повела под одеялом огрузившей ногой и закрыла рот, словно что-то проглотила. Теща Света засуетилась около нее, зашептала, получая в ответ невнятное

мычание, помогла достать из-под одеяла две большие, как колоды, мохнато забинтованные руки, которые Вика выпрастывала по очереди каким-то неуклюжим полуподобием заплыва на спине. Ее нефтяные волосы еще больше вздыбились на подушке; она теперь смотрела на Антонова не отрываясь, совершенно спокойными и очень темными глазами, в которых был отлив, напоминавший оптику бинокля. Антонову казалось, что с такого маленького расстояния Вика видит не его, а полосатый галстучный узел, подробности бритого подбородка, отдельные пуговицы — все округлившееся и жидкостное, какое бывает под лупой. Антонов знал наизусть, что именно должен чувствовать сейчас по отношению к подлой предательнице: обиду и твердое намерение перевоспитать и желание набить себе цену, потому что он не заслужил такой пощечины вместо концерта. Вместо этих законных и правильных чувств Антонов испытывал томление в ногах. Если бы холодеющая вода не уходила тихонько в неплотно закупоренный слив, сомлевшая Вика могла бы захлебнуться — соскользнуть, точно в ложку, в свою погибель; смерть не зачерпнула ее только потому, что не хватило жидкости, это Антонов понял только здесь и сейчас, и понял еще, что до сих пор не понимал, как близко подступало нечто, как единственно чудом оно убралось, оставив в квартире тещи Светы слякотные следы и немного земли. При мысли, что если бы Вика съехала в смертельную воду по краю ванны, то оказалась бы в той же самой позе, какую принимала для него одного, Антонову хотелось тихонечко выть.

Теща Света, кособоко поднявшись, пустила Антонова на фанерный стульчик; Вика не сразу сумела перевести заторможенный взгляд, а когда нашла потерянное, Антонову почудилось, будто теперь перед нею расплывается только влажное, тинистое, реснитчатое пятно, похожее на рельеф какого-то дна, заваленного обросшими бревнами, освещенного бликами солнца, роль которого выполняло горевшее среди дня угрюмое электричество. Осторожно держа ее неловко скрюченную лапку с неживыми пальцами, Антонов понимал, что плохо ей было не тогда, когда она, привычно осязая ступнею толстую шишку ворчащей в ванне струи, докопалась-таки бритвой до первого кровавого выхлаба, а плохо ей как раз теперь, в этом прежнем теле, онемевшем от лекарств, в этой размывчивой комнате, где она сама как будто на привычном месте, а остальное куда-то делось, замещенное чужими одинаковыми койками, — и по полотняному от влаги оконному стеклу, словно разлезаящемуся на полосы бинтов, криво стекают слезливые пресные капли. Понимая, что с Викой, бормочущей околесицу, сейчас нельзя ни о чем говорить, не имея сил терпеть до выясняющего разговора, Антонов прощал ее заранее и только хотел, чтобы она вернулась. Туго наклонившись в перекошенном костюме, Антонов попытался бережно ее поцеловать — но синеватые губы были холодны и ответили бесстрастным колебанием, как могла бы ответить водная поверхность, равнодушно отпускающая рот, не сделавший глотка.

Антонов, конечно, натерпелся страху; настоящий страх пришел поближе к вечеру и нарастал всю ночь, когда ветер расшваркивал за окном остатки листьев, будто огромная метла, и Антонову мерещилось, что у него на лице растут водяные усы. Было еще несколько нарастающих приступов, застигавших Антонова на самом виду у людей — в загончике кафедры, где ноги Антонова внезапно становились слабее рук, упиравшихся в борта, на улице перед лужей с бурными листьями, похожей на замоченную сковородку с пригорелой картошкой. Левый ботинок по-прежнему протекал, Антонову накануне зимы пришлось разориться на новую пару — избегая мраморных, ложно-глубоких магазинов, одному бродить по дешевым, большей частью деревянным лавкам, копаться в сырых тяжелых кучах с перепутанными шнурками и выворачивать на свет чудовищные подошвы, похожие на каких-то окаменелых трилобитов.

Антонова больше ни разу не пустили в ее палату: он был формально не родственник, а преподавателю, даже не куратору студенческой группы, пропуска к больной не полагалось. Теща Света одна, с пакетами до полу, волок-

лась по белой, все белеющей по мере подъема больничной лестнице на шестой этаж, а Антонов оставался ждать ее в приемном закутке, куда спускались — не к нему — полужнакомые больничные обитатели. Антонов пару раз пытался заговорить с длинноносой Викиной соседкой, подолгу сидевшей, привалившись боком, возле малорослого, по-женски терпеливо вздыхавшего мужичонки с желтоватой сединой на круглой голове и каким-то подгнившим, морщинистым местом около запавшего, явно беззубого рта. Оба они ничего не отвечали Антонову, только привставали одинаково, с добрыми дырявыми улыбками. Антонов, почувствовав неловкость, спешно уходил от них на другой конец помещения; он столько думал о шестом этаже, сохранявшем свое идеальное равновесие у него над головой, что это лишь однажды виденное место казалось ему знакомым — неожиданно обнаруженным материальным подобием тех математических построений, где сам он был одним из обитателей, одним из призраков, чующих друг дружку по отзвукам мыслей. Все дело было, наверное, в пустых стенах: реальность обрело только то, что плотную лепилось к ним, — например, запомнившиеся зрению Антонова всякие растения, похожие, вместе с горшками, на сильных, внезапно замерших пауков; пациенты тоже стремились сидеть вдоль стен, и в этом, собственно, не было еще никакого сумасшествия — ведь любой человек, как понимал Антонов, в состоянии покоя прислоняется к чему-нибудь — к стене, или к дереву, или к столу, — присоединяет себя, для пущей собственной реальности, к какому-либо предмету, — а очутившись в чистом поле, кажется себе потерянным, почти несуществующим. Но там, на шестом этаже, где даже белые решетки не значили ровно ничего и растворялись в любой мало-мальски пригодной перспективе, — там было слишком легко отделиться, отпустить ладонью от реального и исчезнуть насовсем. Поэтому Антонов с нетерпением поджидал, когда же теща Света сойдет в своих домашних тапочках по кое-как начерченной лестнице; сообщение, что Вике лучше, что она хорошо поела котлет, избавляли его от страха на несколько часов.

Он упорно и ежевечерне ездил в психбольницу вместе с тещей Светой, входившей в какой-то азарт и нагружавшей Антонова целыми мешками наготовленной, толсто укутанной еды, которая грела его в автобусе печным теплом и привлекала сдобными, мясными запахами внимание серолицых пассажиров. Уже просеялся на землю суховатый снежок; белое снеговое одеяло укрыло и увеличило в размерах клумбу перед главным больничным корпусом, старые автопокрышки и битые банки на задворках психиатрички. Кустистая болотина, где утопали во мгле больничные корпуса, держала снег, бывший там не одеялом, но пустым бельем, угловато на весу; на горизонте, там, где сходил на нет похожий на столбик сгоревшей сигареты пепельный лесок, снежная земля и небо сливались так, что лишь какое-то возвратное движение взгляда по кочкам либо по мягким, как перина на панцирной сетке, сероватым облакам намекало на существующую границу. При одном только взгляде на эту картину хотелось лечь и лежать; Антонов думал, что пейзаж за окном, должно быть, отнимает у больных последние силы и, просачиваясь в палаты серым водянистым светом, буквально держит их на казенных койках. Часто он подбирался, оскользаясь новыми ботинками на мерзлых шелестящих кочках, под окошко Викиной палаты. Не было никакой приметы, каждый раз приходилось отсчитывать восьмое с угла — и хотя заботливая теща Света уверяла, что Вика улыбалась ему и махала рукой, Антонову все же казалось, что он напрасно пылился и пылился: возникавшее за рамой и решеткой смутное пятно могло быть чем угодно, вплоть до отблеска бледного солнца, бывшего всего лишь дыроу в несвежих больничных облаках. Эти свидания на вечеряющей болотине были бессловесным разговором пятен, более похожих на души, чем на лица, и чувствовалось, гораздо больше, чем при употреблении слов, что разговор происходит в воздухе, обретающем в сумерках над белым снеговым пространством ту пустую протяженность, какая бывает летом только над гладью обширных озер. Возможно, для Вики Антонов воплощал собою сбывшуюся в

психушке сумасшедшую мечту о неотступном поклоннике под окнами. В отличие от Вики, укрытой за сизым стеклом в палатной полутьме, Антонов осознал себя внизу словно на ладони и одновременно с собою ощущал окружающее; ему казалось ужасным, что Вике ежедневно и в его отсутствие открывается вид на специфическую больничную помойку, где из обыкновенных изоржавленных контейнеров выпирают, в целлофане и пропитанном тряпье, слипшиеся дряблые предметы, похожие на дешевые куриные наборы; раз он видел, как тощая, ребра да полосы, взъерошенная кошка, припадая и двигаясь на манер осторожной гусеницы, волокла от помойки неудобный встопорщенный кусок, а за куском тащился цеплявшийся за мусорный бетон перекрученный бинт.

## IX

Через какое-то время исхудавшая Вика, сопровождаемая хмурым взглядом дежурного охранника, стала спускаться к Антонову в приемный закуток. Низкие морщины казенной косынки, повязанной до бровей, делали ее непривычно серьезной, она ни разу не улыбнулась (видимо, могла пока что улыбаться только на расстоянии, из окна, тогда как в закутке, даже и с прибавлением лестницы, для этого не хватало места), и Антонову казалось, что он буквально слышит ее полотняную глухоту, скрипучую грубую ткань. Теща Света, немного поговорив, оставляла их вдвоем — умудрялась находить какие-то занятия в холодном вестибюле с зарешеченным пустым гардеробом, откуда, будто из киоска, тетка в волосатой мохеровой кофте продавала такие же кофты и свитера.

Антонову и Вике было не так-то просто приладиться друг к другу; хорошо, если удавалось сесть, — тогда костлявенькая Вика, запеленав халатом голые колени, позволяла себя приобнять. Она то побаивалась Антонова, то напускала на себя высокомерную таинственность, туманно намекая, что приобрела дорогостоящий, не всякому доступный опыт. Она, похоже, гордилась засыхающими швами в сгибах локтей; Антонов догадывался, что Вика, обычно обеспокоенная малейшим пятнышком на платье, малейшим зернышком осыпавшейся туши, будет теперь нарочно носить короткие рукава, чтобы всем продемонстрировать уродливые следы своего отчаянного подвига — потому что эти шрамы ничем не хуже дряблых синюшных впадин у иных ее приятелей, у которых детский страх перед уколами перерос в обожание шприца. Антонов, как всякий преподаватель и отчасти педагог, попытался добиться от Вики обещания, что она «такого больше не будет», но получил в ответ одну принужденную кривоватую усмешку. Мокренький и слякотный ее суицид так и остался необъясненным. Вика упрямо не желала изложить простыми человеческими словами то, что намеревалась сказать Антонову и теще Свете своим полуутопленным трупом. Похоже, Вика вообще не признавала, что Антонов и теща Света имеют какое-то отношение к происшествию, являются адресатами какого-то сообщения; у Антонова, однако, создалось впечатление, что она жалеет испорченный желтый купальник. Щурясь мимо Антонова на лестничный проем, где маялся, сцепляя руки то сзади, то на груди, взбудораженный охранник, имевший вид, как будто пришел сюда на свидание к девушке, которая безнадежно опаздывает, — Вика спокойно объясняла, что она попробовала и знает теперь, что дверь открыта всегда, а значит, можно пожить еще и ради интереса посмотреть, что из этого получится. Свое самоубийство она упорно называла отложенным; на беспомощные упреки Антонова, требовавшего пожалеть хотя бы мать (в действительности имевшего в виду исключительно себя), Вика, попрыгивая ноздрями, заявляла, что ненавидит вранье. Бедный охранник беспокойно поглядывал то на свои наручные часы, то на стенные — разница в несколько минут составляла для него дополнительное, никак не проходящее мучение. Вероятно, он объяснял себе, что дожидается окончания дежурства, но Антонов видел, что это у него наполеоновский синдром. Странно, но он почти не ревновал; гораздо больше его беспокоило, что

Вика теперь, похоже, совершенно рассталась с чувством времени; время ее сделалось неопределенным, несчитанным и чужим: стоячим водоемом, где она решила пока побултыхаться, не особенно заботясь, сколько его прошло и сколько осталось до конца — потому что конец, как она любила теперь повторять, уже позади.

На дне его души, в илистой компотной мякоти, тихо колыхалась уничтоженная фотография: Антонов чувствовал ее чернила. Иногда, возвращаясь ночью из больницы, один посреди едва белеющей тощей зимы, зашорканной на тротуаре до асфальтовых дыр, он внезапно пугался, что Вика, оказавшись дома, первым делом хватится своей реликвии, без которой, возможно, подвиг ее окажется неполным. Вдыхая играющий в воздухе снежный порошок, от которого, словно от кокаина, немело лицо, Антонов изобретал мистические, сродные Викиному действию, варианты исчезновения фотографии. Собственное участие в этом казалось Антонову настолько неуместным и пошлым, что он стонал и глубже зарывался носом в надышанный, мокрый, будто полотенце после бани, полосатый шарфик; кокаиново, мертво сияющий снег, полосами наметенный вдоль зданий и кромок тротуара, казался ему отравой, нарочно кем-то засыпанной около щелей.

И бывало, бывало, что в эти одинокие возвращения Антонова окликала вдруг такая же оставленная, как и стопка уцелевших Павликовых снимков, так же упрятанная под другие бумаги, давным-давно не виденная рукопись. Ощущая в груди тепло, переходящее в жжение, Антонов то вспоминал какую-нибудь особо изящную штуку, когда-то оформлявшуюся с мультипликационной легкостью на ночной холодной кухне, прокуренной до запаха остывшей печи, то обнимал особым ясным чувством рукопись целиком, в загадочном равновесии ее написанной и ненаписанной частей, причем ненаписанное казалось раем, вполне заслуженным и обеспеченным теми наработками, что уже лежали, надежно зафиксированные, в одном из ящиков легкого хозяйкиного столика, стучавшего при письме, как во время спиритического сеанса. Но внезапно Антонову приходила мысль, что записи остались от какого-то другого человека, которого, как и персонажа фотографий, вряд ли можно считать живым. Шаги его невольно замедлялись, он опасливо расшаркивался перед черными, пунктирными вдоль тротуара ледяными катушками, уводившими скорей, чем надо, в перспективу промерзшей до состояния макета, абсолютно неподвижно освещенной улицы; сжимая в кармане твердую палку хозяйского ключа, способного открыть по крайней мере одну из ночных, очень крепко запертых дверей, Антонов чувствовал какое-то потустороннее бессилие, потери крови. Горящие вывески над банком и аптекой давали ему понять, что сейчас он не может прочесть ничего, кроме этих полуметровых печатных уличных букв, что он каким-то образом сделался почти неграмотным, — и рукопись становилась враждебна, ненаписанная ее половина представлялась возможной (и уже создаваемой) где-то в раю, за смертной чертой. Оттого, что Антонов, из-за силы и свежести первоначального замысла, не мог восстановить по памяти, где именно, на каком разбеге мысли, прервалась из-за прогульщицы его желанная работа, эта черта — между сделанным и несделанным, между жизнью и смертью — казалась расплывчатой и почти мистической. Иногда — потому что задубелые ботинки предательски скользили по желтым мозолям тротуара — Антонову мерещилось, будто эта черта может обнаружиться прямо впереди, где-то под ногами, и ровно ничего не стоит внезапно через нее переступить.

Все-таки он пытался добиться от Вики чего-то положительного, позитивного, даже рисковал «выяснить отношения» (отчего маленькая теща Света в глубине вестибюля, около радушной тетке, завлекавшей ее своим мохеровым причесанным товаром, внезапно застывала, силясь уловить в общем расслабленном гомоне их зазвеневшие голоса). Скоро Антонов заметил, что такие стычки стали повторяться до буквальной одинаковости слов. Теперь ему и Вике



было проще говорить о ком-то постороннем — хотя бы о других пациентах шестого этажа, например о Викиных соседках, посылно выражавших собою свою непричастность к реальной действительности, но порою выглядевших здесь, внизу, совсем обыкновенно, вроде уборщиц, присевших поболтать и отдохнуть. Конечно, в этой зауряднейшей психушке не обнаружилось ни Цезарей, ни Наполеонов; имелось, правда, мужское отделение, и обитатели его более, чем женщины, напоминали узников, потому что часто стояли около решеток и держались за них заскорузлыми пальцами, а иные даже робко ставили ноги в спадающих тапках на нижние перекладыны, как бы надеясь для чего-то долезть до пустого потолка. Насколько Антонов мог судить по тем, кто спускался в приемный закуток, здешние нервнобольные мужского пола могли быть соотнесены с великими людьми только по разновидностям бород, весьма, однако же, неопрятных и не слишком густых, так что сквозь пересушенный волос рисовались собственные их небольшие, вроде корнеплодов, подбородки. Среди психов присутствовал, например, совершенный Достоевский, только с уклоном в азиатчину, с излишней высотой скул и татароватыми шипами усов; имелся и Чехов, в затемненных, как перегоревшие лампочки, модных очечках, временами, видимо, настолько забывавший о собственном присутствии, что ронял из вздрогнувших рук принесенные ему мешки.

Женщины были попроще и действительно напоминали не больных, а какую-то службу, уборщиц или санитарок. Антонов, расспрашивая Вику, все пытался понять, в чем же заключается их сумасшествие, но не обнаруживал ничего разительного, кроме разве того необъяснимого факта, что фамилии обитателей шестого этажа, включая персонал, представляли собой целую кунсткамеру окаменелых грамматических ошибок: так, длинноносая Викина соседка звалась Люминиева, а заведующая отделением, поклонница Гериного таланта, носила фамилию Тихая. Другая соседка, Засышина, которую Антонов видел только внизу, осанистая женщина с темной тенью летнего загара на добротном, от природы тщательно отделанном лице и с тою торжественной посадкой большого живота, какой бывает у подушек на деревенских кружевных кроватях, все время собиралась в дорогу; каждое утро она готовилась к выписке, раскладывая по мешкам свое постиранное и помытое имущество, раздавая остатки картофельных, с черным луком, пирогов и каменных мелких конфет. Засышина всем говорила, что поедет сегодня на поезде, — она и правда была не здешняя, а откуда-то из северного леспромхоза, как будто из довоенных еще раскулаченных переселенцев; неправдоподобная дальность якобы предстоящего ей путешествия объяснялась, возможно, семейной памятью о поездах, шедших, словно сквозь туннели, сквозь множество ночей, из лета в осень или даже в зиму, — о поездах, строчивших, будто швейные машинки, и надставлявших расстояние кусками времени, так что годы, минувшие с той поры, тоже пошли, пристрочились туда же, — и Засышина теперь собиралась «домой», в нереальную даль, каждый раз степенно прощаясь со своими городскими тщедушными родственниками, похожими рядом с большой и красивой Засышиной на постаревших без взрослости детей.

Люминиева, наоборот, не ожидала никаких перемен: бесконечно наживля на спицы рыхлую нитку, приходившую откуда-то из-под кровати с нанизанными клоками пуховой пыли, она без конца рассказывала про мужа, что работал на заводе слесарем-наладчиком, про сыновей Андрюшу и Гошу, девяти и тринадцати лет. Как будто и не было ничего хоть сколько-нибудь ненормального в этой семейной повседневности, все, напротив, было очень обыкновенно; но оно все время как-то стояло перед Люминиевой, существовало одновременно в реальности и ее сознании — и это было удвоение, которого женщина, по-видимому, не могла постичь. Во всяком случае, Антонов понимал, почему Люминиева, так много говорившая о муже, что брезгливая Вика уже почти ненавидела этого чесночно-табачного мужичонку с рублевой медалькой на коричневом пиджаке, — почему она, сосредоточенная на нем и детях, в первый момент словно не совсем его узнавала. Люминиева, заколебав-

шись несмелой улыбкой, осторожно трогала тылом ладони его багряные и холодные с улицы щечки, убеждавшие ее, что муж пришел издалека, — в то время как он смущенно шерился и дергал головой, будто растягивал тесный воротник.

Раздражительная Вика, которой семейная соседка успела изрядно надоест, не желала видеть в Люминиевой что-то особенное — но Антонову порой казалось, что он улавливает в псевдосумасшествии этой обыкновеннейшей женщины отражение реального положения вещей. «Замирание времени», — говорил он себе, удерживаясь рядом с дремлющей тещей Светой на краешке полутораместного сиденьца, сотрясавшегося всем своим железом пьяного автобуса. Они ехали из больницы очень долго, одиннадцать туманных, обставленных киосками остановок, — но улицы города, где за последние несколько лет так усилилось движение легковых, все более зверевших автомобилей, никуда не вели. Город целокупно переходил из ночи в день и изо дня в ночь, — но улицы его, чересчур оче вид н ы е, в центре упирались в помпезные туманные здания, содержавшие учреждения, не нужные большинству из едущих и идущих, а на окраинах выползали из-под серых горбушек разломанного асфальта и растворялись с сыпучим шуршанием под колесами какой-нибудь местной залатанной машинешки, в уродливых просторах карьеров и пустырей; последняя жилая изба, всегда заросшая одичалой зеленью, горькой на цвет, значила здесь не больше, чем брошенный на обочину спичечный коробок. Город пребывал в нигде, в замирании времени и пространства, и самое лучшее, что можно было себе представить, — будто улицы, замысловато переплетаясь, сливаются в шоссе, что утекает сквозь четкую выемку в лесистом горизонте, мимо уходящих под насыпь пропыленных домишек и огородиков с кучерявой картошкой, куда-нибудь в Москву. Улица, ведущая в другой, возможно, лучший город, — это представление могло служить опорой человеку, достаточно свободному для праздного витания мыслей. Но повседневная трудная жизнь, протекавшая здесь и не имевшая лучших перспектив, была подобна слову, повторенному множество раз, и наизусть впечатывалась в умы, так что бедная Люминиева не выдержала, ей потребовалась больница. Жестокая Вика однажды сказала, что семейная соседка, лежа в этом «санатории», чувствует свою вину, но боится выписки. Безо всякой связи с происходящим Антонов тогда подумал, что у Вики, слава богу, абсолютно правильная фамилия, может быть, единственно нормальная на всем шестом этаже: Иванова.

## Х

Лишенный сумасшедшим домом права на родственность, Антонов пытался утвердиться и бывал у тещи Светы по выходным: заявлялся задолго до того, как им надо было ехать в больницу, получал перепрелый сытный обед и поглощал его не торопясь, в присутствии запыленного, давным-давно не включаемого телевизора. Пока Антонов и теща Света сидели одни, вполголоса обмениваясь малозначащими фразами, между ними возникала какая-то тонкая гармония; открытая и непривычно прибранная Викина комната, с гладкой постелью и ясным окном, где далекий морозный шпиль казался бесплотным, точно луч дневного прожектора, тоже участвовала в этом покое и представляла собой опрятную перспективу вещей, строго параллельных стенам и потолку. Но неизбежный Гера тоже не дремал — казалось даже, что он и вовсе не спит, настолько красны и горячи бывали его бегающие глазки, когда энергичный друг семейства, отряхиваясь от талой снеговой шелухи, раздевался в забитой его товарами прихожей. Возможно, что таинственная эта воспаленность объяснялась ночными Гериными трудами за пишущей машинкой, которым он предавался со страстью прирожденного фальшивомонетчика; во всяком случае, рукописи он с собой пока не приносил, а продолжал таскать для Вики толстокорые огромные фрукты — коричневые, похожие на картошку, очень твердые груши, все те же пористые апельсины, проложенные снутри рыхлой

стеганой ватой: когда Антонов вскрывал для Вики в больнице эти глухие мячи, пальцы делались горькими, будто анальгин. Гера больше не возил Антонова и тещу Свету на своей машинешке, объявив, что «агрегат сломался», и не составлял им компанию в усыпляющих автобусных путешествиях. Однако Антонов подозревал, что Гера бывает в психбольнице в неприемные часы и деловито общается со своей приятельницей Тихой. Во всяком случае, боковая тропа, по которой он в самый первый раз провел подавленных родственников к скромным служебным дверям, оставалась хорошо утоптана и канавой темнела на спящей сыпучей целине, обманно указывая направление на главный корпус и скрытно заворачивая в золотом, пронизанном дрожью бурьяне. Антонову даже казалось, что он различает на мерзлом мякише болотины взрытые, словно копытные, Геринины следы.

Продолжая жить своей таинственной кипучей жизнью, Гера затеял проект: ему предложили выгодную схему торговли не то бумагой, не то какими-то трубами, и он решил наконец зарегистрировать предприятие. По замыслу его, Вике в психбольнице, опять-таки по блату, должны были оформить инвалидность, после чего расторопный Гера принимал ее на работу, что было крайне выгодно в смысле налогов, а Вике давало возможность получить, по выражению предпринимателя, «исправительный урок капиталистического труда». Антонову, ненароком заставшему обсуждение нового бизнеса, не сразу удалось дознаться до сути проекта: теща Света, совершенно растерявшись, поспешила на кухню к переполненной раковине, где под струей пулеметно застрекотала грязная посуда; сам же Гера, только что темпераментно, чуть ли не с ленинской жестикуляцией, рисовавший ей, сидевшей смирным калачиком в углу дивана, выгоды и перспективы (главным образом свои, но теща Света, нежно и испуганно мигая, принимала их на собственный счет), немедленно повернулся к Антонову спиной. На Гере был, в соединении с неизменными бряцающими джинсами, малоформатный разлетный пиджачок с большими дырками петель по борту, а также коротенький, пуком, ацетатный галстук именно того индустриального оттенка, какой рисовали на портретах Ильича, предназначавшихся для средних и высших учебных заведений; он остервенело рылся в своей многокарманной, набитой скоросшивателями сумке и даже царапал там по днищу, намереваясь, как видно, немедленно заняться бизнесом. Все попытки Антонова обратить на себя внимание и выяснить, что за инвалидность, насколько это связано с реальным состоянием Вики и почему вообще такие вещи решаются помимо него, нарывались на кашель и бурканье, и тут же перед ним опять оказывался серый, как бы слоновий, джинсовый круп. «Ты здесь кто? А? Чтобы я давал тебе отчеты? — вскидывался Гера, оставаясь руками в сумке. — Я тебя не знаю, кто ты, и говорить с тобой не хочу!» Он махал на Антонова своими бумагами, его соборенный, рвущийся говорок и внезапный переход на пролетарское «ты» выдавали не волнение и опаску, а скорее возбуждение, как будто самый факт, что Антонов ему сопротивляется, говорил о солидной, даже сверх ожидания, выгоде будущих сделок. Отчаявшись добиться толку, Антонов бегал к теще Свете на распаренную кухню, где она, работая локотками, похожими на сточенные теркой морковины, купала в сизой мыльной пене глухо тарыхтевшие банки. Она, хлопоча, расшаркиваясь между раковиной и духовкой, где жарилась для Вики курица с грибами, тоже держалась к Антонову спиной (после эту манеру, взятую от друга семьи, ему предстояло узнать в более артистичном Викином исполнении). В ответ на возмущение Антонова теща Света жалобно оправдывалась, что она еще ничего не знает, но, может, так будет действительно лучше. «Ты же сам сердился, что у нее никаких математических способностей», — повторяла она, путаясь в расставленной посуде, и Антонов внезапно понял, что эта маленькая женщина, которой удастся жить обыкновенной жизнью, какую она и мыслила себе до всяких рыночных преобразований, считает Вику подвешенной в воздухе и обреченной в самостоятельном будущем чуть не на голодную смерть. «Как только Вика выпишется, я на ней женюсь!» — брякнул Антонов ни к селу ни к го-

роду и тут же понял, что опаздывает с этим заявлением, если уже не опоздал. От неожиданности теща Света уронила вареную картофелину в кастрюлю с винегретом, где и так валялось много недокрошенных, грубых кусков, а Гера в соседней комнате затих, но тут же продолжил свое бормочущее, царапущее копошение.

Скоро он убежал, раскачиваясь и хватаясь за предметы, точно устремляясь вперед по ходу курьерского поезда, а теща Света понемногу отошла — и в перемороженном полупустом автобусе, где только стоявшие казались живыми людьми, а сидевшие были безвольны, точно рассаженные по местам неуклюжие куклы, она уже улыбалась, протаявая розовым пальцем оконный ледок. Все сидевшие, застегнутые криво, но надежно, с руками и ногами в виде толстых матерчатых калачей, темнели вдоль длины автобуса по одному, только теща Света и Антонов были вдвоем и вдвоем держали на коленях теплую, хлебно пахнущую сумку, потому что курица на морозе тоже пахла свежеспеченным хлебом. В эти хорошие минуты Антонов почти поверил, что сумеет отстоять свои права, потому что без Вики, чье присутствие лишило его любых реальных прав, препятствия в виде Гериных прожектов, тещи Светиной нерешительности и даже больничной, не пускавшей его без пропуска охраны казались единственно существующими и при этом преодолимыми.

Противостояние с Герой продолжалось весь ноябрь и половину декабря, неожиданно рассыревшего, отчего осунувшиеся улицы превратились под колесами в сплошное пюре, а теща Света, водянистая с лица, мучилась головными болями и держалась пальцами за виски. Антонов подозревал, что Вику так долго не выписывают из-за Геры, который через свою Тихую специально тянет время, думая, будто он его выигрывает. Гериная неприязнь к Антонову, ранее выражавшаяся в простом, но ощущаемом даже на расстоянии превосходстве большей массы над меньшей, теперь принимала такие сварливые формы, что Гера, полностью одетый на выход, уже затянувший до носа трескучую молнию бодро-красной, бодро посвистывающей курточки, бежал, бывало, обратно в комнату, чтобы выкрикнуть «интеллекту» еще какое-нибудь оскорбление или не совсем понятную угрозу. Когда они, разделенные тещи Светиным виноватым присутствием, вместе сидели в комнате, Гера делал все, чтобы Антонов ощущал, как он его не любит. «Налей, налей ему чаю, пускай хлебает!» — иронически поощрял он тещу Свету, осторожно спускавшую в чашки свежий, комками плюющийся кипяток, и тотчас чашка Антонова, выпучившись пузырем, переливалась через край.

Нередко Антонов, появившись у тещи Светы часов в одиннадцать, заставал неприятеля занявшим плацдарм: что-то уже поевший, Гера упоенно терзал тещи Светин хорошенький телефон. Перетащив аппарат за шкурку на ветхий журнальный столик, Гера дергал пальцем цепляющийся диск и, соединившись, лалял в трубку распоряжения по сделкам. Его растрепанные записные книжки с завитыми углами, раскрытые одна на другой, содержали множество потертых номеров, а также лощеных визиток с шулерскими винетками, заложенных в книжки по какой-то хитрой системе; тщетно глубокое тещи Светино кресло, одетое в рыхлый, до пола, старушечий бархат, но обладавшее, как было известно Антонову, мощью экскаваторного ковша, пыталось успокоить и уложить ретивого бизнесмена: дернувшись и повозив ногами, Гера неизменно выкарабкивался и продолжал, сидя словно на коленках у бабушки, баловаться аппаратом — в то время как теща Света, боком перелезая через косо натянутый телефонный шнур, несла ему дребезжавшую на блюде чашку горячего кофе и одновременно шепотом и страшными глазами отправляла Антонова на кухню, где тарелка со следами Гериной трапезы напоминала палитру художника, только что создавшего шедевр.

Антонов никак не мог уяснить, какие все-таки отношения связывают тещу Свету с этой живой карикатурой, является ли Гера в полном смысле слова «ее мужчиной», или же теще Свете отводится роль всего лишь наперсницы по литературным делам. Прежде Антонов смущался задавать себе подобный бес-

тактный вопрос, его останавливал какой-то внутренний барьер, а кроме того, приходило воспоминание, как в самый первый раз, явившись в этот дом, он был застигнут без брюк поворотом ключа, усталыми шагами в коридоре, звуком шаркнувшей, будто лодка о берег, хозяйственной сумки, — и как после сквозной минутной тишины, во время которой Антонов и Вика впервые за вечер посмотрели друг другу в глаза, полегчавшие шаги быстро повторили все в обратном порядке, при том, что на улице стоял тридцатиградусный мороз. Теща Света проявила тогда деликатность ценою сильнейшей простуды, и когда она через несколько дней официально принимала Антонова в гостях, горло ее, вероятно, было таким же пестрым, как и принесенная Антоновым ангинозная орхидея. Теперь же Антонов, несмотря на полученный урок целомудренного невмешательства, следил, как шпион, из укромного угла, не проявятся ли на просвет во взаимных перемещениях Геры и тещи Светы некие многозначительные водяные знаки. Шпионские наблюдения выявили тем не менее, что между хозяйкой и гостем нет ничего подозрительного: даже когда в тещи Светиной квартире внезапно, с ликующим курлыканьем, на несколько часов остыли батареи, эти двое не потянулись друг к другу за животным теплом, но укрывали каждый свое, глубоко запахиваясь на мужскую и на женскую стороны. Вероятно, Гера просто обладал счастливой способностью становиться родственником в самых разных семействах — как догадывался Антонов, главным образом в неполных. Во всяком случае, заотделением Тихая явно была не единственной Гериной поклонницей на стороне — хотя бы уже потому, что существовали и другие экземпляры романа, вероятно, составлявшие, вместе с черновиками и вариантами, целый монумент из переработанной бумаги, что-то вроде античной развалины в Герином, как он его называл, «домашнем кабинете» — и имелся, конечно, первый, парадный царь-экземпляр, который набивала где-то в недрах отвергавшего Геру издательства преданная ему немолодая машинистка.

Теща Света, как понимал Антонов, представляла собой для Геры объект идеальный. Все ее гуманитарное воображение, очень мало востребованное в рекламной фирме и не шедшее ни на какое собственное творчество, тратилось на романтизацию чужих, в частности Гериных, страданий, которые представлялись теще Свете столь же отличными от собственных ее эмоций, сколь отличны от обыденных речей высокопарные стихи. Теща Света физически не могла смотреть на экран, если после «ее» рекламного ролика, зазывавшего в новый, паразитно внедрившийся в развалину стеклянный минимаркет, по телевизору показывали муравейник голодающих негрятянских детей или место автокатастрофы, где сквозь стекло разбитой грузовой «чебурашки» белело прижатое нечто, напоминавшее белье в окошке поработавшего стирального автомата. Антонов не усматривал ничего удивительного в том, что под рекламными щитами тещи Светиного изготовления сразу же заводились нищенки, с лицами пустыми, будто вывернутые мятые карманы, с байково-грязными, мертвенно спящими детьми на бесчувственно-вислых руках, — и любая драная гармошка, наполнявшая горестной вальсовой музычкой сырую полутьму подземного перехода, без труда выманывала из укрытия тещи Светин скромный кошелек. Гонимый Гера и был для жалостливой тещи Светы романтический герой: она бы ни за что не смогла добавить ко всем ударам со стороны издательств и рецензентов еще и собственную критику, боялась даже ненароком, околичностью, согласиться с этими бесчувственными чиновниками от литературы, оказаться на их стороне, — и в результате трусила самого горластого страдальца, забиравшего все шире власти. Антонов понимал, что теща Света именно боится отмеченных страданием людей — еще и с тем оттенком страха, с которым впечатлительные женщины боятся мышей и привидений, — и поэтому, случись на самом деле с кем-нибудь из близких настоящее несчастье, она навряд ли сможет быть достаточно тверда, чтобы под свою ответственность наладить для себя и для другого нормальную жизнь. Однако фальшивый, исполненный кипучей жизни страстотерпец вроде Геры мог вить из

нее веревки: для него теща Света была готова на что угодно и пантомимой умоляла Антонова из-за Гериной покато́й, плохо укрывающей спины как-нибудь перетерпеть его безостановочный террор.

Антонов ловил себя на том, что и сам боится оккупанта: еще у входных дверей, слышав Герин голос, транслирующий себя в телефонную трубку, он чувствовал тошную слабость в груди, и раздевание его, с длинным сволакиванием хрустящего, словно соломой набитого пуховика и сложным обменом ботинок на разъятые тапки, превращалось в сплошное мучение, — а после эти же тапки на черной тяжелой резине грубо упирались в линолеум коридора, когда Антонов, с белым перышком на мятом рукаве, пытался независимо войти к коварному врагу. Антоновское чувство собственного достоинства, мешавшее ему удобно и вольно усесться на стуле, служило для Геры неистощимым источником потехи; ледяное «вы», которое Антонов при общении с врагом пытался сохранять, было таким же незащищающим и нелепым, как и тощий антоновский кулак, похожий на яблочный огрызок по сравнению с целым и крупным Гериным фруктом, иногда ложившимся для острастки поверх упитанного слоя коммерческих договоров. И даже когда проклятый Гера отсутствовал в тещи Светиной квартире (вероятно, рыскал по области на своем стреляющем драндулете), от него все равно не было никакого спасения. Превратив помещение в собственный офис, Гера насажал на тещи Светин телефон множество паразитов. Незнакомцы прорезывались сиплыми, не сразу набравшими полное и слитное струение междугородними звонками, их задыхающиеся голоса едва пробивались сквозь шумовую метель, — и Гера очень сердился, если теща Света неправильно понимала и записывала эти прерывистые сообщения. Бывало, что и сам он добирался слабой, крупно-угловатой трелью из какой-нибудь богом забытой дыры; если Антонову случалось оказаться у аппарата одному и услышать Герин голос, звучащий словно из погремушки и уменьшенный ровно на столько, на сколько Гера вживе преувеличивал его, надрываясь в тещи Светин телефон, — Антонов не выдерживал и придавливал аппарат, который тут же, под рукой, принимался выделять тугой горох повторного звонка. Между прочим, счет за Герины переговоры, случайно увиденный Антоновым у тещи Светы на подзеркальнике, превысил за ноябрь четыреста рублей.

## XI

Но самое главное мучение Антонов претерпевал в полное Герино отсутствие. Тогда в его воображении наново звучали все обидные слова, все хвастливые угрозы и хамские выпады. Гера превратился в наваждение; однажды секретарша декана, немолодая почтенная сплетница с пластилиновыми расцветками угрюмого макияжа, обратила внимание Антонова на то, что он довольно громко разговаривает сам с собой. Открытие было таким же ошеломляющим, как и открытие лысины; действительно, Антонов тут же понял задним числом, что коллеги, собираясь к нему обратиться, вежливо выжидают паузы, как если бы Антонов общался еще с каким-то невидимым собеседником. Еще Антонов уяснил, что, бормоча под нос, он не только выступает от себя, но и проговаривает реплики Геры, который буквально вселился в него, подобно злему духу, и, казалось, носил его новый, совершенно юный по сравнению с остальным десятилетним гардеробом, молодежный свитер, подал в столовой его водянистый морковный обед.

Должно быть, доктор Тихая, незримо парившая над зимним металлическим городом в своем кубическом кабинетике, нашла бы в этом вселении вполне разборчивые симптомы; но именно мысль о сумасшествии, которого нет и не может быть, поддерживала в Антонове чувство правоты, что было равнозначно спасению от Геры собственного «я». С сумасшествием, представлявшимся ему не болезнью, не чем-то, объективно имеющимся в человеке помимо медицины, но неким способом употребления пациента со стороны спе-

циализированных врачей, у Антонова были давние счета — еще с наивной юношеской поры, когда он полагал, будто зимние и летние сессии, сдаваемые каждый раз на круглые пятерки, и есть важнейшие проверки содержимого его мозгов. Иллюзии кончились, когда неосторожного Алика, владельца ярко-черной, с золочеными морскими пуговицами, пишущей машинки, на которой перепечатывались «секретные материалы», забрали однажды в учреждение желтого профиля: тогда оно таилось прямо на задворках центрального проспекта, овеянных запахами хлебозавода, и представляло собою крашеный особнячок, если и отличавшийся от соседних, хозяйственных и конторских, то разве что особым выражением окон, совершенно ледяных по раздышавшейся весне. Мама Алика, артистка музыкальной комедии, всегда с веселым грудным говорком, всегда в сыроватой бархатной пудре, казалось, так же ей присущей, как цветку присуща пыльца, целый месяц плакала в платочек и, надев огромную кружевную, брасом плывущую шляпу, ходила по влиятельным друзьям, только чтобы Алика не долечили до бесповоротного диагноза.

Антонов тогда вляпался совсем не так глубоко: дело ограничилось серией бесед с двумя настойчивыми, но чрезвычайно вежливыми мужчинами в штатском, которые были бы совершенно однотипны, если бы не разница в габаритах, из-за чего и нервный изящный малыш, и долговязый великан, все время смотревший себе на колени, точно тайком читавший под столом какую-то книгу, казались какими-то нестандартными, а потому и не очень опасными экземплярами. Звания их находились в обратной пропорции к размерам; вопросы, задаваемые Антонову в предположительно-утвердительно-форме, касались даже не столько Аликова дома (где по уик-эндам появлялся, в качестве неизбежного гостя, интеллектуальный, с бодрой кроличьей улыбкой факультетский стукачок), сколько периферии дома и семейства — некой туманной, приливавшей и отливавшей стихии со своими двоякодышащими обитателями, — стихии, не соединявшей дом с остальным дождливым и каменным миром, но превращавшей его в зачарованный остров, где горела мандариновая лампа. Эта-то стихия и выходившие из нее неясные фигуры (артистический старец с хохлатыми висками и с перхотью на черном пиджаке, узенькая поэсса, делавшаяся по-крестьянски большеногой, когда тяжело ступала на пол с высоченных каблучков, прочая разнополая богема, одетая так, как вещи висят на вешалках в шкафу) более всего интересовали капитана и старшего лейтенанта.

Собственно, вопросы, задаваемые штатскими, как раз показывали Антонову, что он не имеет ни малейшей информации о людях, вечерами витавших в перламутровой от табачного дыма гостинной. Жизнь «молодежи» сосредоточивалась налево и наискось, через темный и узкий, точно горная щель, коридор: у Алика сидели на полу, крутили юливший музыкой и шарахавший треском радиоприемник в поисках «голосов», разбирали, передавая по кругу, скользкие пачки фотографий, где не было людей, а был очередной «антисоветский» текст, расплывавшийся от какой-то человеческой близорукости, свойственной «Зениту» Сани Веселого. Аликова берлога, конечно, обособлялась от гостинной, четверть которой занимал огромный, как черная Африка, гудящий, как джунгли, рояль, — но все-таки и берлога принадлежала к острову, удивительно далекому от внешнего мира, где таилась угроза, но главным образом — скука. Здесь, на острове, сумасшествие было игрой: поскольку эта область относилась не к обществу, а к личности и к потаенным ее глубинам, не вполне постигнутым наукой, то и притворяться немножко психом считалось делом сугубо личным, в лучшем случае — делом кружка, куда человек приходил с колымавшимся мешком целительного пива и с разнеженным от чтения журналом «Иностранная литература». Тут не только пили, читали и слушали радио: сюда, бывало, попадал от взрослых по чьему-то недогляду драгоценный кокаин. Тончайшее снадобье удивительно плотной и холодной белизны содержалось в дамской фарфоровой банке с туго отнимавшейся крышечкой; проделав в три приема процедуру ответственного отвинчивания, сосредоточенный Алик

брал на острую, совершенно игрушечную ложечку такую же острую порцию и, помаргивая, постукивая пальцем, отчего алмазная мука помаргивала тоже, выкладывал на карманное зеркало две неровные, с избытками, дорожки, после чего первый приобшавшийся получал пластмассовую соломинку и, наклоняясь, прижимал дрожащим пальцем лишнюю ноздрю. Ледяной бодрящий кокаин замораживал нос, превращая его в видимый скошенным зрением плотный отросток, зато в полегчавшей голове озарялась синим светом блаженная пустота, и сложно было представить, как у человека может что-нибудь болеть.

Все чувства у Антонова становились праздничными, даже дырявые носки, цеплявшиеся снутри за ногти скрипучих пальцев, казались почему-то шелковыми, хотя и были самыми простыми, — а что касается чувства времени, которое Антонов знал, сколько помнил себя, то оно, обычно ровное и точное (еще не обладавшее теми стройными перспективами, тою таинственной архитектурой, какие получило в дальнейшем), обогащалось как бы волной. Будущее, перетекая в прошлое, словно проходило через лупу, и в настоящем, державшемся ненормально долго перед остекленными глазами Антонова, все было выпукло, влажно, немного мохнато, журнальная страница была как таблица на приеме у окулиста, хотя Антонов совершенно свободно разбирал превосходный, чрезвычайно остроумный текст. Вообще обстоятельства, в обычной жизни досадные, теперь становились источником удовольствия: малейшая мелочь вызывала по-женски мелодичный смех исключительно мужской, живописно расположенной компании. Конечно, по утрам Антонову бывало хреново: раскалывалась голова, а главное — вокруг него возникала какая-то несовместимость поверхностей и фактур, его продирало, если сахар просыпался на липкую кухонную клеенку или шерстяное одеяло касалось мокрого полотенца, кое-как служившего компрессом и при отжимании выпускавшего такую серую воду, точно им помыли полы. В таком раздавленном состоянии Антонов даже начинал побаиваться последствий игры, но и отказываться не хотел. Его привлекал не столько праздник чувств, за который потом приходилось платить, сколько то, что, как он думал, доставалось совершенно бесплатно. То была особенная, интимная любовь к самому ритуалу, равная разве что той, какую Антонов испытывал к неторопливому копанию в книжках, к ладной тяжести потертого тома, к ощущению в руке его запрятанного, точно слиток, содержимого, к сухим, осенним запахам больших библиотек. У Антонова теплело на душе, когда у Алика в длинных факирских пальцах появлялась фарфоровая банка с бледно, как бы изнутри, нарисованным цветком и все обменивались понимающими взглядами. Во время медлительной процедуры Антонов всем существом переживал усилия товарищей, будто он сам пугался коснувшейся снадобья пряди волос или ронял обхитрившую пальцы соломинку, после чего неуклюже искал ее около собственных двух широко расставляемых ног, недоуменно заглядывая за свои отступавшие пятки. Антонов испытывал странную нежность и сочувствие к подержанному, исполненному плоского достоинства Саниному пиджаку, к черной от пота серебряной цепочке на тощей шейке некрасивой девицы, все-таки затесавшейся в компанию мужчин, к ее босым ступням, белеющим, будто ангельские крылышки; каждого, кто наклонялся с ищущей соломинкой к дорожкам кокаина, Антонов хотел бы поглядеть по голове. Даже появление в дверях доброжелательного стукачка Валеры, небрежно державшего в сложенных комариком пальцах золоченую кофейную чашечку и время от времени тонко касавшегося губами испачканного края, вызывало только ответные улыбки. Никто, кроме Антонова, не знал, сколько времени Валера, вытесненный взрослой и молодой компаниями, проводит в темном коридоре, завешанном горами одежды, к которой он иногда припадает плечом, посасывая сквозь зубы кофейную гущу. Антонов считал необходимым приглядывать за Валерой, и, если кто-нибудь надолго занимал разбитый, верхним перекошенным углом горевший туалет, он был уверен, что там, на желтом от старости унитаге, коротает время за чтением рваной газетки одинокий стукачок. Однако когда на божий свет появлялся, ломко отслаиваясь с ло-



жечки на зеркало, заветный порошок, даже Валера становился как бы членом семьи, и, хотя он неизменно, прикладывая руку ковшиком к сердцу, отказывался попробовать, его приглашали «просто посидеть» со всеми на полу, среди разбросанных фотоснимков и брошюр, — что и было, вероятно, самым непростительным сумасшествием.

То, что сумасшествие не является личным делом гражданина, а, напротив, является делом государственным, стало понятно всем, когда на выходе из читалки к недоумевающему Алику подступили какие-то двое с одинаковыми темными затылками, и он куда-то с ними исчез, а после обнаружился в больничке, где дверь с окошком для приема передач была точь-в-точь такая, за какой Антонова поджидали капитан и старший лейтенант. Даже невнятный, расплывающийся по поверхности стук, извлекаемый посетителями из обеих серо-железных дверей, был абсолютно одинаков; когда долговязый, появившись сперва в окошке, затем оттащивал толстую дверь, шуршавшую по линолеуму, изъезженному ею до вида и звучания затертой грампластинки, у Антонова было полное ощущение, будто он попал в дурдом и что назад дороги нет. Иногда Антонов бывал настолько измучен, что даже хотел пожаловаться штатским на этот ужас, который они на него наводят. Штатские, в свою очередь, выглядели каждый раз весьма довольными результатом собеседования, хотя Антонов мог бы поклясться, что не поведал им ничего, что не было известно тому же Валере. Давая показания, которые долговязый тщательно заносил на оттираемые локтем в сторону бумажные листы, Антонов придерживался внешней стороны вещей, той хорошо поставленной в и д и м о с т и, которая, благодаря сценическому опыту большинства участников, для любого постороннего зрителя выглядела будто музыкальный спектакль. Тем не менее штатские, заплывавшие в свое распоряжение очередной протокол, провожали Антонова двумя мужскими ясными улыбками (у долгоязого улыбка была слабее на какую-то точную долю служебного чувства), — и Антонов не мог себя пересилить, чтобы не протянуть руки навстречу розовой и маленькой, будто детский первомайский флажок, ладошке капитана; после он старательно, демонстрируя самому себе гражданскую независимость, вытирал опозоренную руку о штаны.

Саню Веселого, по-видимому, тоже таскали в отдел, но он об этом глухо молчал и только бегал в одиночку, с белесым выгоревшим рюкзачишкой, куда-то в синие леса, ощущаемые об эту пору в городе, как в квартире ощущаются открытые окна. Должно быть, прозрачный, как водичка, дневной костерок, да огуречные цвета молодой зелени, да мохнатые, холодные у корня весенние цветы, сильные под ладонью, будто пойманные бабочки, служили для Сани хорошим лекарством от отдела. Единственное, что Саня поведал Антонову, было весьма определенным выводом, сделанным в обстановке, в которой у Антонова начисто отключались аналитические способности: с улыбкой, похожей на ожерелье дикаря, Саня сообщил, что «им» не нужен ни Алик с его брошюрками, которых как открыток в каждой приличной семье, ни алкоголики актеры, чей велеречивый темперамент глубоко претил холодному тайному ведомству. По Саниным догадкам выходило, что «они» нарочно устроили шухер во всем тараканнике (из-за того, что ведомство внушало некрасивый страх, работники его, подобно всем коллегам в истории и в мире, болели отвращением к своим немужественным, трусящим, при этом вредным клиентам, будь то академики или популярные артисты, — и, может быть, разворошенные гнезда крупных творческих особей становились истинным испытанием для нервов этих образцовых мужчин). Настоящей «их» целью, по Саниному мнению, было вычислить кого-то единственного, возможно, привязанного к дому и хозяйке более нежными чувствами, чем мог себе позволить платный агент мирового империализма.

Естественно, что после Саниного сообщения Антонов захотел самостоятельно догадаться, кто же этот искомый. Но попытка вытянуть какую-нибудь одну фигуру кончилась тем, что остальные персонажи смешались в сознании

Антонова — тем более безнадежно, что многих он с тех пор не видел никогда. Зато в атмосфере гостинной выявилось нечто, не замечаемое прежде: тонкая чашка с просмоленной трещиной, полная нежного чаю до самых чувствительных краев, передаваемая кем-то кому-то, с конфеткой на треснутом блюдецке, будто огромная ценность; букет величественных, старческих, со склеротическими жилками гладиолусов, оставивший в прихожей на полу невыразимо печальный оберточный абажур; частные танцы под рояль, когда, вопреки излишне близкой музыке и многошаговой тесноте прущих друг на дружку в мебельном танго стульев и столов, то та, то иная пара оборачивалась вдруг необычайно слитным вензелем двоих, в каком-то смысле абсолютно бессмертным, — все это открылось Антонову только сейчас. То, что распалось в один прекрасный день, когда на бумажных, макулатурных газонах только-только появились первые весенние почеркушки, пробы зеленого пера, было беспорядочно и без учета реальности пронизано любовью — сумасшествием почище кокаина. В нем Антонов как-то не сумел принять участия и маялся теперь, поверив на слово решительному Сане, ходившему в леса, как выяснилось вскорости, со старостой группы, крупной, уютной девушкой, совсем на внешность простой и из-за этого не похожей ни на одно животное, а только на человека. Посреди горячей, пахучей весны, испарявшей бензин и без конца рокотавшей и искрившей моторами гроз, отсутствие Алика и всех остальных только намекало Антонову на отсутствие кого-то другого, — а Вика в это время, получив похвальную грамоту за окончание второго класса, катила на веселом поезде к морю, которое уже проглядывало в переменчивых горных разрывах то в ту, то в эту сторону наклоненной чашей и пахло сквозь железнодорожный ветер горячим лимонадом. Страшно одинокий Антонов бесчувственно сдавал четыре как бы квадратом расположенных государственных экзамена, где позы профессора и ассистента в любой момент могли напомнить ему привычную позицию штатских, тоже его поджидавших (не воспрепятствовавших, как ни странно, зачислению его в аспирантуру), — а городская, бледная, прыщавенькая Вика, в розовых трусиках и в розовом, двумя пустыми кармашками болтавшемся лифчике, жарилась на твердой гальке под мерные накаты моря, забиравшего понизу горсти рокочущих камушков, старавшегося посадить повыше и покрасивей ярко-белый, словно занявшийся с краю фиолетовым огоньком, стаканчик из-под мороженого пломбир. Из-за местного мороженого с пережженными орехами, напоминавшими вкусом о бормашине, из-за модной цветомузыки, вечерами превращавшей простоватый фонтан с березовой наклонном водной струей в ознобный и невиданный источник сладкой газировки, из-за тропической роскоши побитых коллонад и балюстрад девятилетнюю Вику забирала обида, что она чужая здесь и может побыть каких-нибудь восемнадцать дней, и то за большие деньги, ради которых мать не купила ей хорошенькие белые кроссовки. Такие кроссовки мелькали на каждом шагу, проходили на пляже перед самым носом; опершись о забытую книгу, где буквы были словно мошки на лампе дневного света, Вика приподнималась вслед и видела, как обладатели кроссовок иногда вырастали, по мере удаления, в загорелых красавцев, слегка подернутых мужским интеллигентным жирком, — и ее, растерянно оглянувшись на пройденные тела сквозь темные шпионские очки. Было ли все это как-то сопряжено во времени, уходившем у Вики в виде траты доступных по деньгам, всегда недостаточных порций удовольствия, а для Антонова превратившемся весной в злой цветочек циферблата, предмет среди предметов, не имевший отношения к пустоте чужого, тихо распадавшегося дня? Было ли это одновременным существованием главных героев романа, очень тогда молодых и принадлежавших не столько общему со всеми настоящему, сколько собственному будущему? Если предположить обратное — то есть что они пребывали в разных временах, — это означало бы не только не-существование Антонова, отмененного Викой задним числом (ей на самом деле не улыбалось, чтобы он имелся еще и в прошлом

как укор за многие, без него вполне невинные проступки), это означало бы не-существование обоих героев, их распад на прототипы, в реальности и не помышляющие ни о какой такой возвышенной любви.

## XII

Может быть, имеет значение то, что важное в жизни Антонова и Вики происходило все-таки синхронно. Когда Антонов впервые смутно ощутил, что между девушками, словно бы слишком многочисленными оттого, что они поделили между собою малыми частями какую-то томительную, отзывающую единством красоту, все-таки отсутствует одна, — тогда же и Вика, впервые испытывавшая на пляже мечтательную боль девического одиночества, догадалась, что в будущем согласится на мужчину не высшего сорта, как раз на что-то вроде Антонова — немного затхлого и даже лысоватого, зато высокого ростом и способного страдать перед нею, признавая тщету своего подтвержденного научной степенью интеллекта. Очнувшись вдруг под ослепительным приморским солнцем от сумерек детства и осознав нормальную жизнь как череду удовольствий, Вика в душе осталась тою самой бедной, нестоличной девочкой в криво стоптанных парусиновых тапках и с такими же тапкообразными лопатками, тоже как бы косолапившимися при быстрой ходьбе; поэтому она никогда не брала того, чего хотела по максимуму, чтобы, при ограниченных средствах, на потом осталась возможность нового удовольствия и тем продлилось само Викино существование. Но во время того восемнадцатисуточного отпуска (когда у молодой и вытанутой в струнку тещи Светы, чьи губы были точно красные цветы на ее летящем шелковом платье, случился единственный в жизни курортный роман) с Викой произошло и кое-что еще. Она отлично помнила, что на карте, висевшей в классе, Черное море есть всего лишь неправильный треугольник в окружении преобладающей, политически окрашенной суши, — но, стоя тормозящими тапками на покато, до половины заливаемом валуне, она своими глазами видела преобладание мреющего, светящего морского пространства над подсиненной землей, гораздо большую его величину. Земля, все время воздвигавшая одно на другое, громоздившаяся сама на себя, оставалась всего лишь набором вещей; море знало на вкус все ее береговые пресные камни (облизанная, словно леденец, зеленая стекляшка шла на сладкое), но само оставалось невещественно и относилось скорее к области чувств. Вика очень удивляла местные жители, маленькие щеголеватые мужчины и долгополые женщины с лицами цвета хозяйственного мыла, с какими-то бахромчатыми торбами на смоляных головах: море составляло как минимум половину их обитаемого места, но они на море не глядели вообще и жили как будто только одной половиной назначенной жизни, — даже пляжные спасатели, мускулистые коротконогие красавцы, на самом деле не умели плавать и только перекрывали плотный купальный шум гортанным мегафоном, выкликавшим «дэвушэк, который плаваэт за буйки».

Тогда девятилетняя Вика ощутила, не без холодка под ложечкой, что есть и другая половина жизни: это, остаточное, Антонов чуял в своей прогульщице подо всем бездарным вздором, составлявшим как будто ее независимую узенькую личность, вот только Викино море досталось не Антонову, а лысому шефу: несколько раз деловитая Вика летала в Сочи на какие-то семинары, возвращалась оттуда еще более деловитая, в красных разливах свежего загара, напоминающих симметричные пятна на тельце стрекозы. Наскучавшийся Антонов, белый под одеждой, как картофельный росток, видел в глазах своей сопливой бизнес-леди странный, неутоленный голод — при том, что она с одинаковой страстью отталкивала тарелки с ужином и самого Антонова, решившегося потянуться с поцелуем, а по ночам иногда тихонько скулила и подтыкала подушку кулаком.

До Вики было очень далеко, в ее существование почти не верилось, когда Антонов, одуревший от пышного лета, от сирени, выпустившей тяжелый цвет,

подобный кистям винограда, от скорых и разреженных дождей, оставлявших недокрашенный, черепахово-пестрый асфальт, мечтал бродить по городу не один. Он был бы рад вниманию хотя бы той некрасивой девицы с окисленной серебряной цепочкой на немойтой шейке, чьи небольшие глазки, цветом, морганием и легким косоглазием похожие на двух самостоятельных мух, иногда останавливались на нем с подобием интереса. Но девица тоже пропала, как все, эвакуировалась с зачарованного острова даже раньше остальных, почуяв, как видно, нечто тревожное, — может быть, запах мокрого пороха, оставляемый в воздухе пролетевшим дождем. Разумеется, никто и не думал тогда, что эта грязнуля и халывщица, чья нежнейшая носовая перегородка была уже искривлена, как обмылок, даровыми понюшками кокаина, еще во что-то оформится, — а именно в тот самый шикарный Викин прототип, который Вика и сама имела в душе, кочуя по примерочным дорогам магазинов и высматривая в зеркалах свой истинный облик, который иногда можно было бы назвать совершенным, кабы не свисала из-за ширки этикетка с недоступной ценой.

Не имея совсем ничего, кроме феноменального чутья, позволявшего ощущать окружающий воздух, как ощущает его сквозное деревце, — слышать опасность всеми внутренними деревьями нервной, кровеносной и дыхательной систем, — грязнуля была при этом не способна ни к какому самостоятельному действию, даже к простейшей работе, требовавшей как минимум добраться до офиса в течение утра. Зато она безошибочно вышла за человека, способного разбогатеть, — что он и сделал вскорости, каким-то образом используя чутье жены в своих коммерческих делах, и превратился из простецкого Сереги в изысканного Сергея Ипполитовича, в котором от прежнего облика осталась только мясистая, несколько расквашенная губастость. Бывшая замарашка, чей точеный носик после пластической операции утратил былую прозрачность и сделался словно пластмассовый, вела в своей двухэтажной, презеркаленной до полной потери подлинных объемов, неистребимо грязноватенькой квартире вполне растительную жизнь. Но боже мой, какие потенциалы, какие рудные залежи несчастья таила эта судьба! Новорусская леди изначально была хорошая девочка, со своими понятиями о верности и честности, со своими правилами, которые она не могла нарушить, как не могла доставить себе и простейший прокорм, не говоря об удовольствиях, в которых заключался наивный смысл ее безобиднейшего (муж ее прессовал конкурентов в кровавые брикеты) существования. Она всего лишь хотела того же, чего и другие; в ее небольшую головку, с мягоньким скосом на темени и младенческими влажными височками, ни при каких обстоятельствах не могла прийти идея, что она не такая, как все.

Вика этого романа родилась в бурный осенний вечер, весь опутанный, будто черными сетями, ветвями и тенями ветвей, в которых при каждом порыве ветра металась пугливыми рыбьими косяками остатки листвы. В квартире с освещенным полом и темным потолком, где неизвестное количество напряженно-тихих замарашкиных гостей сидело в неестественных позах или пробиралось, странно побрыкивая развинченными, как бы брезгливыми ногами, между посудой и ночников, стоявших прямо на ковре, маленькая хозяйка тоже вытянула белым носиком немножко кокаина со своего специального зеркала (все прочие зеркала в квартире, кое-как протертые, с белесыми и радужными следами тряпки, имели тот же налет наркотического безумия), — и на нее, по-цыгански раскинувшую на низком диване цветастое платье, нашел говорливый ликующий стих. Среди своих молчаливых гостей, старавшихся только правильно дышать (некто, сидевший на кресле одною ягодицей, с ногами как будто разной длины, всхрапывал на манер коня), хозяйка срывающимся голосом рассказывала, как хорошо она поступила, выйдя замуж за Сережу, как многого они достигли вместе, своей хорошей семьей, — а в дверном проеме маячил очень похожий костюмным силуэтом на Сергея Ипполитовича, совершенно трезвый охранник и служебно наблюдал за оргией. Вика тогда уже существовала в первом куске размытого текста, где шли полу-

прозрачные процессы, напоминавшие деление клеток под микроскопом, — существовала в виде начального наброска, нескольких зерен набухающей каши, еще не обозначившей органов, то есть главных и второстепенных характеров романа. Теперь мне кажется, что написанное тогда — спадающая туфля, вид со спины, трехлетний ее ребенок, от которого после, чтобы не упасть в излишние сантименты, пришлось отказать, — все это относилось не к ней, а к малознакомой женщине, блеклой Лилит, уступившей место иному образу, как только сделалось понятно, откуда в жизни Вики взялся и как утвердился человек-осьминог. Возможно, создание Лилит — необходимая стадия создания главной героини, потому что так повелось изначально и потому что место тоже должно быть создано, — а потом Лилит, собрав детей, уходит так неслышно, что герой даже не замечает развода или разрыва, просто оказывается рядом с новой женщиной, в которую уже вселился охочий до готовенького прототип. Талантливый Антонов, может быть, стал единственным героем, заподозрившим неладное, — не зря же он с такой настойчивостью принял ся сверять свое и Викино прошлое. Но Антонов проигрывает автору, потому что прошлое и будущее в тексте создается одновременно.

Однако Антонов, как главный герой, продолжает быть соавтором текста — и в этом качестве он хотя бы мельком знаком со всеми реальными людьми, послужившими исходным материалом для придуманных персонажей данного романа. Он не случайно (хотя считал, что просто от одиночества) высматривал невзрачную девицу в полупустых, не реагирующих, по случаю летней сессии, на механически подаваемые звонки коридорах университета; он, должно быть, тоже чувствовал, что там, в этой только-только начинавшейся судьбе, заложено нечто, касающееся его самого. Невзрачная девица имела правила — но имела и чутье, подсказавшее, как эти правила применить к суровой реальности, как остаться хорошей девочкой безо всяких усилий, совершенно задаром. Страшно было подумать, что стало бы с нею, кабы не изначальная древесность, слепая и чуткая растительность ее внутреннего «я», — и именно это подумалось и представилось автору, тоже сидевшему (сидевшей) на том замечательно толстом ковре, среди малознакомых выпученных личностей, иногда по-обезьяньи бравших из посуды полураздавленную еду. Несмотря на искажение кокаином физических чувств, включая замороженную тупость стиснутых зубов и странное, как бы певческое напряжение пересохшей гортани, автор вполне соображал (соображала) и тут же понял (поняла), что получил (получила) искомый психологический ключ. Все дело в том, что Вика первое время тоже, конечно, была уверена, будто хорошо поступила, выйдя за Антонова; он попросил, она согласилась — и увидела счастье на его ослабевшем, слегка одуревшем лице. Это счастье, буквально увиденное собственными глазами и принятое за общее, разумеется (я это так представляю), длилось недолго. Скоро Вика призналась себе, что это замужество было с ее стороны плохим поступком — что соответствовало действительности, но по причинам более тонкого порядка, чем она могла себе вообразить. Она же наблюдала жизнь — ее перезеркаленные улицы, ведущие мимо своих поднебесных руин в иные, лучшие города, — и понимала, что эта жизнь ставит Антонову тройку с минусом, справедливо наказывает его за неуспеваемость — тощей, как лавры из супа, пачечкой зарплаты, дешевыми тяжелыми ботинками, состарившимися от грязи за месяц каторжной ходьбы. Можно вообразить, какая ее охватывала злость: задним числом ей все время припоминалось, что в лице Антонова, ослабевшем от счастья, когда она сказала: «Да, хорошо», — было что-то немужское, бабье. Недаром ведь она, после удара робости от внезапно официального, внезапно отчужденного предложения руки (сделанного почему-то в университетском коридоре, словно Антонов вдруг захотел вернуться к самым истокам их отношений), испытала разочарование, совершенно неуместное в самый главный предсвадебный момент — получившийся совершенно будничным возле серого промерзлого окна, дававшего не свет, но иссушающий жар батареи, точно серая в сумерках деревенская печь.

Чтобы не стыдиться и не отвечать за мужа, хорошей девочке Вике (как логически рассуждает автор) следовало сделать работу над ошибками. Жизнь предоставила возможность: могущественный шеф, носивший на указательном пальце лучистый, будто астра, бриллиант, стал при виде Вики выказывать знакомую мрачность уличного Наполеона. Он завел обыкновение оставлять распахнутой дверь своего кабинета — и, скрываемый простенком, то и дело вставал, показываясь, шаркал зачем-нибудь к стеллажу. Собственно работа над ошибками началась тогда, когда начальник, поскользнувшись влажной скрипнувшей ладонью на Викином столе, ткнулся усатыми губами в ее склоненную шею. Референтка шефа элегантно отвернулась к пискнувшему компьютеру (здесь, в ЭСКО, и не от такого умели отворачиваться совершенно вовремя), и Вика почувствовала у себя за ухом артикуляцию глухонемого. Она, я думаю, вряд ли связывала лихорадочный рост своего оклада непосредственно с отношениями в настоящем — скорее с перспективами в будущем, когда жена начальника, официальная женщина с шеей как кишка, с тщательно прорисованным, будто мультипликационным ртом на страдальческом лице, говорившем, видимо, всегда не то, что она хотела бы сказать, — когда она куда-нибудь тихо исчезнет, уедет, например, на постоянное жительство в Швейцарию, а Вика заполучит нормального, успешного мужчину.

Антонов, конечно, оставался проблемой; представить тихое его исчезновение было гораздо трудней. Я думаю, Вика испытывала настоящую боль, силась вообразить наперед, как придется все ему объяснять. Наверное, ей казалось, что она уже объясняет что-то, когда возвращается с такой веселой без него, такой сердечной вечеринки (у шефа за кабинетом имелся еще и закуток, где еле помещался старый — твердая спинка размером с черную классную доску — кожаный диван). Она пыталась для начала обезболить правду тщательными, словно протирание перед уколом, супружескими ласками, от которых внезапно плавилась густая, раздражительная тяжесть, оставшаяся в ней после комковатых и слабеньких усилий осьминога. Без конца проделывая первую часть объяснения (совершенно забывая обо всем через четыре минуты постельного заплыва), Вика никак не могла приступить ко второй и была принуждена опять и опять заходить сначала — между тем как понятие верности и заставляло ее при Антонове чувствовать себя подругой шефа, а при шефе — мужней женой.

Принадлежа одному, она в это самое время гораздо больше принадлежала другому, оставалась с другим; я предполагаю, что Вика, лишенная чувства времени, возмущалась недостаток интуиции привычкой счета различных единиц и потому нуждалась, чтобы от одного мужчины до другого проходило по крайней мере столько же часов, сколько длилась близость с предыдущим: чтобы отплыть от острова в свободное пространство, ей надо было выйти из тени берегов. Поэтому, мне кажется, Вика была особенно несчастна, прилетая из Сочи: сидя с Антоновым на пованивающей, во всю неделю не убиравшейся кухне, она еще пребывала внутри и в области притяжения своей поездки, в горячем, сладковато-соленом городе, где море было синим фоном для домов и кораблей и оживало только у самых ног, вызывая желание ступить на уходящую волну, как на эскалатор метро. Там, после ежеутренней любви в большом, с половиной офиса ЭСКО, номере пансионата Вика ходила раздраженная, тяжелая своей неразрешимой тяжестью, словно беременная на последнем месяце, даже походка у нее менялась, к тому же болела шея, потому что шеф, пихаясь и наезжая как лодка на берег, заталкивал ее в какой-то душный угол между вздыбленных подушек. Он был (допустим) даже деликатен: трогательно ухаживал за ней, будто за больной, если южный дождик, тепленький и пресный, как водопроводный душ, затягивал серое море, на взгляд не более пригодное для купания в непогоду, чем огромная ванна с замоченным бельем; когда же выходило с утра желанное солнце, шеф, вместо того чтобы неспешно, движениями ползунка, пересечь разок комфортабельный бассейн, покорно спускался с Викторией Павловной на непрогретую помойку пляжа, перегороженного валом из водорослей и пластмас-

сы, потому что Виктории Павловне хотелось заплыть за буйки. К ее услугам были все удовольствия побережья; когда же Вика прилетала в северную осень, красные и желтые листья на мокрых деревьях казались ей после юга вырезанными из цветной бумаги лимонами и яблоками, нарочно развешанными, чтобы обманом утешить нерадостных горожан. Она привозила на холодном, словно бы стерильном самолете свою тяжелую, донельзя раздраженную беременность, которую вынуждена была скрывать от Антонова — хотя именно он и требовался для избавления от мук. Именно он излечивал ее в конце концов — но перед этим Вика, словно под присмотром своего осьминога, отпихивала мужа несколько ночей. Антонов послушно отодвигался на свою половину, слыша только запах, кислотовато-горячий, будто Вика болела с высокой температурой; она же, мучаясь больше, чем Антонов мог вообразить, силилась отделаться от мысли, что бедра у шефа — грибообразные, бабы, и все устройство женственного комля как будто не предполагает присутствия холоденького, дохло-индюшачьего органа, отдающего на вкус каким-то затхлым соленым трехгодичной давности, — и, стало быть, ей опять попался не настоящий мужчина, а какая-то подделка для бедных.

Чтобы как-то избыть приливы горячей тяжести, Вика то и дело залезала в ванну и разваривалась там, щекоча ступню о бурный подводный клубень струи, а потом еще долго лежала в неподвижности, плоская и тонкая, слегка зеленоватая, пока покойницкая ласка остывшей воды и пупыри озноба даже ей не напоминали о проделанном над собой эксперименте. Что до Антонова, то он давно уже беспечно (на самом деле безумно волнуясь) побрякивал двигавшейся треугольно, как знак извлечения искря, наружной задвижкой. Для него, с известного момента предпочитавшего исключительно душ, многочасовые Викины купания с долгими паузами, когда ни единый всплеск не выдавал, что она еще жива, превращались в жестокое испытание нервов. Викина неплещущая жизнь таилась, скрывалась, как в нормальной ситуации скрывалась бы смерть, припрятанный труп. Ничто не могло полнее выразить исчезновение какого бы то ни было чувства времени, чем эти купания за полночь, когда у Вики в ванной все было тепло и мокро и по окошку под кухонным потолком вода стекала кривыми набухшими дорожками, точно там, в электрическом мороке, шел бесконечный тепленький дождик, — а Антонов сидел на плюшевом диване, будто на садовой скамейке, невольно принимая позу человека, к которому не пришла на свидание обманувшая женщина. В голове у него построения монографии, за которую можно было бы, по идее, сейчас приняться, превращались в какую-то систему хитрых задвижек, защелок, мелких увертливых рычагов. Не было сил все это двигать и разбирать, потому что в таком состоянии все представлялось одинаковым. Обычные иллюзии «дежа вю» были ничем перед этим пустотным чувством, как-то отвечающим отлично слышной гулкой пустоте подъезда; собственное отсутствие становилось самоочевидным. Одинаковыми были секунды, минуты, часы; какая-то неуловимая одинаковость проступала во всех знакомых женщинах, включая тещу Свету; одинаковыми были и обе свадьбы, где Антонову довелось реально присутствовать, — не считая свадьбы родителей, о которой он каким-то образом помнил, точно видел во сне простую, как кусок железнодорожных рельсов, ковровую дорожку, упирающуюся в письменный стол, и лже-Терешкову, стоявшую по другую сторону стола с раскрытой папкой, словно она была певица, готовая к сольному выступлению, и одновременно женщина-космонавт с какой-то яркой медалью на темно-синем, по-мужски квадратном пиджаке.

Она же, только очень уже одряблая, с измятым замшевым лицом и с кукольными волосами искусственного золота, регистрировала брак Аликовой мамы и артистического старца, явившегося на церемонию в мефистофельском гриме и в обтерханном фраке, который он то и дело одергивал, напыживая желтовато-крахмальную грудь. Покрытые йодистыми пятнами руки регистраторши слегка тряслись, когда она держала перед собою нарядную папку, — и эта псевдопевческая поза составляла странный контраст с присутствием насто-

ящей певицы, бодро улыбавшейся из-под плавной шляпы и умерявшей походку под вороний разлапистый шаг жениха с терпеньем хорошей медсестры. Однако именно регистраторша, вместо пения задавая равнодушно-торжественным голосом положенные вопросы вступающим в брак, и казалась здесь единственно настоящей: прочая компания, представлявшая собою какие-то случайные, наспех собранные остатки обитателей острова, словно разыгрывала сцену из спектакля, все несли к официальному столу свои букеты с тою неуловимой профессиональной привычностью, с какою гардеробщики носят пальто. Алик, четыре дня как выпущенный из психушки, осторожно держал себя сзади левой рукою за правое пухлое запястье, словно незаметно щупал пульс; рубаха, надетая навывпуск, перед тем измятая запихиваньем в брюки, была длиной как женский халат.

За каких-то шесть недель в больнице Алик сильно пополнил, прежняя одежда сделалась ему маловата, рубахи распяливались между пуговиц, будто наволочки на тугой подушке. Теперь по виду со спины, по общему очерку позы стало невозможно догадаться о выражении лица, на котором глаза стояли независимо от мимики, будто циферблаты без стрелок, — а между тем внутри явно тикал прежний механизм, хотя и сбившийся, быть может, на много часов. Когда Антонов и Саня, узнавшие о выписке только на другое утро, прибежали к Алику домой, они сперва не узнали его в одутловатом парне, выбиравшемся, с выпадением на пол нескольких книг, из свежайшей, но сильно помятой постели. Известие о близкой, буквально немедленной свадьбе плюс присутствие старца, по-домашнему кушавшего кофе на краю невытертого кухонного стола, дали им ощутить свою ненужность и неуместность любого сочувствия. Толстый Алик, щерившийся оттого, что по влажному носу сползали новые, ужасные после прежних импортных, какие-то пионерские очки, выглядел так, будто не страдал в психушке, а отъехался на курорте. На месте, где драматически отсутствовала конфискованная пишущая машинка, а байковая ее подстилка с глубокими вмятинами лежала точно прибитая гвоздями, теперь помещалась огромная миска переспелой черешни. Алик, каждый раз перещупывая ягоды, слепо выбирал по нескольку штук и механически закладывал в рот, аккуратно выделяя в кулак объединенные розовые косточки.

Антонов и Саня так никогда и не расспросили его, как ему понравился дурдом. Жилец своей библиотеки, Алик, должно быть, особенно страдал оттого, что на стенах палаты, голых, однотонно крашенных в гигиенически зеленый цвет (бодро обновлявшийся, а не старевший, как его домашние обои, в солнечных квадратах из окна), начисто отсутствовали книжные полки, эти необходимые человеку в его жилище батареи отопления. Книги отсутствовали вообще, их сюда не пропускали по приказу главврача, — и во всей хлорированной больничке, где даже в страшном, почернелыми экскрементами заляпанном туалете не имелось ни единого клочка бумаги, совершенно нечего было читать. Вопреки, а может, и благодаря бесчисленным уколам желание погрузиться в какой-нибудь роман переросло у Алика в наркотическую жажду. Уколы, наполняя тело, как горячий чай наполняет рыхлеющий кусочек рафинада, вызывали на голове, в волосах, подобие едкого тления, а в мозгу какой-то дикий, мутный голод, обострявшийся ночами, когда бормотание и сон на соседних койках были будто длинные тексты, слепленные неисправной машинкой в неразборчивые черные абзацы. Если удавалось задремать, Алику снилось, будто у него во рту, замороженном понюшкой кокаина до холодной пельменной скользкости, занемевшие зубы легко вываливаются из гнезд и брякают в тепловатой, лавровым листом отдающей слюне. После таких кошмаров даже днем любая твердая частица в больничной слизистой пище заставляла исследовать находку языком и переживать иррациональные подозрения насчет съедобности собственных зубов; приятели так и не поняли, что поедание прежде любимой черешни было для свежевывписанного Алика добровольно принятым мучением. Они не догадывались, какую не удовлетворенность вызывает у него теперь любой наличествующий и видимый предмет, о котором, собственно, нечего сказать; любой реальный предмет, этот громозд-



кий, собирающий пыль эквивалент единственного существительного, привязывал Алика к реальному, как бы больничному времени, спасением от которого могли служить книги, и только книги.

Антонов так и не определил, кто же был истинным избранником хозяйки зачарованного острова, превратившегося после свадьбы в самую обыкновенную квартиру — с работающим, сквозь пыль и солнце, бледным телевизором, только в тени проявлявшим чуть цветные изображения, с газетами на полу возле ветхого желтого кресла, с резкими запахами духов или лекарств, будто только что кто-то разбил пузырек. Вероятно, артистический старец был утвержден на роль жениха только лишь потому, что оказался наиболее очевиден: он непременно присутствовал на каждой вечерней ассамблее, по нему, как по внешней примете, можно было узнать именно данное общество, хотя остальной состав мог меняться почти на сто процентов. Он был словно долгопольный король на балетной сцене, перед которым (но спиной к нему, а улыбкой к ломам) красуются и вспыхивают истинные солисты и с воздушным топотком, забирая по кругу, проносится кордебалет. Он оказался, как ни странно, партийным: прочитывал с карандашиком целые пачки прессы, работал с газетами, будто с чертежами, мог часами толковать о подспудном смысле вручную разлинованных передовиц.

Он прожил, держась за сердце, еще четыре года, а когда он умер, рот его раскрылся, как у рыбины, у которой из губы вырвали крючок. Со смертью история, в которой он скромно участвовал, как водится, не кончилась. Накануне собственной свадьбы, коротая последние холостяцкие вечера уже в квартире отбывшей старухи, Антонов увидел в программе местных новостей знакомое лицо. На экране новенького телевизора «SONY», на фоне выгоревших азиатских гор, неожиданно возникла фотография того, кто был когда-то долговым старшим лейтенантом, упорно смотревшим себе на колени во время допросов. Постаревшее небритое лицо в обвислой коже было так же маловыразительно, как нога в полунадетом шерстяном носке; сообщалось, что подполковник ФСБ такой-то, командированный на таджикско-афганскую границу, героически погиб при захвате наркокаравана, в результате операции изъято более тонны гашиша. На экране дергалось, постреливая, маленькое раскаленное орудие, окруженное игрушечными солдатиками, белое знойное небо было как старое зеркало, попорченное, словно пятнами отставшей амальгамы, серыми темнотами почти не видных облаков. Телевизорная, существующая только на экране азиатская война (где смерть представляла в виде облака пыли, дневного призрака, с характерным восточным поклоном таявшего в воздухе) неожиданно взяла совершенно чужого Антонову человека, — и Антонов промучился несколько часов от непонятного стыда, чувствуя себя не то завербованным органами, не то кого-то все-таки предавшим. Неотвязная мысль, что его никогда вот так не убьют, что он по-прежнему материально наличествует, заставляла его со странным ощущением отчужденности глядеть на себя в свежешоппенное Викино трюмо. Трехстворчатое зеркало, еще не укрепленное, а просто прислоненное к стене, еще не слившееся правильным образом с прямоугольностью квартиры, глядело вверх и заостряло дальние углы, а полураздетого Антонова показывало совсем молоденьким и словно в невесомости, с поднятыми в воздух темными волосами. Холодок отчуждения странно соответствовал холодку бредово-ясной зеркальной поверхности, и Антонов, находя в своей угловатой, под разными углами удлинявшейся физиономии темное сходство с погибшим подполковником, задавал себе совершенно ночной и безумный вопрос: неужели я — это я?

### XIII

Свадебная церемония, обошедшаяся теще Свете в немалые деньги, состоялась в радужный весенний денек, с кучами мокрого и грязного снегового сахара на тротуарах и прожекторной силой горячего солнца, косо бившего в

окна загса и позволявшего глядеть только в темные углы. Антонова не оставляло чувство, будто вокруг, на всех пустых и светлых стенах учреждения, показывают кино: будто каждый проходящий мимо человек одновременно проползает по нему, Антонову, неприятным смазанным пятном, будто он, Антонов, погружен в какую-то призрачную рябь и видит в слоистых солнечных лучах, пропекающих костюм не хуже утюга, характерное для кинозала мерцание кадров.

Теща Света как бы ни в чем не участвовала, и не потому, что событие было ей безразлично: наоборот, она единственная сияла счастьем и нюхала какой-то букетик, завернутый в бумажный кулек, будто двести граммов простеньких конфет. Антонов верил и не верил происходящему. Он вел невесту под руку, точно нес к столу и к ожидающей за ним хозяйке церемонии неудобную корзину; собственная подпись в подsunутой огромной книге и указанной графе вывелась будто поддельная (вездесущий Гера, оказавшийся каким-то образом свидетелем со стороны жениха, бойко намарал пониже словно бы маленький текстик). Викин палец, похожий в атласной перчатке на гороховый стручок, никак не лез в увертливое кольцо: оно в конце концов буквально выпрыгнуло из судорожной щепоты Антонова и поскакало по голому паркету, покатилося, набирая сверлящего стрекота. Все испуганно попятились, по-куриному поджимая ноги, только Гера храбро обрушился на пол и, после нескольких попыток прихлопнуть кольцо, победоносно поднялся с четверенек, с пылью на коленках и с добычей на красной ладони, похожей на наперченный бифштекс. После этого улыбки скили; теща Света, которую и не такие плохие приметы пугали до полусмерти, все-таки сохранила выражение счастья, держа его на вскинутаом лице, словно маску, у которой ослабли шнуры.

В незнакомом кафе, где для свадебного ужина был арендован какой-то дальний полузал с единственным окном, неохотно пропускавшим прохожих из стекла в стекло, виноватый Антонов, отданный во власть официанта, сидел отрешенно и покорно, точно в парикмахерской. Теща Света подседа к нему, и они немного поговорили о незначительном, прерываемые музыкой из общего зала, что бряцала табором вокруг микрофона, страдавшего какой-то звуковой отрыжкой. Из-за этой музыки все, кто не танцевал, молча смотрели друг на друга поверх закусок, словно силились обменяться мыслями, или орали друг другу в уши. Вику увели танцевать сначала свои, а потом подхватили чужие: иногда она показывалась в проемах между белыми полуколоннами, ступая на цыпочках за увлекавшим ее пиджачным кавалером, шевелившим от удовольствия накладными плечищами и усами, раздвоенными на манер большого рыбьего хвоста. То и дело маленькая Вика догоняла кавалера и музыку совершенно детскими неровными шажками и снова прилаживалась, и тогда они оба глядели под ноги, будто только разучивали движения, — а смущенный Антонов принимался искать глазами тоже какую-нибудь партнершу, но не видел никого, кроме немолодых тяжелых теток в трикотажных блестящих платьях, под которыми рисовались причудливые наборы жира и перехваты тесного белья.

Антонов чувствовал, что в этой свадьбе многое не к добру, но чувствовал сквозь какую-то странную тупость и радовался, что тупеет, что до него не совсем доходят многочисленные знаки судьбы, из-за которых у бедной тещи Светы блеклое личико казалось сегодня грязным, будто у беспризорника. Одна из толстых теток, приметная бровями, чей рисованный изгиб напоминал изгиб велосипедного руля, развернулась на стуле и, держа на вилке ломтик лимона, ответила на ищущий взгляд Антонова вопросительной полуулыбкой. Антонову сделалось неудобно, и он, с горячей лимонной слюной, заполнявшей рот толчками, как кровь заполняет рану, протерся между танцующими к месту для курения. Здесь, возле железной плевательницы, напомнившей ему о стоматологе, было по-прежнему нехорошо; Антонов, малодушно кивнув деловитому Гере, бившему спичкой по коробку, без пальто и шапки выбрался на улицу.

Необыкновенная, резкая отчетливость апрельских сумерек сразу его осветила, холод словно массажной щеткой прошелся против роста вздыбленных волос. Капель засыпала; повсюду беловатые и мягкие наплывы, оставшиеся от капли и мелких широких ручьев, напоминали воск погашенных свечей. Антонов вольно стоял на мраморном крыльце рядом с молодым невысоким швейцаром, формой и фуражкой похожим на пограничника. Оттого ли, что оба они смотрели в никуда, оттого ли, что обычный табачный дымок, белея, как подкрашенный, в прозрачном воздухе апрельского вечера, отдавал какой-то терпкой возможностью свободных путешествий, — Антонову явственней обычного представлялось, будто улица, обсаженная голыми, как дворницкие или ведьмовские метлы, пирамидальными тополями, ведет не в поселок Вагонзавода, а в какие-то иные, столичные города. Собственное отсутствие вдали, где на смутно-белом поле чернело словно свежей тушью проведенное шоссе, почему-то казалось преодолимым. Тем не менее Антонов понимал, что ему никуда не деться, что выбора нет, и если уж с ним случилась (он уже не боялся этого слова) любовь, то надо просто быть на месте и терпеть.

К сожалению, Антонов не обратил внимания на собеседника Геры в курилке — на благообразного молодого человека, чем-то похожего на совенка, с аккуратным галстучным узлом, нимало не ослабленным в кафешке, и с беззащитным темечком, где среди залитых гелем вихров имелась центральная белая точка, очень удобная для попадания в десятку. Ненаблюдательный Антонов не увидел, что молодой человек — не из его гостей, а явно из чужих — совершенно не курит и даже отгоняет от себя табачный дым отрицательными взмахами белой ладони, но все-таки внимательно слушает Герин темпераментный треп, делая, впрочем, скучающий вид и как бы не интересуясь тем, что Гера изображает на пальцах и буквально пишет в воздухе густо, малярно дымящей сигаретой. В отличие от рваного дымка, растворившегося, как и сознание Антонова, в опустившемся ниже нуля пространстве апрельского вечера, табачное облако около Геры клубилось, как никотиновый призрачный мозг, и словно содержало умыслы, которые при должном внимании можно было бы расшифровать.

Но Антонов не внял; он не узнал — вернее, не опознал — молодого человека и тогда, когда их официально познакомили на презентации компании ЭСКО и персонаж предстал перед ним уже ничем не заслоненный, радующий здоровым цветом гладкого лица и столь же гладкого хорошего костюма спортивной синевы, дополнительно представленный на пиджаке табличкой с фотографией, поразительно точно повторяющей оригинал. Остальные действующие лица (в том числе и Вика, уже занимавшая должность) более или менее разнились со своими яркими, но как бы раздавленными для сочности изображениями на бэджах, а этот важный юноша соответствовал себе до малейшего изгиба улыбки, словно фотография была сделана и отпечатана буквально сию минуту. Это повторение, словно эхо или имитация другого, более важного повтора, оставшегося за рамками сознания, спровоцировало смутный узнающий толчок, который Антонов на той презентации никак не связал с реальностью свадьбы и забытого кафе. Среди нескольких десятков самоповторений (чем и становилось каждое новое, даже и без таблички на пиджаке, явление совенка) первоначальная встреча затерялась, окончательно затерлась. Все-таки сумма реальных встреч, зафиксированная где-то в недрах мозга, оставалась как бы неполной — но Антонов опасался допрашивать себя, где же он видел прежде исполнительного директора фирмы, потому что в случае неудачи вспоминательного усилия совенок мог разрастись и сделаться тайным хозяином антоновского прошлого (чего, возможно, опасалась Вика, абсолютно отрицая давние случайные пересечения с Антоновым в библиотеке и киноклубе).

Логово этого персонажа оставалось невычислимо (оттого, что курилка, составлявшая целое с комплексом мужского туалета, сияла белым кафелем и была просторна, как в большом кинотеатре, она создала в подсознании ощу-

шение безлюдья, чистоты и пустоты, с оттенком, может быть, чего-то медицинского, — хотя люди там, несомненно, имелись и как раз решали антоновскую судьбу). Мерцающее узнавание Антонов приписывал особому математическому чувству «отзыва», когда в построениях, по видимости разрозненно-громоздких, вдруг обнаруживается внезапная тема, вокруг которой начинают срастаться, отбрасывая механические хитрые протезы (на создание которых Антонов, бывало, тратил не одну неделю кропотливого и неудобного, как бы однорукого труда), истинно живые и необходимые части результата. Исполнительный директор и был для Антонова необходимой частью (многие более информированные люди даже не догадывались, до какой степени это верно) мнимой и заранее провальной структуры ЭСКО. Мой ненаблюдаемый герой (совершенно не замечавший, что исполнительный директор не курит и не пьет, и наливавший совенку, как и другим попавшим под руку и бутылку участникам вечеринок, разнообразное спиртное, которое совенки вежливо нюхал, но никогда не пригубливал) видел в молодом человеке одну многозначительную странность. Дело в том, что исполнительный директор, неизменно щеголеватый анфас, неизменно в параллельных брючных стрелках и с атласными височками вроде запятых, со спины являл совершенно другую картину: там торчали недообработанные гелем сухие пряди волос, налипали посторонние нитки, цветом далекие от гаммы костюма. Исполнительный директор как будто не отвечал за себя оборотного, или подсознательно верил, что никакого мира позади него не существует, или чувствовал себя каким-то частичным, плоским существом, что соответствовало в представлении Антонова тесреме ЭСКО, этой нелобросовестной конструкции с ее ложной многомерностью и неработающей, впусую раздутой цифирью. Из-за того, что совенки были настолько интересны своей двусторонностью, Антонов испытывал к нему невольную симпатию (так и писатель, повстречавши где-нибудь прототипа, только что удачно ограбленного на какую-нибудь лакомую деталь, преисполняется к донору добрыми чувствами). Исполнительный директор, улавливая идущие от Антонова теплые токи, несколько смущался и с готовностью, допуская чужака до роли хозяина, подставлял под водку свой невинный, только ясной минералкой смоченный фужер. Все-таки совенки, поулыбавшись странному доброжелателю, норовил побыстрее обернуться к нему неряшливой спиной и тем самым словно бы исчезнуть, переведя Антонова в категорию несуществующего. Оттуда, из несуществующего пространства, его и застрелили год спустя: не попали в беленькую точку на затылке, но все-таки достигли цели, вздыбив пиджачную спину тупой автоматной очередью, словно выдрав из кровавой почвы куст картошки. Спереди, когда перевернули труп, найденный почти за городом, на задах пролетарских железных гаражей, все было почти в абсолютном порядке, и открытые глаза директора смотрели ясно, как у куклы, — но спиной, всю ночь обращенной к звездам, он, возможно, ощутил сквозь смерть реальность мира, оказавшегося позади буквально и целиком. Возможно, в последние тающие минуты директора физически мучила неодинаковая величина всего пустотного пространства и земной, сырой и кислотоватой тверди, в которую он, как в подушку, пустил немного слюны.

Дело в том, что Гера и исполнительный директор, знавшие друг друга приглядку задолго до встречи в кафе, договорились о сотрудничестве. Гере надоело посредничать по-мелкому, его давно привлекали воздушные денежные потоки, оборудованные хитрой системой непрерывно крутящихся ветряков, — вся эта невидимая энергетическая работа, недоступная глазу простого смертного. Ему давно казались лишними и чересчур материальные коробки консервов или рулоны типографской бумаги — эти тяжеленные бочки без единого творческого слова внутри, которые все время приходилось самому закатывать в кузов грузовика, путаясь в хлещущих и грязных оберточных лоскутках. Угрюмый, с горящими от тяжести перцово-красными ладонями, Гера мечтал, чтобы цифры сами по себе, своими живительными свойствами делить-

ся и умножаться, возникать и исчезать, выделяли бы ему небольшую сумму или разницу; крохотный подвижный рычажок процента, этот магический значок на два зерна, казался ему действующей моделью вечного двигателя. Посвоему Гера искал из своей ситуации интеллектуального выхода. В последнее время он как каторжный хватался за каждую товарную тяжесть, чувствуя себя о б я з а н н ы м работать за любые предлагаемые суммы; переход от грубой буквальности промежуточных товаров к чистой энергии денег виделся ему переходом от физического труда к духовному — к чему всегда и стремился непризнанный романист.

Исполнительный директор в свою очередь был заинтересован в Гериных подпольных связях — в его агентках, сидевших тихо, но прочно в нескольких серьезных конторах и способных на большее, нежели набивать на машинке или набирать на компьютере Герины литературные труды. Сам он давно прилаждался к потоку виртуальных денег, умело направляемых через ЭСКО, и пил немного выше по ручью, стараясь, чтобы муть не сносило к шефу, но и опасаясь поэтому сделать слишком полный глоток. Чтобы упрочить положение и украсть наконец миллион долларов (что было тайным бзиком исполнительного директора), ему нужны были такие же, как он, вторые лица в смежных, столь же иллюзорных, по сути, структурах. С ними он мог бы скопировать выгодные схемы, создать параллельную, так сказать, теневую проводящую сеть и время от времени подключать ее, будто некий искусственный орган, чтобы у шефа только мигало в глазах, — пока не настанет момент решительного хапка или, чем не шутит черт, полной замены прежних каналов на параллельные, если высокопоставленные персоны, эти языческие боги денежных рек и ручейков, пожелают работать именно с ним.

Для осуществления плана исполнительный директор имел замечательный ум: именно он и изобретал для фирмы комбинации, благодаря которым, в частности, один и тот же (по бумагам) холодильник продавался по несколько раз, чудесным образом, будто Серый Волк к Ивану-царевичу, возвращаясь в ЭСКО, — что позволяло показывать намного меньшие объемы торговли, чем это было в действительности. Торговля эта, впрочем, была процессом вспомогательным — всего лишь одним из механизмов извлечения денег из воздуха, где рубли и даже доллары размножались гораздо активней, чем на жесткой земле. В этот питательный воздух испарялись почти без осадка бюджетные кредиты, разве что выпадало в какую-нибудь больницу или интернат несколько устаревших компьютеров, что свидетельствовало о высокой степени очистки финансовых потоков от всего материального. Там, в текущей, играющей среде, отрицательные величины — взаимные долги бюджетов и структур — от попыток их сократить и взаимозачесть только обретали новые каналы циркуляции и все больше связывались в единую систему, отчего разрастались точно на каких-то таинственных дрожжах. Там, в иллюзорных потоках, текущих совсем не туда, куда велит экономический и государственный закон, рубль, наряду со свойствами частицы, обретал и свойство волны; там ноль, к которому теоретически сводились многие долги, на практике не оголялся за счет поглощения разнознаковых чисел, но расцветал, как роза, и обильно плодоносил. Далеко не все умели маневрировать в этой громадной, гораздо больше настоящей экономики, воздушной яме, где у человека обыкновенного от перемены верха и низа кружилась голова; тот же Гера даже близко не представлял всей странности и красоты финансового пространства, всех райских узоров его невесомости, всех прелестей игры на курсах рубля к рублю. Но совенок был своего рода гений и космонавт; против воли он зарабатывал для ЭСКО гораздо больше денег, чем ему удавалось украсть, — и чем больше воровал, тем автоматически больше зарабатывал.

Иногда при виде шефа, сидевшего за своим прекрасно оснащенным начальственным столом, будто пупс в игрушечном парходике или паровозике, совенок буквально впадал в отчаяние. Он, исполнительный директор, был такой х о р о ш и й, непьющий и некурящий, едва ли не с пуховыми белыми

крылышками для полетов в финансовой виртуальности, — но шеф совершенно его не ценил. Неблагодарный (и недальновидный) шеф держал своего маленького гения за глупого мальчишку, угощал его шоколадными конфетами с ликером и отечески подозревал в затянувшейся девственности. Последнее было неверно, но тем более обидно, что исполнительный директор знал за собой один серьезный недостаток: он почти не мог знакомиться с людьми. В схемах, которые он придумывал, люди, конечно, были: совок логически вычислял, на каком служебном месте должен оказаться нужный человек, каковы его предполагаемые деловые свойства и тайный личный интерес, — он открывал партнера, как астроном открывает планету, по силовым соотношениям власти и бизнеса. Но с конкретной персоной вступали в контакты другие, и когда обретенный партнер вдруг появлялся во плоти, исполнительный директор испытывал странное замешательство. Реальный человек состоял из множества подробностей, совершенно к делу не относящихся, но видных в первую очередь, буквально выставленных напоказ; совенку было трудно уразуметь, что фигура, вызванная из небытия его аналитическим умом, самочинно обладает черной чертячьей бородкой, или горбатым, как рыба, носом, или пристрастием к бежевой гамме в одежде — обладает, наконец, своими личными вещами, которых особенно много бывает у посетительниц: стоит такой деловой партнерше расположиться в кресле для гостей, как все вокруг оказывается занято ее органайзером, ее сумочкой, ее перчатками, зонтиком, платком.

Со своими произведениями исполнительный директор говорил и гладко, и толково, но голос его при этом был фальшив. Даже просто приблизиться к незнакомому человеку становилось для совенка таинственной пыткой: ему мерещилось, будто человек заранее сопротивляется, распространяет вокруг себя осязаемое, плотное поле отталкивания, постепенно переходящее в его физическое тело, как звучащая музыка переходит в черный магнитофон. Порою коллеги наблюдали, как на какой-нибудь презентации исполнительный директор ЭСКО, совершенно одинокий, с неизбежной рюмочкой, нагретой в кулаке, движется между гостей по непонятной траектории, приставными шажками, делая время от времени резкие боковые повороты, словно разучивая без партнерши технику вальса.

Короче, исполнительному директору, чтобы пообщаться с незнакомцем и при этом не испортить дела, нужен был посредник, менее незнакомый для совенка, уже устоявшийся в сознании; Гера, посредник по натуре, на эту роль отлично подходил. Вместе они разыграли несколько финансовых этюдов; Гера, мало понимая, открывал какие-то банковские счета, тут же приходившие в движение и уподоблявшиеся в его уме тем жутковатым бассейнам со многими вливающими и выливающими трубами, с которыми он никогда не умел справляться на уроках арифметики. Непонимание привело к тому, что Гера, следуя своему естественному инстинкту, захотел иметь в ЭСКО поддержку: боевую подругу. Работавшие там четыре подтянутые женщины, сходные между собою покроем костюмов и самой походкой, несколько механической из-за обязательных в офисе каблуков, не понимали дружеских чувств. Вика, поскольку с инвалидным предприятием ничего не вышло (не из-за стараний Антонова, а просто потому, что у Тихой как-то не составилась послушная медкомиссия), осталась Гере должна. С водворением Вики в офисе ЭСКО у Геры появился там как бы собственный стол, возле которого он неизменно ставил свой хорошо набитый портфель, а стоило Вике отлучиться — прочно садился на хозяйское место и запускал на компьютере любимую игрушку.

#### XIV

На этот раз Антонов не возражал против Гериных деловых инициатив. После выписки и свадьбы (окончившейся ночью первым и единственным конфузом Антонова) разленившаяся Вика оформила академический отпуск. Тогда и начались шатания по подругам; вошли в обычай поздние появления с

эскортом из одного, а то и двух молодцеватых негодяйчиков, с какими-нибудь скверными цветами, скрывавшими около самых зрачков, независимо от вида и сорта, дурную козлиную желтизну. Тогда же в полную силу явился перед молодоженами денежный вопрос.

Только теперь до Антонова дошло, что его доцентская зарплата рассчитана на сутки жизни «нормального человека». Умом Антонов понимал, что должен был обо всем позаботиться заранее: еще до свадьбы найти репетиторство или переметнуться в какой-нибудь частный, очень платный вуз. Но даже и теперь, задним числом, забота о деньгах казалась Антонову несовместимой с чувством, которое он познавал и обустроивал с самого столкновения в дверях аудитории номер триста двадцать семь. В сущности, он проделал колоссальную, в каком-то смысле научную работу, которая и привела к результату — свадьбе; если бы он при этом занимался материальным обеспечением, то есть подготовкой места для будущей жены, сама фигура кандидатки сделалась бы абстрактной и теоретически могла бы произойти подмена: место, то есть пустота, означало не обязательно Вику, а Антонов понимал, что, если бы Вика выскользнула из его кропотливых построений в готовые объятия одного из юных Наполеонов, он бы навсегда остался плавать в незаполняемом коконе этой пустоты. Антонов просто вынужден был следовать за Викой, подстраиваться под нее, совершенно отсутствуя в собственной жизни, так что даже комната его по виду и по запаху сделалась нежилой: заброшенные книги наливались холодом, тут и там неделями не мытая посуда выдавала присутствие как бы нескольких обитателей, из которых ни один не являлся настоящим и полным Антоновым, а случайные следы на пыльных поверхностях засеребрившейся мебели напоминали кошачьи или птичьи. Теперь, в залпесневелой квартире французской старухи, все постепенно проветривалось, старухин мусор, пересыпанный пожелтелым пшеничным бисером и вошными бумажками от аптечных порошков, был заметен и вынесен на помойку, какой-то реставратор с коричневой бородкой, похожей на кусочек вареного мяса, радостно скупил тяжелых мебельных уродов и увез их вместе с молью и шерстяной слежавшейся трухой. Быт, как ни странно, налаживался; рукава домашнего халатика жены всегда были сырые от уборки и стирки. Но денег катастрофическим образом не хватало на жизнь; все для Антоновых дорожало словно бы еще быстрее, чем это реально происходило в магазинах: стоило разменять какую-нибудь крупную купюру, как пестрая сдача утекала неизвестно на что, буквально растворялась в руках, и приходилось шарить по карманам зимней и летней одежды, чтобы насобирать монеток на столовский обед.

Теща Света, трагически счастливая, проявлялась самое меньшее раз в четыре дня. Она выгружала из хозяйственной сумки скользкие булжники мороженого мяса, полные мешки свисающих сосисок, стопы консервов из Гериных запасов, еще какие-то коробки и кульки; набив холодильник продуктами, она к тому же оставляла под сахарницей три-четыре сотенных бумажки, — и Антонов подозревал, что нечесаная Вика, хмуро провожая мать в прихожую, получает в карманчик халата дополнительную денежную дань. Движимый яростным стыдом, он дал чуть ли не во все городские газеты стандартное объявление насчет подготовки к экзаменам в вузы, — но на его призывы размером с почтовую марку никто не откликнулся. Более удачливый коллега, недавно вставивший новые дорогие зубы и щеголявший на лекциях арифметически-клеточной улыбкой, объяснил Антонову, что теперь не то, что год назад, по объявлению стоящей работы не найдешь, нужно иметь рекомендации и обращаться в фирмы по подбору персонала. Ошарашенный Антонов подумал тогда, что будущее наступает совершенно новым способом: в настоящее уже внедряется частями, не дожидаясь нормального срока, какой-то чуждый, и н о с т р а н н ы й двадцать первый век, размечает живую территорию своими еще не живыми вкраплениями, — но тем меньше люди, внезапно натываясь на новизну, верят в то, что естественным образом, прямо живьем, перейдут в это уже близкое будущее, неизбежность которого стала как-то сродни неизбежно-

сти смерти. Может быть, впервые в человеческой истории будущее наступало как небытие, как раннее мертвое утро, словно перевернутое вверх ногами из-за длинных, далеко протянутых теней, — но Антонов старался отвлечься от подобных мыслей и сосредоточиться на поисках денег, тоже без конца меняющих облик и оттого все более условных, нарочно украшенных сложными радугами для удостоверения стараний фальшивомонетчика.

Вика, так и не восстановившаяся в университете, сделалась дерганой, ее неверные движения казались что-то означающими жестами, в то время как она всего лишь хотела дотянуться до книги или намазать бутерброд. Ее прекрасно загорелый прототип — демон с хрустальными глазами и сухими бумажно-белыми ладонями — пребывал в одном хорошем местечке южного полушария, где полеживал на тонком соленом песке, хранившем посеребренные морские ракушки, или посиживал с запотевшим, буквально обтекающим бокалом прохладительного в жесткой, лишенной трепета тени кабы от чего-то сломанного — жалюзи, или забора, или целого дощатого дома, — а оригиналы теней, тропические растения, красовавшиеся на берегу океана, точно на огромном подоконнике, меланхолично шуршали на ровном ветру. Бедная Вика в своем романном пространстве смутно ощущала, где должна была бы находиться в действительности; ее приводила в тоскливую ярость самая мысль о затхлой темноте университетского коридора, напоминавшего убожеством и запахами столовской тушеной капусты какую-то громадную коммуналку. Деньги сделались главной Викиной заботой; ей мерещилось, что как только кончится очередная порция денег, с ними кончится и жизнь, а вместо жизни наступит неизвестность, из которой не окажется выхода даже при помощи отложенного самоубийства — потому что будущее (она это тоже чувствовала) уже обладало всеми свойствами небытия. Теперь, чтобы умереть, не надо было делать ровно ничего, даже пальцем шевелить; поэтому Вика после первого периода домашнего обустройства хронически впала в безделье. Антонов, прибегая с лекций, находил на кухне грязные тарелки с размазанной желтизной утренней яичницы, возле них всегда валялась Викина расческа, такая же черная у корешков, как и ее огрощие, давно не крашенные волосы. Вся она, сутками сидевшая в сумерках квартиры, сделалась такая нездорово-бледная, что казалось, тронь ее тропическое солнце, будет не загар, а только хлорофилл.

Иллюзию занятости и непропавшего года (замужняя Вика по-детски соглашалась с тем, что нормальная жизнь состоит из этапов, подобных переходам из класса в класс) создавали курсы бухгалтерии и менеджмента, обходившиеся теще ежесечно в кругленькую сумму. Там, в зарешеченном школьном пристрое, с видом на трубы теплотрассы, обернутые, будто пальмы, рыжим волосатым войлоком, изящная принарядившаяся Вика волей-неволей терпела соседство каких-то деревенских девушек с идиллическими гладкими головками, но в ужасных зимних сапогах, похожих на кривые толстые пеньки. Зато она понимала учебный предмет, где числа не служили прилагательными для лишенных существенности символов и не отражались с противоположным знаком в чудовишном зеркале нуля, но исправно означали деньги, существенные сами по себе, восстанавливающие реальные связи реальных вещей. Тем не менее общий налет сумасшествия (блеклость мартовских людей и синяя яркость теней, весна под капельницей, запахи помоек) на какое-то время превратили здравую науку в числоманию. На улице Вика высматривала в сияющем, сигналищем потоке номера автомобилей и воображала, что бы она купила, будь у нее такие деньги в рублях или в долларах. Сумма, поначалу казавшаяся сказочно большой, при распределении на конкретную мебель, бытовую технику и одежду (муж Антонов тоже не бывал забыт) быстро исчезала по частям, и возбужденная Вика, то залезая на высоченный обочинный сугроб, то спускаясь по яминам-ступенькам под самые виляющие колеса, тут же принималась выискивать среди номеров еще большую цифру. Она никак не могла насытиться эфемерным богатством, не справлялась с мысленным поглощением



ем целого города, совершенно не приспособленного для потока иномарок, еще и стесненных по обочинам горами зимнего строительного мусора, ломом снежных плит и рыхлых кирпичей. Город, страдающий автомобильной гипертонией, не умещался в Викином сознании; редкие его дорожные пустоты, куда, окутываясь бисерными брызгами, тотчас устремлялись на свободной скорости шелестящие авто, были особенно опасны. Все-таки Вика, разинув рот, ступала на эту проезжую часть, чем-то похожую на мертвую скользкую рыбину, с которой яростно шваркают чешую; рыба елозит и пошлепывает вялым хвостом — и вдруг упруго погибает в кольцо, обнаруживая еще не утраченную мышечную жизнь. Видимо, водители машин каким-то образом чуяли, что девица на высоченных тонких каблуках, слезая на дорогу, ступает в собственную судьбу (уже загигавшуюся в кольцо); по-своему это истолковывая, многие тормозили, распахивали дверцы более или гораздо менее комфортабельных салонов, откуда вырывались тепловатые автомобильные смеси музыки, парфюма и бензина, — а однажды неосторожная Вика еле отвязалась от жирного угрюмого кавказца, возмущенного тем, что девушка махала рукой, а теперь нэ хочет ехать в рэсторан.

Курсы, включавшие компьютер, официально позволили Вике занять довольно скромное местечко в холемом кондиционированном офисе компании, где первым делом ее поразило отсутствие пыли, из-за которой предметы обстановки казались совершенно нетронутыми, а все события прошлого дня — как бы и вовсе не бывшими. По-настоящему Вика освоилась только тогда, когда на сурового шефа конторы нашло отлично ей известное наполеоновское беспокойство и началась ее работа над ошибками — вовсе не такая легкая из-за полудохлой холодности его индюка, заставлявшая Вику после жиденьких сеансов на кожаном диване бессовестно грешить с Антоновым, ничего, как видно, не подозревавшим.

В отличие от «интеллихента», недоглядевшего за женой, Гера с исполнительным директором сразу смекнули неладное; Гера, всегда смотревший понизу и так хватавший взглядом офисных женщин, что с них буквально сваливались туфли, первым почуял подозрительное, словно прочел о происшествии на идеально чистом напольном сукне, где каждый оброненный предмет выделялся, будто на витрине. В данном случае этим предметом были собственно Викины ноги в перекрученных чулках, словно наскоро покрашенные малярной кистью, — да и вся остальная одежда, напоминая скомканные на теле несколько слоев бумаги, на удивление плохо сидела на ней к концу иного рабочего дня. Поскольку через не в и н н у ю Вику уже прошло кое-что из сомнительных бумаг, партнеры забеспокоились; очевидная глупость нового младшего менеджера (чья излишняя должность, по замыслу совенка, принадлежала не столько структуре фирмы, сколько руслу обводного денежного канала) не дала никаких гарантий безопасности.

Но ничего ужасного не происходило: шеф, не то что повеселевший и переставший вздыхать, но теперь набиравший воздуху в грудь молодцевато, точно перед стаканом водки, продолжал добродушно шпынять своего заместителя, и когда он полуулыбался, череп его с приклеенными крашеными бровями ухмылялся гораздо откровенней. Через некоторое время партнеры были склонны считать, что довольному шефу просто не приходит на ум что-либо выведывать у сахарной куколки (это было их большое заблуждение). Они частично заменили Вику на гарантированно неприглядную девицу, сжимавшую толстые колени тесно, как хоккейный вратарь, которому могут забить решающий гол. Девица, немедленно подпавшая под Герины писательские чары, была готова выполнить любые операции, чувствуя себя, как видно, одной из главных героинь его повествования. Все-таки партнеры жили на иголках до самого финала; после, задним числом, Антонов вспоминал какое-то странное потепление, какой-то необычный Герин интерес, когда недавний враг без просьбы подавал ему салат, стакан, что-нибудь еще и внимательно наблюдал,

как Антонов манипулирует засланными предметами. Вероятно, Гера, чтобы предотвратить свои неприятности, хотел открыть «интеллекту» глаза на поведение жены, подать ему, вдогонку к принятой вещи, еще и известие, которое он смутно понимал как очень ценный подарок — но не был полностью уверен в реакции получателя.

В общем, все довольно быстро катилось к концу. Абсолютно чистые и белые конверты, в которых компания ЭСКО выдавала служащим ежемесячное жалованье (расписывались всегда за гораздо меньшую сумму), становились у Вики все более толстенькими и приятными на ощупь; их больше не оттягивала, как у других, съехавшая в угол скаредная мелочь.

С некоторых пор Вика упоенно таскала послушного Антонова по кондиционированным магазинам дорогой одежды. Эти холодные залы сами были совершенно как витрины, и Антонов, скованно расхаживая внутри среди патетически оформленных пиджаков, чувствовал себя выставленным против воли на полное обозрение улицы. Примерочные кабины, величиной с хорошую комнату, были для него источником дополнительных мучений: стадии одеваний и раздеваний, отражаемые в холодных синеватых зеркалах, не позволяли сохранять человеческую цельность, и Антонов, путаясь в чужих, чрезвычайно извилистых брюках, удивлялся, как это Вика на каждом аналогичном этапе умудряется выглядеть несколько не смешно и не безобразно, а будто в таком специально задуманном прикиде. Материализовалась, между прочим, пиджачная пара в меловую полоску, как раз такая, какую Вика измыслила и искала по всем магазинам, думая, что непризнанный гений Антонов будет выглядеть в ней как американский профессор (на самом деле она руководствовалась смутным впечатлением от американского фильма про гангстеров); облачившись в обнову перед ясным примерочным зеркалом минусовой температуры, Антонов ощутил себя буквально поставленным перед будущим — таким, где твое обыкновенное «завтра» принадлежит не тебе, но всему объему еще не бывшего, не разделяющемуся, по мере приближения к человеку, на его простые человеческие дни.

Иногда Антонов как бы замирал посреди осторожного наступления будущего — в частности, висящего в шкафу в виде ни разу не надетых вещей. Внутренний его хронометр ощущал какую-то пустотность, нехватку материала, и Антонов догадывался, что мельницы и мельнички обычных часов могут внезапно опустеть — не из-за того, что кончится завод, а из-за того, что нечего станет молоты. Впрочем, субъективно все это могло объясняться затянувшимся бездельем: монография в столе у Антонова уже почти превратилась в кучу перегноя, и даже пачечка чистой бумаги, не успевшая переработаться в испанскую, одеревенела и покрылась какими-то пищевыми пятнами, будто кухонная доска. Пустое время — все эти дыры, образовавшиеся в жизни из-за отсутствия работы, — не могло заполнить никакое другое занятие.

Все явственнее становилось, что дома он и Вика предпочитают держаться спинами друг к другу. Если они и обменивались взглядами, то только через зеркало: в его водянистом, водопроводно-ржавом веществе темные глаза жены странно теряли свою быстроту, и Антонов, стоя позади сидящей Вики — нестерпимо милой с этими по-детски косолапыми лопатками и розовой, словно недозрелой россыпью родинок, ловко схваченных бельевой застежкой, — встречал ее затравленное, жалостное недоумение, в реальности всегда прикрытое косметикой и все никак не грубевшей ее красотой. Так они в идеале друг друга, понимая, что стоит, поддавшись приглашению зеркала, посмотреть на себя, как тут же между ними исчезнет нечто, подобное недостоверному контакту на спиритическом сеансе. Что касается собственно зеркала, то Антонов, глядя на него, то есть на себя, начинал почему-то мерзнуть. Там, внутри, было действительно пасмурней, чем в комнате, всегда холоднее градусов на десять, вполне накала горело слабосильное электричество, и лампы, будто проржавелые кипятильники, не могли нагреть такого количества воды. Иногда Антонову мерещи-

лось, будто все это может хлынуть из зеркала: внезапно рухнет, сшибая и переминая Викину косметику, ржавая волна, вырвется, ахнув и зажурчав под зеркальным потолком, перекошенная люстра, опрокинется и изольют земляную жижу цветочные горшки, заплещутся, точно щучки, выливаемые в реку из ведра мельхиоровые ложки и вилки, а на подзеркальник, точно на бруствер окопа, ляжет явившийся с той стороны полосатый костюм.

## XV

Тем временем остальные персонажи этой близящейся к концу истории по-прежнему продолжали существовать. Случалось, что Викины открытки из Сочи оказывались в одном почтовом урожае с письмами из Подмоскovie. Вынимая сразу оба конверта, Антонов уже не видел возможности увильнуть от того, чтобы оба и распечатать. Прежняя его подруга беседовала сама с собой, не дописывая фраз. Из более-менее связанных кусков Антонов вычитал, что дочка подруги учится в московском балетном интернате, сама она теперь работает в больнице. Маленький муж был начисто выполот из письма; его отсутствие Антонов воспринял как нормальную женскую деликатность — а на самом деле этот страшненький чугунный человек давно растворился вместе со своим дальнoбойным грузовиком где-то на просторах Европы, похожей в виде карты на какую-то сложенную из хитрых частей головоломку. Бывшая подруга Антонова неопасно, но много болела, из окна ее палаты открывался вид на железную дорогу — неперенный в городке элемент, а вернее, индустриальный скелет всякого пейзажа, может быть, сохранявшего прозрачность именно благодаря этим тонким структурам рельсов, столбов, проводов. Пустота широкого, во много нитей, полотна регулярно заполнялась медленными, словно переходящими на увесистый шаг, поездами, — и однажды в пассажирском поезде южного направления через городок проехала красивая осанистая женщина, по паспорту Засышина Зинаида Егоровна, на вид живая и здоровая модель для гипсовых крестьянок, что и по сей день еще белеют, вместе с пионерами и сталеварами, в провинциальных парковых куцах, украшают как могут маленькие грустные вокзальчики. Примерно в это время несчастная Люминиева, бывшая в психушке представительницей рабочего класса, окончательно отказалась встречаться с мужем и сыновьями, чтобы лишние призраки не мешали ей любить настоящую семью, постоянно бывшую у нее в сознании и не нуждающуюся в дополнениях извне. Люминиев Василий Васильевич, всегда имевший законный пропуск на шестой этаж, стал теперь несмело, не трогая руками ничего белеющего, подниматься в палату. Там его Люминиева сидела, раскачиваясь, на краю кровати, ее колеблющийся взгляд пропускал Василия Васильевича, как пропускает человека, поднявшись по нему и снова спустившись на землю, лиственная тень. По каким-то неуловимым признакам неприятный муж, уже совсем седой, как белый петушок, угадывал в палате присутствие своего двойника — невидимого, но постоянно бывшего здесь, среди женских байковых тряпок и запахов, — и случались моменты, когда Василий Васильевич вдруг попадал на себя другого и чувствовал лишнее сердце в неподходящем месте, как, должно быть, клетка при делении чувствует второе ядро, а уже потом разрывается на куски.

Одновременно с этим... Наберем побольше воздуха в грудь. В это же самое время мать погибшего Павлика, полная развалина, чье морщинистое тело делалось тяжелым, будто куча мокрого отжатого белья, ощутила наконец свободу от будущего. Тогда она, уже не пугаясь появления сына из пузыря отставших обоев на темной стене, взяла из его бесценных вещей неиспользованную общую тетрадь и стала писать в нее округлым разборчивым почерком совершенно невозможные стихи. От этих жалостных произведений, посвященных Павлику посредством рисунка и надписи на первой тетрадной странице, любой литературный человек не знал бы, куда деваться, и маялся бы с торжественно-судорожной мордой, пока бы (допустим) ему зачитывались величавые

вирши какой-то доломонсовской техники, попадающие в рифму, будто в хорошо убитую колдобину, неизбежную на пути ковыляющей, то и дело меняющей ногу п е ш е й строки. К счастью, среди Павликовых одноклассниц, которым читалась тетрадка и показывался рисунок цветными карандашами, изображавший кладбище с таким восходом солнца, как на гербе Советского Союза, — к счастью, среди них не оказалось ни одной, понимающей в стихах.

Примерно в это же время у «бывшего» Викиного отца и его богомолки родился недоношенный младенец мужского пола, настолько маленький по сравнению с горообразной матерью, что не верилось, будто он когда-нибудь вырастет. Его обтянутое тельце было какое-то темноватое, словно на него все время падала тень. Разница между белизною кормящей матери и серой смуглотою безгрешного младенца была такова, что «бывшему» становилось не по себе; он вздыхал, неумело растапливая старую, серебряной краской крашенную печь, и думал, что единственное у него любимое — это пропахшие печью, пропитанные сажей, разбухшие книги и что это, наверное, есть главнейший его нераскаянный грех.

Примерно в это же время законная жена осьминога, будучи близко к небу — то есть проплывая в самолете компании «Люфтганза» над полузатопленными в прозрачности облаками, истонченными, как тело в ванне, околоземной оптической водой, — пообещала себе завести наконец какого-нибудь любовника. Женщина возвращалась из Швейцарии, напоминавшей, из-за флага с крестом и множества плоскощеких и плосконогих европейских старух, прекрасную комфортабельную клинику; там она опять не решилась ни на что, кроме безумных покупок, все равно подобных хорошо организованным терапевтическим процедурам. Дома, в международном секторе бетонного аэропорта, знаменитого серьезной карточной игрой, женщину уже дождался персональный охранник и шофер — добродушный хозяйский шпион с широченными покатыми плечищами, с неопределенным маленьким носом, на который природа налепила, да так и оставила без употребления добавочную нашлепку материала. Как только самолет, пошедший на посадку, засекло мелькающей в иллюминаторах грязной белизной, женщина необыкновенно ясно представила лицо своего опекуна, и ее охватило отчаяние. Да, она умела желать себе зла, эта увядающая, лживо накрашенная брюнеточка, — именно это она и делала, когда в ее удобной реальности не оставалось никакой лазейки, даже той, которую она сама из трусости только что безвозвратно пропустила. Оглушая от клейкого шороха в ушах, с болезненно набухшими глазами, она мучительно глотала лишнее давление и желала себе подавиться этой ужасной посадкой, ударились о землю вместе с содержимым остальных одинаковых кресел, — а между тем самолет уже катил, комфортабельно потряхивая пассажиров, по мелким лужам посадочного бетона, и у брюнетки оставалось единственное утешение: дома, в старой вязаной шапке, поеденной молью почти в порошок, у нее хранился настоящий, по-настоящему заряженный револьвер.

В это же самое время... Надо до предела расширить легкие, чтобы передать человеческим голосом этот долгий крик реальности, эту о д н о в р е м е н н о с т ь, которую Антонов решил искать в отношениях с женой, — а между тем кому, как не ему, следовало догадаться, что со временем не все в порядке, что оно заражено разномножением случайностей, и только держа человека за руку, можно утверждать, что этот человек действительно существует здесь и сейчас. Но надо ли так уж настаивать на одновременности людей и вещей? Даже если просто пройти по одной из центральных улиц, просто поднять глаза от полированного, с лестными ступенями, магазина туда, куда никто не смотрит и где торчит, вдаваясь в облака, полусгнивший уступ, приподнятый, как плечо инвалида, и с костылем водостока под мышкой, где ржавеют железные койки балконов, где темнеет бурая башенка, кокнутая трещинами, будто пасхальное яйцо, — даже просто из этого можно было сделать вывод, что такое эта якобы одновременность, явленная человеку с простотой наглядного пособия. Наверху, вздымая в небо собранные баснословными пионерами кучи

металлолома, сыреет прошлое; внизу как будто двигается настоящее — но слишком много вокруг зеркал, желтоватых, словно клейкие ленты для ловли мух, и пойманные ими люди шевелятся в золотой желтизне, вытягивая то одну, то другую ногу, думая, будто независимо шагают в собственное будущее. Зеркала, эти простейшие механизмы лжеодновременности, явно маскируют отсутствие таковой в реальной действительности — где вместо будущего наступает небытие.

Прежде чем перейти к самому финалу, позволю себе замечание в скобках. Несмотря на то что данный роман не является детективом, в нем уже имеется целых три покойника, не считая маленького сына Вики и Антонова, абортированного из текста, хотя первоначально ему была посвящена целая четвертая глава. Возможно, игрушки этого большеголового, всегда при взрослых напряженно-тихого ребенка (предпочитавшего, впрочем, играть совсем понарошку, то есть без машинок и солдатиков, остававшихся у него новехонькими) где-то, по недосмотру автора, еще остались в тексте, и внимательный читатель непременно их обнаружит. Игрушки вообще удивительно долго, гораздо дольше детства, держатся в помещениях, никакая уборка или редакция не может их истребить до конца, пока не пройдет положенный срок. Но речь сейчас не о ребенке, а о смерти. Мне представляется, что в реальности смерть выполняет псевдохудожественную функцию: все подробности обыкновенных дней ушедшего человека делаются вдруг значительны, вещи его, особенно одежда, обременяют родных, потому что в качестве экспонатов музея требуют гораздо больше места в маленькой квартире, чем занимали при жизни владельца. Любая смерть пытается придать судьбе пациента видимость чего-то целого и завершенного, при том, что на самом деле такая цельность попросту невозможна; превращая человека в литературного героя, смерть получает на него авторские права. Но ни разу у автора с косою не получилось стоящего образа: бездарность смерти очевидна, жанр, в котором она работает, вульгарнее любого триллера. Совершенно некуда деваться от этих подделок, вместе с человечеством возрастающих в числе; но можно по крайней мере противопоставить псевдопроцессу несколько своих вариантов — и положиться на обмен веществ между реальностью и текстом.

Существует, конечно, и более простое объяснение. Поскольку время, засоренное случайностями, замедляет ход, если еще не заболотилось совсем, — гибель одного персонажа означает в романе примерно то же, что конец главы. Необходимо сильное средство, резкая встряска, чтобы отделить прошедшее от будущего — чтобы открыть хотя бы кусочек исчезающего будущего для оставшихся событий сюжета. Даже любви с первого взгляда или иного сумасшествия уже недостаточно: человек, застрявший во времени, не верит себе, и если вокруг него все по-прежнему на месте и ничто не исчезло, то человеку кажется, будто с ним в действительности ничего не произошло.

Еще одна небольшая иллюстрация. Бывает, что, описывая героя или героиню, не понимаешь, откуда что берется, и думаешь, будто внешность и повадки персонажа возникают из головы. Но вот однажды кто-нибудь из неблизких знакомых внезапно исчезает — не растворяется в городе на неопределенный срок, чтобы в любой момент вынырнуть целехоньким, с кучей новостей о себе и об общих приятелях, а именно пропадает совсем. И вот тогда персонаж уже написанного, а бывает, что и опубликованного текста раскрывает инкогнито. Только тогда и видишь, кто приходил неузнанным. Видимо, только исчезнув здесь, человек целиком проявляется там: он словно проходит сквозь какую-то стену, а потом оборачивается, чтобы мы могли всмотреться в его измененные черты. Может быть, это скромное наблюдение косвенно проясняет родственную, буквально кровную связь между персонажем и прототипом.

Теперь о том, что произошло в действительности, во второй половине зимнего бессолнечного дня, когда сугробы, подлизанные ветерком, напомина-

ли осадок чего-то выпитого и можно было при желании гадать на снежной гуще. Осторожно одолевая подъем чрезвычайно скользкой и колдобистой дороги, похожей на какую-то ледяную пашню с четырьмя глубокими бороздами (многие дороги нашего города были в тот день таковы), плотно груженный фургончик-«чебурашка» внезапно вильнул, сунулся боком на встречную полосу, где именно в эту минуту из-за взгорка поднималась оскаленная морда тяжеленного серебряного грузовика с прицепом. То, что через несколько минут осталось от фургончика, дополнительно впечатанного в столб, было сплошной гримасой боли старенькой жести; на задравшемся руле обвисал неясный человеческий мешок, а со стороны пассажира целое стекло являло сочные сплюснутые пятна, какие бывают, когда человек лицом прижимается к окну, — но только это было не лицо. Через пару часов пострадавших вырезали из темной измятой кабины. У шофера, бледного, как мыло, с тонкими волосами, налипшими ко лбу, еще прощупывались редкие стежки угасающего пульса, а пассажирка была абсолютной мертва, крашеная прическа ее торчала, будто сбившийся парик; чувствительных зрителей поразило, что указательный палец на ее бессильно раскрывшейся руке был толсто обмотан бинтом.

Гибель псевдо-Вики и ее шофера из-за разрыва тормозного шланга, будучи законным фактом для обсуждения, сделала этих двоих целиком достоянием публики. В них словно ткнули указательным пальцем — не рассчитав при этом силы толчка. Сразу же выплыло, что у псевдо-Вики и этого веселого Володи, симпатичного уroda с розовым, как фарш, морщинистым лицом и с локонами Леля на большой бесформенной голове, уже давно образовался не лишенный душевности маленький роман. Володю любили все: девочки на оптовке, все до одного реализаторы, люди нередко тяжелые, обиженные, с инженерным или научным прошлым, складские грузчики — вчерашние бомжи того же душевного и потного подвала, где ныне располагался оптовый склад и где они полеживали в перерывах между машинами, словно на вечном бомжовом пикнике, и всегда приглашали Володю к своему антисанитарному столу. Наверное, и псевдо-Вика любила этого незлобивого мужика — на свой деловитый манер, не забывая о хозяйстве, в самые личные минуты, надо полагать, не отключая у себя в кабинетике старый, безголосый, но упорно тарахтевший телефонный аппарат, зато придавая каждой поездке с товаром оттенок ладной семейственности, маленького праздника.

Впрочем, ничего определенного не доказано. Осталось загадкой, куда эти двое пробирались по ледяным колдобинам и по рваным бинтам поземки, с полным грузом баночного пива и пухлых китайских бисквитов, при катастрофе почти не пострадавшим. Впереди по тракту не имелось ни одного принадлежащего псевдо-Вике киоска, не было вообще почти ничего, кроме нескольких блочных хрущевок (жилья окраинной птицефабрики), да белого поля с огородами, похожими на засыпанные снегом старые корзины, да угрюмого, с явным недостатком людей для распахнутых мертвых машин, троллейбусного кольца. Дальше, за кольцом, белесая и пепельная даль уходила складками, словно кто старался отодвинуть, сминая скатерть, хвойные лески с торчащими, будто опята, вершинами высоких сосен, огромный железнодорожный мост над котловиной с мерзлым маленьким ручьем, едва белеющим в кустах, лиловые березы на взгорке, сквозь которые, будто сквозь ресницы, были видны еще какие-то бледные заводские трубы. Но вряд ли нашу пару заманивал пейзаж. Зная псевдо-Викю, высказываю предположение: они катались. Мне доподлинно известно, что в этой взрослой тетеньке сохранялась какая-то девчоночья любовь к бесцельной скорости, к качанию и кружению, к веселому ужасу подлетов и ухабов. На даче у псевдо-Вики, в дверях громадного, еще родительского дровяника, всегда болтались низкие, неуправляемо-верткие качели, которые, будто кошка, ластились и не давали проходу, особенно если человеку надо было выйти из сарая с полными руками. На них тяжелая псевдо-Вика присаживалась бочком, будто просто передохнуть от хозяйственных дел. Но уже через минуту слышался матросский скрип веревочных снастей, и

псевдо-Вика, полулежа, белыми ногами вперед, с выражением сосредоточенного счастья на запрокинутом лице, вылетала из темноты дровяника на яркий солнечный свет. По ней, точно она пронеслась перед экраном кинотеатра, бежали, словно искаженные всадники на скаку, смазанные тени листвы; замерев в какой-то высшей точке блаженства над сизыми кустами крыжовника, она подбиралась, бычилась и ныряла обратно, чтобы под потолком сарая, где, среди темного шороха птичьей возни, замечательно пахли чаем подвядшие березовые веники, снова распрямиться и, словно что-то зачерпнув неожиданно сильным телом, устремиться на свет.

Это было особое священнодействие; псевдо-Вика признавалась, что на качелях она «мечтает», но никогда не говорила, о чем. Вероятно, она относилась к особенной породе крупнотелых женщин, у которых их настоящее «я», в обратной пропорции к грубому кувшину плоти, остается очень маленьким и никак не совпадает с внешним обликом, о котором такие женщины почти не помнят, покупая себе хорошенькие платьица сорок четвертого размера; эта-то малышка, упрятанная в теле псевдо-Вики, и попискивала от восторга, когда ее подхватывала на секунду витающая в небе невесомость. Было что-то несомненно детское в этом желании попасть на ручки; вероятно, присутствовало в вибрации подлетов и провалов и что-то детски-эротическое: юбка становилась пугающе легка, иначе, чем обычно, приливалась кровь, сладкой слабостью прохватывало в животе. Однако краткое парение над крыжовником и забором имело и прямое отношение к небу, начинавшемуся, как видно, не так высоко: залетая в нижний из его магнетических слоев, псевдо-Вика какую-то секунду принадлежала не своему хозяйству и бурчавшим при поливе, хорошо ошипанным грядкам, а блаженному миру рассеянных облаков, бывших в эту минуту как бы сквозной волокнистой проекцией всего ее простертого существа, так что казалось — еще чуть-чуть, и она останется среди этого растворения, среди плавного взаимодействия сомлевших облачных протяженностей и мотающихся на какой-то небесной привязи древесных вершин. Мне кажется, что самое чувство движения, скорости было у псевдо-Вики чувством духовным. Однажды эта чудачка, побывав в Италии (притащив себе оттуда чемоданище узеньких, будто колготки, трикотажных кофточек), рассказывала, что заходила в собор (в какой, не помнит) и в том соборе был удивительный купол, расписанный розовыми и синими фигурами, — и псевдо-Вике, ошастливленной этим сиянием и этой высотой, вдруг так захотелось, чтобы это была карусель!

Прошло немало времени с тех пор, как начинал писаться этот роман, — и вот совсем недавно я увидела псевдо-Антонова на улице. Он оживлял собою скучный, аккуратно стриженный сквер. Его торговая палатка переливалась веерами, цыганскими платками, где букеты роз алели, словно кусты клубники на богатых грядках; на прилавке были разложены какие-то раздвижные коробочки, меховые пауки на нитках, связки разноцветных шнуров, крашенные жестянки, довольно натурально изображающие кучки рыжего дерьма, с мелкой надписью по краешку: «Made in China». Сам порозовевший на солнышке вдовец, улыбаясь новой крокодильей улыбкой, показывал смущенной покупательнице карточный фокус: покупательница, полная, очень коротко стриженная тетенька, с затылком как толстый грибок и с лиловыми щеками, поплывшими на жаре, робко толкнула колоду ноготком, псевдо-Антонов проворно снял, его слегка дрожжие коричневые пальцы попытались пропустить колоду гармошкой, — как вдруг приготовленный фокус рассыпался, и двусторонние карточки, виляя, будто рыбки, проворно устремились на клумбу, где произрастали мелкие и яркие цветочки, сами похожие на рассыпанные карточные масти. В эту злополучную минуту псевдо-Антонов, сделавший странный плясовой притоп в порыве за улетевшим добром, увидел среди покупателей знакомую, то есть меня: сказать, что он обрадовался, было бы бессовестным преувеличением.

Теперь о внешности моего героя. На лице его можно хорошо рассмотреть: узкий горбатый нос с ноздрями, напоминающими украшения фарфоровых ча-

шек и сахарниц; тонкий синеватый рот, прямой, как прочерк; пару светлых ускользящих глаз, которые, если все-таки в них заглянуть, темнеют и становятся затравленными. Но в манере героя держаться с покупателями проявляется даже что-то менторское, что-то от прошлого псевдо-Антонова, преподававшего, кажется, в Институте народного хозяйства. Должно быть, тот обыкновенный факт, что теперь не он бежит предлагать растительное масло к кому-то в кабинет, а, напротив, люди устремляются к его столу (только очень занятой прохожий не сделает крюк, чтобы поглазеть на балаган), придает моему герою потрясающий апломб. При этом взгляд его порхает между лицами неуловимо, будто мерцающая моль, а руки работают вслепую, отчего коробочки разваливаются на стенки и пружинки, а цветные шнуры ведут себя, как связки обыкновенных шнурков для обуви. Но псевдо-Антонов сохраняет бодрость. На шее у него во время торговли почему-то всегда болтается грязно-белый спортивный свисток.

## XVI

Теперь о том, что произошло с законными героями романа. Навороченный и вылизанный «мерс», конечно, не мог попасть в такую глупую аварию, как изношенный грузовой «Москвичок». Все случилось из-за отсутствия у Вики чувства времени, причем в буквальном смысле слова. Засидевшись в косметическом салоне, Вика опоздала к шефу на сорок пять минут. Теперь на все свидание у них оставалось примерно два часа с копейками; вместо того чтобы смириться с неудобствами и поехать с Викторией на затхлую секретную квартирку, упрямый шеф все-таки погнался в пансионат, к раскаленной сауне и шашлычку, к целебному лепету подсиненного березнячка, — надеясь, как видно, уместить измочаленные нервы на лоне июльской природы. На скорости более восьмидесяти километров в час сумасшедший «мерс» вилял по городскому солнцепеку, на переднем сиденье, рядом с водителем, мелькала, как пушинка, новенькая Викина прическа, и облака в чудесном летнем небе были такие, словно там стреляли из пушки.

Любовники уже практически выбрались на шоссе и огибали участок дорожного ремонта, похожий на огород, где долговязая тетка в грязном оранжевом жилете боронила, далеко выкидывая жилистую руку с инструментом, парной комковатый асфальт. В этот самый злосчастный момент неизвестный джип, заглянув со стальной улыбкой в зеркало заднего вида, воюющей тенью отсек «мерседес» от правого ряда лилового шоссе и возник впереди, красуясь широкой кормой и четким набором иногородних номеров, прочитанных Викторией как тридцать с лишним тысяч американских долларов. Тут же его утянуло вперед, в череду дрожащих знойных миражей: сильно потекший, будто заливаемый горячим дождем, джип напоследок возник на пологом пригорке, откуда навстречу ему поплыл, струясь слепящим серебром, огромный рефрижератор. В это время «мерс», визжа, вальсировал на встречной полосе; шеф, плачущим лицом кривясь в противоположную сторону, выворачивал руль, закружившейся Вике были видны его внезапно пропотевшие брови и усики, напоминающие горелый лук в эмалированной посуде, и маленький блестящий ботиночек, пытавшийся внизу на что-то наступить. Она еще не испугалась как следует, только кондиционер обдал ее искусственной мятной зимой; она попыталась пристегнуть эластично сопротивлявшийся ремень, который только набросила для поездки, не желая мять дорогую блузку, но пряжка не находила гнезда, — а между тем рефрижератор, нереальный, как дворец Аладдина, серебряным маревом поднимался из-под земли буквально в пятнадцати шагах, и казалось, будто его громадные колеса липко испачканы дегтем. Тут ботиночек шефа наконец придавил какую-то педаль, машина прыгнула вперед, — и Вике, щелкнувшей зубами, показалось, как это бывало не раз, будто все вокруг внезапно увеличилось одномоментным и таинственным скачком. В подтверждение справа вымахнул сияющий на солнце семимильный столб, какая-то пыльная чашоба проволокалась,



царапая, по боковому стеклу, и далекий ныряющий удар автомобильного железа о нереальные сахарные камни отозвался у Вики в животе глубоким кваканьем живого вещества. Тут же она ощутила, как внутренний ее состав, костляво-неудобный, внезапно сместился под углом к ее беспомощному телу, как смещается вещь по отношению к контуру, обведенному на бумаге.

Вика, разумеется, не почувствовала, как приехавший на «скорой» одышливый толстяк сделал ей противошоковый укол, не заметила и прилетевшей группы телевизионных новостей, снимавшей пятна крови, мягкие на вид, будто вылитая из банок и быстро загустевшая масляная краска. Жирные синие мухи слитно гудели в раскуроченном салоне, как пчелы в улье, иногда утыкаясь во что-то с коротким жужжанием, словно прижигая нагретую липкую кожу сидений и огненное битое стекло. Телевизионная репортерша, юная, будто пионервожатая, поначалу что-то воодушевленно декламировала в камеру, подрагивая от напряжения голыми коленками; но вдруг она бросила неосторожный взгляд на носилки, куда укладывали пострадавшего мужчину, увидела на его губах кровавый пузырь, шевелившийся, точно прикрытый пленкой чудовищный глаз, и, согнувшись от дурноты, косолапо ринулась в помятые заросли кустов.

Во всю эту ночь шелестящего дождя и плохо задернутых штор Антонов пребывал в таком непрерывном и плотном контакте со временем, что показания часовых приборов, стучавших во всех укромных уголках совершенно застывшей квартиры, были ему излишни: каждая минута и секунда отзывались в его существе маленьким сейсмическим толчком.

Около одиннадцати ночи наступило время звонить. Антонов еще заставил себя подождать до половины двенадцатого, бессмысленно гоня телевизор с канала на канал (в местной программе новостей, на которую он попал с середины, мелькнуло высокое, как зимняя детская горушка, лиловое шоссе и отъезжающая от группы милиционеров «скорая помощь»). Наконец он кое-как натянул дневную одежду и вышел на улицу. Далеко, за парком культуры, небо беззвучно посверкивало, ветер окатывал плещущие деревья резкими порывами, словно водой из ведра. Антоновский любимый телефон-автомат, похожий на умывальник, исправно работал: проглотив жетон, он немедленно выдал Антонову бодрый, как у Буратино, тещи Светин голосок, сообщивший, что Вика сегодня у бабушки и что ее непременно доставят домой на машине. Собственно говоря, все шло заведенным порядком: как только Антонов вывалился из скрежетнувшей будки, растирая плечи от наждачного озноба, набежавший дождь влил ему в щеку холодный крепкий поцелуй.

Скоро, однако, время, непрерывно стучавшее в Антонове, перешло за четыре часа: то был последний мыслимый срок, когда Вика, при нормальных обстоятельствах, уже непременно являлась домой. Антонов лежал в постели, на своей освещенной половине, и оцепенело слушал, как на улице дождь сухо сечет разросшиеся кусты, словно резкими ударами ножа обрубают целые ветки с ахающими листьями. Антонов пытался читать рекомендованный Аликом итальянский роман, который без толку мусолил уже несколько месяцев, — но толстый том постепенно тяжелел, на него начинал воздействовать какой-то дремотный магнит, и книга внезапно вырывалась из рук, отчего Антонов крупно вздрагивал и просыпался.

Вдруг он окончательно очнулся в пропотевшей постели, полусваренный и липкий. Спальня была почти целиком занята дощатым и щелястым полуденным солнцем; на полу, в дымящихся солнечных полосах, ковер ярчайше алел пропылившейся шерстью, и сброшенная Викина подушка по ту сторону кровати лежала аккуратная, несмятая, туго застегнутая на все перламутровые пуговицы. Антонов, шатаясь, вскочил, босиком пробежал по пустой, словно наглухо закупоренной квартире: всюду стоял нетронутый, покрытый летней непрозрачной пылью вчерашний день, в прихожей ровненько красовались разнообразные пары ухоженной Викиной обуви, только старые, оранжевые

снутри от долгой носки замшевые туфли, в которых Антонов ночью выходил звонить, валялись посередине, измазанные зеленью. Призывая самого себя к полному и абсолютному спокойствию, Антонов направился на кухню в поисках какой-нибудь записки (была, ушла, ненадолго улетела к морю), как вдруг из зеркала на него уставилась растрепанная образина: опухшая морда в розовых отпечатках подушки походила на жирный кусок ветчины, на шею налипло пуховое и потное куриное перо.

На кухне, на невытертом столе, не было, разумеется, никакого письма: там стояла кружка черного радужного чаю да валялась на своем обычном месте Викина кулинарная книга мудрых изречений, и в самом деле заляпанная пищей. Соображая, точно ли на кафедре имеется телефонный справочник, Антонов принялся лихорадочно собираться, отыскивая повсюду свою разбросанную одежду, которой, вместе с Викиной случайно прихваченной кофточкой, оказалась почему-то целая охапка. Ему почудилось, будто он не то что сходит, а уже сошел с ума. Все-таки Антонов заставил себя тщательно побраться и залезть под душ: ржавые дырочки душа напоминали перечницу, от туда еле сеялась тепловатая водица, которую Антонов размазал, как мог, по ноющему телу. Только оказавшись на улице, дохнувшей на него густым асфальтовым жаром и ленивым зноем пьяной травы, Антонов понял, что начисто не знает, который час.

Он бежал по горячей улице в своей вчерашней одежде — балахонистые брюки, белая рубашка с неотстиранным, но почти что белым пятном под лопаткой, — и стоявшие повсюду будки телефонов-автоматов были реальностью того же качества, что бледная полоска от забытых дома часов на антоновском левом запястье. В университете, на кафедре и в деканате, все, с кем Антонов встречался вчера, были сегодня одеты по-другому. Оттого, что Антонов уже побывал сегодня в зеркале, он ощущал себя до ужаса видимым — как бы слишком плотным, тошнотворно сытым всей этой пищевой цвета реальностью, хотя в желудке не болталось ничего, кроме гниловато-сладкого вчерашнего чайку, — и спешил сойти с каждого занятого места, чтобы не обозначаться на фоне обычных, нейтральных вещей. Все-таки он отыскал на подоконнике слипшийся телефонный справочник (в сумрачном углу возник белорукий и белоногий призрак давней антоновской подруги, достающей книгу с верхнего стеллажа), после чего утвердил перед собою общественный аппарат и с безнадежным чувством, будто подкручивает пальцем забасившую пластинку на старой-старой, тяжело берущей с места радиоле, принялся набирать бракадабру номеров. Когда ему ответил — в точности таким, как на старой пластинке, гнивым женским басом — первый же возможный морг, Антонов сначала ничего не смог сказать и быстро повесил трубку. Но потом он довольно толково перечислил Викины приметы нескольким абонентам, к которым, независимо от пола, обращался «девушка».

Секретарша декана, одетая в ярко-красное синтетическое платье с ярко-белым кружевным воротником, уже откровенно слушала Антонова, ее ухоженные подбородки отвисли, показывая мелкие нижние зубы, желтые, как обломанные спички. Испытывая мгновенное облегчение от очередного отрицательного ответа, Антонов все продолжал возвращаться к нескольким фатально занятым пунктам, где комбинации цифр, казалось, таили в себе какое-то заклинание недоступности, хитро упрятанное в справочнике между нормальными, действующими телефонными номерами. Секретарша, играя платьем, налила и подала Антонову шипящий стакан тошнотворно теплой минералки (призрак подруги, склонив чудесную голову, напоминавшую отливом золотисто-медный елочный шар, принялся собирать невымытую посуду на тонкий, как математическая линия, призрачный поднос). Наконец Антонов сдался: по-женски закусив губу, он наvertsел на диске номер, которого в обычных ситуациях старался избегать, как зубного врача.

Офис компании ЭСКО подсоединился немедленно, словно только и ждал приглашения: заиграла мерная вступительная музыка, будто для позвонивше-

го открывали волшебную шкатулку. Как ни готовился Антонов непринужденным тоном попросить на минуту к трубочке собственную жену, у него ничего не вышло. Его невразумительный клекот был категорически прерван молодым, скрипуче-свежим, раздражительно знакомым голоском, сообщившим, что Виктория Павловны в офисе нет и не может быть. Далее голосок, то и дело отвлекаясь на каких-то других собеседников, нетерпеливых призраков из комплекта офисных вечеринок, совершенно открытым текстом поведал Антонову, что Виктория Павловна и шеф ехали, как всегда, развлекаться в пансионат («Мы думали, вы в курсе этих дел»), но попали в автокатастрофу и находятся теперь в реанимации, в Первой областной. Антонов слушал со странным ощущением, будто вмешался в радиопостановку, в какую-то дикую пьесу, на репетициях которой ему доводилось присутствовать и даже общаться с актерским составом, смешавшимся теперь у него в голове на манер конфетти. «Состояние критическое, так что поторопитесь», — надавил голосок с многозначительным злорадством, затем послышался взрыв сразу нескольких сумбурных, как бы преувеличенно веселых диалогов, и передача прервалась.

Валко пристроив в гнездо неуклюжий нагретый предмет — телефонную трубку с клубком перевитого шнура, — Антонов обнаружил по углам притихшего помещения сразу нескольких человек, глядевших на него с испуганным восторгом, точно на внезапно открывшегося преступника. Все они были знакомы и все безмянны. Антонов аккуратно встал на обе костяные твердые ноги и, чувствуя ими твердость паркетного пола, с глупой ухмылкой двинулся к дверям. Меланхолически ровная трель телефона, зазвонившего сразу, как только секретарша, манипулируя в воздухе его разъятыми частями, распутала шнуры, заставила Антонова почувствовать, насколько он далек от окружающей действительности. Тем не менее его окликнули. Секретарша, выпучив глаза, дрябло начерненные карандашом, вновь протягивала Антонову трубку. Вдруг его охватила безрассудная надежда, что произошла ошибка, он даже почувствовал радость, как будто хорошая новость уже была у него в кармане.

Но на том конце телефонного провода сами ждали новостей. Теща Света, про которую Антонов начисто забыл, спрашивала, слегка задыхаясь, «как обстоят вчерашние дела», — и Антонов понял, что просто не может взять и выложить правду про аварию, тем более про Викиного шефа. Ему показалось, что если он сейчас расскажет теще Свете про несчастье, которое и сам физически не может осознать (словно для такого осознания телесная оболочка человека должна каким-то образом увеличиться вдвое), то весь его как будто целый мир, нормально пропускающий солнце в нормальные окна и не изменившийся по части человеческих маршрутов в лабиринтах улиц и домов, обрушится еще в одном углу — и ему, Антонову, не справиться с катастрофой. Попросту ему не хотелось ничего объяснять, поневоле придумывать для не верящей, плачущей тещи Светы неизвестные подробности события, которое светилось в уме у Антонова мутным, нестерпимым по яркости пятном. В конце концов, он и сам ничего не знал наверняка и имел полнейшую возможность позвонить теще Свете на службу, как только что-нибудь реально прояснится. Поэтому Антонов, делая всего-то навсего то же, что всегда, сообщил нервически веселым голосом в жалобно поквакивавший телефон, что все в полнейшем и обычнейшем порядке, но сейчас он очень торопится и не может больше говорить.

Умом Антонов понимал, что совершает преступление: ведь если Вика действительно умрет сегодня, то теща Света не успеет проститься с дочерью и останется точно отрезанная ото всех основ продолжения собственной жизни. Однако ум Антонова, сознающий положение вещей, словно находился где-то далеко и работал как радио, передавая в мозговой антоновский приемник разные сообщения, а сам Антонов двигался и действовал независимо от передачи. Он чувствовал одно: надо как можно быстрее и наяву добраться до тех проклятых больничных болот, которые словно принадлежали Антонову, как при-

надлежит сновидцу его многосерийный тягостный кошмар. Шагая с крутых ступеней непосредственно в воздух, он сошел с университетского крыльца на мягкий, будто серый матрац, тротуар и направился было по прямой к проезжей части, чтобы из потока полурасплавленного транспорта выловить такси.

Однако его остановило нечто нелепое на пестреньком книжном прилавке, скромно оскверняющем суровый храм науки своим развалом детективов и журнальных глянцевого красота. Сбоку, наособицу от яркого товара, темнел простецким гладким переплетом и слепил слегка размазавшимся золотом заглавия Герин исторический роман. Отчего-то у Антонова безнадежно упало сердце; он взял с прилавка девственно-жесткий, плохо открывающийся том и увидел в треснувшей щели витиеватое посвящение какому-то спонсору. Полузнакомя продавщица встала к Антонову из маленькой тени соседнего киоска, едва скрывавшей ее с головой, когда она сидела там на каком-то бесцветном тряпье. Антонов словно загипнотизированный расшелушил в кармане штанов угловатую пачечку денег и подал продавщице две десятки, — но взамен изъятых Антоновым доказательства ненормальности мира продавщица как ни в чем не бывало выложила на опустевшее место такой же точно грубый, ярко позлащенный экземпляр. Мелкая сдача, полученная Антоновым, была горяча, словно со сковородки. Придерживая книгу жестом гипсового пионера, чтобы не было видно заглавия и автора, с сердцем, сжатым будто кулачок, Антонов устремился вперед.

Остановленный не столько взмахом его руки, сколько безумно-безразмерным шагом на проезжую часть, взвизгнул тормозами чумазый «жигуленок». Быстро сунувшись в душный салон, где пахло будто в старом резиновом сапоге, Антонов сквозь болезненно сжатые зубы выговорил водителю адрес больницы. Водитель, толстый линиястый мужик с зализанными волосами, словно частично нарисованными прямо на розовой лысине, грозно развернулся из-за руля, но, увидав перед собой затравленные глаза и плотный пресс морщин на страдальческом антоновском лбу, молча перетянул с переднего сиденья на заднее хозяйственную сумку. Антонов плюхнулся. Водитель не торопился, рачительно объезжая колдобины, искоса поглядывая на ерзающего пассажира, готового, кажется, разгонять машину, будто качели, налеганием задницы, — но все равно на плохих участках дороги изношенный «жигуленок» переваливался чуть ли не пешком, вызывая сзади, в нестерпимом солнце, сердитые гудки.

Шалея, почти не узнавая дороги, по которой наездился в позапрошлую зиму, Антонов думал, что Герино произведение надо бы при первом удобном случае обернуть газетой: получится книга как книга. Глубокая щель между сиденьями «жигуленка», где уже валялся аляповатый журнальчик, навела Антонова на мысль, что уроды можно попросту забыть в чужой машине и больше о нем не вспоминать. Делая вид, что проверяет застежку пассажирского ремня, Антонов спустил роман в естественный тайник и незаметно вытер пальцы, на которые перевелась типографская позолота. По мере приближения края земли, то есть больничного городка, в душе его трескучей радиопомехой нарастал нелепый ужас, совершенно не дававший слышать, какую мучительную флейту передает откуда-то с небес его настоящее «я»: Антонову взбрело, что у него не хватит денег заплатить водителю, и он незаметно стриг большим и указательным в натянутых складках кармана, цепляя и теряя какой-то жесткий бумажный уголок. Наконец приехали. Антонов, полулежа боком, вытащил деньги: к счастью, в кармане обнаружили еще четыре десятки, и водитель, криво ухмыляясь, удовлетворялся тремя. Антонов перевалился с левого бока на правый, осторожно вылез на сухой и пряный солнцепек. Кузнечик скоблил в траве, словно затачивал о камень очень острый маленький нож, свеженасыпанные кучи гравия вдоль больничной ограды походили на каменные муравейники. Но водитель, вместо того чтобы хорошенько захлопнуть дверцу за странным пассажиром, явно приехавшим к своему несчастью, снова ее распахнул: держа в руке злополучный роман, он мельком бросил строгий взгляд на заголовок и протянул Антонову непринятого подкидыша, на что Антонов вынужден был пробормотать виноватую благодарность.

## XVII

Лето изменило болотное болото, как могли бы его изменить многие годы запустения и зарастания жестким дремучим былъем. Откуда-то едко тянуло тлеющим торфом, в мутно-сизых пеленах болотной гари чадно лиловели фантастические иван-чайные заросли, а дальше из развалистых кочек тесно торчали вкривь и вкось горелые черные палки, из-за которых как-то сразу ощущалось, какое это болото мягкое, утробное, набитое, будто коровий желудок полупереваренной травой. Родное окошко на шестом этаже психотерапевтического корпуса было белее соседних: там на подоконнике стояло что-то — не то коробка, не то неразличимое с земли таинственное объявление. Перед тем, как войти в хирургию, расположенную как раз напротив психушки, за мокрой горячей помойкой, пропитавшей гнусным духом рощу смуглых мелколиственных берез, Антонов кое-как очистил штанину от острых, будто блохи, впившихся колючек: когда он наклонился, перед глазами его, как на экране неисправного телевизора, прошла мерцающая полоса.

Полоса сохранилась и в холле, где Антонову немедленно выдали зловеще новенький, плоский, будто выкройка, халат с необыкновенно тесными и длинными рукавами, наводившими на мысли о смирительной рубашке. Молодая пухленькая медсестра, похожая на Володю Ульянова с октябрятской звездочки, улыбнулась блеклому посетителю и, звонко щелкая задниками туфель по круглым яблочным пяткам, быстро повела его по переходам и лестницам в очень длинный, очень чистый коридор с рядом одинаковых дверей по одну сторону и с рядом таких же одинаковых окон по другую. Возле дальнего окна, цепко обхватив себя костлявыми руками, стояла остро сгорбленная женщина, и сгорбленная тень оконной рамы лежала, будто сломанное дерево, у нее на спине. Женщина показалась Антонову не вовсе не знакомой: он вспомнил алое платье с висячими блестками, перекипевшее шампанское и этот крупный намазанный рот, пачкавший, будто кондитерская кремовая роза, тонкий стеклянный бокал. Теперь бесформенные губы женщины казались расквашенными, и духи ее пахли явственно и жалко, словно разбавленные водой. Антонов полупоклонился на ходу. «Это не вы муж Виктории Павловны? — неожиданно крикнула женщина, подаваясь вперед и глядя на Антонова измученными жадными глазами, так что Антонов вздрогнул. — Мы с вами товарищи по несчастью». Добавив музыкальности в любезный голосок, медсестра попросила немного подождать и ловко увильнула за одну из обшитых пластиком палатных дверей. Антонов тупо стал на месте, глядя на ноги женщины, на некрсивые пальцы-луковки, белевшие из-под перемычки кожаных сандалет. «Это коммерческие палаты, все оплачивает фирма, — хрипло сказала женщина, для чего-то удерживая Антонова торопливым разговором. — Мой муж в четыреста шестнадцатой», — добавила она и махнула рукой, но Антонов, мельком отметив зрением указанную дверь, сразу потерял ее в разбежавшемся на обе стороны дверном ряду, в этом гладком коридоре, словно бы переходившем за неуловимой, как в хорошей панораме, ладно пригнанной границей в нарисованную иллюзию.

Женщина презрительно скривилась. Обойдя Антонова со спины, она толкнула дверь четыреста шестнадцатой палаты и, даже не глянув внутрь, шагнула в сторону, чтобы Антонов мог посмотреть. Разом постаревшее, в отечных морщинах, лицо бесчувственного врага выделялось, будто орден, на плотной и гладкой подушке; черты его в неподвижности сделались более мужскими, чем были всегда, но он был явно голый под легкой батистовой простынькой, точно нежный младенец. «Так вот ты какой», — подумал Антонов, словно впервые видел ненавистного человека, до сих пор как будто не имевшего к нему, Антонову, прямого отношения. Движимый острым, стыдным любопытством, он шагнул поближе к дверям; тотчас ему навстречу поднялся с табуретки плечистый малый с очень приметным уродливым носом, которого Антонов видел раньше среди офисной охраны. Малый, явно не желавший, в свою очередь,

узнавать Антонова, стоял, загораживая обзор, держа указательный палец в щели полуразваленного детективного романчика, и Антонов, оттого, что у него в руке тоже висела книга, внезапным приливом ощутил острейшую несообразность происходящего.

Женщина, передернув плечами, саркастически усмехнулась не то Антонову, не то кому-то за его спиной; почти не заступая в палату, она дотянулась до ручки раскрытой двери и резко, едва не смазав охранника по вопросительной физиономии, захлопнула зрелище. В это самое время, озарившись гладким светом, приоткрылась другая дверь, и давешняя медсестра, с жалостными остатками улыбки на купидоновом личике, громким шепотом сообщила Антонову, что он может зайти на несколько минут. Неожиданно женщина, прерывисто вздохнув, взяла Антонова за локоть и крепко, так, что он почувствовал скулою полоску зубов, поцеловала в обтянутую щеку; только секунду ее придерживав, чтобы она благополучно опустила пятками в свои сандалеты, Антонов ощутил, что шкурка женщины ходит по ребрам, будто у кошки, и все, что надето сверху на ее субтильные скользкие косточки, удивительно нежненькое и немного висячее; с машинальной тщательностью оттирая со щеки печать гипотетической помады, он последовал за сестрой.

Антонов не знал, как отыскать пути к жене после того, что она наделала с собой в своей компании ЭСКО; он был готов ее убить за то, что она опять собралась умереть. Она лежала, длинная на твердом, профиль ее на фоне простой, некафельной стены казался плавным и полупрозрачным, будто снег, наметенный на оконное стекло. Лежавшая вдоль тела голая рука, где вчерашний лаковый загар превратился в старую копоть, была примотана к сложной кроватной решетке широким пластырем, и тем же пластырем на смугло-свинцовую ямку, перехваченную суровыми белыми нитками памятных шрамов, была приклеена игла, от которой уходила вверх наполненная жидкостью прозрачная трубка. «Противоотечное», — в четверть голоса пояснила медсестричка, указывая на валкую моргающую капельницу. Антонов, неудобно опираясь руками о бортики кровати, склонился к неповрежденному Викиному лицу (только верхняя губа казалась странно натянутой на зубы) в надежде ощутить ту плотскую и душную нехватку воздуха, какая бывала в постели, когда их близкое дыхание смешивалось в темноте. Но еле шевелившийся родничок ее дыхания был невероятно слаб. «Она без сознания, — жарким вулканическим шепотом сообщила медсестра, тихонько пощипывая Антонова за рукав рубашки. — С вами хотел поговорить профессор Ваганов, который будет ее оперировать».

В коридоре старая жена хозяина ЭСКО (теперь, после Вики, Антонов видел, сколько у нее на лице припухлых мешочков и морщин) о чем-то зло, но тихо спорила с широкоплечим охранником. Медсестра, с удвоенной энергией лупившая впереди, привела Антонова в тесный канцелярский кабинет, где из-за письменного стола, точь-в-точь как у доктора Тихой, навстречу ему поднялся плотненький, почти без шеи, человек в какой-то пестрой, зачесанной назад седине, напоминавшей иголки ежа. Выключив разболтанный кудахтающий вентилятор, профессор через стол подал Антонову короткую крупную руку, покрытую пестрыми веснушками. «Наслышан о вас, прошу садиться, — мягко пророкотал профессор, задерживая пожатие. — Говорят, ваши работы в области фрактальной геометрии чрезвычайно перспективны». Тут Антонов, плюхаясь на стул, почувствовал в носу и на глазах химический ожог: теперь не хватало только слез, чтобы оказаться в здании напротив в качестве Наполеона, только что проигравшего битву при Ватерлоо.

Профессор осторожно хмыкнул, помолчал, постукивая то тем, то другим торцом подскакивавшего карандаша по облезлой столешнице. Потом он так же осторожно высказал свои прогнозы. Получалось, что без операции надежды отсутствуют: либо скорый, в течение месяца, конец, либо, в лучшем случае, растительное и бессознательное существование при поддержке медицинской аппаратуры. С другой же стороны, операцию больная может не перенести — по крайней мере «в настоящее время она нестабильна». Антонов

почувствовал, что его словно начинает что-то тормозить, как бывает на парковых качелях, когда под днищем лодки невидимо поднимается упругая доска. Урча и с хрустом разминая перед выпуклой грудью свои драгоценные пестрые пальцы, профессор зашарил глазами по столу, где все, казалось, было отодвинуто подальше одно от другого и только посередине лежал одинокий листок, изрисованный, как теперь увидел Антонов, заштрихованными квадратиками и дымчатыми женскими головками. «Вы, как близкий родственник, должны предоставить мне возможность поймать оптимальный момент, — напористо проговорил профессор, вытягивая из поехавшей набок бумажной кучи желтоватый бланк. — Соболаговолите заполнить и подписать согласие на операцию». Антонов кивнул и машинально взял протянутую ручку, вставшую в пальцах поперек письма. Он подумал, что теща Света сейчас, должно быть, ругается с проклятой «сукой Таней» или трудолюбиво возит компьютерной мышью, верстая очередной рекламный продукт. Ей, а не ему следовало бы по справедливости ставить подпись под этой анкетой, которую Антонов неловко и, должно быть, неграмотно заполнил полупечатными буквами, похожими на гнутые канцелярские скрепки. Поспешно, чтобы не испугаться, расписываясь внизу, он увидел, что получил какой-то волосяной запутанный клубок, и подумал, что любой эксперт признал бы эту подпись (как и подпись в заговской амбарной книге) грубой подделкой. «Очень хорошо, — сурово проговорил профессор, вытягивая из-под локтя Антонова фальшивую бумагу. — Теперь: сегодня Виктории Павловне нужен покой. Завтра придете и принесете памперсы. Смешаете водку с шампунем, чтобы, сами понимаете, протирать больную. Здесь у нас есть кому ухаживать, отделение платное. Оставьте на всякий случай для связи свой домашний и рабочий телефон».

Антонов, шурша ладонями, зажатými между твердых костяных колен, продиктовал профессору номера деканата и кафедры. Далее следовало выдать номер тещи Светы, любой человек на месте Антонова поступил бы именно так. «Это все», — лживо улыбнулся Антонов в ответ на вопросительный, немного кровянистый взгляд профессора из-под воспаленных, длительной бессонницей обваренных век. Профессор тяжело вздохнул и отбросил ручку, со стрекотом покотившуюся по столешнице. Внезапно Антонов сообразил, что сокрытием тещи Светиногo телефона он не просто сделался почти недоступен для крайне важной информации, но как бы выпал из реальности, еще больше оторвался от течения событий. Теперь он был не просто преступник, а преступник скрывающийся: изгой и беглец. Профессор, давая знак, что аудиенция окончена, опять потянулся к кнопке вентилятора. В окне за спиной у профессора все предметы внешней обстановки — жесткие березы с недоразвитыми листьями, залитая солнцем, словно свежим ремонтом покрытая психушка, клумба с алыми, похожими на жареные помидоры жирными цветочками — были представлены частями, и только облупленная синяя скамейка, на которой никто не сидел, была видна целиком. Чувствуя, что с возрастом становится все труднее идти туда, где ты со всею очевидностью наблюдаешь собственное отсутствие, Антонов автоматически покинул профессорский кабинет.

Выйдя из дверей хирургии на бетонное крыльцо и затем из тени на помягшевший, уже почти вечерний солнцепек, Антонов обнаружил, что, несмотря на отсутствие оконной рамы, предметы, заслоняющие друг друга, по-прежнему частичны. Однако синяя скамейка получила пассажира: давешняя женщина сидела там, озираясь и нервно покуривая, буквально выдергивая сигаретку после каждой затяжки из саркастического рта. Облитый ощущением собственной видимости от макушки до самых кончиков ботинок, цельный, ничем не заслоненный Антонов поспешил свернуть в другую сторону. Однако, скрывшись за могучими зарослями синеватого, затянутого чем-то клейким, словно обслюнявленного репейника, он не ощутил ни малейшего облегчения и подумал, что абсолютно не важно, где он будет болтаться до завтрашнего утра. Не имело ни малейшего смысла добираться домой: там, из-за отсутствия телефо-

на, стояло точно такое же нигде, как и под любым забором и кустом. Это был совершенно новый способ со стороны коварной Вики отнимать существование. Чувство времени также оставило Антонова. Болото вокруг вечерело, мутилось, погружаясь в гарь и золотую пыль, острые верхушки самых длинных растений были будто шесты, между которыми протянулись провисшие до земли теневые сети, — и Антонов даже приблизительно не мог определить, который час.

Он помнил, что остановка обратного транспорта располагалась как будто не через дорогу от места, где он, бывало, вываливался из тесных, словно лаз в заборе, автобусных дверей, а неправильно, где-то за углом, и там еще горел необычайно сильный фонарь, в луче которого даже при отсутствии в воздухе снега вспыхивали редкие острые точки. Сейчас фонарь, освещенный посторонним солнцем наравне с козырьком, грязно-белой мохнатой собакой и похожей на пушечку треснутой урной, стоял пустой и неприглядный, будто вознесенная на странной конструкции трехлитровая банка из-под молока. Не особенно спеша, хотя как раз успел бы, если бы постарался, на вылезший из-за угла тяжелой колбасой семнадцатый автобус, Антонов свободно шагал по сухой и грязной, словно пеплом покрытой обочине. Сзади послышался неуверенный слабенький голос, выкликавший его фамилию. Антонов вздрогнул, сразу подумав, что с Викой совсем нехорошо и кто-то из персонала больницы зовет его назад. Но это была все та же супруга проклятого шефа, догонявшая его смешной пробежкой птицы, неспособной взлететь, чтобы двигаться еще быстрее. Желая по-быстрому с этим покончить, Антонов повернулся и пошел навстречу женщине — гораздо скорее, чем двигался до сих пор к автобусной остановке. Теперь уже она остановилась и ждала, задыхаясь и дергая на груди блестящее украшение; ее веселые и пьяные глаза маячили Антонову, словно силились уже сейчас, на расстоянии, передать ему какой-то зашифрованный сигнал.

«Что?» — невежливо спросил Антонов, налетая прямо на женщину. «Вы забыли вашу книгу», — произнесла она заискивающе и протянула рокового уroda, которого преступный Антонов взял с неприятной мыслью, что на нем уже полно отпечатков пальцев. Тут мимо них, тяжело качая квадратным задом, проехал автобус, высоко вверху, будто посуда в везомом буфете, проплыли бледные, по преимуществу женские лица, и внезапно на Антонова нахлынуло забытое волнение свободного человека. «Меня зовут Наталья Львовна!» — кокетливо представилась женщина, и Антонов молча кивнул, глядя в длинный вырез трикотажного платья, где плоско и немного не по центру цепочки лежала прилипшая к коже золотая загогулина. «Если хотите, я вас подвезу до дома», — со значением сказала женщина. «Буду признателен», — выдавил Антонов хрипло, думая, что время почему-то сделалось таким, каким бывает в романе, и завтрашнее утро может наступить немедленно, после проскочившего, будто легковушка по дороге, номера главы.

Однако Наталья Львовна все воспринимала совершенно реально. Она опять, как в больничном коридоре, уцепила Антонова за локоть и повлекла по растресканному асфальту вдоль заросшего душиной шерстяной крапивой бетонного забора. Женщина настолько крепко прижималась к Антонову боком и бедром, что казалось, будто они идут вдвоем на трех неодинаковых ногах, и в то же время озиралась с нервной опаской, заглядывая через антоновское плечо, будто сзади кто-то мог нагнать и вклиниться между ними, тем самым испортив Наталье Львовне ближайшее будущее. Антонов шел послушно и охотно, словно персонаж произведения,двигаемый автором. Казалось, будто все вокруг имеет отношение к нему, Антонову, будто все, что он видит, — полагая куча мусора, скворечники и грядки коллективного сада до мутного горизонта, животастая коза на веревке, длинно хлещущей нагретую траву, — придумано для того, чтобы показать кому-то постороннему, как Антонов шагает под руку с неожиданной, но тоже придуманной женщиной к скромному «вольво», окрашенному в характерный синий цвет игрушечных машинок. Да-



лее Антонову померещилось, будто объявление на столбе, возле которого мирно синел автомобиль, написано его собственным почерком: тут, перекомбинировавшись, элементы картинки изобразили автокатастрофу, и столб с наклеенным приговором, полетевший враскачку на ветровое стекло, сделался вдруг неизбежным и родным, будто собственный письменный стол.

Резко тряхнув головой, Антонов вернулся к действительности: другие, соседние столбы тоже были сплошь оклеены расплывшимися кусками его, антоновской, рукописи, причем на многих страницах нарезные билетки с формулами были оторваны счастливыми, похожими, должно быть, на того молодого Антонова, который когда-то, записав блеснувшую идею на чем попало, отрывал и уносил в нагрудном кармане драгоценный бумажный клочок. Все-таки действительность вокруг была ненормальной: время не участвовало в физическом движении вещей. Та одновременность собственной жизни с жизнью других, может, даже и незнакомых женщин и мужчин, которая прежде помогала Антонову ощутить реальность своего бытия, — та одновременность отсутствовала. Теперь Антонов мог вступать в реальность только в своем разделе, то есть по очереди с другими персонажами истории, которая была настолько ужасна, что явно происходила из чьей-то головы. При этом он отлично понимал, что положение главного героя его не спасает: если глупая Вика, оставленная в болотной призрачной больнице, вдруг начнет умирать, то это будет настолько важно для повествования, что отсутствие Антонова в ее беленой, нежными тенями усланной палате будет означать его отсутствие вообще. Внезапно Антонов почувствовал изнеможение, близкое к обмороку: он понял, что смертельно устал быть свидетелем и участником главных событий своей реальности, что автор его попросту заездил. Между тем в этот самый момент, когда Антонов неуклюже упал в автомобильное кресло, до отвращения похожее на офисное, для среднего персонала, некий человек, находящийся по отношению к Антонову в положении вниз головой, встал из-за разогретого, будто духовка, компьютера с чувством, что наконец в его жизни произошло большое событие. Под настольной лампой было мутно от табачного дыма, точно горели дрова; за широким незадернутым окном редела ночь, и светлеющий, выцветавший почти до белизны пейзаж среднеамериканского городка казался таким обобщенным и чистым, каким он мог бы видаться из иллюминатора самолета. Скоро этому человеку, устало потирающему кулаком широкую, как основание осевшего мешка с мукой, складку поясицы, предстояло прославиться; скоро его горбоносому лицу, по-индейски расписанному резкими морщинами, предстояло замелькать на полосах журналов и газет. Так вышло, что ненаписанная часть антоновской работы воплотилась в той далекой части света, какую многие, живущие по эту сторону, считают раем; из старенького, с кряхтением и треском думающего принтера выползала страница с простой и ясной формулой, до которой Антонову оставалось каких-то три-четыре хитрые задвижки, — но теперь антоновская рукопись, за исключением одной боковой необязательной главы, действительно годилась только на оклейку столбов. Каким-то таинственным образом эта одновременность, то есть реальность, пробилась к Антонову через слои романного безвременья, и он почувствовал пустую свободу человека, которому больше нечего делать в жизни. Поэтому не было ничего удивительного в том, что он, университетский преподаватель и семейный человек, мчался теперь неизвестно куда в душистом автомобиле, как постель в усыпанном крошками, на пару с незнакомкой. Как преступник, Антонов сознавал уместность собственного бегства на чужой иностранке; как персонаж, выведенный из действия до завтрашнего утра, он чувствовал себя заброшенным в какое-то запасное условное пространство, где ни один его поступок не может иметь ни значения, ни сюжетных последствий.

Вдруг сквозь улюлюканье и сыпь помех в мозгу Антонова пробилась его радиостанция, и он, уже смирившийся с ледящей ролью романного героя, почувствовал горячую инъекцию человеческого. Ему представилось, что он нашел единственный путь возвращения к Вике: он станет сегодня таким же

грешным, как она, между ними не будет стены. Он совершит паломничество в тот мир богатых людей, где она бывала без него и втайне от него, и что-то там поймет, а потом — потом он смешается с реальной жизнью, со всей ее грязью и жирными красками, потащит из Турции огромные тюки с фаршем базарного тряпья или устроится в какой-нибудь банк, навсегда напитков опрошенные числа и символы содержанием денег. Осторожно скосив глаза на Наталью Львовну, Антонов увидел обтянутые трикотажем, несколько примятые картонки ее бюстгальтера и обрисованный платьем, как бы вдвое сложенный живот. И вот тут добропорядочный и, что важнее, любящий Антонов, которому в конце романа предназначалось спалить опостылевшую рукопись вкупе с фотографиями пресловутого Павлика, соорудив для этого на старом, уже почти чугунном лесном костровище бумажный погребальный костерок, внезапно вышел из-под авторского контроля. В самый момент этого мистического выхода (совпавший с первой детской каракулей молнии на примитивном индустриальном горизонте) Антонов каким-то образом догадался, что автор его истории — женщина. Тут же эта горькая догадка размылась, оставив в подсознании темный осадок, и Антонов, не без едкой мстительной мысли в адрес того, другого мужа, сейчас храпевшего с приоткрытыми глазами под батистовой пеленкой в цветочек, осторожно положил ладонь на костяное, как собачий череп, колено Натальи Львовны. Женщина, не оборачиваясь на Антонова, улыбнулась неожиданно острым уголком намазанного рта.

В том, что горячие и грязные, будто система заводских конвейеров, но ничего не производящие улицы действительно ведут в иные, лучшие города, Антонов убедился, когда автомобиль, преодолев отъехавшую декорацию ажурных ворот, крадучись пробрался в замкнутый квадратный двор многоэтажного кирпичного домища, изобретательно соединявшего в дизайне идею средневекового замка с идеей современной мебельной стенки. Неожиданно «вольво» нырнул в какое-то кафельное, зеленовато освещенное подземелье, оказавшееся длиннейшей автомобильной стоянкой; тотчас к Антонову, неуверенно вылезшему из узко открывшейся толстенькой дверцы, подбежала, тихо цокая когтями, молчаливая овчарка и горячо, без церемоний, его обнюхала. Сопровождавший овчарку декоративный казак, весь перекрещенный ремнями и запечатанный бляхами, будто важное почтовое отправление, подобострастно поприветствовал Наталью Львовну.

«Господи, что я делаю?» — подумал Антонов в необычайно чистом и просторном лифте, похожем из-за обилия зеркал на совершенно безюморную комнату смеха; видимость его, возведенная в куб при помощи четырех зеркальных стен, была почти невыносимой: стоило немного повернуться, и все вокруг менялось, как в калейдоскопе, — а Наталья Львовна, заполнившая иллюзорное пространство ярко-розовым цветом своего трикотажного балахона, казалось, ничего не чувствовала и взволнованно копалась в сумке в поисках ключей. Никого не встретив, они очутились за тремя последовательными, устрещающе укрепленными дверьми, и по смутному же н с к о м у запаху ароматизированного жилья Антонов понял, что он уже на частной территории, в самом логове противника. Наталья Львовна, потянувшись за спину Антонова, включила настенный светильник: загорелся золотом угол рамы, содержавшей какую-то картину, похожую сбоку на салат из заправленных сметаной овощей. Глаза Натальи Львовны, когда она, извернувшись, припала к Антонову, сделались отчаянными, быстрый поцелуй ее был точно смазан маслом.

Торопясь, словно боясь потерять друг дружку в громадной квартире, они прошли через несколько непроветренных комнат. Оттого, что каждый предмет тяжеловесной прихотливой мебели — кресла как арфы, диваны как открытые рояли — имел свое неизменное утоптанное место на толстых коврах, Антонов особенно остро чувствовал собственную н е у м е с т н о с т ь в этой гостиной и далее в столовой, где на углу роскошной столешницы отчего-то стояла простая эмалированная мисочка с мокрым мочалом и несколькими подгнившими

ягодами черного винограда. В спальне огромная, каких Антонов и не видывал, низкая кровать была застелена атласом ледяной голубизны, на этом атласе шелковой коброй пестрел знакомый Антонову хозяйский галстук, который женщина, охнув, немедленно сбросила на пол. Антонову было стыдно — но, может, этот стыд и спас его от конфуза, вызвав прилив желания, когда разятое платье мягко упало с зажмуренной Натальи Львовны, и он увидел, что груди у нее висят, будто вывернутые мешковины небольших карманов, что бритый колкий треугольник напоминает паленую тушку маленькой птицы, а ноги женщины непропорционально коротки для бедного тела, которым вряд ли часто прельщался ее состоятельный муж. Стараясь не обидеть женщину, Антонов был осторожен, но незнакомое тело под ним (словно Вика явилась ему из какого-то кривого зеркала) оказалось неожиданно голодным и требовало еще. Антонову, чтобы почувствовать себя другим, согрешившим человеком, было достаточно единственного ритуального раза, но женщина, казалось, уже полумертвая, все продолжала цепляться и лнуть, — и в спальне, чинным саркофагом окружавшей сбитую постель, снова раздавалось мебельное побряхтывание, окушащее бряканье какой-то фарфоровой крышечки, хриплый шепот на неизвестном языке.

Иногда Антонов неожиданно задремывал (мощный снаряд качелей тупо тыкался в невидимую доску и резко тяжелел, грузнела посеребренная с изнанки древесная листва); раз из этой замирающей серебряной дремы Антонова вывел настойчивый толчок. Женщина, сидя боком на съехавшем атласном одеяле, показывала Антонову вязаную шапку грязно-зеленого цвета, всю в курчавых дырках и свалывшейся паутине, сильно пахнувшую тем же самым средством от моли, которым Вика спасала свои роскошные меха. «Посмотри сюда», — таинственно сказала женщина, разворачивая шапку. Там обнаружилась, к сонному удивлению Антонова, небольшой курносый револьвер, покрытый мармеладной смазкой и мелкими шерстинками. Ничего не понимая, Антонов взял увесистый предмет, показавшийся ему простым и бесполезным, как не привинченный к трубе водопроводный кран. «Если он сам не сдохнет, я его убью!» — торжественным шепотом произнесла Наталья Львовна, отбирая свою игрушку и царапая ладонь Антонова сухими острыми ногтями.

### XVIII

Антонов не помнил момента, когда он по-настоящему провалился в сон; возможно, револьвер его и усыпил, поскольку был абсурден как вещь сновидения, тут же попавшая по принадлежности. Во сне кто-то профессиональный и внимательный прикладывал револьверное дуло к голой тонкокожей груди анонимного мужчины, как врач прикладывает фонендоскоп, и все вокруг убеждали пациента, что это и есть тот самый новейший врачующий прибор, о котором он, конечно, знает из газет. И хотя этот пациент был вполне обычным представителем Антонова в его коротких, легко испарявшихся сновидениях, сам он чувствовал, что находится не в обычном своем помещении сна, а в каком-то тесном боковом чуланчике, где прежде ночевать не приходилось. Что-то темное, дурное сторожило Антонова на выходе в реальность: он помнил, что должен немедленно проснуться и узнать какие-то новости, но все не мог стряхнуть оцепенение медлительного консилиума, где фигуры с затененными лицами и ярко освещенными руками церемонно передавали друг другу блестящие, очень холодные инструменты.

Все-таки сквозь неизвестное, загромодившее выход из сна, до Антонова дошел знакомый, совсем домашний голос теледиктора местных новостей, и первым сигналом беды было ощущение, что кровать переставлена в большую комнату, будто во время ремонта. Чувство уязвимости человека, лежащего на переставленной мебели, чуть ли не под ногами у каких-нибудь посторонних ремонтников, тотчас сменилось осознанием, что Вика покалечена и, может быть, умрет. Застонав от ужаса и стыда, Антонов боднул огромную, будто сви-

ня, тугобокую подушку, под брюхом которой очухался, точно ее паршивый поросенок. Но тут в телевизоре прибавился звук, и Антонов услышал, как диктор четко произнес: «Компания ЭСКО» — с интонацией, заставившей его подскочить на крякнувшей кровати и выпучить глаза на резкий, словно синтетический утренний свет.

Огромный плоский телевизор, которого ночью Антонов даже не разглядел, работал у дальней стены, противопоставляя свою картину ясному окну — словно изображение золотого, как разогреваемый бульон, полного медленных токов дымчатого утра умышленно транслировалось на стекло, в то время как в телевизоре была настоящая жизнь, до которой можно при желании дотронуться рукой. Там, на тропинке между железных гаражей, лежал в безрукой позе тюленя исполнительный директор Викиной фирмы. Дотошная камера показала широко раскрытый непрозрачный глаз и свернутый ротик, потом поднялась повыше, и сделалось видно, что спина исполнительного директора изломачена выстрелами. Тут же в кадре появилась юная репортерша, та самая, которая комментировала Викину катастрофу: ее стеклянистые волосы и набрякшие алые уши впитывали много-много утреннего солнца, микрофон с насаженным фирменным кубиком программы она держала неловко, словно где-то за кадром зацепился шнур. Воодушевленным звонким голоском, точно приветствуя большой партийный съезд, репортерша сообщила телезрителям, что дурная слава пресловутой компании ЭСКО подтверждается полностью: не только исполнительный директор, но и генеральный директор фирмы оказались вовлечены в криминальные разборки, и, по слухам, фирма должна кредиторам больше шестисот миллионов новых рублей. Следующий кадр заставил Антонова тихо застонать: показывали выезд из города, воздушным маревом цветения затянутый пустырь, уткнувшийся в ободренные камни знакомый «мерседес». Потом Антонов увидел, как в раскрытую «скорую помощь» загружают носилки — сперва одни, потом другие — и как со вторых носилок приподнимается худая, будто школьная линейка, женская рука, чтобы рассеянно тронуть жесткую ветку измятого кустарника.

«Гад, скотина, паразит», — вибрирующим голосом произнесла Наталья Львовна. «Я?» — переспросил Антонов, держа перед собой мешок своих тряпичных брюк, только что найденный на полу. «При чем здесь ты», — страдальчески откликнулась женщина, и Антонов увидел, что вчерашней его подруги больше нет, а есть человек намного старше по возрасту, с подглазьями будто круги от мокрых стаканов, с мобильным телефоном в трясущейся руке. Неверным нажатием раскрыв мяукнувший аппаратик, Наталья Львовна принялась давить на пикавшие кнопочки, что-то пришептывая и пришепывая тапком. «Алло! — нервно проговорила она, отгородившись от Антонова трубкой и приподнятым плечом. — Мне Сергея Ипполитовича. Это Фролова. Да, жена. Мне нужно ему объяснить...» Должно быть, ожидая соединения, Наталья Львовна заходила по спальне, прижимая трубку к щеке, словно нянча заболевший зуб. «Сергей Ипполитович! — вдруг воскликнула она неестественно радостным голосом, останавливаясь на месте, прямо на брошенном розовом платье. — Я только что видела в новостях. Нет, не иронизируйте. Мне ни-сколько не жалко эту сволочь, этого воруго, я понимаю, за что с ним разобрались... Сергей Ипполитович, мне сообщили, что вы... — Тут она затравленно забегала глазами, словно читала то, что ей говорили, прямо из воздуха. — Нет, вы не можете так поступить. Уверяю вас, муж его контролировал. Эти деньги не пропали. Муж придет в сознание сегодня или завтра. Он знает, куда перевели... Сергей Ипполитович!» Медленно отняв от уха опустевший телефон, Наталья Львовна неуклюже, будто свернутый рулоном прогнувшийся ковер, села на край кровати, и снова стало как-то заметно, какие у нее короткие ноги; внезапно лицо ее перекосилось, злые слезы побежали криво, и Наталья Львовна впиалась совершенно зверским укусом в нежный молочный испод костлявой руки, оттянув зубами обезжиренную складку. Испуганный Антонов, чувствуя мужскую обязанность утешить и защитить (хотя право на защиту

этой женщины казалось ему сейчас придуманным и высокопарным, словно взятым из какой-то дурацкой пьесы), осторожно погладил Наталью Львовну по сухим нерасчесанным волосам и медленно высвободил ее закушенную руку, на которой остался пухлый розовый полип. «Он разорит ЭСКО за несколько часов, — гнусаво, в нос, забормотала Наталья Львовна, не поднимая головы. — Он думает, будто мой Фролов уже подох, а я намылилась с деньгами за границу. Если что, у меня не хватит денег даже на паршивый билет до Франкфурта». — «Принести воды?» — наивозможно мягким голосом спросил Антонов, понимая, что вода, эта извечная основа жизни и утешения, не обладает ни градусами, ни витаминами, что она пуста и нейтральна по отношению к несчастью, которое на всех безысходно обрушилось. Наталья Львовна мокро хрюкнула и нехотя кивнула.

Антонов, уже совершенно одетый, как бы впервые не скрываясь в этой квартире, быстро прошел на кухню, где старательно стучали, показывая половину десятого, круглые, величиной с десертную тарелку, настенные часы. Увидав на квадратном столе большую керамическую кружку, Антонов слил в нее из чайника всю, какая оставалась, кипяченую вчерашнюю водицу, вылезшую вдруг наружу, словно вывернувшись наизнанку вместе с мелким донным мусором. Осторожно перенося излишнее к раковине, Антонов поскользнулся, сплеснул, угодил на мокрое носком — и тут почувствовал, что вторично вступил в один и тот же ужас и что вода содержит в растворенном виде — смерть, и поэтому на ощупь мокрое неизбежно кажется черным. Трясением головы отгоняя отчаяние, Антонов понес остатки воды Наталье Львовне — со смутным чувством, будто собирается дать своей кратковременной женщине какой-то обыденный яд.

К счастью, Наталья Львовна уже не думала о воде. На полу, благодаря открытому и хлынувшему шкафу, стало еще больше разбросанных вещей, а Наталья Львовна, облаченная в жесткое джинсовое платье, сшитое словно из больших полотнищ серого картона, морщилась перед зеркалом, застегивая на дряблом горле тугую кнопку. «Мы сейчас поедем в больницу, — сдавленно произнесла она, не глядя на Антонова. — Но сначала заскочим в офис. Это ненадолго, на пятнадцать — двадцать минут». Говоря так, кивая сама себе, она развинтила помаду, и свирепый процесс наведения алого глянца, сопровождаемый оскалами и жевками, как будто Наталья Львовна хотела съесть перед зеркалом собственный рот, дал понять Антонову, что женщина настроилась на борьбу. Подтверждая его догадку, Наталья Львовна кинулась к постели, зарылась рукой в ее оскверненные шелка и перевела из-под насупленной подушки в раскрытую сумку что-то увесистое и ценное. Уже у лифтов, когда хозяйка квартиры, накрашенная, будто актриса немого кино, спускала туда же блестящую связку каких-то очень фирменных ключей, Антонов увидел между косметичкой и платочком самодовольное рыльце револьвера. Он усмехнулся, подумав, что вряд ли Наталья Львовна в точности знает, для чего взяла с собой любимый сувенир.

В машине они молчали, и у каждого с его стороны проходил за стеклами его отдельный пейзаж, наспех собранный из частичных, грубо обрезанных вещей. Антонов знал, что с мобильного телефона можно позвонить в больницу прямо из автомобиля, но не решался попросить об этом Наталью Львовну. Ему казалось, что не то что для телефонного звонка, а для обмена даже парой слов им пришлось бы тормозить и парковать послушный «вольво» на какой-нибудь неудобной обочине, в одной из вытянутых луж, жиревших на еженощных дождях и лежавших вдоль тротуаров на своих дегтярно-черных невысыхающих подстилках. Антонову хотелось одного: чтобы все события, которые сегодня произойдут, произошли бы как можно скорей.

Возле офиса ЭСКО, нарушая обычный строгий порядок на асфальтовом пятачке, теснилось множество машин, причем чужие, незнакомые Антонову, были ярче и задастей, и возле них покуривали, по двое и по трое, здоровен-

ные типы в черных майках и лоснистых спортивных шароварах с полосками: в их ленивой холеной мускулатуре, несмотря на накачанность, было что-то грузное, бабье, и у каждого на толстой шее терлось какое-нибудь золотое украшение. Один из типов, низколобый тяжелый блондин, стриженный под велюр, с какой-то яркой краснотой на ключицах, бывшей не то загаром, не то воспалившейся сыпью, замахал руками на «вольво», заставляя Наталью Львовну припарковаться в стороне, — но даже оттуда Антонов увидал, что бронированная дверь ЭСКО не закрыта, как всегда, а широко и легкомысленно распахнута. Наталья Львовна, едва заглушив мотор, ринулась из автомобиля и налетела на блондина, вразвалочку шедшего ей навстречу; пока она что-то втолковывала ему, трясая головой, блондин глядел на нее в упор, то медленнее, то быстрее работая ковшеобразной челюстью в такт ее темпераментным речам, словно вместе с резинкой пережевывая поступающую информацию. Наконец он нехотя посторонился, и Наталья Львовна побежала к крыльцу, сделав Антонову нетерпеливый знак заведенной за спину рукой, будто ожидая в эту руку эстафетную палочку. Но Антонов предпочел истолковать неопределенное порхание руки как приказ оставаться в машине и не двинулся с места, только спустил со своей стороны боковое стекло, куда немедленно, пребывая в своей горячей и гудящей невесомости, заплыл и тут же вынесся, пропав из слуха, толстый бархатный шмель. Сторожевой блондин, неодобрительно и цепко глянув на Антонова, потрусил за Натальей Львовной, на ходу поддевая спортивные штаны на слабоватой резинке и повиливая нижней частью гераклова туловища. Парочка других гераклов, поймав какой-то сигнал своего бригадира, растерла брошенные сигареты и деловито присоединилась к шествию.

Антонов огляделся. Не считая приезжих бандитов, в окрестности было безлюдно: немногие прохожие, опасливо поглядывая на обложенный офис, спешили перейти на другую, теневую и укромную сторону переулка или вовсе нырнуть в сырые дворы, где занавесы и кулисы мокрого белья и земляная лиственная тень обещали им подобие безопасности. Молоденькая маленькая мама, налегая, разворачивала обремененную сумкой детскую коляску, все никак не встававшую передними колесами на бортик тротуара; на нее, на ее незагорелые тонкие ноги, разъезжавшиеся от напряжения и страха, с ленивым интересом поглядывал ближний качок, на чьем плече, как штамп на куске базарной говядины, чернильно синела татуировка. Внезапно Антонов понял, что все по-прежнему ужасно. Он вылез из машины на солнце; голова его кружилась, глазные яблоки болели как во время гриппа. Он почти не боялся гераклов, опасаясь только какого-нибудь недоразумения, из-за которого его не пропустят в офис. Но приезжие бандиты почему-то не стали задерживать Антонова, только по очереди общупали его как бы незаинтересованными пленчатыми взглядами, каких Антонов прежде никогда на себе не испытывал: гераклы словно искали у него, как у физического тела, какого-то центра, которым должна обладать каждая нормальная мишень.

Беспрепятственно, на ватных ногах, Антонов взошел на знакомое крыльцо. Но сразу попасть вовнутрь не удалось: навстречу ему, приплясывая, будто цирковые медведи, двинулись приезжие спортсмены, нагруженные мониторами, компьютерами, какими-то коробками, которые едва не лопались от мягкой тяжести бумаг. Все добро сгружалось в распахнутый у крыльца вороненый фургон: там, внутри, все более теснимый прибывавшими вещами, споро поворачивался громадный вислозадый мужик с неимоверно длинными руками и с неясным опущенным лицом, только борода его мелькала в сумраке, будто летучая мышь. Устроив в фургоне очередную единицу груза, бандиты торопились обратно в офис: несмотря на пот, плывший по лицам, будто масло по нагретым сковородкам, они веселились и даже начинали улыбаться, а один совсем по-дружески пихнул Антонова кулаком под ребра, отчего антоновская печень рефлекторно отвердела, будто боксерская груша. Но все равно он должен был немедленно найти Наталью Львовну, чтобы сейчас же, сию минуту, мчаться в больницу — или по крайней мере добраться до работающего телефонного ап-

парата, чтобы узнать, есть ли у него хотя бы малая отсрочка. Но как только Антонов подумал про звонок, навстречу ему из дверей выдвинулся мелковатый малый с белыми ручонками, где мускулы напоминали недозрелые бобовые стручки: он волок, обнимая из последних сил, полный короб перепутанных телефонов. Из короба свисала, болтаясь почти до пола, синенькая трубка: малый поводил на нее подбородком, матерно пришептывал, кругообразно шаркал ногами, но не мог подобрать.

В офисе действительно не слышалось телефонов, чей оранжерейный шепет всегда звучал здесь на заднем плане даже во время беззаботных былых вечеринок. Зато человеческие голоса, мужские и женские, наполняли опустевшие гулкие комнаты каким-то отрешенным пением, идущим словно с потолков, — так по крайней мере показалось Антонову, осторожно вступившему в разгромленную приемную. Далекое переливчатое сопрано Натальи Львовны то возникало где-то, то пропадало, заглушаемое грубым треском листов оберточной бумаги, которые заплаканная шефская референтка, неодинаково поднимая плечи, зачем-то уминала в поставленную на стол пластмассовую урну. На полу валялось еще несколько таких же урн, набитых до отказа бумажными комьями и листами, легких, как футбольные мячи. Антонов, нечаянно подопнув одну, тихонько извинился сквозь судорожно сжатые зубы. Референтка, вздрогнув, обернулась к Антонову: под ее разбухшим носом было ало и сопливо, прозрачные усики напоминали мокрый мех, а белая, еще с утра, должно быть, свежайшая блузка была замята у плеча какими-то грязными складками. «Ну и как драгоценное здоровье вашей стервы? — громко спросила референтка, оживляясь при виде Антонова от нехорошей радости, должно быть, давно искавшей выхода. — А вы к нам на экскурсию? Хотите, я покажу вам комнату, где она и шеф обычно трахались, а мы сидели и слушали?» Тут у Антонова что-то мигнуло в мозгу: он подумал, что мог бы сейчас ударить референтку по этому милому ротуку, так по-детски похожему на анютины глазки, — и тут же понял, что уже делает это. Раздался спелый чмокающий звук, референтка замычала в пригоршню, тараша глазенки, а у Антонова на тыльной стороне сведенных пальцев обнаружилось немного помады и совсем немного крови, будто он удачным шлепком раздавил комара. Напомнив себе, что он — скрывающийся преступник, Антонов хладнокровно вытер руку жестким, совершенно бесчувственным к тому, что мазалось, листом бумаги.

Собственно, офиса больше не существовало. Он исчезал как наваждение, и в планировке оголившихся комнат проступали две соединенные типовые квартиры — такие же точно, какие были в каждом подъезде одряхлевшего дома. Теперь Антонов, словно с глаз его упала пелена, совершенно ясно видел, что именно служило источником той дьявольской симметрии, что так часто мучила его, когда он топтался вот на этом самом месте, оттесненный к неубранным фуршетным столам. Истина была настолько примитивна, что Антонов даже засмеялся: на вечеринках он просто-напросто мыкался и пил в одной квартире, а Вика шалила в другой. Почувствовав от своего открытия новую степень пустотной свободы, Антонов двинулся в недоступное прежде зазеркалье. Ободранный отовсюду пластмассовый плюш, в котором ощущалось теперь что-то неприятно-кладбищенское, лежал в углу мусорным колким стожком; шершавые стены были одинаковы на все четыре стороны и казались слишком белыми, словно оклеенными яичной скорлупой; присмотревшись, Антонов понял, что причина тут — в отсутствии картин, прежде шедших плотно по комнатным периметрам, будто партия в домино, а теперь наваленных на референткин стол, должно быть, приготовленных к отправке. Все, происходящее вокруг, казалось Антонову логичным: он понимал, что имущество ЭСКО забирают за долги (может, неизвестного Сергея Ипполитовича интересовало также содержимое компьютеров), — и те изначальные долговые пустоты, подставные минус-величины, которые были заложены в условия теоремы, теперь засасывают все материальное, уже не защищенное хитроумными фокусами финансового руководства.

Антонов нисколько бы не удивился, если бы трехмерное пространство, еще державшееся в офисе, схлопнулось в двухмерное — в изображение фирмы, чем ЭСКО и являлось в действительности. Подойдя поближе к распахнутому шефскому кабинету, Антонов без удивления рассмотрел, что парные полуколонны, так солидно выглядевшие издали, на самом деле нарисованы, не без огрехов полосатой светотени, на лысом участке стены. На одной фальшивой колонне скверный шутник (должно быть, кто-то из пьяных гостей) косо, учитывая воображаемый изгиб, нацарапал чем-то острым похабное словцо — непременное удостоверение всякой архитектурной, тем более белой поверхности. Жутковатая эта подробность — паразитирование полуреальности на четверть-реальности — заставила Антонова ознобно содрогнуться.

Напряженное сопрано Натальи Львовны слышалось именно из кабинета; за секунду до того, как ее увидеть, Антонов ощутил мимолетную уверенность, что на ней сейчас то самое красное платье с висячими блестками, которое он помнил гораздо ясней, чем какой-то невнятный костюмчик, надетый женщиной в спальне почти у него на глазах. Однако, шагнув в кабинет, Антонов так и не рассмотрел, что такое коричневое было на его случайной любовнице, нервно ерзавшей на сукодном стульчике для посетителей. Перед нею в хозяйском кожаном кресле развалился мосластый, чисто выбритый господин, рассеянно изучавший пять своих костлявых пальцев на редкость неодинаковой длины, выложенных для осмотра на хозяйском стеклянном столе. Что-то в этом господине показалось Антонову смутительно знакомым, он быстро отвел глаза и увидел, что велюровый блондин тоже присутствует — сидит, служебно-настороженный, в какой-то раскрытой задней комнатке, вероятно, бывшей квартирной кладовке, где теперь помещался тоже кожаный, но очень старый, может быть, даже оставшийся от прежних хозяев квартиры черный диван, а на диване белела обычная, как курица, несвежая кроватная подушка.

Не желая сейчас ни о чем догадываться (собственный грех ни от чего не спасал и словно даже не существовал), Антонов снова устался на господина, который был, похоже, полным хозяином создавшегося положения. Господин презрительно слушал Наталью Львовну, выдвинув нижнюю губу, будто показывая женщине толстый, молочко обложенный язык; потом, валяжно глотнув из крохотной кофейной чашки, он принялся сосредоточенно, со знакомым Антонову шкворчанием, сосать сквозь зубы кофейную гущу. «Валерий Евгеньевич, — настойчиво и отчаянно проговорила Наталья Львовна, — нам надо вместе поехать в больницу. Муж пришел в себя, и профессор разрешил побеседовать с ним несколько минут. Вы увидите, что все прекрасно, просто прекрасно разрешится». Господин в кресле прекратил шкворчать, поплевался и попыхал в чашечку, освобождаясь от кофейных крупинок, и отодвинул подальше, почти под нос Наталье Львовне, запачканную посудинку. Да, Антонов помнил эту бессознательную привычку двигать собственную грязную посуду под нос соседям по столу, проявляющуюся несмотря на то, что стукачок Валера в той далекой, почти баснословной Аликовой квартире старался быть как можно более предупредительным, как можно более своим. Он помнил эту руку с указательным и средним как бельевая прищепка и почти зачаточным кривым мизинцем; он помнил эту манеру одеваться под вольную богему, нынче выраженную в какой-то полупрозрачной маечке с капюшоном, похожим на сачок для ловли бабочек, и в точно таких же, как на Антонове, балахонистых блеклых штанах, стоивших в магазине «Французская мода» больше тысячи рублей. «А не поздно?» — иронически произнес постаревший, но модный Валера неожиданно скрипучим голоском, обращаясь к Наталье Львовне, у которой от напряжения лицо под пудрой пошло клубничными пятнами. «Ба, кого я вижу! Какими судьбами?» — вдруг воскликнул он, перебивая сам себя, и вскочил из кресла навстречу Антонову, изобразив раскинутыми руками совершенно невозможные приятельские объятия.



Наталья Львовна крупно вздрогнула и обернулась: при виде Антонова страдальческие глаза ее сделались такими, точно перед нею возникло привидение. Поняв, что здесь про него уже успели забыть, Антонов пожалел, что вошел вовнутрь, а не отправился, как всегда, от этого офиса на недалекий, призывно звонящий за сквериком трамвай. «Наталья Львовна обещала подбросить меня до Первой городской», — произнес он сухо, засовывая руки как можно глубже в тряпичные карманы и не отвечая на Валерину кроличью улыбку, обведенную теперь двойными скобками глубоко прорезанных морщин. «Боюсь, что госпожа Фролова очень занята», — с отменной вежливостью проскрипел Валера, и его улыбка, выставлявшая напоказ потресканные передние зубы, похожие теперь на ногти ноги, сделалась несколько другой. Наталья Львовна сидела потупившись, на лице ее, как на углях, играли пепел и жар, и Антонов понял ее смущение как нежелание выдать то, что произошло между ними нынешней ночью. «Ну что ж, придется добираться самому», — произнес он нейтрально и повернулся к выходу. «Нет, ты что, погоди! Столько лет не виделась!» — с каким-то скрытым злорадством воскликнул Валера, вставая из кресла, но тут в смешном нагрудном кармашке его безрукавки заворковал телефон.

Извинившись саркастическим полупоклоном, Валера сноровисто выдернул трубку; по мере того как из трубки в его хрящеватое ухо переливались какие-то чирикающие инструкции, кроличья Валерина улыбка приобретала третий, уже совершенно неопределимый, оттенок, а потом исчезла совсем. «Так, — произнес он сосредоточенно, складывая телефон. — Значит, едем в больницу. Послушаем, что скажут». — «Сергей Ипполитович?» — благоговейно спросила Наталья Львовна, взглядом указывая на трубку. «Еще не разобрались! — с внезапной злостью ощерился на нее Валера, и постаревшая морда его стала похожа на морду варана. — Сергей Ипполитович вам не Центробанк! Еще проценты за время, пока этот ваш хитрожопый директор бесплатно крутил чужие бабки! Лучше надо соображать, у кого берешь!» Пропасть, разверзшаяся при этих словах между нынешним деловым и битым Валерой и Валерой из прошлого, Валерой почти родным, все еще неприкаянно бродившим в больших, как тряпичные лопухи, затоптанных носках по сумрачному коридору Аликовой квартиры, — эта пропасть вдруг показалась Антонову страшно велика, и он подумал, что представитель неведомого Сергея Ипполитовича, наспех образовавшийся из самых последних кусков бракованного времени, вряд ли отвечает теперь за действия того Валеры, который стучал в КГБ.

Еще он подумал, что время, которое своим ровным напором до сих пор исправно накручивало сергеем ипполитовичам проценты на вложенные средства, теперь иссякает. Что-то вокруг неуловимо изменилось и продолжало меняться: Антонову показалось, что он буквально видит в углах кабинета, куда обычно не ступают люди, пересыхающие лужи времени. Перед ним как бы обнажилось дно реальности; все предметы, представлявшие взгляду не настоящее, но исключительно прошлое, сделались странно примитивны, и те из них, что были полыми изнутри — в основном посуда, которой оказалось не так уж мало в кабинете, — были, словно бомбы, заряжены пустотой. На одну просторную секунду в воображении Антонова возникло математическое описание колебательного, глубокого, как омут, взрыва пустоты: то было мгновенное призрачное сцепление как будто привычных Антонову математических структур, показавшихся вдруг потусторонними, — но все исчезло немедленно, когда в раскрытом платяном шкафу хозяина кабинета Антонов заметил Викин кашемировый шарфик, потерявшийся прошлой зимой: скукоженный, пыльный, забившийся в самый угол шляпной полки, нечистый, будто солдатская портянка.

«Ты можешь ехать с нами, если уж тебе приспичило», — покровительственно бросил Валера Антонову и устремился на выход, напоследок что-то пнув на полу и шараянув кофейную чашку о фальшивые колонны. Брызнули осколки. За Валерой, преданно скорбившись, не пропустив в дверях отшатнув-

шуюся Наталью Львовну, потрусил задастый от почтения велюровый блондин, и Антонову не оставалось ничего другого, кроме как присоединиться последним к деловитому шествию.

В помещениях офиса уже не оставалось никого из служащих ЭСКО — только референтка, облизывая верхнюю распухшую губу, сомнамбулически собирала в бумажный мешок золоченые куски разбитых тарелок, которые брякали и терлись, когда она переходила с места на место — как видно, в надежде отыскать хоть что-нибудь уцелевшее. Глядя на то, как она пытается приладить вместе, словно ожидая, что они срastутся, два кое-как совпадающих черепка, издававших в ее руках что-то вроде зубовного скрежета, Антонов раскаялся в своем недавнем поступке. Однако долго глядеть, как сумасшедшая референтка пилит фарфор о фарфор, ему не пришлось, потому что и без нее было на что посмотреть. Работа погромщиков перешла в новую стадию. Стены во многих местах были покрыты развесистыми свежими потеками, какой-то налипшей дрянью; большие, особо прочные оконные стекла превратились в непонятно как висевшую на рамах давленную *мяшу*, и одно, белевшее звездчатыми вмятинами от многих ударов, на глазах Антонова зашуршало и осело, будто кусок тяжело расшитой парчи. Мимо Антонова двое гераклов проволокли по перепаханному черными бороздами напольному сукну роняющий пейзажи референткин стол; сам собою обрушился, сильно шоркнув по стене, календарь на этот год, тоже, кажется, украшенный рыхлым пейзажем с некрасивой, сильно запудренной линией горизонта. Из дальнего кабинета, еще позавчера принадлежавшего исполнительному директору фирмы, едко, махорочно потянуло горелой бумагой; от подразумеваемого, но не видного огня в дневном кабинете потемнело, на стенах зазмеились копотные тени, и все, включая сурового Валеру, невольно ускорили шаг. «Репетиция оркестра», — подумал Антонов и внезапно вспомнил окраинный кинозальчик, расположенный в белой, как тулуп, бобине бывшей церкви, себя, с зимней шапкой на коленях, в тесноте насаженных на длинное железо фанерных стульев, раскрасневшую школьницу с каштановой косой, с трудом протиравшуюся мимо встающих ей навстречу предупредительных граждан к месту, указанному в синеньком билете. «Помнишь „Репетицию оркестра“?» — бросил Антонову через плечо ядовито ухмыльнувшийся Валера и тут же снова посерьезнел, сделав всем своим отмашку на выход. Но все и без отмашки почувствовали, что надо побыстрее убираться из двух обреченных квартир, чем бы они ни стали впоследствии — если станут чем-то вообще.

## XIX

По пути к автомобилям лихорадочно румяная Наталья Львовна старательно держалась подальше от Антонова, за спинами сопровождающих; это почему-то напоминало такую же внезапную и смутную Герину приязнь, когда недавний враг вдруг принялся ухаживать за «интеллихентом», норovia и не решаясь подсунуть между разных приятностей какое-то известие — теперь понятно, что о Викиной измене. Равнодушно отвернувшись от женщины, Антонов двинулся, куда его вели. Он шел, будто полуслепой, среди неправильных темнот осатанело-солнечного дня, чувствуя, как вся кровь его становится мутно-розовой от этого пляжного солнца, с силой давившего на асфальт, на плотски-душную древесную листву, где необычайно разросшиеся листья, кое-где дырявые от своей ненормальной величины, словно плавали в перегретом соку, и пьяный сок, казалось, ходил свободно по всей прозрачно-мутной массе тяжелой зелени, под которой парилась и загнивала мягкая земля.

За руль кое-как припаркованного «вольво», опередив Наталью Львовну, бесцеремонно плюхнулся велюровый блондин; давешний качок с татуировкой на плече, куривший неподалеку, по знаку бригадира сноровисто занял второе переднее сиденье. Поозиравшись и поерзав, он вытащил из-под себя черное с золотом Герино произведение и не глядя передал назад, так что Антонов, при-

тиснутый к правой дверце, вынужден был принять неотвязный, уже совершенно облезлый, хотя еще никем не читанный роман. «Это ты небось книгу написал?» — небрежно спросил Валера, покосившись на обложку. Он удобно разместился посередине заднего сиденья, совершенно закрывая съезженную Наталью Львовну, от которой была видна только торчавшая на коленях бежевая сумка. «С чего ты взял? Ты что, мою фамилию забыл?» — с неожиданной злобностью спросил Антонов, поднимая книгу так, чтобы Валера мог прочесть и фамилию автора, и украшенный веночком виньеток многозначительный заголовок. «Мало ли, может, это псевдоним, — рассудительно проговорил Валера, ловко забирая том и всем своим видом демонстрируя, что, если что-то ему показывают, значит, это можно взять. — Я почему-то все время думал, что ты начнешь создавать литературу. Думал, когда же я дождусь твоих гениальных книжек. Хоть на руках подержать, как чужое дитя...» — «А мне казалось, что ты станешь геройским советским разведчиком», — не удержался Антонов, хотя в прежней жизни никогда не говорил Валере в глаза о его агентурной работе. В ответ Валера деланно, как-то по слогам, захохотал и хлопнул Антонова по коленке, так что обоим стало сразу заметно, что они сидят рядком, как братья, в одинаковых штанах.

Между тем автомобиль под бесстрастным управлением блондина выплыл на широкую, блеклую от солнца улицу и покатил — мимо памятной Антонову трамвайной остановки, где как раз стоял и загружался всегда возивший его до дому двенадцатый номер; мимо кипящего народом колхозного рынка, чей решетчатый забор, беспорядочно увешанный разнообразными дешевыми тряпками от плаща до бюстгальтера, напоминал раздевалку в женской общественной бане; мимо старых-престарых, похожих на пятиэтажные избы панельных хрущевок, на одной из которых, с торца, ржавел и покрывался экземой старый щит с рекламой «МММ». За «вольво», удерживая высоковольтную вспышку в верхнем углу ветрового стекла, неотступно следовал один из бандитских джипов, а может, и не один, — Антонов не видел, сколько их вывернуло из сырого переулка, так что теперь ему казалось, будто плотный хвост посверкивающих автомобилей, только слегка распускавшийся в пробеге от светофора до светофора, сплошь представляет собою бандитский эскорт.

Валера непринужденно, будто ехал не в машине, а в мягком купе железнодорожного экспресса, раскрыл затрепавший по корневому шву девственный Герин роман и принялся раздирать проклеенные страницы, временами поднимая удочкой изогнутую бровь и тонко усмехаясь выловленной из текста особо художественной строке. Антонов помнил, что Валера и раньше был знатоком; сейчас ему пришлось бы слишком много рассказывать и при этом невольно врать, чтобы объяснить ироничному Валере, почему он таскает с собою этот чужой исторический шедевр. Морщась от неловкости, Антонов сделал единственное, что сумел: приспустил окно, откуда сразу же затеребило жгучим ветерком, невежливо забрал у Валеры роман и выкинул всхлопнувшую книгу в серую, как комья старой бельевой резинки, придорожную траву. Это получилось удивительно легко, словно кто-то на бегу выхватил у Антонова из рук привязчивый предмет; удивленный Валера инстинктивно обернулся к заднему стеклу, а маячивший там полурасплавленный джип испуганно вильнул. «Да, это был не твой чемоданчик, — безразлично заметил Валера немного погодя, но Антонов почувствовал, что возбуждает теперь какой-то новый Валерин интерес. — Значит, ты тоже к Фролову по своим делам. Я, конечно, не спрашиваю, по каким...» — «Я не к Фролову», — поспешно перебил Антонов. «Ну хорошо, пусть будет так, — терпеливо проговорил Валера, откидываясь на спинку сиденья и окончательно затесняя в угол владелицу „вольво“. — Может, нам теперь предстоит общаться. Смотри, я ведь человек не жадный...» Антонов машинально кивнул, наблюдая, как темная мерцающая полоса, к которой он уже привык и почти не замечал ее на фоне видимых вещей, усиливает напряжение своих контрастных, до боли зернистых частиц.

Он сознавал, что, как главный герой, неотвратимо следует на чужом автомобиле к центру и главному действию романа. И внезапно Антонов понял, что больше просто не в силах служить для автора оптическим прибором, видеть для него (для нее!) все эти светоносные чадные улицы, трех красивых девушек, их общий, в складку, длинноногий шаг по тротуару, складные и раскладные перемыны на рекламном щите, предлагающем шампунь. Антонов страстно желал, чтобы автор оставил его наконец в покое, дал бы побыть одному. Внутри у Антонова все дрожало. Он не мог совладать с этой мелкой, горячей, постыдной дрожью, не мог умять, задавить ее в своем человеческом, а не романном естестве. Собственно, никто не мешал Антонову надеяться на лучший исход — даже на полное выздоровление жены (все равно законной жены!). Но сжавшийся Антонов болезненно понимал, что автор был бы не автор, если бы не приготовил для финала какого-нибудь трагического события. Он ощущал, что роман, тяжело груженный нажитым добром — разросшимся сюжетом, раздобревшими от регулярного кормления метафорами, второстепенными героями, сильно превышшими нормы перевозки багажа, — еле-еле влачится — не сравнить с первоначальным бегом налегке в условное пространство замысла, — и что весь этот табор скоро заскрипит и встанет, являя себя во всей красе неизвестно откуда взявшемуся читателю. У Антонова было полное ощущение, что он, как тощая кляча, тянет груз романа на себе из последних сил — а ему хотелось распрячься, просто побыть человеком, имеющим право на собственное горе, которое совсем не обязательно демонстрировать ближнему.

По-моему, всем уже понятно, что сейчас произойдет. От романа, чью толщину усталый читатель наверняка промерил на глазок, чей верхний угол, шуркавая, завил нетерпеливым пальцем, осталось каких-то жалких три странички, которые можно держать большим и указательным, будто крылья пойманной бабочки, не нащупывая между ними ничего, кроме плоской черно-белой пустоты. Наберитесь терпения: осталась только бумага, которую при желании можно считать оберточной. Может, это и всего-то одна страничка, тем более бесплотная, что несет на весу, почти на воздухе, две стороны остаточного текста; может, ее, эту бестелесную вещь, стоит просто уничтожить, вырвать и смять в легкий угловатый ком, утешительно похожий на игрушку. В общем, кто не хочет, тот пусть не дочитывает; я же считаю необходимым до конца остаться рядом со своим героем, который сейчас поднимается на четвертый этаж хирургического корпуса, потрясенный фактом, что совершенно забыл и про памперсы, и про смешанный с водкой гигиенический шампунь.

На четвертом этаже дежурная медсестра — уже не вчерашняя, похожая на Володю Ульянова, а новая, с плохо завитой челкой, лезущей в квадратные очки, — вдруг испугалась Антонова точно так же, как давеча Наталья Львовна. Нечувствительно отделившись от общества, сразу набившегося в палату номер четыреста шестнадцать, Антонов тупо подергал Викину дверь, потом рванул сильнее, ощутив ее форму высокого и шаткого прямоугольника, — но дверь стояла перед ним точно примерзшая к стене. Собственно, Антонов знал заранее, что так оно и будет. «Мы не могли до вас дозвониться... — услышал он за спиной дрожащий, в несколько ниточек, голос медсестры. — Понимаете, у больной началась аллергия на лекарство. Понимаете, Ваганов приехал, но опоздал. Было поздно. Только хочу сказать, что больная не мучилась и не приходила в сознание, она не знает, что умерла». Бледная медсестричка говорила что-то еще; из соседней палаты тоже слышались бубнящие толстые голоса, среди которых единственный женский казался чище и ценнее остальных. «Я хотел бы увидеть... побыть...» — тоже произнес Антонов довольно отчетливо. «Конечно, конечно, — заторопилась медсестричка. — Вообще-то не полагается, но профессор сказал, когда вы приедете, чтобы вам помогли и все такое... Вам накапать успокоительного?» — «Нет, я спокоен», — еле слышно ответил Антонов, чувствуя, что пол под его ногами, чтобы облегчить ему первые шаги от этой запертой двери, приобрел ощутимый уклон.

Дверь в соседнюю палату была приоткрыта. Щурясь от мелкого тика под левым глазом, где словно билась и мешала смотреть какая-то жгучая мошка, Антонов заглянул туда и увидел изо всех столпившихся только двоих. Центром композиции был хозяин ЭСКО, уже облаченный в пижаму из того же богатого шелка, что и царские покровы на его домашней кровати, навсегда зараженной теперь абсурдными снами Антонова. Хозяин что-то говорил вразтяжку, сильно перекашивая серое лицо, словно держа во рту тяжелый угловатый камень, и по каким-то неуловимым признакам Антонов определил, что тот еще не знает о смерти своей легкомысленной спутницы, тоже по-своему близкого человека. Зато Наталья Львовна, боком сидевшая у изголовья мужа, почти лежавшая головою на его подушке, вслушиваясь в гнусавые, как бы пьяные фразы, знала все, потому что звонила в больницу из офиса и разведала, что муж ее может говорить. Вероятно, та малая доля тепла, что возникла между Антоновым и этой женщиной, испарилась немедленно при непрошеном добавочном известии, вдруг потребовавшем от Натальи Львовны непонятных дополнительных усилий. Кто-то (должно быть, автор) подсказывал Антонову, что через небольшое время Наталья Львовна будет страстно каяться в несчастной слабости и эгоизме (считая их своими чисто женскими чертами) и ими объяснять все то плохое, что с ней еще произойдет. Но сейчас Антонов знал, что револьвер не выстрелит. Кожаная сумка стояла на полу, притираясь к ножке хозяйской кровати, будто ласковая кошка, а Наталья Львовна ворковала над стариком, пытаясь засунуть в перекошенный рот чайную ложечку с кокетливым кусочком какой-то еды.

Мимо. Хорошо, что никто не обратил внимания на замешкавшегося Антонова, хорошо, что никто из палаты его не окликнул. По коридорам и лестницам, в совершенстве похожим на коридоры и лестницы психушки, Антонов почти бежал за белой как снег медсестрой и сильно шаркал дырчатými туфлями, потому что все полы и ступени шли под уклон, а цель была, как видно, глубоко внизу. Некоторое (неопределенное) время их путь лежал по кафельному подземному переходу, где квадратные колонны напоминали большие холодильники, а искусственный свет полосато выкладывал потолок, и самые чахлае трубки были как резервуары перьевых авторучек, в которых кончились и высохли фиолетовые чернила. Далее был уже только искусственный свет, то синюшный, то желтый, пригорелым подсолнечным маслом заливавший несколько железных дверей, — и из-за той, которую с лязгом открыла на звонок какая-то небритая, соленым самцовым здоровьем пышущая личность, выплыл тошный сладковатый запах и вкрадчиво стал пропитывать для начала ткань антоновской рубахи, смазывать Антонову ноздри слоем жирной белой мази, не дающей дышать. «Вы посидите вот здесь», — заботливо сказала медсестричка, направляя деревянного Антонова в служебную комнату-пенальчик, где не было ничего ужасного, кроме удобрявшего липкий запах сытного духа вареной колбасы. Все-таки Антонов успел увидеть через чье-то плечо длинный кафельный зал, напомнивший ему общественную баню: там на тусклом цинковом столе лежало, будто мыло, облепленное приставшим волосом и измятое огромной пятерней, голое тело тощего мужика; соседний стол пустовал, и другой, живой и кое-как одетый мужичонка охаживал кровавистый цинк прыщущей струей из черного шланга, чьи лоснистые кольца норовили перевернуться с боку на бок на мокром полу, — а пена на столе урчала, словно вздутые кишки. Медсестричка торопливо отвела Антонова от опасного проема и, потянув его вниз за тяжело висевшую руку, усадила на кушетку. Некоторое время Антонов так и сидел, бездумно глядя то на свои неодинаково завязанные ботинки, то на обшарпанную тумбочку, усыпанную крошками батона, то на металлический бачок с намалеванным синей краской словом «Процедурная».

Наконец издалека донесся грохоток раздрызганных колес, и длинная каталка с накрытым чистой ломкой простынею невозможным грузом въехала к Антонову, отгородив его от мертвых и от немногочисленных живых. Благоговейно, словно фату от лица невесты, Антонов отвел от лица покойной воздуш-

ную простыню. Он хотел бы еще раз жениться на Вике, если бы только это было возможно. Волосы ее, нового для Антонова парикмахерского оттенка, уже успели свалиться, как хранившаяся дома войлочная девичья коса. От носа, заострившегося, будто грубо заточенный карандаш, легли незнакомые тени. Лоб ее, обтянутый смертью до выпуклого лоска, был холоден глубоким холодом лампы, в которой выключили электричество. Странно было представлять, что теперь под этим лбом не текло ни единой мысли, что там теперь стало темно и плотно, как в любом куске неживого вещества, не знающего внутри, что он представляет собою снаружи. Кто-то глазел на Антонова из проема условных дверей, и он догадался, что, как на свадьбе, здесь обязателен прилюдный поцелуй. У мертвой Вики натянутая верхняя губа приоткрывала передние зубы, сильно пожелтевшие с позавчерашнего утра, и Антонов, склонившись, почувствовал, что один ее резец шатается в гнезде.

Еще не понимая, что делает это окончательно, Антонов опустил слегка светившуюся ткань на острые черты, и тотчас каталка поехала прочь, показав Антонову напоследок то, на что не хватило покрова: две пересохшие трясущиеся пряди и темноту у корней, как будто там уже было присыпано землей. Далее Антонов горячо и радужно ослеп; все поплыло перед ним. Попадая ногами то на какие-то пустые ведра, то на неясные ступени, дававшие почувствовать тяжесть собственного тела, Антонов куда-то двигался — и был на его дороге странный закуток, где громоздились тарные ящики с остатками старой тряпичной картошки, и на этой тощей почве густо и призрачно, словно вытянутые вверх каким-то мистическим притяжением темного потолка, стояли перламутрово-белые, чуть тронутые, будто заразой, желтоватой полужеленью голые ростки.

Выбравшись по раскрошенной, донельзя замусоренной лестнице из полутемного подвала, Антонов почувствовал, что солнце, уже как будто низкое, жжет его лицо, точно коснувшийся свежей ссадины медицинский йод. Разлепив оплывшие веки, убрав с них пальцами то тяжелое, толстое, что налипло, словно загустевший свечной стеарин, Антонов увидал сквозь остаточную муть, что стоит буквально в четырех шагах от главного крыльца хирургического корпуса. Теща Света, страшно синея опухшими глазищами, направлялась по асфальтовой дорожке к этому крыльцу — мелко ступала на широко расставленных ногах, точно дорожка была покрыта льдом, и временами как бы заваливалась, теряя равновесие, теряя то или иное выражение лица — губки бантиком, брови стрелками, — которое, должно быть, силилась донести до мертвой дочери и до ее врачей. Около тещи Светы суетился, не давая ей присесть на скамейку, новоявленный писатель: глазки у Геры отчаянно бегали, он то танцевал приставными шажками, путаясь в собственной тени, будто в свалившихся брюках, жестами побуждая тещу Свету двигаться активнее, а то вдруг начинал нащупывать у себя под рубахой сбившееся сердце, точно это был какой-то важный внутренний карман. Если бы теща Света взглянула в упор, она бы увидала за жидким кустом пропыленной черемухи замершего преступника. Но, должно быть, разбухшая листовенная муть была сейчас непроницаема для ее прекрасных небесных глаз. Мерно перехватываясь за перила, теща Света приставными старческими шажками взобралась на крыльцо; Гера, забежав вперед, рванул перед нею высокую дверь и сам, переступив на месте, утолкался туда же. Антонов вдруг подумал, что теперь обездоленная теща Света (Гера сразу же устремится в палату номер четыреста шестнадцать) будет преследовать его внутри больницы, двигаясь через коридоры, лестницы, подземный переход, замороженный банный подвал, — пройдет все это с той же безошибочностью, как если бы путь Антонова был помечен светящейся краской, и через какое-то время тоже выберется вот сюда, в мозолистые тощие кусты. Впрочем, тут же Антонов сообразил, что выражение «через какое-то время» теперь абсолютно бессмысленно.

Спокойно, читатель. Осталось совсем небольшое скопление слов, ибо исписавшемуся автору кажется, будто он (вернее, она) использовал (использова-

ла) для романа все слова, какие только имеются в русском языке. Сейчас любое слово, не употребленное в тексте, показалось бы автору неожиданным, будто иностранное, и заманчивым, будто свежееотчеканенный радостный рубль. В романе этому факту истириания материала соответствует полная остановка времени, о которой Антонов догадывался давно, но по-настоящему почувствовал только теперь. Раньше Антонов даже не представлял, что можно до такой степени не знать, что будет через несколько минут. Нежная многослойная завеса будущего, всегда скрывающая дальние складки местности за нашими представлениями о ней, всегда невинно кутающая множество ближних и дальних вещей (среди них одну особенную, с черной начинкой, а именно смерть), внезапно исчезла. Пейзаж, который часто помогает автору завершить произведение патетическими или лирическими подробностями, теперь лежал совершенно голый, совершенно безумный, как бы ненужно удлинненный вечерними тенями, — и Антонов, у которого окончательно отняли существование, не мог заставить себя осознать, что такое «ветка», «вечер», «скамья», «автомобиль». Всюду, куда бы он ни посмотрел, он видел только свое отсутствие и больше не находил причины не верить собственным глазам. Наконец-то Антонову мир явился таким, каким его наблюдают души, отделенные посредством смерти от физического тела, — а они, как представляется автору, наблюдают о д н о в р е м е н н о с т ь, достигшую совершенства. Проще говоря, все, что в последний раз видел для автора главный герой, было нарядным и подробным и напитанным медовым светом, будто картинка из диафильма. Но под картинкой барабанно натягивался экран, а за экраном угадывалась стена.

Теперь нам действительно придется оставить бедного Антонова в покое. Я больше не знаю этого человека. Думаю, что в целом он такой же, как и прочие люди, потому что конец реальной личности — совсем не обязательно смерть. Мне кажется, что если не со всеми, то со многими из нас, живых людей (а особенно с детьми случайностей, смутных времен), происходит то же, что и с персонажами романа: завершается какая-то главная наша история, и неведомый Автор, не интересуясь нашими дальнейшими делами, оставляет нас пребывать в том самом иллюзорном бессмертии, в каком пребывают неумершие герои литературного текста. Отдельные счастливые, оптимистические личности, умеют возродиться, как птицы фениксы, прочие же несчастливы. Собственно, что меня занимало больше всего, так это таинственное и самое что ни на есть житейское событие к о н ц а: оно почти не ловится в реальности, а литература имитирует его варварски затратным способом, приближаясь к нему по длинным петлям сюжета, выстраивая множество вспомогательных конструкций. Хотелось бы, очень бы хотелось достичь математического изящества, свести роман к паре-тройке лаконичных формул. Но из этого ничего не вышло, не помог и главный герой, специально созданный для к о н ц а из малодаровитого прототипа, ничего почти герою не давшего, кроме житейской подлинности — как оказалось, вовсе герою не нужной. Теперь перепачканный в паутине и ржавчине усталый человек наконец уходит, и картинка, на которую он только что внимательно, по просьбе автора, смотрел, бежит по нему, соскальзывает с него, будто легкая цветная сеть. Смазывается, напоследок погладив человека по лысине, длинный корпус психушки, утекают в небытие бандитские джипы, протягивается, будто цветочная шаль с бахромой, цыгановатая клумба, ссыпается в невидимый карман пустоты древесная листва. Все, что осталось от моего Антонова, — вот это скольжение пьяных пятен по трезвой реальности, наконец-то стряхнувшей наваждение и тронувшейся собственным путем...

Екатеринбург.  
1997 — 1998.



---

---

ТАТЬЯНА БЕК



## МЕЖ ЗВЕЗДОЙ И БУЛЫЖНИКОМ ПРЕСНИ

\* \*  
\*

Мы подростки. Мы прыгнули в кузов.  
И — вперед, и — в поход, и — в побег!  
Это было в эпоху арбузов,  
Задаемых кашей «артек».

На руинах разбитого храма,  
Где крапива росла в алтаре,  
Мы играли в «секреты» (незнамо —  
От кого), мы копались в старье,

Где непарные туфли без пряжек,  
И военного горна раструб,  
И окурки на пару затяжек,  
И заморская вещь — хула-хуп,

И весло от потопленной лодки,  
И пилотка, и даже шлея...  
Я и впредь лоскуты и ошметки  
Почитала за гул *бытия*.

...Мы стареем — спесивы и жалки.  
Мы уходим — опять и опять  
На зады, на руины, на свалки,  
Дабы новое время понять,

Дабы, роясь в метафорах сора  
И склоняясь над рухлядью ниц,  
Ощутить себя частью простора  
И одной из ненужных вещиц.

---

Бек Татьяна Александровна родилась в Москве. Окончила факультет журналистики МГУ. Автор пяти поэтических книг, среди которых «Облака сквозь деревья» (М., 1997), составитель антологии «Акмэ» (М., 1997). Живет в Москве.



\* \*  
\*

То ли сполох беды, то ли радуга,  
То ли Муза в мужском пальто...  
Я не вашего поля ягода!  
Я не ягода. Я не то.

...Грянут с неба огромные градины —  
Станут прыгать, как злой горох!  
Но царапины, шишки, ссадины  
Равнодушьем покроет мох,

Я любила, но больше — плакала...  
Комментарий

даю

к судьбе:

Если девочку стригли наголо,  
То она навек *не в себе*, —

Как в чужой, недающей местности  
(Поперек. Вразрез. Не в ладу.), —  
Всю-то жизнь умирать от пресности,  
Точно рыбе морской — в пруду.

\* \*  
\*

Как горькая строчка на три стопы,  
Как сон, поразивший с детства, —  
Все чаще случаются *при-сту-ны*  
Сиротства и самоедства.

Как длинная нитка шербатовых бус,  
Как школьного шелка лента...  
А мир оказался старик и трус  
В облики диссидента!

Мой род иссякает теперь и здесь,  
Не выдержав испытанья.  
«Примета стиля — большая спесь  
Твоих мемуаров, Таня», —

Мне будет голос сквозь снежный прах  
(Канавы; фонарь; аптека)...  
Не жизнь — лишь галочка на полях  
Горящего в топке века.

\* \*  
\*

*Е. Р.*

Истошилась и скурвилась ода  
На листочках в косую линейку...  
Я войду к тебе с черного хода,  
Я последнюю знаю лазейку.

Ты, в рубашке в больничную клетку  
И с кудрями до плеч под Бальмонта,  
Стал похож на себя — малолетку,  
Для которого нет горизонта,

То есть четко прочерченной грани  
Меж звездой и булыжником Пресни...  
Быть живым. Не зависеть от дряни.  
Замышлять гениальные песни.

Ты, твердивший, что «люди не волки»,  
И друзьям не дававший покою, —  
Помнишь, как мы кутили на Волге  
И стояли впотьмах над Окою?

Быть живым! Я не знаю лекарства.  
В этом свертке — лимонные дольки,  
Карандаш, табакерка, полцарства,  
Память юности... Люди не волки.

\* \*  
\*

*О. Клиngu.*

Я в детстве, как лесная ель,  
Мечтала, чтоб меня срубили  
И нарядили в канитель  
Под выхлопы и тили-тили...  
Но мир *свирел в свою свирель*,  
В сердцах одергивая: — Ты ли?

Мой ангел был мертвецки пьян,  
Земные дни ополовиня, —  
Меня менял самообман,  
Как грандиозная давяльня...  
Но слава Богу, что туман  
Впотьмах сгущается — до ливня.

Спасибо голосу, что пел  
В избытке жалости, как пыла.  
...Царила мель. Крошился мел.  
Обожествляли конвоира...  
Но дух  
    свирел  
        и свирепел  
По наущенью Велимира!

\* \*  
\*

Веки опускаются: — Спать, спать, спать...  
 Бесы изгиляются: — Пить, пить, пить...  
 Ноги не смиряются: — В путь, в путь, в путь!  
 Звезды воцаряются: — Петь, петь, петь.

\* \*  
\*

Сколько можно канючить  
 и жить на проценты от боли?  
 Я сама на себя  
 выливаю ушат новизны.  
 Мне сейчас хорошо, как бывало,  
 прогульщицей в школе:  
 На газоне лежать, и курить,  
 и рассказывать сны,  
 И делиться с дружками  
 излишками бреда и срама,  
 И насвистывать джаз,  
 и приманивать будущий крах,  
 И глядеть в небеса,  
 и — когда раздвигается рама...  
 ...Мне опять хорошо,  
 как бывало на ранних порах!

Если где лотерея,  
 то я покупаю билеты.  
 Если «Овощи-фрукты»,  
 то мне по карману хурма.  
 А внизу, в переходе,  
 любитель рисует портреты,  
 Где утрирует прелесть, и льстит,  
 и почти задарма.

У меня сарафан,  
 у меня босоножки без пяток  
 И могучая странность —  
 выпаривать счастье из бед.  
 ..Да. Была горемыкой.  
 Но если рассмотрим остаток —  
 Он блажной, драгоценный  
 и даже прозрачный на свет.



---

---

СЕРГЕЙ АЛИХАНОВ



## МЫ НЕ НУЖНЫ ТЕБЕ, МОЯ СТРАНА

### Дальневосточный наряд

Тот, что слева, прищурясь, глядит в океан —  
Что там чайки ныряют в волнах?  
Тот, что справа, на сопки глядит сквозь туман.  
Пальцы твердо лежат на курках.

А по центру с овчаркой спешит старшина,  
Ничего не заметил пока.  
Но шумит, набегая на берег, волна,  
И, рыча, рвется пес с поводка.

И недаром собака тревожит его —  
Лишь врага здесь учуять могла,  
Ведь на запад на тысячи верст никого,  
И на север лишь тундра и мгла.

И ни звука, ни промелька не упустив,  
Вновь вернутся в означенный срок.  
А на мокрый песок наступает прилив  
И смывает следы от сапог.

### Арка

Угрюма каменная пойма,  
Но весел дикий смех ручья.  
Он скалами едва не пойман,  
Но, извиваясь, как змея,  
Юля и прыгая меж скал,  
Ручей лазейку отыскал.

Моста изогнутая арка  
Из темных, плоских кирпичей.  
Когда здесь в полдень очень жарко,  
Люблю я посидеть под ней.  
Здесь никогда не прозвучит  
Ни скрип колес, ни стук копыт.

Сперва крута, потом полога,  
Из города сюда идет,  
Но здесь кончается дорога,  
И бесполезен древний свод.  
Есть лишь один из берегов —  
Другой ушел на сто шагов.

Что это? — след каменоломни,  
Иль берег паводки свели,  
Иль Божий знак: живи и помни  
И шум воды, и зной земли.

\* \*  
\*

В мельканье лиц непостижимом,  
Сойдя с дорог, ведущих в Рим,  
Борцы бесстрашные с режимом  
Исчезли сразу вслед за ним.

Так правойой они светились,  
Что гусениц взнесенный вал,  
Когда они под танк ложились,  
Над их телами застывал.

А шлемофон гудел не слабо,  
Чтобы давить не тормозя.  
Интеллигенция, как баба,  
Себе купила порося.

Попятилась, прошла эпоха  
И лагерей, и трудодней.  
А тут и с сердцем стало плохо,  
И поспешили вслед за ней...

### Птицы

И когда я газетку беспомощно смял —  
Лжи и фальши страницы, —  
На завистливом взгляде себя я поймал —  
Как прят эти птицы!

Где б я был, если б мог выбирать, где мне быть —  
В государстве негодном,  
Или там, где уже все равно, где парить,  
Бесконечно свободным.

Памяти администратора ЦДЛ  
 Аркадия Семеновича Бродского

Неутомимый маленький герой,  
 Он с планкой орденов стоял горой  
 За всех писателей.

Счастливо заседали  
 Они в парткоме и в дубовом зале.

Он засекал уже издалека  
 Пушок демократического рыльца,  
 Хватал за шкурку и давал пинка  
 От Венички и до однофамильца.

Разишь душком иль арестантской робой —  
 Тогда к буфету подходить не пробуй.  
 Труд цербера безжалостен и тяжек.  
 Империя рыхлеет от поблажек.

Он раскусил борцовский куцый шарм  
 Тех, на глушилки наостривших ушки,  
 Когда они на брайтонский плацдарм  
 Сквозь голодовки двигались к кормушке.

Творили как за каменной стеной.  
 А умер он — писателей прогнали,  
 И свой бифштекс последний дожевали  
 Они в сугробах грязной Поварской.

\* \*  
 \*

Мы не нужны тебе, моя страна.  
 Мы оказались ни при чем. Обузой.  
 Моя жена, бухгалтер, не нужна.  
 Я со своей нерасторопной музой  
 Тем более.

Закрою лишний рот,  
 Пока меня куском не попрекнули.  
 Перековав ракеты на кастрюли,  
 Пора и их расплющить в свой черед.

\* \*  
 \*

Однажды в мае, в электричке,  
 Где свет мелькал на сквозняке,  
 Я вышел в тамбур, чиркал спички,  
 И коробок чихал в руке.

На голос слева оглянулся,  
 Взгляд справа на себе поймал.  
 Заговорил, перемигнулся  
 И телефончик записал.

Уже под осень постирушку  
Я начал, вывернул карман  
И тамбурную хохотушку  
Вдруг вспомнил, закрывая кран.

Я номер накрутил с ухмылкой,  
Разговорил не без труда.  
И к ней отправился с бутылкой,  
И задержался навсегда.

### Язык земли

В предгорье, средь безветренного лета,  
Иссяк ручей, иссушенный жарой.  
Слоится почва, солнцем перегрета,  
И трещины змеятся в желтый зной.

Но там, в горах, зажавши горловину,  
С крутых карнизов рушится ледник.  
Вода уже заполнила лощину,  
И озеро в смертельную стремнину  
Вдруг может превратиться через миг.

Пусть на жгутах спеленутого света  
Качает скалы в мареве густом.  
Безвольный зной не к засухе примета —  
Помчится сель, как грязная комета,  
Все слизывая жадным языком.



---

---

ДМИТРИЙ ШЕВАРОВ

\*

## РАССКАЖИ МНЕ ЧТО-НИБУДЬ О ПАРОХОДАХ

*Рассказ*

**П**омнишь, как в маленьком доме отдыха под Звенигородом мы вспоминали с тобой о пароходах? За окном не первый день шел дождь, мы сидели в сырых комнатах и то говорили, то дремали, то долго кипятили чай слабеньким кипятильником. И это совсем не было похоже на июль.

Забравшись под казенные одеяла, мы в полудремоте слушали, как ветки шлепают по стеклу, и казалось, что мы плывем на старом пароходе. Большие полутемные комнаты бывшей усадьбы качались от пробегающих теней, и, вместе принимая эту игру с пароходом, мы мечтали, как на самом деле купим однажды билеты на теплоход, возьмем всех своих и поплывем вниз по Волге или того дальше — куда-нибудь по Енисею.

«А ведь это было бы здорово!» — горячо доказывал я, будто бы ты спорил. А ты смотрел в высокое окно, забравшись на кровать, обхватив колени тонкими руками. Я подвигал тебе дымящийся стакан чая, и ты, будто очнувшись, вновь веселел, дул на кипяток, тормозил меня: «А пойдем-ка в лес, нечего тут валяться...»

Дождь хлестал, и лес, который в ясную погоду был виден из окна, становился таким же далеким, как теплоходы и остров Валаам.

Когда кончилась вода, я вызвался сходить на родник к реке. Ботинки у меня еще не высохли, и ты отдал мне свои кроссовки. Торопливо спускаясь с графином под гору, я заметил, что дождь более не хлестал, а лениво сыпал, уходя, и над головой светлело. Невидимая птица вопросительно посвистывала рядом, добиваясь от меня ответа.

Когда я вернулся в комнату с запотевшим графином, ты спал, отвернувшись к стене. Ты — худой, острый, будто весь из локтей и коленок — был скрыт мохнатым рыжим одеялом, оттого казалось, что тебе стало лучше, что стоит только побережь твой случайный сон — и все уладится само собой.

Пришла из столовой твоя жена, отбросила с головы мокрый капюшон, улыбнулась, кивнув ласково в твою сторону: «Спит?»

— Ага...

Она поставила на стол прикрытую тарелку с чем-то теплым для тебя, поправила одеяло.

— Пойду пока к себе, — сказал я тихо.

— Хорошо, — ответила твоя жена, не поворачиваясь ко мне. Она села на краешек кровати и стала осторожно расчесывать волосы, склонив голову, и от этого легкого наклона казалось, что она смотрит на тебя как на ребенка.

---

Шеваров Дмитрий Геннадьевич родился в 1962 году в Барнауле. Окончил факультет журналистики Уральского государственного университета. Печатался в журналах «Новый мир», «Урал», «Согласие» и др.



...Вечером мы шли втроем по песчаному проселку, потом тропинкой через поле. Нас манил лес, но, зная, что там слишком сыро, мы не спешили. Вечерняя дорога в полях, отмытое бледное небо, уходящее солнце за спиной, на которое мы оглядывались, — все это наполняло нас таким определенным счастьем, что было бы странно куда-то стремиться и о чем-то еще мечтать.

Но мы мечтали, ты рассказывал о Германии, я — об Италии, а разговор тем временем незаметно возвращался домой — к пароходам, к теплоходам, к будущим странствиям вместе с нашими маленькими детьми по Волге, как будто ничего лучше этого и быть не могло.

— Вот Тема подрастет, — говорил ты, — мы разбогатеет, и вот тогда...

— И вот тогда вы приедете к нам в Москву, и мы поплывем с речного вокзала на теплоходе «Композитор Скрябин».

— Почему «Скрябин»? — удивился ты. — А не «Мусоргский», допустим?

— Потому, что «Мусоргского» нет, а «Скрябин» есть. «Мусоргский» был когда-то давно...

И я рассказывал тебе историю о том, как ходил по Оке пароход «Мусоргский», да по рассеянности сел на мель. Дело было весной, снять пароход с мели не могли, вода спала, и остался «Мусоргский» на опушке. Выходит туда грибник или охотник — глазам своим не верит: пароход в лесу. Капитана посадили за вредительство, а пароход долго стоял в лесу среди травы.

Потом разговор вдруг перешел на политику, и про «Скрябина» я забыл, не рассказал тебе то, что сейчас кажется очень важным.

Мы возвращались под безмятежным небом, на нем проступал месяц и одна зеленая звезда. Потом Млечный Путь задымился морозно, и, глядя на него, думалось, что вот оттуда, из того края Вселенной, скоро падет снег, и вот бы упал он сразу, без долгой болезненной осени. Но со снегом в тот год что-то случилось. И даже в декабре земля лежала тощая и черствая. Говорили, что в лесах зайцы сходили с ума от тоски по снегу — они-то ведь давно побегали. Перезваниваясь, мы спрашивали друг у друга про снег: «Не было?» — «А у нас был, да растаял...» Снег выпал только пятнадцатого декабря.

...Чтобы сократить дорогу, мы прошли через ворота шикарного пансионата. У входа было что-то вроде кафе, крутился, мелькал в глазах быстрый механический свет, и музыка была такой же нелепой, городской, ни одним своим ритмом она не совпадала с тем, что происходило с нами. Но мы купили в том кафе втридорога бутылку «Хванчары» и опять вернулись в родные сумерки, к тропинке, усыпанной хвоей.

Сейчас у меня за окном поздняя осень. Грязные машины режут выпавший за ночь мокрый снег. А мне снова хочется рассказывать тебе о пароходах.

Ведь если о чем-то стоит думать в канун зимы, так это о пароходах. Смотреть на снег — а думать о дымовых трубах, о гребных колесах, закрытых в громадные кожухи, об освещенных палубах. Словно бы мы когда-то стояли на этих палубах и обсуждали преимущества пароходного общества «Кавказ и Меркурий» перед обществом «Самолет».

Также тянет в ноябре перечитывать «Войну и мир». Открыть в глубине, на той главе, где Наташа допытывается у Сони, помнит ли она Николая, а Николай в это время дремлет в ночном карауле на переминающейся лошади, вспоминает Наташу, а потом весело скачет в туманную темноту, под гору, чтобы узнать, как близко стоят французы. Или пролистать еще дальше, туда, где Пьер и Андрей все говорят, стоя на пароме, и небо над ними такое же деревенское, после дождя ясное, как было над нами с тобой в тот вечер под Звенигородом. И князь Андрей, совсем как ты в ответ на мои мечтания, вздыхает весело: «Да, коли бы это так было!..»

И все это ощутимо, непременно связано: мои пароходы, Наташа, вечера под абажуром, твои детские мечты о сабле, шпорах и эполетах, о подвигах на войне и о возвращении с войны легкораненым героем. И даже холодное как лед стекло, к которому так хорошо мимоходом прижаться разгоряченным

лбом, — даже оно не остудит твоего желания врубиться с саблей в самую гущу боя и моего желания уплыть с последним пароходом.

Ты определенно влюблен, и вот откуда сабля, подвиги, война. Мы все влюблены в кого-то, даже если мы думаем о легких ранениях и бакенах на ночной воде. «Они там все влюблены в кого-то», — говорит Николенька Ростов про своих домашних.

...Мы шли в тишине по заросшему парку; поднимая голову к небу, углаживали аллеи, мысленно отделяя строго черневшие стволы лип от мутных очертаний берез, осин и кленов.

— Я подумал сейчас, — сказал ты, — что вот родился на Волге, почти тридцать лет смотрю на нее, а только один раз плывал... Ну, чтобы как у тебя было: на неделю или две в каюту и чтобы помнить потом всю жизнь... Мы с мамой плыли из Казани в Васильсурск. Помню, как садились на пароход почему-то ночью, переходили с берега по трапу, вокруг было много огней, а внизу — черная маслянистая вода. Страшно и весело было идти по этому трапу, рядом белая мамина рука меня держит... Ее светлое платье, я прижимался к нему щекой... Мне было лет пять всего, но хорошо помню, что это был именно пароход... Помню шум колес, сперва шлепки, потом шум... бронзовые ручки на дверях кают... Биноколь. Мама взяла с собой отцовский бинокль, армейский, тяжелый. Я почему-то был уверен, что в бинокль увижу отца. Как он идет по берегу с солдатами... И я целые дни выглядывал его. До сих пор помню запах того бинокля. Наверное, это был запах кожи, из которой сделан футляр. Тревожный такой, военный запах... А зачем мы плыли в этот Васильсурск — не помню, зачем-то плыли. А еще помню, как пели на пароходе. Просыпаюсь утром в каюте: поют!.. Боюсь пошевелиться, слушаю. И вечером засыпаю под эти песни. Две или три женщины поют на палубе. Мама думает: я уснул, выходит на палубу, и я слышу, как она вместе с ними поет, ее голос...

Скоро мы вышли к нашей усадьбе. Освещенные окна издали выглядели так торжественно, что, подходя, мы с сомнением переглянулись: наш ли это бедный дом отдыха с облупившимися стенами, подтеками от дождей, протертыми ковриками в коридорах, запахом казенного белья и валерьянки, с табличкой на дверях столовой: «Полдники отменены»... Помнишь это объявление? С нарочито серьезным видом мы выпрашивали: «А почему, собственно, отменены? Мы только ради полдников сюда и приехали...» Официантки заученно повторяли: «Полдники отменены вместе с советской властью!»

Нам нравилось говорить: «Наша усадьба...» В книге Алексея Греча «Венок усадьбам», написанной в конце двадцатых годов, я нашел о ней несколько строк: «Поречье как-то видно отовсюду — длинный двухэтажный дом, украшенный посредине колонным портиком под треугольным фронтоном, как всегда. Он кажется нарядным издали, верно, потому, что белой лентой красиво оттеняет он крутой берег реки, где в лес давно превратился одичавший парк. Вблизи же скучными и монотонными кажутся длинные крылья дома, неудачными представляются пропорции колонн... Отделки и росписи сохранились внутри только на лестнице... И думается, недолго, верно, простоит этот белый барский дом, видимый отовсюду...»

И все-таки нас он дождался.

Мы взяли внизу ключи от своих комнат, поднялись на второй этаж, открыли двери. Между штор стоял лунный свет. «Чаю?..» — «Нет, пожалуй, до завтра».

Твоя жена, все держа тебя под руку, прижалась к твоему плечу так по-девически преданно, что мне подумалось: вы дети, совсем еще дети...

Однажды ты мне рассказал, как увидел ее невестой, в белом платье — ты нашел ее в какой-то большой пустой комнате, она сидела, ожидая тебя, против двери, напряженно сложив руки на коленях, и свет из морозных окон мешал тебе сразу узнать ее. Ты стоял в дверях, ослепленный этой белизной, ее

кроткой и торжественной фигурой, окруженной сиянием... «Вместо того чтобы взять ее на руки, я стоял и чуть не плакал... И что это было со мной? И как хорошо это было...»

А утром шумел парк под ветром, шумел дождь. Он занудно сеял, осенняя рябь проходила по лужам, и хотелось укрыться с головой одеялом.

Мы собрались в вашей комнате, пили чай, сидя по углам и пожимаясь от холода. Кто-то пел из приемника: «Лето — это маленькая жизнь...» Ты был взъерошен и светло глядел из длинного серого свитера, я — пасмурен. Ты рассказывал смешные истории про свою собаку, а потом попросил: «Расскажи нам что-нибудь про пароходы...»

А я был все еще мрачен своей утренней мрачностью и, кажется, отмахнулся: «Ну что еще о них рассказывать?..»

Сетка дождя была невидима, и только по лужам можно было заметить, как он все идет.

Я ушел к себе, завалился читать. Но даже Довлатов казался несмешным. Я знал: тоска эта минутная и потом я буду раскаиваться, что так легко поддался ей. Лучше бы плакать, чем терпеть такую тоску. Плакать и не знать, что ты совсем взрослый и стыдно плакать...

Я вышел на мокрый балкон. Там было теплее, чем в отсыревших комнатах. И пахло все-таки летом, огородом, свежесрезанным луковым пером. Под балконом кто-то разговаривал. Приглушенный женский голос был почти неотличим от ровного шелеста дождя, а мальчика лет пяти я хорошо слышал и даже видел, когда он, смеясь, выскакивал из-под балкона. Женщина, кажется, уговаривала его пойти домой. А он не соглашался.

— Ты простудишься... Ты что, забыл, как болел зимой, как в больнице лежал?..

Мальчик не отвечал.

— Тебе скоро в школу идти, уже август, август, ты понимаешь?..

Он, видно, думал о чем-то, но потом откликнулся:

— Август... Какое холодное слово, мама.

Они ушли, а я вспомнил, что ты рядом, за стеной, и можно сейчас пойти к тебе, рассказать про холодное слово «август».

Я вышел в коридор, постоял у вашей двери, прислушиваясь. Было тихо. А что, если вы уснули, а тут я опять колочусь? И вообще вам надо побыть наедине, а мне не мелькать туда-сюда...

Вернулся к Довлатову. Смотрел на знакомый текст, листал за страницей страницу, привычно улыбаясь там, где всегда смеялся, но думалось мне о чем-то отдаленном. Так бывает, когда читаешь книгу или едешь в поезде, глядя в окно, — и вдруг видишь что-то другое, не то, что перед тобой.

...На верхней палубе, за трубой, обычно стоит красный пожарный ящик с песком. Тут, в заветрии, можно прикорнуть на всю ночь под курткой. Никто не тронет. Пассажиры бродят по нижним палубам, а здесь, на самом верху, лишь труба пытит над тобой и можно до утра таиться, следить, как возникают гранатной спелости огоньки бакенов и, качнувшись на волне, исчезают, зарываясь в илестую тьму.

По дежурному огоньку сельпо узнавать спящие прибрежные деревни. По бледному прыгающему свету желтых фар угадывать приближение к переправе запоздавшего «газика». А то сквозь утробный шум дизеля долетит обрывок разговора тех, кто, невидимый, сидит на берегу у костра или у воды на теплых досках... Он что-то спросил, она ответила и засмеялась, наверно, в ладошку. И я уже влюблен в этот смех, в ладошку, я встревожен ревностью к тому, кто будет всю ночь сидеть с ней на причале, кто набросит ей на плечи пиджак и почувствует прикосновение ее волос, когда задует ветер с реки.

Чтобы забыть невидимую девушку с чужого берега, я окунаюсь в небо. Там все дышит, роится, пугает неисчислимостью и глубиной. «Что будет со

мною дальше? — думаю я. — Неужели мне скоро пятнадцать? И что это значит?..»

Звезды подергиваются бледной дымкой, я отрываюсь от неба и вижу на горизонте, по курсу теплохода, беспокойные огни. Через полчаса мы подходим к большому городу. Я иду вдоль борта, замечая белую ротонду на набережной, неоновые лозунги на темных домах, ощущая по ослабевшей вибрации палубы, как машина сбрасывает ход. Слышу переговоры вахтенных матросов.

А это был твой город. Где-то там, за ротондой, за цепочкой фонарей, за трубами металлургического завода, — там жил ты, тебе было одиннадцать лет, и ты, верно, спал в тот час, когда теплоход «Композитор Скрябин» швартовался у четвертого причала. А я стоял у борта... Вот сколько огней, какой большой город и как много в нем живет людей, и никто, никто из них не знает, не догадывается о моем существовании. И как страшно, что есть столько неизвестных тебе жизней, тайн, и совсем не ясно, зачем нам дано все это чувствовать, если из миллионов людей нам за всю жизнь дано будет узнать какую-то сотню или, допустим, тысячу. И почему я должен буду встретить именно тех людей, которых я встречу, а не других? Кто распорядится этим?

В голову приходили самые странные вещи, но в нее не могло прийти простое предположение, что через тринадцать лет я вернусь в этот город, на Волгу, и в детский сад по набережной маршала Чуйкова будет ходить моя дочка.

А вечером Девятого мая мы с тобой окажемся у ротонды, на рейде будут стоять расцвеченные, как новогодние елки, корабли и весь город, все его жители, будут в ожидании глядеть на небо, счастливо кружась вокруг нас летней толпой, обтекая нас шорохом платьев, цоканьем каблучков и струясь одновременно во все стороны. У тебя на руках будет сидеть маленький сын, у меня — такая же маленькая дочка. Они вздрогнут, ударятся нам в грудь от восторга, когда тряхнет и землю и воздух залп батареи. Через мгновение раскрошится в темном небе на мелкие звезды пучок взлетевшего огня. Все закричат «ура!» — и мы, и наши дети, и мальчишки на фонарях. Прокатится второй залп — с баржи, и снова сказочно осветится река, корабли, ослепительно белая ротонда и наши лица...

Потом мы сбежим вниз, речная свежесть охватит нас, и у темной воды, указывая куда-то в эту темноту рукой, моя дочка тревожно скажет: «Капитанами пахнет...» И будет повторять до самого дома: «Папа, капитанами пахнет... капитанами пахнет...»

А познакомились мы с тобой весной после какого-то собрания. Вернее, собрание еще продолжалось в большом зале за тяжелыми шторами, кто-то еще бурчал на трибуне и грозил, а мы уже сбежали по парадной лестнице, заговорщицки переглядываясь на ходу. Потом стояли на крыльце, курили, шуриясь от солнца. Трамваи звенят, первая листва тоже, кажется, звенит... Встали и вышли — праздник! «В конце концов, мы свободные люди...» — сказал ты.

Какой это праздник — бросить скучных людей, забыть их и идти вниз по улице к набухшей от снеговых вод реке, к ее веселым закопченным катерам и первым белым парходикам, к этому вольному, с грубым холодком, весеннему ветру, который ты так любил...

Меня никогда не радовали случайности. Когда я попал в твой город, меня долго удручала бессмысленность этого попадания. Мне был непонятен смысл этого жеста судьбы — зачем сюда, а не в Тюмень, Находку или Ашхабад (тогда еще посылали в Ашхабад, Фрунзе и даже Ригу)? Сейчас я понимаю, зачем приехал в этот город, досадно растянутый на многие километры вдоль Волги...

Но в моем дальнем семьдесят каком-то году я не мог себе представить ничего подобного и без сожаления расстался с твоим городом. «Композитор Скрябин» отошел от причала и побежал дальше, вниз по Волге.

А меня, сонного, если что и томило, то воспоминание о моей Вологде, складно устроившейся на двух берегах маленькой реки. Какой контраст с опасно безбрежной Волгой! Укладываясь в каюте, я вспомнил наш речной

вокзальчик — двухэтажный, иссеченный дождями, с часами и башенкой такой домашней наивной архитектуры. Это было самое уютное место в городе. Особенно осенью, в непогоду, когда серые тучи ползли над головой, шаркая по крышам, и даже сами вологжане готовы были признать, что нет более гнусного и скучного места на земле, чем их родной город. Но вот оставался этот вокзал у реки, светились окна кафе «Якорь», а в «Якоре» пили, грелись и тихо дремали люди, мечтавшие о далеких странах, о белых пароходах, о путешествиях куда-нибудь еще севернее, где уже прочно лежит снег и широкие охотничьи лыжи хлопают по насту. Но более всего эти люди, положив на колени кепки или береты, мечтали, чтобы официантка Катя или Люба принесла им поскорее что-нибудь выпить. Они грустно разглядывали обтрепанную, кое-где в желтых пятнах скатерть, видели, как с огоньком подходит катер-перевозчик, улавливали покачивание дебаркадера и все ждали, ждали, когда им принесут кадуйское вино.

Этим летом я приехал в Вологду, по привычке дошел до пристани и увидел, что речного вокзала нет. Я даже беспомощно оглянулся по сторонам — туда ли я пришел? Нет, все остальное цело: и магазин водников, и петровский домик вдали, и гора песка на том берегу. А дебаркадера нет. Только торчат из воды несколько черных свай и виднеется полузатопленный буксир «Валя Котик». Будто ничего не было: ни башенок, ни дощатого катера, на котором мы переправлялись в Заречье... Что мы там делали, в Заречье, — не помню, а вот как плыл катер, как приставал к тому берегу под задумчивыми взглядами заречных жителей, как фонарик болтался над тесной палубой — это помню.

Мне так хотелось когда-нибудь показать тебе этот речной вокзал.

А на другой день, с утра тихий и тусклый, мы отправились в Савво-Сторожевский монастырь. Доехали до центра Звенигорода в дребезжащем набитом автобусе, вывалились на грязной рыночной площади и с радостью зашагали по дороге, вдоль реки.

Миновали спасательную станцию с вяло повисшей тряпочкой линялого флага. За ней — церковь на горе. Когда поднялись, то увидели, какая она маленькая. В ней шла служба, в открытых дверях стояли, мелко и торопливо крестясь, старушки. Воздух над платочками колебался от свечных огней.

Толпа как-то внезапно пропустила тебя, и ты оказался в глубине храма. Я видел только твой черный затылок среди белых платков. Пели «Свете тихий, святые славы...».

Белый, почти молочный свет, падая узкими полосами из высоких, невидимых мне окон, становился позлащенным, почти парчовым, когда достигал людей. И казалось, все стоят в оседающей золотой пыли.

Такой свет я видел однажды, когда в каюте теплохода проснулся один, к вечеру. Мягкое солнце бежало по берегу, путалось в стволах сосен, просвечивало насквозь черные дома — лишь окна горели, — хотело бы просветить навывлет и мою каюту. Помню, взял со стола блокнот, а потом долго смотрел на него, на свои руки, на бедные стены каюты. Свет блуждал, ни на чем не задерживаясь, но ничего не оставляя в тени. Каждый предмет терял привычную вещность и начинал дрожать слабым сиянием.

«Гуси-то у меня больно квелые», — сказала мне вдруг на ухо старушка и тронула меня, как препятствие, которое ей необходимо сдвинуть. Я понял, что служба кончилась, вышел, сел на скамейку. Люди пятились от дверей во дворик, крестясь, кланяясь и вздыхая.

Ты подал нищенке бумажку, я тоже вытряхнул мелочь, она, не поднимая головы, шепнула нам вслед: «Спаси Бог вас, братики...»

Мы спустились к дороге. Летел косо березовый лист. Стало заметно, что осень лежит на обочинах. И даже у реки воздух был по-осеннему тих. Что-то пустынно-звенящее было в этом стоянии теплого, но уже прощального покоя...

Когда мы смотрим из горя, то затуманенное слезами настоящее перестает иметь над нами власть, а мгновение в прошлом, самая обыкновенная минута, доселе нами забытая, вдруг придвигается к нашему внутреннему зрению, и ближе ее уже ничего нет.

Ты что-то поднял из травы и протянул мне на руке. Это был маленький желтый, почти треугольный лист. Он был весь в мельчайшей росе, будто его знобило.

А через несколько дней я провожал тебя на Павелецком вокзале.

Когда ты ушел, я слышал, как ты мне говорил сквозь морок тех дней: «Не плачь, не верь...» Я не плакал и не верил, что ты умер. Ты не мог умереть, потому что ты был моложе, лучше, веселее меня. Смерти нет. Мы просто живем вдалеке друг от друга. Но это обычное дело. И вот осень опять. У вас на рынке абрикосы, виноград и яблоки продают ведрами, а у нас в Подмоскowie листопад и в листьях спят собаки. У вас на окраинах снимают последние яблоки, жгут дымные костерки на огородах, цикады потрескивают, а у нас уже заколачивают дачи и в затоны возвращаются пароходы. Иногда по вечерам я слышу, как они гудят, их трубное нутро возносит к небу могучие и тревожные звуки. А так — дни тихие. Как у Тютчева, помнишь? «Пустеет воздух...»



ЮРИЙ КАГРАМАНОВ



## АМЕРИКА ДАЛЕКАЯ И БЛИЗКАЯ

У отстающих есть преимущество

**Д**алекая ли страна Америка (в том смысле, что чужая) или, наоборот, близкая? Не так просто ответить на этот вопрос, хотя отвечать нужно: денно и нощно она не устает рассказывать о себе всеми возможными средствами, и мы, хотим того или не хотим, внимаем ей, кто вполуха, а кто, как говорится, развесив уши.

Можно поставить вопрос резче: не станет ли Россия другой Америкой? Полагаю, ничего неожиданного в такой постановке нет. Если уж Европа (как сыздавна говорили у нас, имея в виду Западную Европу) становится все более похожей на Америку, почему бы и России не последовать ее примеру?<sup>1</sup> Да и следуем уже: наши вкусы, воззрения, стили поведения все больше определяются тем, что приходит из-за океана. Особенно это относится к молодым возрастам. Флюиды американизма вездесущи, притом что далеко не всегда опознаются как таковые; многое из того, что является американским по происхождению, воспринимается просто как «современное», не имеющее изначального клейма «Made in...». На самом деле клеймо когда-то стояло, но стерлось от долгого употребления.

Относительно Европы могут возразить, что Америка — это ее отпрыск, что вместе они образуют то, что называется Западом, тогда как у России — особая статья. Отчасти это, конечно, верно. Но с другой стороны, есть вещи, которые сближают Америку и Россию супротив «старушки» Европы. Еще И. Киреевский назвал русских и американцев народами, которые перенимают «новую европейскую образованность» (просвещенческого и послепросвещенческого толка) оторванною от ее корней. «Новое просвещение, — считал Киреевский, — противоположно старому и существует самобытно. Потому народ, начинающий образовываться, может заимствовать его прямо и водворить у себя без предыдущего, непосредственно применяя его к своему настоящему быту. Вот почему и в России и в Америке просвещение начало приметно распространяться не прежде восемнадцатого и особенно в девятнадцатом веке»<sup>2</sup>. То есть русских и американцев, согласно Киреевскому, объединяет то, что они берут у Европы плоды просвещения как бы сорванными с дерева, на коем те созревали.

---

Каграманов Юрий Михайлович родился в 1934 году. Публицист, критик, культуролог. Автор нескольких книг по вопросам зарубежной культуры. Печатался в журналах: «Иностранная литература», «Вопросы философии», «Новая и новейшая история» и других периодических изданиях. Постоянный автор «Нового мира».

<sup>1</sup> Эта статья в основном была написана еще до того, как началась война на Балканах, вызвавшая у нас всплеск враждебных или по крайней мере неприязненных по отношению к Соединенным Штатам чувств. Но вряд ли он существенно повлияет на процесс американизации России, который идет на более глубоком уровне, чем уровень политических симпатий и антипатий. Можно ведь быть и *американизированным врагом Америки*. Припомним, что сами сербы ответили на бомбардировки НАТО перманентным *рок-концертом* в центре Белграда.

<sup>2</sup> Киреевский И. Полн. собр. соч. Т. 1. М., 1861, стр. 85.

Относительно Америки сегодня надлежит сделать некоторые уточнения. Да, просвещенческие идеи до некоторой степени создали Америку, какую мы ее знаем. Был один такой прекрасный день — собрались пятьдесят пять «философов» в Городе Братской Любви (Филадельфии) и вместе начертили план здания, именуемого Американской демократией. По сю пору незбылемого. Надо, однако, учитывать то, что «философы» были движимы не одними только идеями, в основном французского происхождения; за плечами у них был опыт свободы, вынесенный еще из Англии: там, на «старой родине», складывались некоторые навыки, пригодившиеся в Новом Свете.

Тем не менее определенный отрыв от европейских корней действительно имел место в Америке. Он начался уже тогда, когда первые поселения стали возникать на диком берегу Массачусетского залива: весь строй жизни в них зиждился на религиозном, сектантском по сути, мировоззрении, так мало связанном с исторической почвой, как это не было возможно нигде в Европе (быть может, за исключением кальвинистской Женевы). Усвоение идей Просвещения лишь усилило эту относительную беспочвенность американской жизни. *Nota bene*: беспочвенность историческую, но не онтологическую. Ни разу американцы не прельстились по-настоящему моделью какого-то умороженного совершенного общества, наподобие свифтовской Лапуты парящей в воздухе и нисходящей на грешную землю.

А что же Россия? 1917 год как будто еще больше сблизил ее с Америкой. В результате революции страна резко порвала со своим прошлым и на всех парах устремилась в будущее, светлое или не очень, это уж кто как смотрел. Футуризм в широком смысле слова отличал не одних только большевиков; пожалуй, он стал преобладающей чертой 20-х годов. В конце XVIII века Америку называли «опытным полем» Европы. Теперь «опытным полем», хоть и на иной лад, становилась Россия. Не помнящие родства «советские люди», которых революционная насадка, казалось, только-только под крапивой вывела, строили «новую жизнь», порешив начать с чистого листа — почти как американские «пилигримы» тремястами годами ранее. Да и с учетом американского опыта, а именно его инженерной части. Такие влиятельные течения, как левовцы или конструктивисты, до некоторой степени и сами большевики полагали, что Америка явила пример того, как следует рационализировать человеческое бытие, включая сюда и быт.

Один принципиальный дефект объединял все варианты советского «проекта» — онтологическая бесосновность. В этом было их радикальное отличие от американского «проекта».

В 30-х годах вдруг заговорили «почва и судьба» — только каким-то бесвязным, сбивчивым шепотком, едва ли не утробным урчанием. Наступила реакция: за трескотней о «строительстве коммунизма» обозначилась конкретная цель — построение новой, модернизированной-архаизированной империи. По-своему была восстановлена «преемственность» в плане культуры: «старая» русская культура вновь вошла в некоторую силу, хотя и в сильно усеченном, чтобы не сказать изуродованном, виде.

В то же время на протяжении всего советского периода продолжалось вываривание крестьянской массы в городском котле, что вело к быстрому изживанию еще сохранившихся традиций и бытовых привычек (в Европе переход крестьянства к городскому образу жизни был гораздо более градуальным, плавным; не говорю уж о том, что ни в одной европейской стране не было совершенно погублено дворянское сословие). Россия была пропущена через среднюю школу, в чем, конечно, есть свое благо, но разрыв с живыми традициями породил чрезмерный рационализм, в определенном аспекте представляющий шаг назад в сравнении с онтологическим мышлением, свойственным прежним аграрным сословиям. Пережив крах идеологии, с которой он был связан, этот рационализм сохраняется как стиль или модальность мышления. Чем более «продвинутым» выглядит сегодня россиянин, тем скорее он «строит жизнь» по книжке или сообразуясь с телевизионным уроком (хотя, конеч-



но, во многих случаях необходимость в книжках или телевизионных уроках объясняется не только слабостью традиций или полным исчезновением их, но и высокой степенью новизны некоторых современных сфер деятельности). В этом отношении он близок американцу. Только последний выбирает свои (национальные) книжки и телевизионные уроки, а россиянин — преимущественно американские. Не говорю уж о том, что почти каждый ребенок смотрит по телику американские мультики, почти каждый молодой человек ходит в дискотеку, где получает «воспитание чувств» по-американски, и т. д. Так будет ли удивительно, если «кузина» Россия уподобится Америке еще больше, нежели ее «родная сестра» Европа?

Часто приходится слышать, что Россия в любом случае останется Россией. Такое утверждение далеко не бесспорно. Да и что, собственно, оно означает? Историческая Россия — разная. И дыхание «почвы и судьбы» — это, так сказать, не вполне чистое дыхание, в нем слишком много от смертной природы, от того, что было в истории недужного и порченого. Лишь сознательно выборочное отношение к национальному наследию, лишь творческое развитие того, что развития достойно, позволит «не потерять себя» на открывающихся впереди путях-дорогах.

Мы как народ занялись теперь самопознанием, особенно жадным оттого, что оно было прервано на долгие десятилетия, из которых мы вышли во многом иными, чем были прежде. Самопознание естественным образом включает соотнесение себя с другими народами, в первую очередь с тем, чье присутствие мы ощущаем повсеместно и повсечасно, — с американцами. В предстоящие годы национальное самоопределение в большой мере будет самоопределением по отношению к американцам.

Кстати говоря, обостренное стремление к национальному самоопределению (или самоидентификации, как теперь принято говорить), всегда свойственное русским, — еще одна черта, сближающая наши два народа. Оно мало заметно, например, у англичан или французов. Напротив, американцы постоянно вопрошают сами себя: «Кто мы такие?» и «Куда идем?»<sup>3</sup>. Правда, основания для такого рода озадаченности или, если угодно, мнительности несколько различаются. У русских это прежде всего прочего психологическая раздвоенность между византийским наследием и увлекающим в своем беге Западом. У американцев другое: по многим признакам они бегут впереди, и смущает их порою как раз то, что они ушли в отрыв от остальных.

Генри Миллер нашел даже (в беседе с французским журналистом Ж. Сюффером), что гоголевский образ птицы-тройки больше подходит Америке, чем России. В том смысле, что уж очень шибко эта страна (Америка) несется, не ведая куда.

У отстающих есть, однако, свое преимущество: они могут не повторять ошибок предшественников. Естественно, что для этого ошибки должны быть осознаны как таковые.

Чем лучше мы будем понимать американцев, тем скорее познаем себя и тем точнее найдем свое место в мире. Надо равно отвергнуть старые предубеждения и новые обманы, относящиеся к нашим соседям в западном полушарии. Нынешняя Россия, подурневшая и обносившаяся, склонна занимать крайние позиции в отношении своей гораздо более благополучной соперницы: или чурается ее, угрюмо замыкаясь в себе, или, наоборот, рабски ее копирует. Ни то, ни другое не достойно нашей все-таки великой страны. Надо, не кривая душой, оценить должным образом все реальные успехи американцев. И уяснить для себя, в чем именно следует идти другими путями.

<sup>3</sup> Американский историк и богослов Уильям Дин пишет о своих соотечественниках: «Будто охмелев от некоей смеси, составленной из этнических, религиозных и культурных ингредиентов, они идут, шатаясь, от десятилетия к десятилетию, ища фонарь, который осветил бы им путь к себе, пролегающий из их подлинного прошлого в будущее, несомненно им принадлежащее» (Dean W. The Religious Critic in American Culture. New York, 1994, p. 9).

## Американский характер и «сила вещей»

Чтобы понять другой народ, надо «заглянуть ему в душу». Более того, надо попытаться мысленно пройти теми путями, какими ему довелось пройти. «Америка постоянно борется за свою душу», — писал Гуннар Мюрдаль более полувека назад<sup>4</sup>. Полагаю, что этими словами сказано самое существенное, что может быть сказано обо всей американской истории, прошлой и настоящей.

В наше время многие избегают употреблять понятие «душа народа» как чересчур «расплывчатое», «туманное», предпочитая ему другое — «национальный характер». На самом деле первое понятие более емкое, включающее нечто такое, о чем, как выразился А. К. Толстой, нельзя поведать «на ежедневном языке». Но так и быть, будем говорить о национальном характере. Не касаясь долгого вопроса о том, как он складывался у американцев, подчеркну два заслуживающих быть отмеченными момента. Во-первых, национальный характер просматривается у них отчетливее, чем, скажем, у европейских народов, у которых он «замутнен» классовыми, региональными и прочими внутренними различиями, более значительными, чем в Америке (нечто до некоторой степени схожее мы видим и в России, где «сословности и условности» всегда значили меньше, чем в Европе); в самом деле, «средний американец» — не просто статистическая величина, но и некоторый культурно-психологический тип, к которому психологически тяготеют все слои населения (по крайней мере так было до недавнего времени).

Во-вторых, национальный характер американцев, каков он есть, в очень значительной мере руководствуется сердечными интуициями; таким образом, мы опять сталкиваемся с чем-то «туманным», хотя и вполне определенным.

О том, сколь преданны американцы «обычаям сердца», писал Токвиль, чья книга «О демократии в Америке», вероятно, и в следующем столетии останется для американцев зеркалом, в котором они будут изучать самих себя. А вот образец самохарактеристики, притом достаточно типичной. Президент Вудро Вильсон, который впервые по-настоящему «вывел» Америку на мировую арену, говорил в 1919 году: «У нашего народа чистое сердце. У нашего народа правдивое сердце». И добавил: «Это великая идеалистическая сила в истории»<sup>5</sup>. Нельзя отнести эти слова на счет некоторых парадных обстоятельств, при которых они были сказаны. Вильсон верил в то, что говорил. И он говорил то, что думали, а в большинстве своем и сейчас продолжают думать рядовые американцы. Правда, философ Уильям Джеймс (Джемс, согласно принятому у нас до сих пор написанию) был на сей счет более строг: сердце у американцев имеет свои темные стороны, «как у всех»; но и Джеймс считал возможным доверять его основным интуициям.

Особое доверие к сердечным интуициям сближает русских и американцев — через голову европейцев? Правда, другие свойства американского характера нас скорее разделяют: это и суховатый пуританский морализм, и уважение к законам, ставшее как бы второй натурой, и паче всего прочего расчетливый индивидуализм традиционной России, правда, не чуждый (а торгово-промышленному сословию так даже очень близкий), но на уровне общественного сознания отторгаемый. В Америке расчетливый индивидуализм стал программой под пером Бенджамина Франклина еще до того, как страна обрела независимость. Франклина у нас знают мало, если не считать его портретов, отпечатанных на стодолларовых купюрах, зато у нас хорошо знают Дейла Карнеги, похоже, ставшего одним из самых читаемых авторов «деловой» России. Карнеги — это Франклин сегодня. Техника налаживания «человеческих отношений», которую разрабатывает Карнеги в своих книгах, казалось бы, подчинена одной цели — личному успеху, для которого окружающие служат «строительным материалом». Но вот существенный момент: личный успех, в

<sup>4</sup> Myrdal G. An American Dilemma. New York, 1944, p. 4.

<sup>5</sup> Цит. по кн.: Schlesinger A., jr. The Cycles of American History. Boston. 1986, p. 16.

представлении Карнеги, способствует успеху других. И маленькие психологические хитрости, к которым он советует прибегать, в конечном счете служат общему благу; и не только в силу объективно складывающихся отношений, но и потому, что они исходят или должны исходить от «добротого сердца». Одно из своих сочинений Карнеги прямо заканчивает строгим предупреждением: «Принципы, изложенные в данной книге, окажутся эффективными только тогда, когда они будут исходить от сердца (разрядка моя. — Ю. К.)»<sup>6</sup>. Франклин мог бы подписаться под этими словами.

Известно, что больше всего отталкивало русских мыслящих людей в Европе: мещанство. Сосредоточенность на материальных интересах, мелочность, чрезмерная аккуратность во всем. Олицетворение европейца — щедринский «мальчик в штанах», который больше всего на свете боится огорчить своих родителей. Наверное, похожие мальчики были и в Америке. И все же вряд ли этот тип для нее характерен. На ум приходят совсем иные образы. Том Сойер, который терпеть не может умываться, лезет через забор, где можно воспользоваться калиткой, и никогда не боится послушаться тети Полли. И Гек Финн, в любой момент готовый бежать из благовоспитанного общества хоть к индейцам, хоть к черту на рога. А ведь именно Том Сойер и Гек Финн, особенно последний, — любимые герои американцев. Аккуратисты, живущие по шаблону, могут вызвать у них одобрение, но отнюдь не глубокие симпатии; другое дело — «отчаянные», «романтики», «гонимые за грозой» где-нибудь в прериях.

В. С. Соловьев писал, что всякое существо есть то, что оно любит; наверное, то же самое можно сказать и о целом народе.

В советское время нас кормили Драйзером, американцами заслуженно забытым. Его герой Фрэнк Каупервуд, будучи мальчиком по возрасту, «не хочет быть мальчиком»; он хочет делать деньги и вообще поступать, как поступают самые расчетливые взрослые. Опять же такие мальчики в Америке, наверное, есть. Но думаю, что гораздо больше в этой стране взрослых, сохраняющих некоторое мальчишество.

Если понимать под мещанством сосредоточенность на материальных интересах в ущерб духовным, то Россия — с момента, когда в ней стала угасать вера в потустороннее, — обречена была сделаться мещанской в большей мере, нежели Америка. В 20-е годы явочным порядком такое мещанство успешно пробивало себе дорогу даже в условиях «строящегося социализма». Один из тогдашних героев Вс. Иванова, между прочим большевик (сам Иванов по официальной терминологии того времени — «попутчик»), следующим образом представлял себе будущее: «Через пятьдесят лет у каждого автомобиль, моторная лодка и прожектор (? — Ю. К.)». Такая вот «русская мечта». Потом ее потеснили другие идеалы, советской выделки, хотя и не без участия «старой» русской культуры (представленной отдельными своими «элементами» в принципиально чуждом ей контексте), но их время оказалось относительно недолгим, ибо явились они «миражем на болоте».

Впрочем, если понимать под мещанством приверженность семейным ценностям и добросовестное исполнение своих обязанностей, то нам его как раз остро не хватает. Но его не хватает сегодня и Америке.

Считается, что русского человека всегда отличала артельность. Но я не уверен, что американцы существенно уступают нам в этом отношении. Приведу авторитетное суждение Жака Маритена, несколько лет прожившего в Соединенных Штатах: «К глубинным характеристикам американского народа следует отнести великодушие и чувство человеческого товарищества (compagnonnage)»<sup>7</sup>. Один только фактор освоения новых земель в этом плане многое значит: люди продвигались на запад караванами и в продолжение дли-

<sup>6</sup> Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. М., 1994, стр. 237.

<sup>7</sup> Maritain J. Réflexions sur l'Amérique. Paris, 1958, p. 33.

тельного путешествия, как правило, делились всем, чем можно было делиться. По прибытии на место каждая семья строила себе дом сама, но если что ей было не по силам, например, доставлять бревна к месту стройки, ей всегда помогали другие (примечательно, что фильмы-вестерны не только отражают исторический опыт, но и стремятся удержать его и передать по наследству). Эта традиция взаимопомощи была очень сильна в Америке и, конечно, не иссякла в настоящем.

Я отнюдь не задался целью писать апологию американского характера; я лишь нахожу, что американский характер, если взять его в период становления, значительно ближе русскому, чем это часто думают. Почему же в таком случае многое в современной Америке нас (тех по крайней мере, кто ощущает свою связь со «старой» русской культурой) коробит и отталкивает? Здесь мы сталкиваемся с чрезвычайно сложной проблемой. Со времен Ренессанса европейское человечество развязало силы, способные выходить из-под контроля своих создателей. В Америке это ощущается, быть может, острее, чем в Европе. Американцы «не хотели» многих из тех новообразований, которые ныне кажутся неотъемлемыми от американской цивилизации, и лишь уступили «силе вещей». Одни из этих новообразований они в конечном счете приняли или смирились с ними. Другие не приняли и продолжают им противостоять.

Но тем ценнее для нас американский опыт. Нам ведь еще предстоит пережить некоторые из тех «приключений», через которые прошли американцы.

Возьмите такое явление, как рационализм, овладевший американским обществом за последние десятилетия. Нет, на сей раз речь идет не о расчетливости в достижении определенных целей, но о чем-то гораздо большем — способности видеть мир. Такой рационализм есть результат экспансии науки, не обошедшей стороной и чисто житейские дела. Вся житейская сфера разложена на «проблемы», которые можно и нужно решить (считается, что нерешаемых проблем не существует). Рационализм не только обедняет картину мира, не только обедняет язык, но и самого человека делает другим: окруженный четко очерченными, холодными и себетождественными материальными телами, лишенными некоторого sfumato (как бы намекающего на их «задний» смысл), он становится более «деловым», жестким, а то и жестоким. Но обратим внимание: как свидетельствует область воображаемого, «культура сердца» хоть и отстывает, но пока не сдается; то есть американец продолжает жить как бы в двух мирах одновременно — рациональном мире и мире сердечных интуиций. Чтобы заметить это, надо всего лишь «иметь сердце». Подобное познается подобным.

### Не в деньгах счастье

Одно из самых устойчивых заблуждений состоит в том, что американцы будто бы избыточно преданны золотому тельцу. Может быть, денежные расчеты и в самом деле занимают в их жизни слишком большое место, но этот факт должно объяснить, опять-таки, «силою вещей», а отнюдь не психологией народа. Напротив, ч р е з м е р н а я расчетливость, меркантилизм всегда встречали в американском народе определенное сопротивление, о котором нельзя сказать, что оно было совершенно бесполезным.

Есть некоторые расхождения между русскими и американцами в их представлениях о бедности и богатстве, но это расхождения в рамках единой христианской цивилизации. Русскому народу было хорошо знакомо великое христианское чувство смирения; оно проявлялось и в бедности. Не дал Бог достатка — ничего, на том свете зачтется. Нищета прочней богатства, а бедный двор по-своему даже краше палат каменных: крыт светом, обнесен ветром, птичкой небесною опет. Гол да наг — перед Богом прав. Богатому хуже: деньги что камень — тяжело на душу ложатся. И много прочего в таком же духе. У этого истинно христианского чувства была своя оборотная сторона: некоторая (относительная) неряшливость в хозяйственных вопросах. В то же время богат-

ство нередко сопровождалось утратой «излишней» щепетильности: те, кому выпало сорвать золотую щетинку, не считали для себя зазорным «хлестко пожить», особенно в новые времена.

Американцам, по крайней мере основного, то есть пуританского, корня, искони тоже было знакомо чувство смирения, но проявлялось оно иначе — так, как это предписано Кальвином в его учении о предопределении. Вопрос спасения или гибели каждого отдельного человека заранее решен Высшим судом, и ему лишь остается выслушать приговор, когда придет срок. Но пока каждый обязан трудиться в поте лица — вроде бы на себя и в то же время в буквальном смысле самозабвенно. Успех в этой жизни подает определенную надежду на спасение, но славить Бога должен и тот, кто заведомо осужден!

Такая характерно сектантская напряженность духа не могла не ослабнуть с течением времени. Но закваску новорожденной нации она дала: хорошо известно, в частности, какую роль своеобразная этика пуритан сыграла в развитии капитализма в Америке. Заметим, что вместе с трудолюбием они передали своим потомкам и опасливое отношение к богатству. Стремление к богатству, особенно нажитому коммерческим путем, у американцев считалось скорее предосудительным. Другое дело достаток; Франклин писал, что достаток — это щит против искушений, а богатство, напротив, множит искушения и ослабляет защиту от них. Уже в начале XIX века, когда стали появляться крупные состояния, президент Джон Куинси Адамс (не путать с другим президентом — Джоном Адамсом) гремел против богатых, своими наклонностями и своим образом жизни подрывающих добродетели, коими держится республиканский строй. Еще громче и еще решительнее это делал президент Эндрю Джексон: богатство рождает всевозможные пороки и надо выбирать между служением Господу и служением золотому тельцу. Между тем логика развития капитализма сама по себе неизбежно вела к усилению имущественного расслоения в обществе. Республиканский морализм, таким образом, имел перед собою постоянно возрастающего в силе противника.

Токвиль, посетивший Соединенные Штаты уже в последжесонианский период, спрашивал: неужели демократия, одолевшая королей и феодалов, не справится с капиталистами? Вопрос звучал как призыв.

Знаменитую «золотую лихорадку» (связанную с открытием золота в Калифорнии в 1848 году) сегодня облакает некоторый романтический флёр. А современники называли ее национальной трагедией: дама Фортуна, г-жа Удача, вскружила головы множеству людей, ради быстрого обогащения забывших (или казалось, что забывших) обо всем на свете. Но это были еще только цветочки. Впереди была эпоха, ставшая тяжелым испытанием для американской демократии, пожалуй, самым тяжелым за всю ее историю, — так называемый «позолоченный век» (примерно последняя четверть XIX века и начало XX).

Вступив в индустриальную фазу, открывшую перед ним неограниченные возможности, капитализм постарался сбросить морально-психологические путы, сковывавшие его движения. Закон прибыли пробивал себе дорогу, все расталкивая на своем пути. Это было время, когда легко сколачивались громадные состояния, зачастую самым предосудительным образом — биржевой игрой, ведущейся во вред производительному капиталу, созданием фиктивных акционерных обществ, продажей привилегий, добытых за гроши путем подкупа начальствующих лиц. Богатые перестали скромничать, напротив, выставляли напоказ свое богатство: стали ездить в роскошных каретах с ливрейными лакеями на запятках, носить бриллианты и строить такие дворцы, о каких Америка в прежние времена понятия не имела. Казалось, что стало возможным все купить, включая полицию, судей и политических деятелей. В больших городах, таких, как Нью-Йорк и Чикаго, возымел силу криминальный элемент, отчасти сросшийся с капиталом и, с другой стороны, с государственными структурами.

Знакомая картина? Безусловно, то, что происходит в сегодняшней России, типологически имеет с нею много общего. Хотя и отличия очень существен-

ны. Америка в ту эпоху переживала бурный экономический рост, и ее тогдашние «бароны-разбойники» не только разбойничали, но и строили заводы, фабрики, железные дороги, тем самым создавая множество новых рабочих мест и в целом значительно повышая материальное благополучие нации. Это одна сторона дела. А вот другая. Не в пример нашему постсоциалистическому и деморализованному обществу, американцы сохраняли энергию морального противостояния капитализму — но противостояния разумного, ставящего целью не сокрушить его, но обуздать и заставить служить интересам нации в целом.

Два поколения писателей, журналистов, ораторов (включая сюда политических деятелей, владевших оружием письменного и устного слова), прозванных «разгребателями грязи», оставили не Бог весть какой заметный след в истории американской словесности, зато совершили нечто, пожалуй, еще более важное — помогли Америке сохранить ее моральный тонус. Они не призывали экспроприировать богатых, у них были другие цели: во-первых, юридически оградить интересы бедных и, во-вторых, пристыдить богатых (как показывает исторический опыт со времен античности, это отнюдь не безнадежное дело), пробудить в них христианские и гражданские чувства. Конгрессмен М. Хоуард, автор имевшей широкий резонанс книги «Если бы Христос явился в Конгресс» (1894)<sup>8</sup>, следующим образом отчеканил свое представление о должном, которое все «разгребатели грязи» могли бы, наверное, разделить: «Капитал — слуга народа». Радетелям о мамоне и собственном кармане не место в американском обществе, настаивал Хоуард; они — изменники Делу, начатому отцами основателями.

Бросается в глаза, что, исполнившись антикапиталистического пафоса, Америка не отшатнулась к социализму, и в этом ее глубоко отличает от Европы, в частности от России. Американцы судили капитализм на языке христианства и республиканской политики, а не на языке социального прожектерства. Социалистические и коммунистические идеи не получили в Соединенных Штатах сколько-нибудь широкого распространения, несмотря на то что недостатка в пропагандных усилиях там не ощущалось. К примеру, журнал «Коммунист» начал выходить в этой стране еще в 1868 году, задолго до того, как появился на свет его российский тезка. Более того, именно в Америке были осуществлены первые коммунистические «пробы»: еще в 30-х годах прошлого века там стали возникать отдельно взятые коммуны, о которых Эмерсон писал (в 1844 году), что они становятся «прибежищем для тех, кому не повезло». Впрочем, коренных американцев трудно было соблазнить коммунами; как правило, участие в них принимали европейские иммигранты. В более позднее время (70 — 80-е годы) среди коммунаров появились русские, специально с этой целью приезжавшие в Америку; некоторые коммуны были даже основаны русскими. Американские фермеры смотрели на своих «красных» соседей как на придурков, хотя относились к ним вполне терпимо при условии, что те не практиковали «свободную любовь».

Заметим, что в 20-х годах нашего века русские крестьяне в своей основной массе подобным же образом оставались равнодушны к коммунистическим приманкам: процент коммунаров (колхозников) среди них, несмотря на все усилия властей, колебался на весьма низком уровне — вплоть до «великого перелома». Нормальный человеческий инстинкт подсказывал им, что каждой семье подобает иметь на земле свое гнездо, а оно не может быть достаточно прочным без некоторой собственности. Этот естественный индивидуализм несколько не противоречит артельности, которою известен русский мужик (и на которой пытались и пытаются спекулировать идеологи колхозной собственности); напротив, одно другое дополняет.

Но, конечно, в американском народе частная собственность укоренена глубже — и соответственно противоядие против социалистических идей силь-

---

<sup>8</sup> Кстати сказать, трудно представить, чтобы в Европе того времени могла иметь успех книга, развивающая столь «наивную» мысль, вынесенную в заголовок.

нее. Восприимчивость к «красному хмелю» проявила лишь определенная (меньшая, однако, чем в Европе) часть интеллигенции. Особенно в 30-е годы, пока тянулась Великая депрессия и кое-кому стало казаться, что капитализм исчерпал свои возможности. Некоторое опьянение «красным хмелем» испытали и крупные писатели: Дос Пассос, Стейнбек. В романе Стейнбека «Гроздь гнева» взгляд на «буржуев» — почти соцреалистический. Вот портрет типичного «буржуя»: «...жирный такой, квелый, глаза щелочками, остервенелые, а рот дырой... Смерти боится!» Так могли бы написать Горький или Маяковский. С другой стороны, бедняки, а в данном случае это разоренные оклахомские фермеры, пожалуй, чересчур выделены розовой краской: нравственно они несопоставимо выше тех, кто согнал их с земли; богатство, говорит один из них, нужно тому, у кого душа нищая, а им, фермерам, нужна только справедливость. Что, однако, важно: мы не найдем здесь призывов «грабить награбленное»; у фермеров психология собственников, и справедливость, которой они добиваются, — та, что предусмотрена американским законом и традициями.

Пройдет еще немного времени — и бедняки в Америке практически исчезнут. Экономический рывок 40-х годов позволил американскому народу в целом достичь невиданного доселе уровня материального благосостояния. Капитализм посрамил своих коммунистических критиков: сохранив значительные различия в доходах, он настолько улучшил положение низших слоев, что с этой стороны его трудно стало как-то уязвить. Подтвердилось сказанное некогда С. Н. Булгаковым, а именно, что в экономической жизни есть вещи, *непосредственный вред от которых в дальнейшем может быть превышен приносимой ими пользой.*

А с другой стороны, капитализм был укрощен и пристыжен. Право и мораль (конкретно в части отношения к бедности и богатству) в основном отстояли свои позиции. Национальная мифология отвергла культ золотого тельца; деньги для американцев — скорее предмет необходимости, чем поклонения. Еще допустимо мечтать о богатстве, но не о том, как и на что оно будет тратиться (по крайней мере так обстоит дело в голливудских фильмах 30 — 50-х годов). Подобно тому как ухаживания предполагают нечто телесное, но на язык оно не просится и в кадр не попадает, так и охота за богатством может быть романтизирована, но лишь до момента, когда наступает консумация. Нашли горшок с золотом, который долго искали, — отлично, но на этом конец фильма. А ускользнул он в последний момент — и то хорошо, на душе свободней. Мотив *beati possidentes* («счастливых обладающих») выражен слабо (речь идет, повторю, о Голливуде классического периода, но и в дальнейшем никаких радикальных перемен в этом смысле не произошло). Чтобы богатый был представлен как положительный персонаж, надо, во-первых, чтобы он сам достиг богатства, а не получил его по наследству, и во-вторых, чтобы было известно, что достиг он его честным путем. В тоже время отрицательные (точнее, так называемые «плохие/хорошие») персонажи, выбравшие в жизни заведомо нечестные пути, могут продемонстрировать красивое бескорыстие; для примера: в известном фильме «Буч Кэссиди и Санденс Кид» гангстеры, вроде бы сделавшие своей профессией изымание чужих денег, откровенно смеются над ними, коль скоро они попадают в их руки, так же как и обслуживающая эту пару проститутка.

Конечно, это кино, но дистанция между ним и жизнью не столь уж значительна. Иначе не случилось бы то, что случилось в конце 60-х годов, когда множество выходцев из обеспеченных семей вдруг отправились бродить по белу свету с сумой — большинство, правда, на время, но кое-кто и бесповоротно.

В Америке нет психологических барьеров между богатыми и бедными, какие еще недавно были в Европе, да, пожалуй, и сейчас еще не совсем стерлись (а стерлись, возможно, как раз в той мере, в какой Европа американизирована). Бедняк обладает таким же чувством внутреннего достоинства, как и богач; тем более, что «путь вверх» для первого всегда открыт. Как и для последнего — «путь вниз»: даже в отсутствие склонности к риску, таящей в себе

угрозу банкротства, большие состояния неизбежно истаивают со сменой поколений (из-за огромных налогов на наследство). В советские годы нас кормили рассказами о династиях «некоронованных королей» Америки, но где сейчас все эти Морганы и Вандерльбильды? Даже Рокфеллеры, недавно еще маячившие на первом плане, ушли куда-то в тень. А верхние строчки в списке самых богатых занимают новички, «сами себя сделавшие».

Значительное единомыслие-единочувствие американцев и проистекающее отсюда доверие к другому, ближнему или дальнему, — один из главных «секретов успеха» Америки, в частности в экономическом плане. Ильф и Петров, открывая «одноэтажную Америку» 30-х, сделали выразительную зарисовку с натуры: два впервые встретившихся американца, наскоро познакомившись, начинают со страшной силой хлопать друг друга по спинам и при этом бешено хохочут. Слегка окарикатурено, но схвачено — серьезно-большое в малом. Один как бы говорит другому: «Мы впервые видимся, но я знаю, что ты такой же славный парень, как и я, и хоть стараемся мы каждый для себя, но делаем одно общее дело, которое растет и ширится, и так будет всегда или, во всяком случае, очень долго». Эта вера в общую счастливую звезду заметно сократилась за последние десятилетия, но, пока что-то от нее еще остается, Америка будет чувствовать себя более или менее «на коне».

Мы недавно заново открыли для себя то, что было известно еще экономистам XVIII века: эгоизм может быть творческой силой в экономической жизни. Но это только половина дела. Другую половину, обеспечивающую успех, составляет морально-психологический климат в обществе: чтобы система работала, нужен определенный уровень взаимопонимания и взаимодоверия. Адам Смит, веривший в могущество *Невидимой руки*, гармонизирующей хаотические движения рынка, не считал нужным задерживаться на второй компоненте: он принимал как сам собою разумеющийся тот уровень «порядочности», какой существовал в его время и какой на самом деле был производным от психологических уз, созданных христианством на протяжении веков (С. Л. Франк писал, что всякое взаимное доверие, всякий обмен услуг уже предполагает внутреннее исконное наличие соборного начала). Лишь постепенное иссякание «само собой разумеющегося» заставило всерьез задуматься об этой стороне дела.

В советском обществе на определенном этапе его истории был достигнут довольно высокий уровень взаимодоверия, другой вопрос, каким путем. Исконный принятый в России принцип опознания другого: кладешь крест по-нашему, значит, «свой» — претерпел серию грубых подмен и был существенно укорочен исключением всех «социально чуждых». Обманы стали раскрываться уже в позднесоветское время, так что с «перестройкой» в считанные годы осыпалась вся структура человеческих отношений. В силу инерции остатки ее сохраняются в сознании старших поколений. Зато молодежь, как свидетельствуют социологи (и как без них видно невооруженным глазом), испытывает минимальное доверие или скорее максимальное недоверие к незнакомым другим. (И вездесущая мафиозность есть, в частности, реакция на отсутствие такого рода доверия, попытка заместить его выборочным сообществом с криминальным оттенком.) Возобновить этот необходимый «ресурс» будет очень не просто.

...Капитализм принес Америке изобилие, но изобилие вынудило ее заново прочувствовать старую поговорку «Не в деньгах счастье». Пишет коллективный автор (Р. Белла и другие) книги «Обычай сердца» (интеллектуальный бестселлер 1985 года и, при переиздании, 1996-го): «Нас считают богатым народом... Но истина нашего удела есть бедность. На этой земле мы в конечном счете беззащитны. Все наши пожитки не сделали нас счастливыми»<sup>9</sup>. Далеко

<sup>9</sup> «Habits of the Heart». By R. Bellah, R. Madsen, W. Sullivan, A. Swidler and S. Tipton. Berkeley, 1985, p. 295 — 296.



не все американцы так думают, но чувствует, судя по многим признакам, большинство.

Заново приступив к строительству капитализма, отнесемся к столь многотрудному делу с надлежащей серьезностью, но и без чрезмерных ожиданий. Ведь капитализм — это всего лишь экономический строй.

### С «ти-ай» в котомке

Если американцы в конечном счете приняли развитый капитализм психологически, предварительно сделав его более или менее «домашним», то с сопутствующим ему урбанизмом дело обстоит сложнее.

Америка изначально была настроена резко антиурбанистически. В этом отношении, как и во многих других, она не хотела повторять Европу: большие европейские города являли собой примеры того, как не надо строить человеческое общежитие. Отталкивал, в частности, контраст между богатыми кварталами и трущобами — ни того, ни другого американцы допустить у себя не желали. Трущобы, мало того что их обитатели не могли вести жизнь, достойную свободных граждан, были еще и тем опасны, что время от времени их охватывало революционное безумие, как это показал особенно опыт Франции. Американцам претило видеть у себя санкюлотов, под лозунгами демократии способных только разрушать.

Увы, по мере того как росли американские города, они все больше стали походить на европейские. Правда, трущобами в европейском понимании они не обросли и санкюлоты в них не завелись, но некоторые характерные черты городской жизни, которых строители американской демократии надеялись избежать, проявились в них с той же непреложностью, что и в Старом Свете: скопление большого количества людей в одном месте создавало атмосферу всеобщей анонимности, благоприятной для разного рода своекорыстных побуждений и снисходительной к пороку. А преступность, по крайней мере в некоторых городах, и прежде всего в Нью-Йорке и Чикаго, достигла таких масштабов, что оставила далеко позади Европу.

Америка республиканская и христианская не желала мириться с таким положением вещей. *Mainstream* (основной поток) американской жизни тек своим ходом и всячески стремился увлечь в своем течении города. Евангелисты устраивали «крестовые походы» против того, что они считали, и не без оснований, явлениями городского упадка. Отряды Армии Спасения оказывали разностороннюю помощь материально и духовно обездоленным, брали под свое крыло сирот и т. д. Подобные усилия хоть и не были напрасными, но ожидаемого эффекта не приносили. Урбанизм крепчал и все больше «выходил из-под контроля». Известный лютеранский проповедник Джон Тодд в конце прошлого века посетовал: «Вы опускаете соль в воду и скоро замечаете, что пытаетесь посолить реку: всё куда-то уносит»<sup>10</sup>.

Впрочем, отношение к городу не было однозначно негативным. По мере того как города росли и ширились, в урбанизме открывалась своя «поэзия и правда». Чтобы усмотреть нечто поэтическое, например, в «каменных джунглях» Нью-Йорка, понадобилось особое устройство глаза, ставшее доступным только людям XX века; замечу, однако, что из тех, кто склонен был опозитизировать Нью-Йорк, далеко не все соглашались жить в этом странном городе. Правда же состоит в том, что скопление множества людей создает новое качество человеческих взаимоотношений, в котором есть не только негативные, но и позитивные моменты. На деле человечество есть именно множество, и, значит, у живущих в городе (особенно в большом и космополитическом городе) складывается более полное представление о нем, чем у тех, кто живет в глуши; оборотная сторона этого преимущественного в указанном смысле положе-

<sup>10</sup> Цит. по кн.: Boyer P. *Urban Masses and Moral Order in America. 1820 — 1920.* London, 1978, p. 10.

ния — неизбежная поверхностность отношений многих со многими. Подобным же образом в городе открывается несравненно большее пространство личной свободы, но оно же уставлено и всевозможными ловушками. Одна из них в том, что здесь складывается новый тип конформизма, обращающий свободу в ее противоположность; в числе первых это подметил К. И. Чуковский в статье 1908 года «Нат Пинкертон»: американские города — «многие миллионы людей, сплошных, одинаковых, живущих сплошным, одинаковым бытом». Утрата индивидуальности в условиях города нашла отражение (несколько позднее) в литературе и кино: вспомним «Главную улицу» Синклера Льюиса и «Новые времена» Чаплина.

Этот предельно краткий экскурс в историю понадобился здесь не затем лишь, чтобы показать, как американцы «впустили» к себе урбанизм — «через не хочу». Я к тому веду, что мощная антиурбанистическая традиция отнюдь не угасла в Америке с течением времени; напротив, она получила новый импульс примерно со второй половины 60-х годов, когда урбанизм, казалось бы, торжествовал свою окончательную победу. К тому времени впервые в истории, как на это указал И. Кристол («В конце II тысячелетия». М., 1996), на пространствах Евро-Америки возникла *урбанистическая цивилизация*. Если до сих пор город и провинция (термины Кристола) были как бы двумя антителами в рамках одной цивилизации, то теперь разница между ними почти стерлась в том смысле, что ни в образе жизни, ни в ментальности не осталось больших принципиальных отличий. Но поскольку речь идет об Америке, очень скоро выяснилось, что побежденные не добыты, что они сумели занять новые позиции и переходят в контрнаступление.

Я, конечно, не хиппи имею в виду с их чисто пассивистским протестом против «неволи душевных городов». Хотя с какого-то боку и хиппи имеют отношение к тому широкому движению, которое в США получило название альтернативизма (у него немало общего с «зелеными» в Европе, но в отличие от них оно значительно менее политизировано и значительно более «продвинуто» в практическом смысле). Суть его можно определить как возвращение к земле. Но это очень своеобразное возвращение — с «ти-ай» (технической информацией) и набором современных технических устройств в котомке. В сочетании с дедовскими «простыми технологиями» они, как считают альтернативисты, создают основу существования так называемых самоопорных общин, в высокой степени независимых от современных систем жизнеобеспечения. Нехитрый, по меркам будущего, гелиоаппарат или даже простой ветряк, установленный на крыше дома, способен удовлетворить большую часть производственных и бытовых потребностей ремесленника или фермера. А видеофон и телевизор с обратной связью делают излишними многие деловые, а то и развлекательные поездки и, таким образом, позволяют реже пользоваться автомобилем или даже вовсе обойтись без него. Вообще делаются излишними многие потребности, для «современного человека» привычные, а по сути своей искусственные. Сокращение потребностей, верят альтернативисты, повлечет за собою сокращение крупного производства. И чрезмерно большие скопления человеческих масс станут ненужными в технико-экономическом аспекте, то есть именно в том аспекте, в каком они всегда считались, а многими и сейчас еще считаются неизбежными.

В этой программе, должествующей ни много ни мало изменить облик цивилизации, замечательно то, что она не является плодом чьих-то кабинетных размышлений. Кое-какие теоретические разработки<sup>11</sup> в данном случае следуют за практикой: сотни тысяч, а по некоторым прикидкам даже миллионы американцев в той или иной степени уже приобщились к другому образу жизни, восстанавливающему в правах многие ценности традиционных общин сельского типа, утраченные «городскими дикарями».

<sup>11</sup> Интересующихся могут отослать к следующим, например, авторам: Brown L., Johnson W., Schumacher E. F., Stokes J.

Самоопорные общины возникли прежде всего как ответ на угрозу, которую заключает в себе развитие цивилизации по ее нынешнему пути: все, чем питается современная промышленность, рано или поздно (и скорее рано, чем поздно) будет «съедено» и «выпито», и трудно сказать, найдется ли чем поддержать ее существование; а если не найдется, тогда человек сможет выжить только на земле. Значит, альтернативисты — вроде разведчиков, посланных исследовать таинственный ландшафт следующего века.

Но даже независимо от этой глобальной угрозы самоопорные общины отвечают исконному американскому влечению к естественной среде обитания и жизни в количественно ограниченных коллективах. Ему сейчас труднее реализоваться, чем в прежние времена, поэтому на помощь ему приходит инженерный гений народа, всегда сотрудничающий со здравым смыслом. Американцы, судя по всему, любят возиться с техникой, сызмала переходя с нею на «ты», но те порождения технико-индустриального развития, что выходят за рамки понимания «простого человека», вызывают у них настороженность, переходящую, когда есть на то основание, в прямую враждебность. Это мы видим в американских фильмах, герои которых со вкусом громят всякого рода хитроумные аппараты и конструкции, если подозревают за ними что-то нехорошее, враждебное человеку.

Своеобразное «народное творчество» альтернативного движения (заслоненное от иностранных взоров менее существенной и даже просто чепуховой информацией) — это то, в чем Америку, безусловно, стоило бы догонять; тем более, что технико-экономические макросистемы работают у нас все хуже, обрекая на нищенское прозябание значительную часть населения. Я уж не говорю о глубинной российской антипатии к урбанизму, которая сближает нас с Америкой, возможно, в большей степени, чем любую другую из европейских стран (даже в Германии призыв Ницше «плюнуть на городские ворота» нашел ограниченный и к тому же очень специфический отклик). Она проявлялась открыто, покада это было возможно. Из двух российских столиц, если брать императорский период, первую — на протяжении длительного времени бывшую у нас единственным большим городом европейского типа — принимали за призрак и ждали, что он вот-вот рассеется, а вторая упорно сохраняла в себе черты «большой деревни». По мере продвижения по капиталистическому пути урбанизм все глубже внедрялся в российскую действительность, но и сила сопротивления ему возрастала. Показательны в этом смысле замечания одного из персонажей «Творимой легенды» Ф. Сологуба (1913): зверь «отрастил себе железные и стальные когти и угнездился в городах»; и: «люди строили города, чтобы уйти от зверя, а сами озверели, одичали». (Не будь революции, босоногие герои этого романа, пытающиеся жить «естественной» жизнью, глядишь, стали бы предтечами чего-то похожего на движение хиппи, которое могло появиться у нас гораздо раньше, чем в Америке.)

В советские годы бурный рост городов сопровождался попытками придать им некое «социалистическое» благообразие. При этом упущено было главное — человек, каким он формировался или, скорее, деформировался в городских условиях. Атмосферу больших городов все в возрастающей степени определяли «дети от случайных браков / из унылых жэковских бараков» (И. Шкляревский) и несчастная лимита, забывшая жить по-сельски и не научившаяся по-городски. Сейчас, слава Богу, начался некоторый отток населения из больших городов, и есть признаки, что он продолжится в ближайшие годы. Будущее России во многом зависит от того, как будет развиваться «демократия малых пространств» (Солженицын), делающая возможным возрождение общины и полноценной семьи. И здесь нам был бы очень полезен американский опыт в его технико-организационной части.

Эта сторона жизни, технико-организационная, приобретает сейчас такой вес, какого она не имела, наверное, со времен неолита. Столько всего наворочено промышленностью, что нужно время и нужны чьи-то систематические усилия для того, чтобы обжить новообразованные ландшафты если не в средо-

точии их, ныне представляющем собою «дебрь темную и бесследную», то хотя бы где-то на периферии. В этом отношении американцы с их врожденным прагматизмом, судя по всему, первенствуют. Возможно, здесь простирается новый своеобразный фронтир, только уже не континентального, но мирового значения. Неброская, невидная Америка ощупью пытается отыскать какие-то новые формы материального окружения, от которых, как показывает исторический опыт, духовная жизнь находится порою в прямой зависимости.

### Кулик кулика...

Семнадцатый год знаменовал у нас еще один прорыв в сторону сближения с Америкой — на поле эгалитарных практик.

Голливудские фильмы 20 — 40-х годов, проникавшие в СССР, должны были вызывать у советского зрителя сложную гамму чувств, но по крайней мере одною своею чертой были ему близки и понятны, а именно, грубоватой простотою подавляющего большинства своих персонажей, их подчеркнутым антиаристократизмом. Даже персонажи самых благородных кровей в тех редких случаях, когда они выступали на стороне добра, спешили продемонстрировать эту черту, даже утонченные, по идее, художники или ученые мужи. Так, Жюльен Дювивье, представляя Штрауса в знаменитом фильме, при каждом удобном случае демонстрировал «близость к народу» и не поколебался схватить за нос самого наследника австрийского престола (принятого им, правда, за «рядового» аристократа); я уверен, что этот жест только у американской и советской аудитории вызвал чувство удовлетворения, а Европа в значительной своей части была им покороблена.

И то, как во многих американских фильмах показывали народную массу, было очень близко советским представлениям; возможно даже, что в те времена кинематографисты двух стран в этом плане что-то заимствовали друг у друга. Народ всегда знает, что хорошо и что плохо, — примерно так можно выразить идею соответствующих сцен равно в американских и советских фильмах. Разве что понятия о хорошем и плохом в двух странах существенно различались, но сама аура праведности была на глаз одна и та же. И, конечно, сказанное относится не только к кино: две культуры на всех имеющихся в их распоряжении ристалищах соревновались в апологии «простого человека».

Знакомая историкам «мания истоков» (вполне здоровое влечение, вопреки некоторой сомнительности термина) побуждает обратиться к началам этого исторического феномена. В каждой стране они свои, но есть между ними и нечто общее.

В России мы находим их прежде всего в движении интеллигенции, особенно разночинного происхождения, невысоко ценившей культуру, в которой она видела непозволительное в российских условиях барство. В крайних формах это движение стремилось стереть любые возвышенности, начиная с Пушкина, и свести все к одному знаменателю. В более умеренной форме оно выразилось в народничестве, в широком смысле слова — преклонении перед «народом», то есть фактически перед низшими классами как последней и безусловной ценностью. Противоречивой по своим характеристикам человеческой массе были, таким образом, приписаны качества абсолютной силы, «сверхсущей сущности»; «народушко» (Максим Горький) заменил Бога.

Подобные умонастроения нашли живейший отклик в низших классах с их нарастающим отчуждением от «господ». Старая крестьянская мечта о вольнице казацкого типа получала дополнительное культурное измерение — недоверия к образованным. И революция «внизу» была понята как путь к мужицкому «пиру», на который чужие не будут званы. А по мере того как сам мужик отрывался от своих традиционных корней, его «пированье» обрачивалось торжеством Хама, чья фигура, облаченная для приличия в идейно-культурные одежды, определяла собою ландшафт советской эпохи на всем ее протяжении.

В Америке приходится углубиться в еще более отдаленную историю, а именно во времена популистской революции первой трети XIX века, иначе называемой также джексоновской — по имени президента Джексона (1829 — 1837). Что это была именно революция — быть может, сопоставимая по значению с революцией 1775 — 1783 годов — оставалось почти «не замеченным» вплоть до последних десятилетий, когда она дождалась переосмысления в исторических трудах (что, очевидно, было вызвано резким усилением в американском обществе эгалитарных тенденций, коих начало приходится на джексоновскую эпоху). Сам Джексон, тип рубахи-парня на американский лад, выставлял себя защитником дела, начатого отцами основателями, каковое, по его убеждению, нуждалось в защите от «аристократического заговора». На самом деле Джексон или, точнее, массы, которые шли за ним, явочным порядком осуществляли иной (в некотором существенном аспекте) тип демократии — основанный на безусловной вере в «простого человека».

Отцы основатели республики были мудрыми, высокообразованными людьми и хорошо понимали, какие опасности несет в себе демократический строй. Не все они разделяли точку зрения А. Гамильтона, называвшего народ «великой бестией» и даже «рептилией»; но все видели неизбежную противоречивость демократического принципа: народ должен свободно высказывать свою волю и проводить ее в жизнь и в то же время он должен быть ведом лучшими, *aristoi*. Сто лет спустя Мэтью Арнольд достаточно точно выразил их взгляды и в то же время констатировал относительную неудачу изначального замысла: «Трудность демократии заключается в том, чтобы найти и хранить высокие идеалы. Составляющие ее индивидуумы в большинстве своем люди, которые должны следовать данному идеалу, а не устанавливать его самим; тот идеал добра, возвышенных чувств и высокой культуры, который когда-то давала им аристократия, утерян в силу самого факта, что водворившаяся демократия отменила само понятие низшего класса». И далее: свобода должна быть поставлена «на службу идеалу более возвышенному, чем простой человек как таковой»<sup>12</sup>.

Идейное оформление джексоновской революции пришло уже постфактум и значительно позднее ее самой — главным образом в известной работе Ф.-Дж. Тёрнера «Фронтир в американской истории» (1893). Автор открыто бросил вызов отцам основателям, утверждая, что практика, а отнюдь не какие-то идеалы является движущей силой в истории и что решающее влияние на характер американского народа оказал опыт фронта. Согласно с концепцией Тёрнера, по мере удаления от Атлантического побережья американец сбрасывал с себя «груз» истории и культуры, который оказывался ненужным в условиях «пустыни»; здесь интуиция и здравый смысл заменяли все остальное. И от христианства он уносил с собою главным образом его практический «остаток» — мораль. Так в условиях фронта «естественным» путем складывалась демократия, признающая только горизонтальный принцип — равенства «простых людей», «свободных» от чьей бы то ни было опеки.

Нетрудно усмотреть общую тенденцию, сближающую Америку и Россию, — «возврата к природе» или, если угодно, к дикости из мира истории и культуры. Европа периодически «толкалась» в эту дверь, но распахнули ее Америка и Россия.

В пореволюционной России эта тенденция была сдержана и отчасти подавлена восстановлением государственной вертикали (сказалась внутренняя противоречивость русского характера, то рвущегося в сторону Гуляй-Поля, то покорно склоняющегося под грозным оком власти предрежащей). Но оживленный силою исторических инерций и в чем-то даже ужесточенный иерархический порядок оставался призрачным; ибо нельзя выстроить ничего прочного, отталкиваясь от нигилистического перечеркивания «вещей невидимых».

<sup>12</sup> Цит. по кн.: Кристал И. В конце II тысячелетия. М., 1996, стр. 151.

Уже по этой причине советская империя «штабс-капитанов без Бога» обречена была на относительно короткое, по историческим меркам, существование.

Америка, в отличие от России, счастливо избежала нигилизма, сохранив свое христианство, хотя бы и в превращенной форме; в этом, конечно, ее огромное преимущество. Но христианство ее, мало того что это было протестантское христианство, изначально лишившее себя некоторых важных догматических скреп, еще подверглось существенному «облегчению» — применительно к уровню вольных фермеров и лесорубов, привыкших полагаться на самих себя и не склонных доверять каким бы то ни было авторитетам (кроме авторитета Св. Писания). Такое христианство далеко не всегда способно было удержать человека от обратного включения в «естественный порядок». Более того, изначальная враждебность протестантства к миру истории и культуры по-своему даже способствовала такого рода попятному движению (о чем ниже).

Отсюда — градуальное исчезновение органичного в европейских условиях чувства дистанции, отделяющей великое от малого. И — децентрация американской жизни в духовном плане. В стране не выросла культурная столица, которая получила бы признание как таковая. Не было и нет «кумиров», «властителей дум»; никто из великих американцев, от Мелвилла до Фолкнера, не мог претендовать на это звание и даже не пользовался достаточно широкой известностью. Самые уважаемые личности, отцы основатели республики, задним числом были вовлечены в общий дружеский круг в качестве «своих парней»; виртуально можно похлопать их по плечу за то, что они были «как все»: например, «Бена» Франклина за привычку самому подметать пол в своем кабинете или «Тома» Джефферсона за то, что он перед обеими инаугурациями самолично привязывал к стойке своего коня.

Чего стоит одна эта манера называть друг друга по именам, часто уменьшительным, которой пользуются едва знакомые друг с другом американцы, включая тех, кто дожил до седины и обладает «положением в обществе». Даже сегодняшнему русскому нелегко ее примерить на себя (тем более забавно-дикуватой нашел ее набоковский Пнин). В самой Америке истеблишмент Восточного побережья долгое время противился волне опрощения, идущей с запада (Эмерсон писал, что психология фронта продвигается на восток в то время, как сам фронт движется в западную сторону), но в конце концов сдался; так что простецкость, непосредственность и взаимная фамильярность стали обязательными для Америки в целом.

И если бы еще всеобщее уравнивание и опрощение задержалось на какой-то умеренной стадии, скажем, той, что была пройдена в середине нашего века (изымаю из этого предположения вопрос об уравнивании в правах негров и белых, который тогда не был решен). Но нет, дух эгалитаризма не может остановиться: он ломает на своем пути, кажется, все преграды, исключая, правда, экономические — те, что регулируют уровень доходов и потребления. И тут мы можем только позавидовать американцам, в массе своей спокойно воспринимающим соседа, как бы толста ни была у того мошна. Зато в остальном — совершенная нетерпимость к любым барьерам. Включая те, что разделяют людей по возрастному и половому признаку. В частности, стремление во всем уравнивать мужчин и женщин принимает такие карикатурные формы, которые у потомков вызовут, должно быть, недоумение или смех сродни тому, что именуется раблезианским.

В плане культуры молодежное движение второй половины 60-х годов занялось низвержением еще оставшихся авторитетов и в значительной мере преуспело в этом деле. Сколь печальны его последствия, становится ясно даже бывшим его участникам. Таковы Питер Коле и Дэвид Хоровиц, два известных публициста, в свое время побывавших в «новых левых». «Начав (точнее было бы сказать: продолжив. — Ю. К.) штурм авторитетов, — пишут они в своей покаянной книге „Поколение разрушителей“, — мы ослабили иммунную систему нашей культуры, сделав ее уязвимой для разных приبلудных бо-

лезней. Эпидемия, в фигуральном смысле, преступности и наркомании, так же как и в буквальном смысле эпидемия СПИДа, восходит к шестидесятым»<sup>13</sup>. Добавим сюда «болезни» собственно культурной сферы, охваченной глетворным духом пессимизма и торопливого гедонизма.

Надо, конечно, помнить, что недостатки, о которых идет речь, — это, как говорят французы, «недостатки достоинств» (хотя и очень весомые недостатки, не меньшего веса, чем сами достоинства). Представление о равенстве людей, независимо от социального положения, цвета кожи и т. д., у американцев не (то есть не только) формальное, юридическое; оно «овнутрено» ими в большей мере, чем любым другим народом. Беда в том, что оно не уравновешено в достаточной мере представлением о неравенстве; прежде всего это относится к сфере культуры, где основанием равенства может служить только низший уровень. Такое «равенство в [культурной] бедности» многими у нас принимается сегодня за норму. Российский «кулик», переживший очередное крушение авторитетов и не находящий иных целей в жизни, кроме удовлетворения своих житейских потребностей, видя американского «кулика», демонстрирующего схожие наклонности (и реализующего их с гораздо большим успехом и «блеском»), укрепляется в мысли, что теперь он наконец-то встал на правильный путь.

### Страшная месть

Среди равных, как известно, всегда находятся «более равные». Так в мире политики, и так в мире культуры. Низвергните «кумиров» — и их место тотчас же займут какие-нибудь кумирчики. Сотрите с лица земли гору — и на вас произведет впечатление соседняя кочка. С подобными «неожиданностями» мы теперь хорошо знакомы по опыту массовой культуры.

Особо стоит сказать о том, какое место заняла в ней фигура актера. Историю возвышения актера, если бы кто-то взялся ее писать, пришлось бы начинать издали. Пришлось бы вспомнить, что еще в Век Просвещения актер занимал на «театре» культуры довольно скромное место. Дидро, посвятивший этому вопросу специальный трактат, писал: «Власть над нами принадлежит не тому... кто вне себя; эта власть составляет преимущество того, кто владеет собой». Не таков актер; его душа — тонкая субстанция, способная принять любую форму независимо от собственного содержания и в этом смысле «сама не своя». Даже великий актер, заключал Дидро, — это «и всё, и ничто»<sup>14</sup>.

Схожие мысли высказывал Гёте, проводивший некоторые параллели между актерским «состоянием» и угасающей аристократией. С его точки зрения, задача аристократов состояла в том, чтобы казаться, а задача буржуа — быть; или иначе: для аристократов важнее эстетика, а для буржуа — дело<sup>15</sup>. Актеры продолжают функцию аристократов, поскольку заняты внешней отделкой движений; с содержательной точки зрения они — паяцы, которых дергает за веревочки автор. Интересно, что театральное искусство как таковое Гёте невысоко ценил с гражданской точки зрения; даром что сам сочинял и ставил пьесы. Сцена, утверждал он, не обладает способностью «формировать народ в высоком смысле слова».

Эпоха романтизма произвела переворот во взглядах на художника, что, естественно, отразилось и на положении актера. Искусство перестало обслуживать аристократию; по крайней мере так оно само о себе решило (графини,

<sup>13</sup> Collier P., Horowitz D. Destructive Generation. New York, 1990, p. 16.

<sup>14</sup> Дидро Д. Парадокс об актере. М. — Л., 1938, стр. 47, 49.

<sup>15</sup> Это, конечно, нарочитая схематизация. «Казаться» было важно в «великосветских» салонах, где высоко ценились жест и фраза. Провинциальную аристократию (в России, пожалуй, и московскую), то есть основной ее слой, чаще отличали простота и «домашность»; эстетика имела для нее существенное, но отнюдь не первенствующее значение. Следует также уточнить, что «кажимости» Гёте придает не только отрицательный, но и положительный смысл — тем более, что она требует определенного искусства; буржуа просто не умеет «казаться», даже когда этого хочет.

бросающиеся на колени перед Бетховеном, укрепляли в нем, искусстве то есть, его самоуверенность). С другой стороны, оно высоко вознеслось над прозаическим буржуазным делом. Отныне его сфера — мечта, но мечта активная, преображающая действительность. Художник — жрец, иерофант, теург; с возрастающим успехом он играет эту роль до начала XX века включительно. В свою очередь и актер, пропуская через себя энергии романтического «гениальничанья», возрастает в глазах публики, как и в своих собственных глазах; на свой лад он становится «учителем жизни», носителем вещей предчувствий и священных трепетов.

Но все эти волшебные изменения совершаются в сфере высшей культуры. В представлении народных масс «статус» актера остается по меньшей мере сомнительным. А уж в Америке-то с ее пуританскими традициями — и вовсе предосудительным. Пуританство запрещало любые театральные представления, а всех актеров прямо отождествляло с чертями; и хотя во второй половине XVIII века запрет на представления был снят, сильнейшее предубеждение против них оставалось широко распространенным. На протяжении XIX века американцы относятся к актеру как к человеку второго сорта; к актрисе — немногим лучше, чем к проститутке (впрочем, отрыв от Старого Света здесь, вероятно, не столь уж значителен: вспомним чеховского мещанина, свою покойную дочь-актрису записывающего в церкви как «блудницу»). Актеров еще и потому не жалуют, что улавливают некоторую их внешнюю связь с противной аристократией. Незабвенные Король и Герцог из «Гекльберри Финна» одними своими прозвищами как бы намекают на эту связь. Они, конечно, лжеактеры, но легко увидеть в них карикатуру на реальных актеров; с другой стороны, они самозванцы, но, как выясняется, «ничем не отличаются от настоящих» королей и герцогов — такие же «дрянь люди», как и те.

Даже в начале XX века «одноэтажная Америка» очень косо смотрит на актеров. В романе Эптона Синклера «Столица» (1907) его герой, джентльмен с Юга, так передает свои впечатления о нью-йоркском «высшем обществе»: в нем «царили обычаи и жизненные идеалы, какие, по его мнению, могли быть присущи лишь самой разнузданной актерской среде».

Месть актера за такое не вполне справедливое отношение к себе (а заодно также и к аристократии) была страшной. Заглянув в 20-е годы, мы уже обнаружим симптомы истерии, хорошо нам сегодня знакомой: «великий немой» овладел воображением американцев, а его целлулоидные герои или, точнее, их протагонисты окружены восторженными толпами поклонников, рвущихся хоть раз прикоснуться к своей мечте, оторвать клочок ее (его) одежды и т. д. И ведь речь идет, как правило, об актерах средних дарований, «королях на час», чьим экранным подвигам суждено очень скоро упокоиться на полках кинотеатров.

Раз и навсегда «отказав от дома» аристократишкам, американцы в конце концов сдались перед актерами, распахнув для них все двери.

Перескочив лет этак через сорок, найдем еще более впечатляющую картину. Несчетные скопища молодых, да и не обязательно молодых людей не просто «слушают» певца, «барда» нового стиля, но составляют с ним одно тело, ведомое пьяными духами земли и заходящее в экстазе по ту сторону добра и зла. И здесь актер — жрец, психопомп (водитель душ), только это уже не романтик на котурнах, а «представитель» самой массы, выразитель ее вкусов и потребностей. Восприняв с большим запозданием романтическую концепцию актера, Америка вернула ее Европе переведенною в иной культурный регистр — медиума толпы, в силу своей близости с нею обеспечивающего ее подражательное подчинение; да еще добавила ему черты шамана (результат негритянских вливаний в популярную культуру), заново открывшего древний путь к таинствам природного оргазма.

Эстетизация жизни и паганизация — два аспекта одного процесса. В современном американце явно проступили черты homo ludens, человека играю-



щего — как в смысле мировоззренческом (уступка «богу, играющему в кости»), так и в смысле внешнего рисунка движений. Героями быстротекущего времени стали актер и спортсмен. Между прочим, и преодоление мещанства идет по линии артистизма: традиционная *squareness*, «квадратность» (в уничижительной трактовке «детей цветов»), выражающая жесткий внутренний порядок ценностей и одновременно некоторую тяжеловесность, уступает место внешней многозначной пластичности. Артистизм стал характерной приметой не только частной, но и общественной сферы: достаточно напомнить о том, как глубоко внедрился «шоубиз» в американскую политическую жизнь.

Мы сейчас успешно перенимаем такой стиль культуры и жизни, включающий и равнение на актера; для чего, правду сказать, мы в определенной степени уже были подготовлены. В пореволюционные годы в стране резко ускорилось разрушение старого быта — в результате «жизнь» утрачивала уверенность на уровне первичных жестов и в этом конкретном смысле шла на выучку к искусству<sup>16</sup>. Отсюда — особое, почтительное внимание к актерскому цеху. Теперь оно преобразуется, паче всего в молодежной среде, в поклонение идолам и кумирчикам на американский манер, в которых видят образцы поведения, вкуса и прочая.

Такое положение вещей активизирует силы христианского фундаментализма (у нас, как и в США), в борьбе со зрелищами апеллирующего к раннехристианским авторитетам, гремевшим против гистрионов и смехотворов (в согласье с ними и некоторые светские авторитеты, например, В. В. Розанов, утверждавший, что существо актера — «глубоко дьявольское»). Следует, однако, иметь в виду, что Церковь никогда не пыталась запретить театральные и подобные им представления; это делали только отдельные секты (в частности, кальвинисты в Европе и Америке). С христианской точки зрения вызывали и вызывают осуждение некоторые конкретные аспекты зрелищного искусства: грубость и низость многих народных (сегодня скажем — популярных) представлений (и здесь моральные оценки часто совпадают с эстетическими); корыстное потакание дурным вкусам и наклонностям; изображение зла в приглядном виде. Есть претензия и более тонкого свойства, которая может относиться и к безупречным в иных отношениях представлениям: они возбуждают мечтательность сверх меры, ослабляя тем самым чувство реального, что особенно следует иметь в виду в наше время бурного развития всякого рода виртуальности.

Конечно, все сказанное относится в первую очередь к репертуару, но также и к исполнителям, от которых многое зависит. Исполнитель — посредник между произведением и зрителем. Строго говоря, посредником назначен быть сам автор произведения (и хорошо, когда он отдает себе в этом отчет); он подсматривает нечто в глубине бытия, чтобы сообщить о том желающим слушать; исполнитель же (актер) посредничает между первым и вторыми. По своему назначению он «прозрачен»; отсюда естественная двойственность отношения к нему, которую достаточно точно выразил Дидро. Чрезмерное его оплотнение ведет к тому, что он заслоняет собою высокие и преобразующие энергии, которые должен был бы через себя пропускать. И, наоборот, проводит через себя низшие энергии, становясь игролищем стихий мира сего, «агентом» природного магизма и оргазма.

Стремление к различению подлинного и неподлинного — иллюзорного, деланного, наигранного — вероятно, в равной степени свойственно русским и американцам. Кто из нас больше успеет на этом пути?

<sup>16</sup> В прежние «спокойные» времена дистанция между ними была более устойчивой. Широкий зритель предпочитал ходить в театр на постановки, как раз далекие от того, что ему хорошо знакомо, — нечто из жизни королей и герцогов или, допустим, итальянских разбойников, — и ему, как правило, даже в голову не приходила возможность каких-то подражательных действий.

## «Что с нами происходит?»

Американский вариант шукшинского вопроса: «Что с нами происходит? Ведь у нас есть все, что нужно» (телесериал «Гвин Пикс»).

Ну что, собственно, происходит, ломать голову не надо; если коротко: видимое соотношение добра и зла определенно меняется в пользу второго. Другой вопрос, от чего это происходит. Американцев как раз всегда отличала особая нетерпимость ко злу. В этом их сила и одновременно слабость. Сила потому, что сравнительно с европейцами они меньше были склонны идти на компромисс с inferнальным войском и не признавали в этом смысле никаких полутонов. Сравните, например, их романтиков с европейскими: американцы (за исключением, быть может, Эдгара По, писателя скорее европейского по духу) «не играли» с дьяволом, не соблазнялись его эффектными позами, что часто случалось с европейскими авторами, не принимали даже той хитрой диалектики, переводившей «желание зла» в «делание добра», которую демонстрировал Гёте в «Фаусте». Такая позиция изначально была характерна и для массовой культуры. Традиционный хеппи-энд — это не только условность поэтики, но также и даже прежде всего требование метафизики.

Слабость же в том, что злу полусознательно было отказано в бытийной реальности (что на уровне сознания слишком явно противоречило бы христианству). И когда поменялся знак времен и всевозможные воплощения зла стали обступать американца, почти как гоголевского Хому Брута, это вывало в нем заметную растерянность.

Сегодня мы видим, что американские фильмы (наиболее репрезентативная часть массовой культуры) отличаются от европейских (или отличались, пока европейцы не подладились к американцам) скорее в худшую сторону: там сплошной мордобой, там людей шелкают как семечки и со вкусом демонстрируют разные страшилки. Не следует, однако, спешить с заключением, что добро утратило волю к сопротивлению. Полагаю, что все эти малоприятные вещи в большой мере надо отнести на счет культурного «этикета» (или отсутствия такового), не вполне соответствующего душевному настрою, более того, вступающему с ним в некоторое противоречие. У нас между тем часто путают одно с другим. Такую ошибку (простительную при тогдашнем поверхностном знакомстве русских с Америкой) допустил и Чуковский в цитированной выше статье (напомню — 1908 года). Блистательный переводчик «Тома Сойера» насмотрелся современных ему американских фильмов и пришел в ужас: наступают нечто хамское, почти четвероногое; если так пойдет и дальше, героем для американцев станет татуированный охотник за черепами. Впрочем, и в России, пишет Чуковский, происходит нечто подобное: наша интеллигенция «в значительной мере тоже проглочена сплошным дикарем», и кто знает, не станут ли наши дети носить кольцо в носу? (Носят.)

Отчасти Чуковский был сбит с толку спецификой нового коммуникационного средства, в котором, по младости его, много еще было от ярмарочного балагана; сюда надо отнести, в частности, фарсовую грубость и гиньольную жестокость. Следует также учесть, что в Америке кино сразу стало бизнесом, которым занялись преимущественно недавние иммигранты, выходцы из Центральной Европы, с духовной глубиной страны не знакомые и вместе с тем легко уловившие некоторые ее характерные особенности. Во-первых, то, что в Америке заново вышла на поверхность стихия фольклора (только в отличие от прежних времен обрабатываемая «уполномоченными» на то профессионалами от искусства), везде и всюду содержащая немало грубого и жестокого. Вторая характерная особенность — власть рынка (до некоторой степени вступающая в противоречие с другой национальной традицией — моральной крепости), распространяющаяся, среди прочих, также и на сферу культуры.

«Где начинается базар, начинается и шум великих комедиантов, и жужжание ядовитых мух» (Ницше). Рынок вообще малосимпатичная вещь, когда он выходит из определенных границ; в частности, когда он повсюду напоминает

о себе докучливой рекламой. А культура, оставленная без «присмотра» и отданная во власть рынка, тем более являет собою печальное зрелище. Все «художественное» или претендующее быть таковым вынуждено кричать, жестикулировать, чуть ли не хватать за рукав покупателя; «культурная жизнь» превращается в цирк, что всегда грозит утратой не только вкусовых, но и нравственных ориентиров. Не существует способа обезопасить себя от этой угрозы, оставаясь в пределах рыночных «правил игры». Сделав выбор в пользу базара, американцы должны были принять его вместе со всеми его параферналиями, а значит, и с переносящими заразу мухами.

До поры до времени негативные последствия этого выбора сдерживались сохранявшимся в душе американца «балансом» между раскованностью и внутренней строгостью. Но потом «что-то» стало происходить и «баланс» нарушился (в ущерб, разумеется, второму элементу). Или скорее наоборот: нарушился «баланс» и «что-то» стало происходить. И тогда зло стало сгущаться и расти в объеме: злодеи всех сортов, а также всякого рода монстры, вампиры, терминаторы и прочая плотно населили область воображаемого. И что особенно неприятно, во многих случаях граница между добрым и злым стала трудноуловимой: то славный на первый взгляд парень оказывается кибером, лишенным сердца, или даже инопланетянином, принявшим человеческий облик в каких-то своих коварных целях, то преданный пес в мгновение ока оборачивается мерзким чудовищем. Мир, таящий в себе подобные сюрпризы, уже не внушает прежнего доверия; это мир-обманщик, и с ним надо всегда быть настороже.

Пытаясь понять, отчего это произошло, немалое число американцев соблазнилось и продолжает соблазняться идеей заговора: то ли банкиры Уолл-стрит, то ли советские коммунисты, то ли первые в стачке со вторыми (тоже нередкий вариант) задумали погубить американский народ, одурманив его разными изошренными зрелищами. Хотя большинство, видимо, чувствует, что дело в другом: злохудожества, которые приходится наблюдать — на экране, как и в жизни, — суть плоды свободы. Американцы же дорожат свободой и готовы платить за нее высокую цену. В этом они, конечно, принципиально правы: выбор между добром и злом должен быть свободным (не помню уже, кто из философов сказал: добро должно принадлежать тому, кто его выбирает). Вместе с тем надо брать в расчет и *ситуацию* выбора, все те обстоятельства, которые способствуют или, наоборот, мешают его свободному выражению.

В данном случае определенно негативную роль играют культурные механизмы, сообразованные с требованиями рынка. Они постоянно нагнетают зло, будто раздраят им зрителя-слушателя, провоцируют его. Таким образом, как бы испытывается на прочность исконная американская воля к добру. Но важно заметить, что худо-бедно она это испытание пока выдерживает. Старый ковбойский конь еще не изъездился: как общее правило (крайне редко нарушаемое), герои одолевают злодеев и хеппи-энд возникает там, где ему положено быть, хотя и с более тонкими модуляциями, чем в прежние безоблачные времена<sup>17</sup>.

Вот этот внутренний свет, утративший прежнюю интенсивность, но далеко еще не угасший, у нас воспринимается слабо; по крайней мере если иметь в виду реакцию критики. В том, что пишется, например, об американском кино, преобладает «техническая» критика, сосредоточенная на приемах, на вопросе «отработанности» тех или иных деталей. Не важно, кто убивает кого и за что, важно, как летит пуля и как входит и выходит (если выходит) и как следит за ее движением камера и т. д. и т. п. Способ передачи изображения для «технического» критика уже сам по себе есть эстетический объект; а зна-

<sup>17</sup> Даже там, где хеппи-энда нет, это еще не свидетельствует о примиренческом отношении к злу. Возьмите фильмы жестокого Тарантино: по моему впечатлению, их пронизывает глубинное чувство неприятия зла, некоторое даже удивление по поводу того, что оно вообще существует.

чит, и виртуальное для него «ничем не хуже» реального. Если «технический» критик соблаговолит заметить духовно-душевную доминанту фильма, то она, скорее всего, вызовет у него раздражение: он что-нибудь скажет об «экзальтированности» американцев, их «чрезмерной» серьезности и склонности к «духовке на котурнах» (котурны не котурны, а некоторая идеализация своей страны в американских фильмах, разумеется, есть, но это «нормальная» идеализация, свидетельствующая о том, что существует патриотизм, что есть потребность в идеальном, тяга к нему; напомним слова В. С. Соловьева, что всякий человек есть то, что он любит). Гёте писал: чтобы видеть солнце, надо иметь некоторую «солнечность» в глазу; подобным же образом, чтобы заметить хотя бы светлячков, освещающих американские фильмы изнутри, надо иметь в ретине глаза некоторое соответствующее «устройство». Нашим критикам его явно не хватает.

Правда, и в Америке, насколько я могу судить, «техническая» критика сегодня преобладает<sup>18</sup>. Но это говорит о том, что американские фильмы, при всех их кричащих изъянах, все-таки лучше американских критиков. К сожалению, нельзя сказать того же самого о российских фильмах по отношению к российским критикам. С началом «перестройки» у нас пошла «чернуха», активно использующая «наработки» американского кино. Если бы их не было, наша «чернуха» вряд ли стала бы от этого светлее; но американцы «помогли» нашим «мастерам культуры» выразить явления упадка в постсоветском обществе, поскольку еще раньше столкнулись с чем-то подобным у себя дома. А вот найти силы противодействия этим явлениям они нам не помогут; тем более, что сами, по большому счету, нуждаются в помощи.

Впрочем, косвенным образом они нам помочь все-таки могут, а именно поняв, что происходит с ними, мы лучше поймем, что происходит с нами.

### Ключ замка крепче

Лепка национальной души — дело в первую очередь религии, сообщающей ей ее основные формы; культура занята скорее отделкой деталей. Ключ к пониманию Америки дает ее религиозная жизнь, взятая в историческом развитии.

Говорят, что история Америки началась в день, когда Лютер прибил свои знаменитые тезисы на дверях церкви в Виттенберге. И это верно. Здесь ее духовный исток, во многом предопределивший течение широко разлившегося — конца-краю не видать — потока.

В поле христианства человек определен к восхождению и встрече, один на один, с Богом — таково его задание. Между тем на протяжении Средних веков он был стеснен в движениях множеством нитей, связывавших его с общиной, корпорацией, сословием и прочими историческими образованиями. Протестантство акцентировало в нем личность и поставило целью освободить его от всех надличностных образований. В этом была «частичная правда». Но в нее же вплеталась неправда. Ибо таким образом протестантство порывало если не с историей (каковая есть движение человеческих множеств в их различных формах, неизбежно принимающих надличностный характер), то, во всяком случае, с историзмом в смысле понимания или хотя бы ощущения истории как «раскрывающегося времени». Равным образом оно порывало и с христианской метафизикой, немислимой вне истории.

Америка явила для протестантства идеальный «полигон». Здесь европейский человек получил возможность срывать с себя «обветшавшие пелены» или

---

<sup>18</sup> Разговаривая, тому уже немало лет, с одним американским киноведом, я с удивлением узнал, что выдающийся, на мой взгляд, американский кинокритик Паулина Кейл (Kael) собратьями по цеху квалифицируется как «непрофессионал». «Беда» ее, оказывается, в том, что она имеет привычку (пишу в настоящем времени, надеясь, что она жива и продолжает работать) рассматривать содержание фильма в историческом и общекультурном контексте. Кейл представляет «эссенциалистскую» критику, уже в 70-е годы начавшую «выходить из моды».

то, что он за них принимал. Процесс этот был градуальным и занял несколько столетий. Его важнейшим этапом стала популистская революция первой трети XIX века, в основе которой была религиозная революция, называемая также «Великим оживлением» или «Великим пробуждением». Если пуританство (основная на ту пору религия Америки) в свое время отвергло Предание, возложив задачу опознания и интерпретации Слова Божьего на каждого отдельно взятого пастора, то теперь эта же задача была переложена на каждого верующего, который отныне должен был пасти сам себя. «Простой человек» Америки, тот же лесоруб или фермер, затерявшийся в «пустыне» фронта, решил, что он сам-большой и не нуждается в чем-то указующем персте даже в такой деликатной материи, как «обличение вещей невидимых» (до некоторой степени схожую позицию занимали у нас раскольники-беспоповцы, полагавшие, что «всякий верующий — сам себе священник»). В этом была своя положительная сторона: одинокое предстояние Богу — необходимая часть христианства. Но слишком большую цену пришлось за него заплатить: без устойчивого духовного «надзора» верующий может заблудиться в религиозных вопросах (даже имея в руках Св. Писание) и в конечном счете встать на путь сочинения какого-то своего личного Бога. И это еще не все. Отвержение высоких авторитетов обычно кончается тем, что их замещают какие-то малые авторитеты: американские общины стали группироваться вокруг более или менее случайных харизматиков, далеко не всегда соответствующих той роли, какую им пришлось играть.

«Великое пробуждение» содержало и другие положительные моменты кроме тех, что я назвал выше. Оно отвергло деизм, в конце XVIII века получивший распространение в численно небольшом, но влиятельном секторе американского общества. Оно сделало американцев более эмоциональными, менее связанными строгим чином, характерным для пуритан. Хотя и здесь был свой минус: за отсутствием таинств, дающих ей в православии и католичестве строй и меру, эмоция нередко хватала через край, так что зрелище заходящихся в истерике людей стало в молитвенных собраниях обычным делом (ироническое описание одного из таких собраний дал Марк Твен в «Гекльберри Финне»).

«Великое пробуждение» в большой мере предопределило дух американского общества и его стиль. Оно укрепило рядового американца в его «своеумии» и в то же время сделало его более открытым и сердечным. Оно дало толчок новому дроблению конфессий, а в дальнейшем и распространению внеконфессиональной религиозности, в крайних (пока, впрочем, не столь уж многочисленных) случаях вообще порывающей с христианством. И оно дало «путевку в жизнь» фигуре случайного харизматика, этого заместительного авторитета, с религиозной «сцены» шагнувшего на «сцену» политики и культуры.

...Впечатление Ж. Маритена: американское общество подобно морю. Образ возник как антитеза: европейские общества искони представляли собою нечто пирамидально-устойчивое и по сю пору какие-то элементы пирамидальной структуры сохраняют.

Впрочем, задолго до Маритена другой француз, Токвиль, заметил в Новом Свете явления, только этой «свободной стихии» свойственные: в американском обществе, писал он, постоянно происходят какие-то приливы и отливы. (Я бы доверил его символическое изображение пуантилисту-аниматору, который представил бы его, как множество точек, постоянно движущихся и образующих какие-то сгущения и разрежения.) Токвиль имел в виду, в частности, смену общественных умонастроений, происходящую чисто спонтанно, так что момент возникновения какого-нибудь нового движения так же трудно бывает зафиксировать, как и момент его окончания.

На протяжении всей ее религиозной истории, насчитывающей без малого уже четыре столетия, в Америке наблюдается одно и то же явление: вдруг накатывает волна религиозного прилива, именуемая «оживлением» или «пробуждением» («Великое пробуждение» — наиболее значительное из числа многих других). Потом, естественно, наступает отлив. Даже движение протестующей

молодежи конца 60-х — начала 70-х годов, как это подтверждают американские авторы, по многим признакам было очередным «пробуждением». Хотя, конечно, это было также (а по видимости даже в первую очередь) культурное и отчасти политическое движение. И в религиозном плане оно в значительной мере отошло от христианства, продемонстрировав весьма пестрое «смешение духов»<sup>19</sup>. Никогда прежде не находило столь сильного подтверждения сказанное К.-Г. Юнгом: протестантское христианство превратилось в «дом с рухнувшими стенами», в который ворвались все ветры и все невзгоды мира.

«Ангелоподобные хипстеры, жаждущие обновить старые небесные знакомства» (Аллен Гинсберг), во многом шли путями прежних «оживлений»-«пробуждений», всегда выступавших против отвердевшего фарисейского элемента религиозной жизни, против удерживания человек на коротком поводке морали (что в конечном счете наносит ущерб самой морали). Религия — таинственная жажда полноты; и когда сложившаяся практика в силу тех или иных причин не может ее удовлетворить, дух устремляется в сторону того, что «не принято» или «принято» формально, но не наполнено живым содержанием.

На сей раз дух попытался выйти из рамок протестантства как такового, чего в прежних «оживлениях»-«пробуждениях», кажется, никогда не наблюдалось. Чуткий Сэлинджер, знаковая фигура 60-х, выражая потребность в живой мистике, указал два возможных направления движения: в сторону буддизма и в сторону православия. В одну сторону — холодные высоты отрешенности от всего земного, где личность растворяется в божественном, «подобно капле воды в океане». В другую — интимно-знакомая, но полуутраченная «любовь, что движет солнце и светила». Зуи (в повести «Зуи») правильно указывает источник, позволяющий восстановить утраченное, — это Иоанн (Богослов), первый тайнозритель среди евангелистов, учитель мистической любви. Фрэнни (повесть «Фрэнни») находит в где-то добытой ею книге «Путь странника» (написанной «каким-то русским крестьянином», жившим в «тысяча восемьсот каких-то годах») <sup>20</sup> конкретных людей, которых она любит «больше всех на свете», — это странник, ищущий, кто мог бы ему объяснить, что значит «молиться неустанно» (непрестанная, или «самодвижная», молитва, как известно, — высшая форма аскетической практики в православии), и те, кто принимают его и сами снимают с него его грязные сапоги<sup>21</sup>.

Можно спорить о том, сколь серьезно воздействовал на современное американское сознание буддизм. Зато известно твердо, что путь «в сторону Иоанна» пока остается лишь едва намеченным. Будет ли он когда-нибудь продолжен? Спросите у стихии<sup>22</sup>.

В целом же движение конца 60-х — начала 70-х годов имело следствием резкое усиление религиозного субъективизма: любая отсебятина «уравняется в правах» с институциональными конфессиями. В отличие от прежних «оживлений»-«пробуждений» оно привело к значительному отходу от христианства.

<sup>19</sup> Подробнее об этом я писал в статье «Американская „Симфония“» («Вопросы философии», 1996, № 1).

<sup>20</sup> Это очень по-американски — обращаться к свидетельству «простого человека» вместо признанного духовного авторитета. Хотя автором книги «Откровенные рассказы странника духовному своему отцу», написанной во второй половине XIX века, вряд ли был просто крестьянин. Точных сведений на сей счет нет, но полагают, что им мог быть один из видных иереев.

<sup>21</sup> Примечательно, что нынешние российские умники определенного сорта к религиозным спорам, которые страстно, до истерики, ведутся в нью-йоркской квартире со всеми удобствами, остаются равнодушны; зато воспринимают внешнюю манеру поведения сэлинджеровских героев — их «оборонительный» снобизм (Зуи, говоря о Христе, занимается своими ногтями) и цинизм. Так, Денис Горелов в статье, посвященной Сэлинджеру («Известия», 1999, 13 января) находит в Холдене Колфилде (герое повести «Над пропастью во ржи», человеке одного духа с Фрэнни, Зуи и другими членами семейства Глассов) «ненависть к миру», в целом и частности его, «клокочущее печоринское равнодушие» — и только!

<sup>22</sup> Нельзя, впрочем, не обратить внимания на факт заметного возрастания собственно американской, англоязычной Православной Церкви, что несколько десятилетий назад показалось бы невероятным.

Формально девять из каждых десяти американцев продолжают считать себя христианами; фактически же место христианских представлений все больше занимают неопределенно-расплывчатые фантазмы, делающие возможным дальнейшее сползание в сторону некоего спонтанного язычества. Такова вообще естественная склонность человека в случае, когда слабеет вертикаль, связывающая его с Богом<sup>23</sup>.

...Этот искус начался еще в колониальные времена. Новый Свет обещал стать, в некоторой части, своего рода заповедником для кальвинизма, но он же готовил ему и подвох. Энергичные, целеустремленные люди, работоголики, говоря по-нынешнему, ударившиеся строить град земной (не ради него самого, но Бога для), видя, сколь успешно идет стройка, едва ли не неизбежно проникались хилястической верой в дело рук своих. Что тут удивительного, если даже в Европе, тяжеломерно колеблющейся между прошлым и будущим, убеждение в осуществимости некоего подобия Царствия Божьего в рамках истории длительное время весьма широко распространялось, не обходя даже крупные умы (в России — вплоть до Достоевского и В. С. Соловьева, исключая его поздний период). Тем более это убеждение должно было укорениться в Америке, не считающей себя связанной с прошлым. Если, конечно, не иметь в виду праисторическое прошлое, общее для всего человечества, — акт грехопадения. Хотя желание «оторваться» от этого фундаментального, с точки зрения христианской догматики, факта священной истории появилось у американцев довольно рано: уже к середине XVIII века христианство было у них заражено пелагианством (ересь V — VI веков, подменившая догмат о первородном грехе догматом о первородной невинности). Отсюда пошла в рост мифология невинности (относящаяся равно к индивиду и к нации в целом), сообщившая американской культуре ее особую, с течением времени ставшую явно утрированной жизнерадостность.

Не то чтобы американцы вообще утратили представление о собственной греховности (судя по данным опросов, подавляющее большинство их на словах ее не отрицает); просто оно отодвинулось у них куда-то в тень, на периферию сознания. Так же, как и боль, страдание, о которых «не принято говорить». Единственно достойная тема, с точки зрения большинства, — телесно-психическое «счастье» без границ. Разумеется, «стремление к счастью» (записанное в «Декларации независимости») естественно для человека; как и стремление избежать боли, страданий. Дело не в практических наклонностях, а в том, что искажается картина мира, заливаемая одноцветно-розовой краской; отчего, между прочим, несчастья, когда они все-таки приходят, переносятся тяжелее. В реальной жизни «функция» страдания исключительна по своему значению: оно позволяет прикоснуться к обнаженному нерву бытия<sup>24</sup>.

Конечно, и счастье, если оно без кавычек, тоже человеку нужно: оно дает почувствовать, что существует рай.

Не раз уже было замечено, что современный американец стремится сделать настоящее елико возможно «интенсивным» в потребительском смысле слова. Об этом пишет, в частности, Симона де Бовуар в своей книге о Соединенных Штатах: у американцев слабое чувство истории, отчего время воспринимается ими как простое чередование мгновений, из которых каждое мало связано с предыдущими и последующими. А поскольку переживаемое мгновение оказывается недостаточно заполненным, его стремятся сделать «возбужда-

<sup>23</sup> Человек, говорит св. Афанасий Великий, есть существо «текущее и разлагающееся» по природе. О том же — прот. Георгий Флоровский: «В отделении и отдалении от Бога человеческая природа расшатывается, разлагается, разлагается. Самый состав человеческий оказывается нестойким и непрочным» (Прот. Г. Флоровский. Догмат и история. М., 1998, стр. 191).

<sup>24</sup> «Мы обязаны страданию всем, что было творческого в истории. Страдание есть соль жизни; и в то же время — ее стремящая сила; учитель меры и веры. Оно есть как бы ангел-хранитель человека, спасающий его от пошлости и очищающий его от греха» (Ильин И. Аксиомы религиозного опыта. М., 1993, стр. 341).

ющим» (exciting). Отсюда, утверждает де Бовуар, и любовь американцев ко всяким бьющим по нервам эффектам и к шумной ритмической музыке. Следует только вспомнить, откуда у американцев слабое чувство истории, через меру привязывающее их к каждому отдельному мгновению. Да, это «школа» протестантства, принявшая крайние формы в Америке, сделала их таими. Христианская перспектива осталась, так сказать, на своем месте, но все внимание было привлечено к настоящему. Возьмите знаменитый «Псалом жизни» Лонгфелло: там есть некоторое прозрение пути, пролегающего в «песках времен», но лейтмотив все-таки другой:

Не оплакивай Былого,  
О Грядущем не мечтай,  
Действуй только в Настоящем  
И ему лишь доверяй!

Изначальное намерение было как будто благим: в каждой точке своего бытия человек (сам — движущаяся точка во времени-пространстве) должен иметь прямой выход к Богу. Но оказалось, что в эту точку способен пролезть и враг рода человеческого, зовущий позабыть обо всем, что выходит за рамки «здесь-и-сейчас» и растворить себя, свою личность в стихиях мира сего.

Подытожим кое-что: американское христианство — отпущенное «на волю волн», именно на произвол человеческой массы, состоящей из «духовных беспризорников». Учитывая это обстоятельство, можно подивиться тому, сколь много оно сохранило от христианства. Скажу больше: энергия христианства (в значительной мере уже «позабывшая» о своих истоках), по моему впечатлению, сильнее дает о себе знать в Америке, чем где-либо еще. И в практическом плане, и в плане воображаемого.

Смотришь что-нибудь вроде «Конана-варвара» (сериал, показанный по НТВ) — и сначала обращаешь внимание на то, сколь далеко зашло одичание американской аудитории. Но потом замечаешь другое: в этой варварской среде сохраняется христианский (во многом) строй чувств, сохраняются демократические убеждения. Может быть, такого рода идейно-психический оксюморон и есть знак перехода к «новому средневековью»?

А может быть (и это скорее всего), американское христианство вступило в полосу глубокого кризиса. И новое «оживление»-«пробуждение» выявит глубину его и укажет пути выхода из него. Судя по многим признакам, религиозно чуткая часть молодежи (духовные наследники «детей цветов» 60-х) испытывает нормальную метафизическую тоску, которую воздух Тибета не способен до конца утолить. И она хочет ощущать себя внутри истории, а не вне ее. Вот характерное признание героя романа «Поколение Икс» Дугласа Коупленда (похоже, наиболее значительного «выразителя» настроений той части молодежи, о которой здесь идет речь): «Сегодня, когда мы имеем фантазмагорическое отсутствие всякого исторического присутствия, мне нужна связь со значительными событиями былого, любая тонюсенькая ниточка». Настоящий крик души. Точка хочет попасть на линию, ведущую из прошлого в будущее, а не просто «болтаться» в пространстве-времени.

Этот очерк американской религиозности, взятой в ее историческом развитии, предельно беглый и поверхностный, нужен был, на мой взгляд, потому, что есть кричащие пробелы в нашем знании об Америке именно с религиозной, то есть наиболее сигнификативной, решающей, стороны. Заполнять их — далеко не только академическая задача. Ибо наше самоопределение по отношению к Америке должно быть религиозным в первую очередь. Надо оценить по достоинству все позитивные моменты, которые содержит в себе христианский персонализм протестантского толка, и те плоды, которые принес он в уникальных условиях Нового Света, и весь американский опыт, ни на какой другой не похожий. И в то же время надо видеть однобокость этого опыта, ко-



торая ощущается чем дальше, тем острее и рано или поздно (скорее рано, чем поздно) неизбежно приведет Америку к какой-то драматической внутренней перестройке.

Двигаясь от противного, можно лишний раз удостовериться, что нужно для того, чтобы удержать полноту христианства. Наверное, не в последнюю очередь здесь должна быть названа поразившая Данте *лестница Иакова* — принцип мироздания, представляющего собою иерархию Сияний и Начал, «сил» и «качествований». И одновременно принцип восхождения человека, нуждающегося на этом пути в определенном научении (такое представление антиномично сопряжено в христианстве с другим, именно тем, что односторонне акцентировано протестантством: Бог устанавливает связь с человеком, каждым в отдельности, минуя все «инстанции»). Как в небесных делах, так и в земных человек должен нести бремя свободы — но равным образом он должен опираться на авторитет. «Преклонение (reverence) перед величием авторитета является естественной склонностью человеческого сердца», — пишет великий американский теолог Рейнхольд Нибур (стремившийся удержать протестантство от девиаций, выводящих его за рамки христианства)<sup>25</sup>. Надо было столетиями ее подавлять, чтобы воспитать в «простом человеке» ту чрезмерную самонадеянность, которую мы ныне наблюдаем в Америке и которая распространяется оттуда по всему миру.

У нас этот психологический излом, «made in USA», накладывается на остатки патерналистского мышления советского пошиба, лишь усиливая общую смуту. Между тем наметить путь выхода из нее в принципе несложно. Всего-то надо — преодолеть «слабоумное изумление перед своим веком» (как однажды выразился Пушкин). «Сидим» на сокровищах более ценных, чем нефть или алмазы, способных выдвинуть нашу страну в круг исторически передовых и даже, в некотором высоком смысле, сделать ее — страшно сказать — самой передовой из них. Надо только суметь так к ним (сокровищам) прикоснуться, чтобы они — как это случилось с драгоценным камнем в одном из сказов Бажова — зажглись от прикосновения новыми живыми светями. Задача не из легких, но — при наличии творческой воли — решаемых.

---

<sup>25</sup> Niebuhr R. Faith and Politics. New York, 1968, p. 98.

---

---

ВЛАДИМИР ОШЕРОВ



## ТИНЕЙДЖЕРЫ У ВЛАСТИ

**С**удя по высказываниям западных политиков и обозревателей в разгар балканского конфликта, военная акция НАТО в Югославии должна была знаменовать начало нового этапа международных отношений. Как писал известный либеральный публицист Джон Джудис в еженедельнике «New Republic» от 24 мая: «Косово есть первое настоящее испытание для наций „третьего пути”<sup>1</sup>. Это особая война — начатая не только для того, чтобы достичь стабильности на Балканах, но и для утверждения определенного морального стандарта». Джудис заметил далее, что успешное завершение войны укрепило бы позиции Клинтона, Блэра и Шрёдера. Оно «установило бы прецедент в международной практике и помогло бы утверждению идеалов демократии и прав человека, способных воспитывать дух сообщества среди различных народов». Цели самые благие, что и говорить.

И хотя прекращение военных действий было официально объявлено победой над Милошевичем, победная риторика, подобавшая такому успеху, не только, на удивление, быстро улетучилась, но югославская тема вообще ушла из передовиц, заголовков и сводок новостей, и даже самые влиятельные и независимые комментаторы в Америке стушевались и стали воздерживаться от итоговых оценок того, что было недавно в фокусе внимания всего мира.

Это молчание громче всяких слов говорит о подлинности «победы». Что касается новой эры международных отношений, то даже из скудных обрывков мнений, здесь и там неволью прорывающихся наружу, возникает ощущение неловкости, ощущение общего стыда. Хочется верить, что рано или поздно этапный характер балканской войны 1999 года будет оценен по достоинству, но смысл и последствия ее окажутся далеко не теми, какие виделись вдохновителям и исполнителям акции. То, что сама акция была откровенным нарушением целого ряда принципов международного права, не вызывает сомнений. Но сейчас хотелось бы поговорить не о каких-то конвенциях, хартиях и декларациях, а о самых простых понятиях нравственности и чести.

Состояние нравственности в Америке вот уже много лет, по крайней мере начиная с 60-х годов, служит предметом беспрестанного обсуждения, предметом беспокойства, тревоги для одних и зубоскальства для других. И тема эта — исконно американская. Америка пережила за свою сравнительно недолгую историю столько контрастных периодов нравственного упадка и подъема, что подобным чередованием не могут похвастаться даже народы с куда более древней историей — за исключением, конечно, ветхозаветного избранного народа.

«Великие пробуждения» — «Great Awakenings», revivals — давно стали неотъемлемой частью американской мифологии наряду с Революцией, покорением Юга, Гражданской войной и т. д. В то время как где-нибудь во Франции, Швеции или Голландии моралью уже давно перестали интересоваться, в Штатах продолжают спорить, размышлять, обличать, призывать народ к пока-

---

Ошеров Владимир Михайлович родился в Москве в 1940 году. Выпускник ВГИКа. С 1981 года — в эмиграции. Автор статей на публицистические и социологические темы. Современный политолог и публицист. Живет в Чикаго (США).

<sup>1</sup> Нации «третьего пути» — США, Англия, Германия, где после долгого перерыва к власти пришли умеренные социал-демократы.

янию, добиваться принятия либо пересмотра законов и судебных решений, прямо связанных с нравственностью.

Это неудивительно, если учесть, что Америка «начиналась» с пуритан и что процент американцев, регулярно посещающих церкви и верящих в Бога, намного выше, чем в любой другой западной стране. Вместе с тем, воздавая должное Всевышнему и явленным в Библии заповедям праведной жизни, многие сегодняшние американцы уже давно смотрят на нарушения традиционных моральных устоев более чем снисходительно, особенно если это не задевает их лично и вообще не наносит видимого ущерба — материального, духовного, психологического.

Явным свидетельством такой снисходительности было избрание Билла Клинтона президентом. Первые же недели его пребывания в Белом доме ознаменовались серией громких скандалов, перечисление которых заняло бы слишком много места, но смысл, в общем, сводился к пренебрежению самыми обычными нормами этики, а порой и конкретными законами США. Но ни скандалы, ни иеремиады современных «пуритан»-консерваторов не произвели большого впечатления на публику. Билла вторично избрали президентом, и он правит по сей день.

Особым же подтверждением мягкости и этической всеядности большинства американцев были стабильно высокие рейтинги популярности Билла на протяжении всего 1998 года, когда всплыла история с Моникой, а затем — факты лжесвидетельства под присягой, попытки оказать давление на свидетелей и все прочее, повлекшее за собой процесс отрешения Клинтона от должности, в итоге — и по причине той же общей снисходительности — безрезультатный. Вот в такой атмосфере нравственной расслабленности и благодушия как раз и начались активные действия Америки и НАТО на Балканах.

Как же реагировало на войну американское общество?

Вспомним, что действия НАТО были отчасти оправданы в своих исходных намерениях: защите гражданских прав косовских албанцев от посягательств режима, особой деликатностью, мягко скажем, не отличающегося. Расчеты на успех в этом деле в значительной степени строились на том, что Милошевич — «bully». Это английское слово переводится приблизительно как хам, грубиян, любитель помахать кулаками, запугать. Считается, что «bully» выглядит крутым только до тех пор, пока имеет дело со слабыми противниками. А в душе он — трус, и стоит дать ему пинка, он сам запросит о пощаде. Так и планировалась операция в Югославии. (Впрочем, западные стратеги судили, кажется, по себе: с Китаем или даже с Россией они бы не посмели так обойтись, как с Югославией Милошевича.) Когда же блицкриг не получился, было решено добиваться своего любой ценой.

По телевизору с утра до вечера показывали кадры плачущих, голодных беженцев, а комментаторы обличали Милошевича и его подручных. Если верить опросам общественного мнения, поначалу около 70 процентов американцев были озабочены судьбой беженцев и считали, что НАТО поступило правильно, вмешавшись в конфликт, и что правда на стороне Запада. Но нелепость военного вмешательства была настолько очевидна, что у многих, вероятно, все-таки возникали сомнения. Когда же стало ясно, что жертвой массированных бомбардировок Югославии становится в основном гражданское население, уровень поддержки снизился, но не намного (что отчасти понятно, учитывая оглушающую психологическую обработку со стороны СМИ).

Однако определенная тенденция, говорящая о нравственном состоянии американского общества в целом, просматривалась даже у тех, кто не одобрял действий НАТО. Прежде всего заметен был любопытный разрыв между желанием чувствовать свою правоту и готовностью понести ради нее жертвы. Разумеется, не все американцы своекорыстны и опасливы, но за основу политики клинтоновской администрации было взято именно такое понимание общественных настроений. Клинтон делал все, чтобы избежать малейшего риска потерь среди американских военнослужащих. По этому поводу политолог Джере-

ми Рабкин писал в журнале «National Interest»: «Американские политические и военные лидеры принимают как само собой разумеющееся, что американский народ не поддержит мероприятия, чреватые подлинными жертвами... Привычка относиться к военным операциям как к зрелищному спорту слишком глубоко укоренилась, чтобы допускать вопросы по поводу того, кого убивают ракеты и что этим достигается».

В «New Republic» ему вторил либеральный обозреватель Леон Визельтьер: «Он (Клинтон. — В. О.) нашел способ ведения войны, в которой американцы не погибают, удачливой и трусливой войны с помощью высокоточной технологии, оставляющей беззаботными общественное мнение и совесть. Эх, научиться бы еще вести такую войну, где американцы бы никого не убивали!» Были и другие трезвые и беспристрастные голоса, голоса тех, у кого нравственная сторона действий НАТО вызвала сомнения.

...Насилие во имя добра, противление злу всегда были и будут предметом размышлений многих как светских, так и религиозных мыслителей. Лев Карсавин писал по этому поводу: «Обычно учение о непротивлении злу опровергается с помощью некоторого воображаемого и якобы конкретного примера: как поступит непротивленец и как должен поступить христианин, если злодей посягает на жизнь младенца и спасти младенца можно, только убив злодея?.. Один обуздает злодея, не причинив ему вреда, другой вступит с ним в борьбу, третий „случайно“ в борьбе его ранит, четвертый „убьет его, как собаку“. Тот или иной поступок соответствует существу и состоянию именно данного человека...»

Но простейшие понятия о чести говорят нам, что акт насилия или убийства, даже ради защиты чьей-то чужой жизни, допустим лишь тогда, когда сам «защитник» если и не жертвует, то хотя бы рискует жизнью. В противном случае стирается грань между оправданным, неизбежным насилием и бойней и терроризмом, когда людей без разбора убивают с помощью мин замедленного действия или дистанционных устройств во имя «высокой» цели или в знак протеста. Особенно трогательно, когда пойманные террористы становятся в позу мучеников, объявляют себя «военнопленными» и требуют, чтобы с ними обращались согласно правилам Женевской конвенции. Такой терроризм — явление нового времени; ни Карсавин, ни какие-либо другие христианские авторы ничего не говорили о противлении злу с безопасного расстояния.

Даже бомбежки Дрездена и Хиросимы, предпринятые, чтобы сломить упорство немцев и японцев в конце долгой и кровавой войны, в наши дни принято считать варварством. Слободан Милошевич может быть подлецом, как и те сербы, что запятнали себя надругательствами над безоружными албанцами, но бомбить за это *сербов вообще*, призывая их к свержению Милошевича и при этом не подвергая себя никакому риску, — сомнительный метод «утверждения идеалов демократии и прав человека».

Впрочем, большинству американцев такая тактика не казалась морально сомнительной — или они не хотели в этом сами себе признаться. Поскольку потеря в живой силе не наблюдалось, то и подвести баланс по окончании боевых действий не составило особого труда. Война обошлась США в десяток миллиардов долларов, и такая денежная оценка войны по-своему знаменательна.

Многие считают, и не без оснований, что сегодняшняя «терпимость» американцев связана с беспрецедентным экономическим бумом. И с тем, что на протяжении последних двух десятков лет усилия нескольких администраций, как республиканских, так и демократических, — и даже многих церквей и христианских проповедников — сводились к тому, чтобы всячески поощрять в среднем американце дух стяжательства.

Даже многие левые журналисты и обозреватели, прежде настроенные против «большого бизнеса», стоявшие на стороне обездоленных, бедных, практически ратовавшие за социализм, перешли сейчас к воспеванию выгод инвестирования и предпринимательства. Традиционные способы накоплений и сбере-

жений — долгосрочные банковские счета, пенсионные фонды — уже никого не устраивают. Хочется чего-то большего, и на самом деле получается больше. Сегодня свыше 80 миллионов человек имеют вложения в биржевые акции, то есть, попросту говоря, участвуют в спекуляции и игре.

Безбедное существование по гроб жизни уже обеспечено большинству американцев. Излишки надо куда-то деть, получив при этом максимум удовольствия. Например, множество состоятельных американцев мечтают «прокатиться» в космос, готовы заплатить за это любые деньги, и НАСА, бюджет которой был значительно урезан за последние годы, сейчас вполне серьезно рассматривает планы организации коммерческих «круизов» с применением кораблей многоразового пользования типа «Колумбия». Стоимость билетов на такой круиз будет исчисляться миллионами долларов. Но желающих хоть отбавляй.

По всей стране небывалыми темпами растет игорная индустрия, еще до недавнего времени ограничивавшаяся Лас-Вегасом и Атлантик-Сити. В азартной игре участвуют многие миллионы. Не у всех, конечно, любовь к игре переходит в категорию неконтролируемой мании, но и таких игроков уже миллионы. Хотя ясно, что это находится в вопиющем противоречии с протестантской трудовой этикой — предметом заслуженной гордости всей Америки.

В материальном благополучии, честно заработанном, нет, разумеется, ничего предосудительного. Христос сказал, что богатому трудно войти в Царство Небесное — трудно, но не запрещено. А на этом свете хочется жить сносно, с удобствами. Можно смело сказать, что большинство народов мира и индивидуальных homo sapiens по-своему стремятся к этой цели. Но одно дело разумный достаток, другое — страсть делаться все богаче какими угодно способами.

Еще в разгар «Моника-гейта» видные американские консерваторы — Гэри Бауэр, Пэт Бьюкенен, Пол Уэйрих, д-р Джеймс Добсон — открыто выступили с обвинениями в адрес американской нации, по их мнению, в последние годы утратившей, растерявшей духовное наследие своих просвещенных «отцов основателей», не говоря уже о суровых «отцах пилигримах». На самом деле, если уж говорить о нравственном упадке, то даже на основании статистических данных видно, что моральный упадок наблюдается вот уже более *тридцати лет*, начиная с «сексуальной революции», полной отмены цензуры (с одновременным запретом на молитву в школах), бурного роста числа иждивенцев, живущих на государственные пособия, и т. д. — всего того, что связано с понятием «60-е годы». За это время в экономике были и спады, и подъемы, но размывание нравственности продолжалось неуклонно. Просто у консерваторов была иллюзия, рожденная восьмилетним президентством Рональда Рейгана, что за ними стоит «моральное большинство» американского народа. Президентство же Клинтона эту иллюзию несколько подорвало.

В период военных действий большинство публики, как уже говорилось, поддерживало и президента, и своих военных. Мы хорошо знаем, насколько велик патриотический соблазн гордиться своей военной мощью, и американцы в этом мало чем отличаются от русских. Но пока Америка и ее союзники старались утвердить новые принципы морали в Европе и мире, американцы у себя дома были потрясены событиями, развернувшимися утром 20 апреля в школе «Колумбайн», в тихом городке Литлтон, штат Колорадо, где два семнадцатилетних школьника, Эрик Харрис и Дилан Клиболд, вооружившись автоматами и пистолетами, с хладнокровием профессиональных террористов расстреляли тринадцать своих однокашников, выбирая в основном тех, кто пользовался особой популярностью в школе, например, спортсменов, а еще — верующих. Перед тем как уничтожить свою ровесницу Кэсси Берналл, Харрис и Клиболд спросили ее, верит ли она в Бога. Она ответила «да» — и в ту же секунду была убита выстрелом в висок. Затем, когда полиция окружила школу и бежать было некуда, террористы застрелились.

Шок был настолько сильным, что даже про Косово на минуту забыли. Реакция Белого дома на литлтонское побоище была характерна: начались лихо-

рабочные поиски козлов отпущения. Клинтон немедленно обвинил во всем изготовителей и торговцев оружием и призвал к введению новых ограничений.

В Америке часто приходится слышать, что, если человек желает сам себе наносить вред путем пьянства, курения, беспорядочной половой жизни и т. д., он имеет на это полное право, пока его действия не нанесут ущерба кому-то другому, каждый — сам себе босс, хозяин. Так утверждал сто пятьдесят лет назад отец современного западного либерализма Джон Стюарт Милль. Но странным образом, в той же Америке додумались до того, чтобы судить табачные компании за то, что курильщики подвержены раковым заболеваниям больше, чем другие смертные. И хотя предупреждения об опасности курения уже много лет красуются на сигаретных пачках, за последние два-три года несколькими табачным компаниям пришлось основательно раскошелиться под давлением коалиции политиканов (Клинтона в первую очередь), юристов и судей. Одну компанию присяжные недавно признали виновной в изготовлении «недоброкачественного продукта», как будто табак — это лекарство или продукт питания. Согласно той же логике, за убийства, даже совершенные уголовниками, должны нести наказание промышленные и торговые фирмы, связанные с производством оружия. Рост насилия в школах, растерянность по поводу того, как, по каким законам следует судить юных преступников, — все это понятно. Но при чем тут изготовители оружия?

Попытка президента свалить все на общедоступность оружия показалась многим лицемерной — мотивированной лишь политически, поскольку оружейная индустрия в основном поддерживает республиканскую партию. Пришлось срочно перестроиться: следующими на очереди оказались вернейшие союзники президента — Голливуд, «творцы» кино, телевидения, видеоигр. Дело в том, что Харрис и Клиболд проводили долгие часы, любуясь всевозможными сценами насилия на ТВ и в Интернете, и вообще о перенасыщенности массовой культуры кровавой тематикой американцы говорят со все нарастающей тревогой.

Клинтон немедленно — в изворотливости ему не откажешь — призвал своих друзей из развлекательного бизнеса проявить сдержанность в выборе формы и содержания своей продукции. Но и такая «жертва» не удовлетворила общественность. Уже становилось ясно, что главное — не в насилии на телеэкране или в видеоиграх. Юные убийцы отнюдь не были слабоумными или неуравновешенными. С полным ощущением своей моральной правоты они трезво спланировали и осуществили всю операцию и даже себя самих убили, только убедившись, что иного выхода нет.

Кто же виноват? Ждать ответа пришлось недолго. Как выяснилось, родители убийц, по существу, не занимались своими сыновьями, не знали ничего ни об их внутренней жизни, ни даже об их делах, интересах, связях — например, о том, что те несколько месяцев посвятили изготовлению взрывных устройств в семейном гараже, под самым носом у папы и мамы. За последние годы в Америке много было сказано по поводу разрушенных семей, безотцовщины, матерей-одиночек как главной причины роста молодежной преступности. Но семьи Харриса и Клиболда были настолько типично американскими — добропорядочными, законопослушными, зажиточными, — что невольно заставили многих американцев посмотреть на самих себя и на свои отношения с детьми. Сам ужасающий факт массового убийства, совершенного отнюдь не в темных закоулках городских трущоб, не в перестрелке между враждующими бандами уголовников или торговцев наркотиками, а в стенах обычной американской школы, сразу сфокусировал внимание на состоянии всего общества.

Возможно, это ощущение — что в самой Америке далеко не все в порядке, а потому не стоит становиться в позу морального лидера и учить других с помощью военной дубинки, — это ощущение и побудило многих, очень многих американцев пересмотреть свои оценки балканской агрессии. И хотя число противников (среди них надо отметить большинство христианских органи-

заций в Америке) никогда не превышало 40 — 45 процентов от общего числа опрашиваемых, но и это свидетельствует о многом.

Трагедия Литлтона представляется нам симптомом другого, более общего явления — некой инфантилизации «омоложения» Америки, впадения американской цивилизации в своего рода нравственное отрочество, при том что средний возраст американцев постоянно растет.

Профессор Майкл Платт, литературовед и социолог, пишет, что до Второй мировой войны в Америке не существовало такого понятия и слова, как *teenager* — «тинейджер». Оно впервые появилось в словаре Уэбстера в 1961 году. Это — важное наблюдение, поскольку существовавшие ранее понятия, как, например, подросток, юноша, девушка, подразумевали некую переходную возрастную категорию на пути к взрослению. Понятие «тинейджер» несло в себе совершенно иной смысл.

Оно говорило об устойчивой, стабильной возрастной категории, обладающей вполне самостоятельными и социально значимыми психологическими, духовными характеристиками и претендующей на полное равноправие с категорией взрослых. Практическая направленность новой парадигмы заключалась в том, чтобы дать молодежи больше автономии, позволить молодым людям свободнее выражать, находить себя, самоопределяться. Такое новое понимание отчетливо прослеживается в американской педагогике, в частности у Бенджамина Спока, и хорошо представлено в послевоенной американской литературе, например, у Сэлинджера, Алдайка и Джека Керуака, в фильмах с участием Джеймса Дина, в «Выпускнике» Майка Николса, и конечно, в рок-музыке, надолго ставшей главной формой тинейджерского самовыражения.

Вне всякого сомнения, тинейджеры 60-х годов ощущали себя более самостоятельными, чем их отцы и матери, но не потому, что повзрослели и обрели подобающий взрослым жизненный опыт, а потому, что имели на это «право» — в силу возведенного в культ всеобщего «равноправия», границы которого никогда не удовлетворяли левых либералов и продолжают, по их инициативе, расширяться по сей день, невзирая ни на какие тревожащие сигналы.

Возвышение социального статуса юношества почти неизбежно происходило за счет умаления авторитета старших, прежде всего родителей. Новый подход радикально менял всю жизненную ориентацию молодежи 13 — 19 лет. Холден Колфилд, герой повести «Над пропастью во ржи», говорит: «Не доверяй никому старше 14 лет». К сожалению, «неожиданным» результатом раскрепощенного самовыражения стал не всплеск творческой энергии, не бурный расцвет молодых талантов, обещанный сторонниками нового подхода, а серьезное замедление процесса взросления, своего рода фиксированность подросткового менталитета на всю последующую жизнь.

Автономией молодежи воспользовались прежде всего дельцы. Миллионы подростков, вырванных из-под родительской опеки, куда легче расставались со своими «карманными» деньгами. Доходы рок-индустрии, музыкальных телеканалов, гонорары рок-звезд подскочили до таких астрономических цифр, какие и не снились в 50-е годы. Оказалось, что удерживать людей от взросления, продолжать поддерживать в них иллюзию нескончаемой юности крайне выгодно. Люди незрелые сильнее подвержены, например, воздействию рекламы, поэтому телевизионная реклама наиболее эффективна, когда сопровождается именно молодежные программы. Разумеется, эти программы не только удовлетворяют спрос определенной возрастной группы, но и формируют мировоззрение и в конце концов отражают новую реальность. Такая тенденция только усилилась за последние годы. К примеру, в самом популярном комедийном сериале 90-х годов — «Сейнфельд» — юмор в значительной степени построен на том, что главные герои, сорокалетние холостяки, ведут себя как эгоистичные и безответственные подростки. И показано это, надо сказать, мастерски — предельно откровенно, достоверно и очень смешно.

Эту перманентность юности мы наблюдаем сегодня у представителей поколения так называемых «baby-boomers», родившихся в первые годы после

Второй мировой войны и составляющих сейчас самую многочисленную возрастную группу в США. Отвергнув авторитет родителей, многие из них прожили жизнь, не отказываясь ни от одной из своих юношеских привычек. И когда у них самих появились дети, они не смогли дать им то, что сами в свое время отвергли. Застыв в своем ребяческом эгоцентризме, родители настолько поглощены самими собой, что во многих семьях просто утерян какой-либо родительский контроль, а зачастую и просто доверительный контакт между родителями и детьми. Страдают от этого прежде всего сами подростки — как подтверждают журналисты, педагоги, психологи; это слышишь в многочисленных радио- и телеинтервью с тинейджерами.

Инфантильность и безответственность стали отличительной чертой целого поколения. Именно это поколение побило все рекорды по числу разводов, аборт, внебрачных связей и прочих прелестей сексуальной революции. И горький опыт детей, на долю которых досталось столько разведенных пап и мам и, следовательно, мачех и отчимов, сейчас побуждает их проявлять куда больше зрелости, чем их собственные родители, заматеревшие в своей инфантильности. А снижение процента разводов, наблюдавшееся в Америке за последние пять-шесть лет, по мнению социологов, прямо связано с тем, что «baby-boomers» уже вышли из того возраста, когда разводятся и вновь вступают в брак. Им уже шестой десяток; расходиться и сходиться несколько позновато. Но по-настоящему повзрослеть они так и не сумели.

Самый известный представитель этого поколения — Билл Клинтон; и вообще сегодня в руках «baby-boomers» находится политическая власть. Характерная их черта, так проявившаяся во время балканской войны, — претензии на права без признания определенных обязанностей, *чувство правоты без чувства долга*.

Тинейджер на посту президента и верховного главнокомандующего сверхдержавы вызывал озабоченность еще до косовской драмы. Достаточно вспомнить недавние бомбежки Афганистана и фармацевтической фабрики в Судане по его приказу. Как говорят сейчас многие американцы, «character matters», то есть склад характера, — не последняя спица в колесе. А ведь большинство голосовавших за Клинтона на президентских выборах как раз считало, что склад характера не имеет никакого значения. Все знали, что Билл — лицедей, человек, не способный признаться в своих ошибках, всегда ухитрявшийся по-адвокатски, с помощью всевозможных уловок и казуистики выкрутиться из любого положения, — короче говоря, человек, плохо знающий, что такое честь, да еще и не умеющий себя контролировать, как показывали факты его сексуальных подвигов задолго до Моника. Но все это, по мнению его сторонников, не должно было мешать исполнению им президентских обязанностей.

Скороспелые, безответственные, на грани авантюризма решения, принятые Клинтонем и его окружением в отношении Югославии, говорят о совершенно другом. Невозможно разложить по полочкам, полностью разделить все поступки, профессиональные обязанности и побуждения одного и того же человека: здесь — «личная жизнь»; там — «служебные обязанности». Человек, при всей его сложности, един. Совесть у него одна и та же во всем, что бы он ни делал. Есть вещи, которые нельзя доверить ни компьютерам, ни роботам. Личный имморализм неизбежно будет отражаться на воплощении в жизнь самых благородных общенациональных или международных начинаний. Претензии на роль всемирного городского от демократии плохо вяжутся с трусостью; моральный авторитет одной грубой силой не завоеуешь.

Есть тут и более общий корень: релятивизм, столь широко распространившийся в американской системе образования. Пренебрежение нормами индивидуальной морали и акцент на коллективной, «социальной» нравственности, когда ощущение моральной правоты рождается не тем, насколько нравственно мы ведем себя, а тем, насколько исповедуемые нами принципы правильны, «политически корректны». Публицист Шелби Стил называет подобное самощущение «virtue-by-identification», то есть «добродетелью принадлежности» —



принадлежности к силам прогресса. Отсюда и идет то «самоправедное бесчестие», которое даже прозападные российские комментаторы с удивлением отметили в действиях НАТО. Но их давно должна была настораживать скоротечная моральная эволюция западной культуры.

За последние год-два было весьма поучительно наблюдать социалистов, трансформировавшихся после краха СССР в рьяных защитников капитализма. Частное предпринимательство доказало на деле свою эффективность, основанную прежде всего на принципе материального стимулирования, на том, что индивидуальный труд вознаграждается по его плодам, по результатам. И совершенно ясно, что капитализм — в отличие от социализма и коммунизма — никто не устанавливал, не декретировал: он появился на свет в результате естественной многовековой эволюции общества.

Но когда дело капитализма и защиты ценностей западной цивилизации оказалось в руках недавних *левых* — Клинтона, Блэра, Шрёдера, — они ухитрились проявить и здесь свои коренные повадки, куда более глубокие, чем какие-либо социалистические убеждения. Дело не столько в «идеологии», сколько в неких внутренних мировоззренческих наклонностях — например, в убеждении в допустимости достижения благих, по их мнению, целей насильственным путем, а самое главное — в фанатичной уверенности в возможность окончательного решения всех социально-экзистенциальных проблем, неотступно преследовавших человечество во все века.

Когда-то, в период «холодной войны», левые на Западе были очень обеспокоены перспективой глобальной ядерной катастрофы, апокалиптического конца света. И непонятно почему вдруг все это забылось, исчезло с первых страниц газет, хотя ядерного оружия в мире не стало меньше, а конфликтов, чреватых его использованием, — больше. Сейчас о катастрофе уже никто не говорит, но зато вся мощь Запада обрушилась на небольшую страну на юге Европы, не желающую идти «в ногу со временем». А бывшие пацифисты, участники протестов против войны во Вьетнаме и ядерных вооружений вроде Билла Клинтона, Струба Тэлботта или британского министра обороны Джорджа Робертсона стали не в меру воинственными, им палец в рот не клади, теперь они командуют парадом.

Во внешне парадоксальной трансформации «голубей» в «ястребов» популярный политический комментатор Чарльз Краутхаммер видит известную закономерность. Левые в основном нацелены на решение мировых, интернациональных проблем. Как в свое время большевики были намерены использовать национальный потенциал России для достижения глобальных идеологических целей, так сегодня преобразившиеся левые хотят использовать мощь Америки для достижения космополитической утопии. Поэтому они с таким энтузиазмом поддержали идею глобализации, идею «нового мирового порядка», без колебаний вмешиваясь в дела суверенных государств.

Пренебрежение к традиционной морали в сочетании с убежденностью, что можно принудительно сделать всех хорошими, — странная комбинация. Но именно это парадоксальное соединение так ярко выявилось в ходе югославской авантюры и продолжает присутствовать в словах и делах так называемого «международного сообщества». Слово сочетание «international community» уже навязло в зубах. «Международное сообщество», — пишет Краутхаммер, — есть фикция. Разные страны имеют радикально разную географию, историю и уровни власти, а посему — радикально различающиеся интересы. Возможны кратковременные коалиции на почве общих интересов. Нации могут объединяться в случае чрезвычайной ситуации (Вторая мировая война, Персидский залив). Но не существует никакого естественного, органичного и долговременного международного сообщества». Другими словами, международное сообщество существует, по его мнению, только как некая абстракция, фигура речи, средство пропаганды и проч.

Пора наконец понять, что «вечный мир», «новый мировой порядок», «содружество наций» — не более чем красивые фразы, как ни хотелось бы нам

думать обратное. Что существуют национальные системы поддержания порядка, неразрывно связанные с местной историей и традициями. Единой правовой структуры в международном масштабе *нет*, во всяком случае, она достижима не путем дистанционных бомбежек, а готовностью к самоограничению. Похоже, что коммерческая цивилизация еще больше утратила способность к контактам, которые существовали на предыдущих этапах существования человечества. Лицемерно и неубедительно пытаются провозглашать высокие принципы, когда вся культура в целом враждебна идее каких бы то ни было абсолютов. Все подрывается коммерческим либо психотерапевтическим подходом к жизни. «You can negotiate anything» — можно договориться обо всем. На самом же деле всегда есть и будут вопросы, не подлежащие торгу. Без них человек давно бы уже превратился в животное. И такие «non-negotiables» — главные, незыблемые устои — есть в каждой стране, каждой культуре и должны быть у каждого из нас. Есть вещи, за которые люди готовы умереть. Современная же коммерческая цивилизация постоянно впадает в иллюзию, что все можно купить или продать, поторговавшись чуть больше или меньше, что всех можно подстричь под одну гребенку.

...В годы «холодной войны» военный потенциал Советского Союза позволял навязывать нивелирующее единообразие коммунистической идеологии и практики народам совершенно разных культур — от Китая до Эфиопии, от стран, бывших еще вчера феодальными княжествами до имевших некоторый опыт демократического правления. Поэтому падение СССР ассоциировалось с надеждой, что теперь наконец всем странам мира будет дана возможность свободно, естественно развиваться в соответствии с их национальными чаяниями и исторически сложившимися культурными и социальными особенностями. Увы, такая надежда жила недолго.

Теперь с каждым днем растет ощущение того, что нас снова хотят втиснуть в некую универсальную, всемирную и единообразную систему. Единообразие не только в подходе к экономике, к финансовой деятельности, но и — в правовых вопросах (национальных и международных), в вопросах бытовой морали, свободы слова и множестве других, специфические различия которых в разных культурах до сих пор воспринимались как нечто органически присущее человечеству. Вспомним, что даже само понятие свободы не универсально. Многие азиатские языки вообще не содержат этого сладкого слова — «свобода».

И сегодня в противовес глобализации растет понимание важности культурных и цивилизационных различий, невозможности подогнать все национальные культуры под одну западную модель. Сам факт того, что Запад поддержал сепаратистское движение албанцев против международного признанной юрисдикции Белграда, говорит о многом. Даже если на словах эта юрисдикция признается, на деле, тактически, НАТО встало на сторону сепаратизма, то есть принципа национального самоопределения в ущерб принципу нерушимости границ и государственного суверенитета. С одной стороны, это создает опасный прецедент, идущий наперекор всем принципам ООН последних пятидесяти лет. С другой стороны, этим ведь признается весомость национальных и религиозных различий — то, что левые во все времена пытаются отрицать.

Леон Визелтьер писал в «New Republic» 28 июня с. г.: «Если последнее десятилетие и научило нас чему-то, так это тому, что узы групповой принадлежности не ослабели, а уж тем более не исчезли под воздействием „глобализации“. Совсем наоборот. Национальные, этнические, религиозные и племенные чувства крепнут в ответ на угрозы (и соблазны) экономической и технической унификации поверх границ...» Слишком рано левые решили, что весь мир готов обменять суверенность и национальное достоинство на общество потребления.

Да, надо сказать, что война на Балканах совпала по времени со все более явным обострением кризиса американской демократии. Впрочем, весь клинтоновский период свидетельствует об этом кризисе. Хотя корни его уходят гораздо глубже, но именно в этот период консервативные критики Клинтона

стали все громче говорить о том, что классический республиканский строй, самоуправление народа через избранных представителей, подменился за последние годы либо фактическим господством плебисцита, ежедневными сверками политики с тем, что говорят опросы общественного мнения, либо самоуправством судебной власти, прежде всего Верховного суда США.

Вообще, западный мир продолжает удаляться от своего основополагающего идеала общественного согласия — «consent of the governed». Сейчас судьба общества все больше оказывается в руках институтов, не включенных в систему национального демократического волеизъявления, то есть выборов. Эти институты — всякого рода «верховные» и конституционные суды, негосударственные организации, специализирующиеся на защите прав человека, окружающей среды, интересов потребителей, средства массовой информации и т. д. Все они необходимы для нормального функционирования демократического общества, но никак не должны своими действиями зачеркивать главный принцип демократии — представительное правление и ответственность выборных представителей за свои действия перед избирателями. Сами же избиратели становятся предметом пропагандистских манипуляций, своей тотальностью не уступающих порою советским.

Не может не настораживать и возрастание роли наднациональных организаций — судов, трибуналов и т. п. Не будем забывать, что многих людей, принимающих решения в рамках этих организаций (например, решение отдать под суд Слободана Милошевича), никто не избирал и не назначал быть вершителями судеб мира. Они назначили сами себя и друг друга, и сейчас, в условиях некой «однополярности», их влияние необычайно возросло. Когда-то, еще в период «холодной войны», некоторые такого рода организации принесли много пользы, помогая западной общественности, наивной, мало осведомленной и одураченной собственным просоветским лобби, понять суть коммунистических режимов. Но сегодня те же самые организации стали в авангарде нового империализма. Действуют они все смелее, не считаясь ни с интересами отдельных стран или государственных органов, ни, повторяю, с разнообразием культур, хотя на словах большинство из них яро отстаивают плюрализм. Экспорт такого рода «демократии» не может не настораживать.

Давайте оставаться реалистами, не будем тешить себя иллюзиями. Постараемся разглядеть под покровом высокопарной демагогии глубинные интересы и мотивировки, истинные пределы бескорыстия и добрых намерений тех, с кем нам предстоит жить бок о бок на нашей тесной планете. Вера в возможность некоего «золотого века», устанавливаемого рационально-силовыми методами, противоречит всему историческому опыту человечества.

г. Чикаго.



# ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

ДЖЕЙМС МЕЙВОР

\*

## ГРАФ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ. 1898 — 1910

Джеймс Мейвор (Джемс Мэвор; 1854 — 1925) родился в Шотландии, образование получил в университете Глазго. Некоторое время преподавал в том же городе в Колледже святого Манго, а в 1892 году был утвержден профессором политической экономики в университете Торонто (Канада), где проработал до ухода на пенсию в 1923 году. В 1914 году был избран членом Королевского общества Канады. Автор книг: «Экономическая история России» (Лондон, 1914; в 2-х томах); «Мои окна выходят на улицу мира» (Лондон, 1923; в 2-х томах); «Ниагара в политике» (Нью-Йорк, 1925). Умер в Шотландии, в Глазго.

В конце прошлого века Мейвор принимал активное участие в деле переселения духоборов в Канаду. Как известно, на исходе XIX столетия кавказская община духоборов за свои религиозные убеждения была подвергнута репрессиям со стороны царского правительства: их сажали в тюрьмы, сгоняли с обжитых мест, подвергали массовым избиениям.

За событиями на Кавказе внимательно следил Л. Н. Толстой. «Это люди 25-го века!»<sup>1</sup> — говорил он писателю Н. М. Ежову о духоборах. Последователи Толстого взяли на себя труд помочь духоборам переселиться в Канаду. Старший сын писателя Сергей Львович Толстой, ездивший по делам духоборов в Канаду, писал о Мейворе и о его помощи духоборам: «В то время в Англии делом духоборческой эмиграции занимались квакеры, В. Г. Чертков<sup>2</sup> и его помощники. Выяснилось, что благодаря посредничеству П. А. Кропоткина<sup>3</sup> и его приятеля профессора в Торонто Мэвора канадское правительство принципиально принимало духоборов, но условия переселения не были определены и канадское правительство настаивало на том, чтобы переселение основной массы духоборов состоялось не раньше весны будущего года: теперь же, осенью (1898. — В. А.), оно соглашалось принять только сто семейств. <...>

12/24 сентября (1898 года. — В. А.) Чертков меня познакомил с Петром Алексеевичем Кропоткиным <...> конечно, он прежде всего заговорил о духоборах. Ведь первое предложение о переселении духоборов в Канаду исходило от него. Когда он узнал, что выселение духоборов из России — дело решенное, он запросил своего приятеля профессора Мэвора о возможности переселения духоборов в Канаду. Мэвор повел пропаганду о желательности иммиграции духоборов, как людей, пострадавших за веру, трудолюбивых и вообще почтенных, и стал хлопотать перед канадским правительством о принятии их в Канаду»<sup>4</sup>.

---

Вступительная статья, перевод с английского и примечания В. АЛЕКСАНДРОВА.

<sup>1</sup> См.: альманах «Лазурь», М., 1990, № 2, стр. 316.

<sup>2</sup> Чертков Владимир Григорьевич (1854 — 1936) — литератор, друг и последователь Л. Н. Толстого.

<sup>3</sup> Кропоткин Петр Алексеевич (1842 — 1921) — князь, революционер, теоретик анархизма, публицист и социолог. Л. Н. Толстой с восторгом прочитал его воспоминания «Записки революционера» (Лондон, 1902). В письме к В. Г. Черткову от 22 мая 1903 года он писал: «Передайте мой больше чем привет Кропоткину. Я недавно читал его мемуары и очень сблизился с ним» (Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 88, стр. 296). Кропоткин же критически относился к учению Толстого, противопоставляя ему «самоотверженный протест против насилия сверху».

<sup>4</sup> Толстой С. Л. Очерки былого. Тула, 1966, стр. 198, 200.

Дело переселения духоборов в Канаду послужило началом переписки Толстого и Мейвора. В письме от 28 октября 1898 года он писал Толстому: «Мой дорогой граф, я воздержался от скорого ответа на Ваше письмо, потому что, когда получил его, мистер Моод<sup>5</sup> с князем Хилковым<sup>6</sup> и духоборческой делегацией были уже на пути на северо-запад Канады для подыскания подходящего места поселения. <...>

Я не сомневаюсь, что Вы уже знаете через своего сына о соглашении, которое было достигнуто с канадским правительством.

Я мог бы сообщить Вам некоторые новые подробности, хотя рискую повториться, перечисляя основные пункты. Правительство дает духоборам в свободное пользование землю в районе Лебединой реки. Он помечен красным на карте в справочнике Канады, который я при сем посылаю вам. Земля находится в одном месте. Каждой семье будет выделено 160 английских акров и дополнительно 160 акров каждому взрослому сыну. Район богат плодородной землей и, как мне сообщили, достаточным количеством строевого леса. Поселение расположено на железнодорожном пути.

В дополнение ко всему правительство дает Комитету субсидию в 7.50 долларов (31 английский шиллинг) для каждого взрослого (двое детей приравниваются к одному взрослому). Правительство также предоставит уютные жилища для 2000 человек к этой зиме, и есть надежда, что с денежной субсидией, которая будет передана Комитету. Так что Комитет вместе с другими деньгами сможет обеспечить эти 2000 всем необходимым для того, чтобы пережить зиму. Сегодня я встречался с министром внутренних дел, ведающим отделом иммиграции, — он заверил меня, что правительство позаботится о том, чтобы люди не страдали, даже если не будет выделено необходимых средств.

Тем не менее важно, чтобы Комитет не полагался на это заверение, а постарался достать столько денег, сколько потребуется, чтобы дать возможность 2000 людям прожить без затруднений всю зиму и обеспечить их на начало лета. Я рад: на днях получил письмо от квакеров из Филадельфии, в котором они спрашивают, каким образом могли бы помочь этому делу. Я надеюсь, что остальные 5300 духоборов смогут остаться в России и на Кипре до весны, когда они будут в состоянии выехать сюда и направиться прямо на отведенную им землю. Правительство в настоящее время не смогло обеспечить больше 2000 остро нуждающихся. Может быть, у меня будет возможность увидеть иммигрантов, когда они будут проезжать мимо. По-моему, правительство сделало все, что было разумным ожидать от него<sup>7</sup>.

В 1899 году Мейвор, будучи в России, посетил по приглашению Л. Н. Толстого Ясную Поляну. В Государственном музее Л. Н. Толстого сохранилось письмо С. Л. Толстого к Мейвору (письмо чистовое, но есть основания предполагать, что канадскому посетителю было послано другое письмо): «Мой дорогой профессор Мэвор, отец поручил мне сказать Вам, что он будет очень рад видеть Вас у себя дома. В настоящее время он живет не в Москве, а в деревне около Тулы, города, который находится на расстоянии лишь нескольких часов езды по железной дороге от Москвы. Любое время, которое Вы выберете для приезда, устроит его, так как он не намерен уезжать из дома в течение нескольких месяцев.

Для меня будет огромная радость встретить Вас здесь, в России, и надеюсь, что смогу быть Вам хоть как-то полезным. <...>

Название места, где живет мой отец, — Ясная Поляна. Оно находится на расстоянии около десяти миль от Тулы. Вы могли бы доехать до ближайшей станции „Козлова засека“. Экипаж для встречи будет выслан туда, если Вы за день сообщите телеграммой о своем приезде. Самый удобный поезд на Тулу отправляется в 12 (в полдень) из Москвы, наиболее удобный поезд на „Козлову засеку“ отправляет-

<sup>5</sup> Моод Эйлер (1858 — 1938) — английский переводчик и издатель произведений Толстого, состоял с ним в дружеской переписке. Последнее письмо в своей жизни Толстой написал Э. Мооду.

<sup>6</sup> Хилков Дмитрий Александрович (1858 — 1914) — друг и последователь Толстого.

<sup>7</sup> Рукописный отдел Государственного музея Л. Н. Толстого (далее — ГМТ). Письма Д. Мейвора даны в переводе автора статьи.

ся из Москвы около полуночи. Первый прибывает в Тулу около 5 часов, второй прибывает в „Козловку” около 8 утра<sup>8</sup> (ГМТ).

Мейвор принял приглашение Толстого и был в Ясной Поляне 19 июля 1899 года. О пребывании его в Ясной Поляне Толстой писал А. Н. Дунаеву<sup>9</sup> 19 (?) июля 1899 года: «Дорогой Александр Никифорович. Письмо это вам передаст М-г Mavor, канадский профессор полит<ической> экономии» из Торонто. Вы, верно, слышали про него. Он много содействовал духоборам и очень серьезный и хорошо думающий человек. Он спрашивал у меня, что есть о положении крестьян после освобождения. Я сказал ему, что об этом есть целая литература, но назвать ему не мог ни одного сочинения. Знаю, что есть хорошее сочинение В. В.<sup>10</sup>. Помогите ему, пожалуйста, в этом и в том, что ему, может быть, нужно.

Можно бы направить его моим именем в „Русск<ие> вед<омости>”. Я уверен, что любезные редакторы не откажут ему в помощи» (ПСС, т. 90, стр. 312 — 313).

Во время визита Мейвора к Толстому в 1899 году беседы между ними шли о романе «Воскресение», гонорар от которого писатель хотел передать духоборам. Шла речь об английской литературе, об эстетике, последователях Толстого, гостях Ясной Поляны, о теории Генри Джорджа<sup>11</sup>, об отношении Толстого к государству, о положении дел в России.

Мейвор писал Софье Андреевне Толстой 5 августа 1899 года: «Позвольте поблагодарить Вас от всего сердца за Вашу великую доброту ко мне во время моего визита. Нет слов выразить Вам то удовольствие, которое доставила мне встреча с Вашим супругом и Вашей семьей. Будьте добры, передайте всем им мою благодарность за их радушное гостеприимство» (ГМТ).

Вернувшись в Канаду, Мейвор продолжал переписку с Толстым — так, 21 ноября 1902 года Толстой сообщал дочери Татьяне: «Вчера получил от Mavor’a из Канады подробные сведения о религиозном подъеме  $\frac{1}{3}$  духоборов. Канадское правительство ужасается, но поступает мягко и заботливо» (ПСС, т. 73, стр. 332).

Хотя это письмо Мейвора не сохранилось, имеется ответ на него Толстого от 30 ноября/13 декабря 1902 года: «Милостивый государь. Благодарю за сообщенные сведения о духоборах. Очень приятно было узнать из присланных Вами газетных вырезок, что канадское правительство, так же как и фермеры, отнеслись так хорошо к духоборам. Думаю, что их поступок с мирской точки зрения кажется сумасшествием, но тем не менее он будет иметь благотворное влияние на многих людей, считающих, что деятельностью людей руководят лишь материальные мотивы...» (ПСС, т. 73, стр. 335).

В конце 1904 года Мейвор послал Толстому книгу Роберта Бремнера<sup>12</sup> «Современное паломничество от богословия к религии». В сопроводительном письме, датированном 15 декабря 1904 года, Мейвор писал: «Позволю себе послать Вам книгу, которая, надеюсь, Вам понравится. Она написана моим старинным другом. Это молодой человек, из шотландской пресвитерианской семьи, выросший в „строжайшей секте фарисеев”. Его отец был ученым, способным человеком; однако он был евангелическим кальвинистом с крайне узким кругозором. Я посылаю Вам эту книгу, потому что она знаменует собой влияние кальвинистской доктрины прошлого на современное поколение шотландцев. Я не хочу сказать, что все люди похожи на Бремнера, но многие из них похожи, особенно те, подобные ему и мне, которые с ранних лет обучались в строгом духе догматической теологии. Надеюсь, что Вы получите книгу и она Вам понравится.

<sup>8</sup> Письмо написано по-английски.

<sup>9</sup> Дунаев Александр Никифорович (1850 — 1920) — один из директоров Московского торгового банка, последователь и корреспондент Толстого.

<sup>10</sup> Толстой имеет в виду книгу: В. В. [Воронцов В. П.] Прогрессивные течения в крестьянском хозяйстве. СПб., 1892.

<sup>11</sup> Джорж Генри (1839 — 1897) — американский экономист, создатель теории единого земельного налога, введение которого, как он полагал, приведет к достижению равноправия и всеобщего достатка. Его теорией очень увлекался Толстой: земельный вопрос, считал он, может быть разрешен «признанием равного права каждого человека жить и кормиться на той земле, на которой он родился, того самого, что так неотразимо доказано всем учением Генри Джоржа» (ПСС, т. 38, стр. 71).

<sup>12</sup> Бремнер Роберт Лок (1862 — 1918) — английский богослов.

Это достовернейший человеческий документ, изложенный с глубоким литературным искусством» (ГМТ).

Этот подарок Мейвора сохранился в Яснополянской библиотеке Толстого. На конверте письма имеется надпись рукою Д. П. Маковицкого<sup>13</sup>: «Рекомендует Л. Н-чу прочитать книгу, кот<ор>ую присылает: „The modern pilgrimage from Theology to Religion” by Robert Lock<e> Bremner. О том, как кальвинизм действует на теперешнее скотское поколение» (ГМТ).

Джеймс Мейвор не часто писал Толстому, но те письма, которые были отправлены великому писателю, свидетельствуют, что канадский профессор внимательно следил за его жизнью. Так, 30 января 1907 года Мейвор писал: «Из газет я узнал, что Вы вновь серьезно больны. Чувствую, что должен высказать Вам слово сочувствия. Может быть, Вы еще раз, как и прежде, соберетесь с силами и поправитесь. Много еще надо сделать» (ГМТ).

Находясь по делам службы в Китае и Японии, Мейвор собирался посетить Россию и, конечно, Ясную Поляну. 5 июня 1910 года он писал Толстому из Киото: «Я снова на пути в Россию, на сей раз через Японию, Китай и Сибирь. Если Вы достаточно хорошо себя чувствуете, чтобы принять меня, и если Вас это устраивает, я бы очень хотел посетить Вас вновь. Много воды утекло с тех пор, как 11 лет назад я нанес Вам визит, доставивший мне удовольствие. Я хотел бы побеседовать с Вами о событиях прошедших лет» (ГМТ). На конверте рукою Льва Николаевича написано: «Ответь, что можно приехать» (ПСС, т. 82, стр. 244). По поручению отца на это письмо 9 июня 1910 года ответила Александра Львовна Толстая.

Прибыв в Москву, Мейвор пишет Толстому 30 июля 1910 года: «В газетах я видел сообщение, что Вы больны; однако по прибытии в Москву сегодня утром я был утешен, узнав, что Ваше здоровье поправилось. В Москве и ее окрестностях я пробуду несколько недель. И еще: я бы очень хотел, если это подходит Вам, приехать в Ясную Поляну и снова Вас увидеть.

Надеюсь также, что предоставится возможность увидеть Вашего сына графа Сергея, а также Иосифа Дитрикса<sup>14</sup> и г-на Черткова» (ГМТ).

На конверте Толстой начертал: «Написать ему что когда хочет Чертков» (ГМТ). 1 августа 1910 года Мейвору по поручению отца ответила также Александра Львовна. Это послание он получил с опозданием.

2 августа 1910 года Мейвор обратился к графине Толстой: «Я писал несколько раз и послал телеграмму в прошлую пятницу Вашему доброму супругу, но не получил никакого ответа. Беру на себя смелость послать Вам письмо на Ваш адрес и прошу позволения приехать в Ясную Поляну по крайней мере на день, чтобы еще раз повидать графа; однако боюсь, может быть, он болен или с ним что-нибудь случилось.

Не будет ли слишком самонадеянно с моей стороны просить Вас послать мне почтовую открытку по приводимому ниже адресу и сообщить, есть ли мне какие-либо письма или нет, а также каково состояние здоровья графа» (ГМТ).

На письмо Софьи Андреевны Мейвор ответил 6 августа 1910 года: «Очень, очень благодарен Вам за Вашу доброту, за то, что прислали мне мою корреспонденцию. Извините, что доставил Вам так много хлопот. Сегодня вечером я на несколько дней уезжаю в Ялту в Крым, тем не менее я хочу заехать в Ясную Поляну на обратном пути в Москву» (ГМТ).

Как и планировал, Мейвор посетил Ялту и на обратном пути в Москву 21 августа 1910 года из Курска послал С. А. Толстой почтовую открытку (она написана в спешке, простым карандашом): «Вечером 23-го предполагаю выехать из Курска, чтобы прибыть в Тулу или на Засеку на следующий день, 24-го. Я только что узнал, что граф Толстой, кажется, находится не дома, а в имении Вашей дочери в

<sup>13</sup> Маковицкий Душан Петрович (1866 — 1921) — личный врач Толстого, автор подробной хроники «У Толстого. 1904 — 1910». («Яснополянские записки»). «Литературное наследство». Т. 90. В 4-х книгах. М., 1979.

<sup>14</sup> Дитрикс — Дитерихс Иосиф Константинович (1868 — 1931), инженер-путеец, брат жены В. Г. Черткова, корреспондент и последователь Толстого.

Туле или где-то поблизости. Очень хочу видеть Иосифа Дитрикса и Вашего мужа. Могу ли я просить Вас телеграфировать мне на станцию Тулы, как мне поступать дальше» (ГМТ).

На следующий день Мейвор пишет Татьяне Львовне Сухотиной-Толстой: «Я писал вчера Вашей матери в Ясную Поляну, сообщая, что я хотел бы быть в Туле 24-го (во вторник) и хотел, чтобы мне сообщили на станцию Тулы, будет ли для нее удобно или нет принять меня в Ясной Поляне. Сегодня утром из московской газеты я узнал, что Ваш отец гостит у Вас в Кочетах. Хочу спросить, будет ли удобно, если я приеду к Вам в имение навестить его. Весьма вероятно, я не буду в России снова какое-то время и не хотел бы уезжать, не повидав Вашего отца еще раз. Вы, может быть, помните, я был у него в 1899 году, когда имел удовольствие встретить и Вас» (ГМТ).

30 августа 1910 года Мейвор второй раз посетил Толстого. В своем дневнике за этот день Лев Николаевич отметил: «Приехал Mavor. Профессор. Очень живой, но профессор и государственный, и нерелигиозный. Классический тип хорошего ученого» (ПСС, т. 57, стр. 97), а в письме к С. А. Толстой от 1 сентября 1910 года поделился впечатлениями от визита канадского посетителя: «Третьего же дня был Mavor. Он оч<ень> интересен своими рассказами о Китае и Японии, но я оч<ень> устал с ним от напряжения говорить на мало знакомом и обычном языке» (ПСС, т. 94, стр. 402).

На этот раз Мейвор пробыл с Толстым один день — и этот день отчетливо сохранился в его памяти. Канадский профессор хорошо почувствовал ту атмосферу раздора и противоречий, которой был окружен писатель. Беседа между Толстым и гостем шла о будущем мира, о религии, о политике, о землепользовании, о Китае.

Воспоминания Джеймса Мейвора «Граф Лев Николаевич Толстой. 1898 — 1910» были написаны автором в конце жизни. По-русски они печатаются впервые. Перевод выполнен по тексту: James Mavor. Count Leo Nikolaevich Tolstoy, 1898 — 1910. In his: «My Windows on The Street of the World», New York, 1923, vol. 2, p. 67 — 90.

## I. 1899

**Я** познакомился с графом Львом Толстым в 1898 году посредством переписки в связи с делом духоборов. Его сын граф Сергей был у меня в Торонто в начале 1899 года. В июле того же года я отправился в Россию и в Москве получил радушное приглашение посетить Ясную Поляну. Как-то в августе, около шести часов утра, я прибыл на маленькую станцию Ясенки, расположенную милях в двадцати от Тулы и в ста двадцати милях к югу от Москвы. На станции я нашел довольно обшарпанные дрожки с крестьянским возницей, в шапке которого торчало традиционное перо павлина. В Ясную Поляну я прибыл около семи часов, и вскоре высокая фигура графа появилась на веранде. Толстой сердечно приветствовал меня. В то время Льву Николаевичу был семьдесят один год. Для своих лет он выглядел хорошо. Его косматая борода еще не совсем поседела. Стоял он прямо, со спокойным достоинством, шел твердо, большими шагами. Как у многих русских, у него были широкие плечи и тонкая талия. Носил он обычные для себя сапоги, с заправленными в них брюками, и выцветшую крестьянскую рубаху, подпоясанную узким кожаным ремешком, за который обычно закладывал одну, а то и обе руки. У него был высокий лоб, большой и широкий нос, лохматые брови нависали над блестящими голубыми глазами, рот был большой, губы полные и подвижные, зубов почти не было. Взгляд его был добрым, рот же выражал твердость характера.

Великий русский художник Репин изобразил его на картине босым<sup>1</sup>. Я никогда не видел его в таком виде. Георг Брандес<sup>2</sup> называл его типичным мужиком, однако эти слова едва ли передают впечатление, которое он произвел на меня. Хотя Толстой и носил крестьянскую одежду, внешне и по манере дер-



жаться он не напоминал крестьянина. Ни один мужик не обладает таким пронизывающим взглядом, самообладанием и властью.

Впоследствии я заметил, что его отношение к крестьянам своего поместья, хотя и дружественное, не носило полного равенства. В России я встречал помещиков, чье поведение отнюдь не было демократичным, но относившихся к своим крестьянам гораздо приветливее Толстого. Умственное и моральное различие между Толстым и его крестьянами составляло пропасть более широкую и непреодолимую, чем любая другая социальная пропасть.

По-английски он говорил с едва заметным акцентом, хотя был в Англии только раз, да и то недолго.

Толстой рассказал мне, что начал писать роман<sup>3</sup> после долгого перерыва и только потому принялся вновь за беллетристику, что собирается передать гонорар духоборам. Он сказал, что встает рано, кончает писать сразу после полудня, завтракает, недолго отдыхает, днем совершает прогулку пешком или верхом на лошади. Во время моего почти недельного пребывания в Ясной Поляне Толстой не выходил из кабинета до часа дня, посвящая утреннее время напряженной работе над романом «Воскресение». Мы обычно играли в шахматы в саду до или после пятичасового чая, а затем вновь в большом зале по вечерам после обеда. Иногда во время игры Сергей исполнял на фортепьяно Чайковского или Толстой читал мне Пушкина, а его сестра графиня Мария<sup>4</sup> раскладывала пасьянс. Толстой читал сладкозвучную поэзию Пушкина, полный участия, хотя иногда его испорченные зубы искажали дикцию. Возможно, он хорошо читал стихи, потому что сам не был поэтом. Каждый день он совершал продолжительную или недолгую прогулку в компании графини, а также одной или двух своих дочерей — Татьяны и Александры (Саши). Однажды, зайдя ко мне, Сергей сказал, что его отец хочет испытать мою выносливость длительными прогулками и посмотреть, на что я способен. Очевидно, Толстой остался мною доволен, и мы вместе совершили много продолжительных прогулок как во время моего первого визита, так и после.

Толстой был внимательным и чутким собеседником. Интересы других людей волновали его, и он умел разделять чужие радости. Он говорил мне, что в восхищении от Кропоткина, и просил передать ему свои теплые чувства. Из всех английских писателей больше всего он уважал Диккенса и Рёскина<sup>5</sup>. Толстой читал многие их сочинения. Восторг от Рёскина я мог легко понять, но был несколько озадачен его оценкой Диккенса. Оказалось, что ни юмор Диккенса, ни его искусство рассказчика не привлекали внимания Толстого, ценил он лишь сочувствие писателя роду человеческому и его взгляды на образование. Толстой удивился тому, что я не знаком с Рёскиным, и потребовал, чтобы я безотлагательно навестил его по возвращении в Англию и передал ему свои теплые чувства. Увы! Рёскин был уже на смертном одре. Вскоре он умер, и передать ему что-либо мне не пришлось.

Я не хотел высказывать Толстому свое критическое отношение к некоторым из его сочинений, но все же спросил, читал ли он многочисленные книги по эстетике, цитируемые им в трактате «Что такое искусство?», недавно опубликованном<sup>6</sup>. Он ответил, что ограничился небольшой книжечкой «Философия прекрасного» профессора Уильяма Найта<sup>7</sup> и не подумал обратиться к авторитетным трудам. Я сказал, что есть много авторов, пользующихся всеобщим признанием в эстетике, значительно лучших, чем профессор Найт, и что, хотя его книга и является *catalogue raisonné*<sup>\*\*</sup>, ее нельзя считать важным вкладом в этот предмет. В сочинениях Толстого по искусству, как и в сочинениях,

<sup>\*</sup> Здесь Толстой явно поскромничал. Он прочитал «Критическую историю эстетики» (1872) Шаслера и «Марка Аврелия» Ренана, а также несколько менее значительных работ, и, по-видимому, он был знаком с некоторыми сочинениями Гюйо, хотя не ссылаясь на ту его работу, которая наиболее близка к его теме, а именно «Искусство с социологической точки зрения». (Примеч. Дж. Мейвора.)

<sup>\*\*</sup> Аннотированный указатель (франц.).

толкующих Библию (например, в его «Евангелии»), я нашел, что знания им необходимой литературы скорее отрывочны, а иногда и вовсе поверхностны. Толстой не был ученым, хотя и читал на многих языках и особенно часто, помимо его родного русского, по-английски, по-французски, по-итальянски и по-немецки. Он был в той или иной степени знаком с великими классиками; однако читал Толстой не систематически и со многими вопросами философии и богословия не был в совершенстве знаком. Нельзя сказать, что знал он многое и в науке. В двух отношениях Толстой был если не наиболее значительным в своем поколении, то по крайней мере выдающимся. В России никто не мог превзойти его как художника слова, за исключением, возможно, Тургенева, а среди англичан никого нельзя было поставить рядом с ним, кроме Мердита<sup>8</sup> и Томаса Гарди<sup>9</sup>. А как пророку и провидцу ему не было равных в мире, за исключением Рёскина. Хотя его роль пророка губительно сказывалась на его художественных произведениях и ограничивала их как в количестве, так, вероятно, и в качестве. В «Войне и мире» и в «Анне Карениной» нет морализаторства, но в «Воскресении» есть нравственная идея, привнесенная для того, чтобы вернуться к пророческому пафосу.

Жизнь пророка должна быть тяжела не только из-за постоянного конфликта чувств высшего порядка и низменных страстей, но также из-за неизбежного влияния на него последователей. Никто не презирал слепого подражания более, чем Толстой, и никто не страдал от этого более, чем он сам. Постепенно вокруг него собралась группа людей, внутренний круг которой известен в России под названием «священная коллегия». Было три так называемых члена коллегии — каждый из них человек прекрасной души, однако любого из них можно было легко обвинить в догматизме. Тремя членами коллегии были: Владимир Чертков, Иван Трегубов<sup>10</sup> и Павел Бирюков<sup>11</sup>. Несмотря на прекрасные души всех этих людей, они относились к Толстому догматически, будто он был церковным иерархом, что вызывало не всегда добродушные насмешки со стороны рядовых последователей Толстого. Взгляды и высказывания Толстого стали цитировать так, будто они вдохновлены свыше, и, несмотря на протесты самого Толстого, легенда о «папской непогрешимости» постепенно сливалась с его именем.

Несмотря на то что в сочинениях Толстого, как и в его беседах, психологический анализ был глубоким и последовательным, я заметил, что его суждения порой недостаточно подкреплены знаниями. К примеру, он считал, что общество Англии чрезвычайно аристократично, и мне было трудно убедить его в обратном — что в действительности в Англии нет класса аристократов, подобного классу аристократов в России или Центральной Европе. Оказалось, он почерпнул эти сведения от нашего общего знакомого, служившего одно время военным атташе в русском посольстве в Лондоне. Легко представляю, как в атмосфере посольства и в общественной milieu\*, где он вращался, могло легко сложиться такое впечатление. Наш друг жил некоторое время не только в Лондоне, но и в провинции, где познакомился с жизнью земледельца, пастора и арендатора-фермера, однако в промышленном городе он не жил, и у него не было возможности наблюдать общественное и политическое влияние среднего класса и промышленных рабочих. Кроме того, он был знаком лишь с югом Англии.

Во время моего первого визита в Ясную Поляну в 1899 году там находились граф и графиня, их дочери Татьяна и Саша, сыновья Сергей и Андрей<sup>12</sup>, жена последнего (графиня Ольга)<sup>13</sup>, графиня Мария (сестра графа), М. Ге, добровольный секретарь Толстого и сын знаменитого русского художника<sup>14</sup>, который сам был близким другом Толстого, и М. Шарль Симон, переводчик сочинений Толстого на французский язык<sup>15</sup>. Граф Сергей посетил меня в Торонто, когда приезжал в Канаду посмотреть, как смогут там устроиться духо-

\* Среде, обстановке (франц.).

боры; других членов семьи я видел впервые. Семейная жизнь Толстых в тот период меня просто очаровала. Позже я расскажу о деликатных и непростых причинах несчастья семьи в последующий период, сейчас же изложу впечатления от 1899 года. Вся семья относилась ко мне не просто с чрезвычайной любезностью, она приняла меня в свой состав, считая совершенно естественной прочную и доверительную дружбу. Среди членов семьи было три женщины, чьи внутренние достоинства особенно привлекали меня. Ими были графиня Мария, монахиня, и графини Татьяна и Ольга. Первая была в то время женщиной шестидесяти восьми лет. На семейной фотографии, снятой графиней Софьей, ее черты лица сильно напоминали черты Савонаролы. Она была духовным лицом, ее взоры были обращены к Реформации<sup>16</sup>. Однажды днем, когда Толстой отдыхал, я воспользовался случаем подробнее расспросить Ге о принципах толстовского коммунизма. Сейчас я уже не могу точно вспомнить, что он мне говорил, но один раз в ходе общей беседы ответил на замечание присутствовавшей графини Марии цитатой из Толстого, причем произнес ее так, будто мнение Толстого было неоспоримо. Графиня Мария поднялась из-за стола, вокруг которого мы сидели на веранде, и, подойдя к двери, вскинула руку жестом трагической актрисы. Перейдя с французского, на котором говорила, она с жаром воскликнула на родном русском: «Сколько бы я ни любила своего брата, я скорее поверю словам св. Августина и св. Павла, чем ему».

Графиня Татьяна поразила меня схожестью характера со своим отцом более других членов семьи. Помимо этого она обладала практическим даром, которым не обладали ни ее отец, ни мать, а если даже и обладали, то не проявляли его. Оказалось, что графиня Ольга, жена Андрея, сочувствует идеям своего свекра. Это была красивая молодая женщина, хорошо образованная и очень умная.

Графиня Софья (Соня) Андреевна Толстая, пее\* Берс, жена Льва Николаевича, дочь дворцового доктора в Москве, немца по происхождению, была на шестнадцать лет моложе своего супруга. В ее жилах было мало славянской крови, а в характере — славянских черт. Она проявляла крайнюю любезность и гостеприимство ко мне, однако я почувствовал в ней желание властвовать над другими. Это проявилось в совсем незначительном эпизоде. Однажды днем графиня и я сидели на веранде. Она шила и разговаривала, а я курил. После некоторой паузы она сказала мне: «Не думаете ли Вы, мистер Мэвор, что слишком много курите?» — «Возможно», — ответил я, бросил сигарету через балюстраду и замолчал. Она что-то мне говорила, на что я отвечал односложно. Вскоре она сказала с долей лукавства: «Мистер Мэвор, вы можете курить». Я достал портсигар, закурил сигарету, и мы живо и весело начали беседовать. В отличие от других дам, а также Ге и Симона, графиня не рассуждала о жизни и общественном прогрессе, однако всегда была приятной, оживленной и умной.

Как-то в сырой ненастный вечер, когда сильный дождь бил по окнам, Толстой и я играли в шахматы. Около одиннадцати часов Андрей поднялся вверх и сказал отцу, что молодой человек, промокший насквозь, пришел пешком и хочет поговорить с ним. Толстой спустился вниз и вернулся через четверть часа. «Интересный молодой человек, — сказал он. — Хотелось, чтобы вы познакомились с ним утром. Он рассказал, что родом из Одессы, получил в наследство состояние и под влиянием моих сочинений и после чтения Священного Писания решил довести до конца то, что другой юноша, совершивший „великое отречение“, так и не осуществил. Он роздал все, что имел, бедным и стал вести бродячий образ жизни и проповедовать Евангелие. Из Одессы он пришел в Ясную Поляну (расстояние, составляющее около пятисот миль) для того, чтобы сообщить мне, что сам я не живу жизнью Христа и даже не живу в соответствии со своим учением».

\* Урожденная (франц.).

\*\* В Ясной Поляне, за исключением Толстого, Ге и женщин, много курили. (Примеч. Дж. Мейвора.)

Я заметил, что такое поведение предполагает умственную болезнь. «Ну нет! — сказал Толстой. — Все мы, русские, такие». Я не стал спорить, ибо даже если бы сослался на мысль Канта, что если каждый станет странником, то производство остановится и жизнь общества станет невозможна, я получил бы от Толстого ответ: «Последствия нас не касаются». Поэтому мы возобновили игру.

Молодой человек из Одессы был гостеприимно принят и размещен в маленьком доме, примыкающем к большому помещицкому. Мне пришло в голову, что, высказав свои соображения, он, весьма вероятно, уйдет рано утром. Поэтому я встал где-то между пятью и шестью часами и отправился к гостю, но он уже ушел. На рассвете он постучал в окно дома, где жил Шарль Симон, сказал: «Шарль-француз, я ухожу», — и ушел, чтобы нести свое «Евангелие» другим.

Меня удивило, что Толстой не стал подробно обсуждать этот случай, хотя он так живо соответствовал его собственным призывам. Накануне вечером он вполне искренне хотел, чтобы утром я познакомился со странником; а на следующий день, вероятно, подумал, что поскольку гость не может рассказать о себе сам, то и обсуждать нечего. К тому же он был одержим муками творчества и не был склонен думать о странствиях.

Толстой был совершенно прав, полагая, что образ мышления одесского паломника был типично русским. Вообще среди русских существует склонность к бродяжничеству. Эта склонность, вероятно, имеет свое происхождение не в кочевом образе жизни первобытного скифа, а в реакции против неизбежной крепостной зависимости, которой каждый крестьянин еще недавно был накрепко привязан к своей родной земле. Кочевой образ жизни возможен в Монголии, где много земли и мало людей. Там, где население достигает определенной плотности, кочевой образ жизни становится невозможным, за тем исключением, когда люди, ведущие кочевой образ жизни, являются ворами или нищими. Другими словами, «уход» одесского паломника был типичным для русских. Когда русский приходит к твердому убеждению в чем-либо, его обычай — действовать немедленно, не считаясь с последствиями. С западноевропейской точки зрения, русским не хватает сдержанности, предусмотрительности, добросовестности и уважения к другим. Чрезмерная, неподобающая простота некоторых людей вызывает растущую сложность у тех, кто осознает свою ответственность за все, что происходит в обществе. Возможно, основой недостатков русского характера является эгоизм — не составляющий, конечно, монополярной особенности русских.

Каждый день посетители, влекомые любопытством или подлинным интересом к Толстому, поднимались по «прешпекту»; однако, за исключением паломника из Одессы, большинство из них могли видеть его лишь издали, когда он находился в саду, который немного был виден с «прешпекта».

Незадолго до моего приезда Толстой посетил Чезаре Ломброзо<sup>17</sup>, итальянский криминалист. Он произвел очень неблагоприятное впечатление на Толстого, которое усугубилось заслуживающим особого внимания случаем, о котором Толстой рассказал мне. Молодой русский дворянин из прекрасной семьи, с превосходной репутацией, хорошо известный Толстому, гостил в Ясной Поляне во время визита Ломброзо. Когда Ломброзо уезжал, этот молодой человек вызвался проводить его до железнодорожной станции, чтобы купить ему билет и договориться об отправке его багажа, так как Ломброзо не говорил по-русски. Приблизительно неделю спустя молодой человек получил письмо от Ломброзо с обвинением его в краже банкноты в сто рублей из бумажника, переданного ему для оплаты билета. В письме далее говорилось, что, если эта сумма не будет немедленно выслана по почте, дело будет передано полиции. Молодой человек принес письмо Толстому, который сказал мне, что обвинение было просто смешотворное и что его друг совершенно не способен совершить кражу. Естественно, молодой человек был возмущен. В письме к Ломброзо, отвергая обвинение, он предположил, что тот просто потерял деньги.

Хотя требуемая сумма была значительна, но, чтобы покончить с этим делом, он вложил в конверт сто рублей. Если же, добавлял он, Ломброзо обнаружит, что деньги не утеряны, то их следует передать на какое-либо благотворительное дело. Казалось, Толстой не был уверен, что молодой человек прав, поступая таким образом, но он хорошо понимал неправильность и неуместность обвинения Ломброзо. Впоследствии из воспоминаний, опубликованных уже после смерти Ломброзо, стало известно, что в последние годы из-за атеросклероза разум его помутился и потерял уравновешенность.

Толстой сказал мне, что недавно его посетил Уильям Дженнингс Брайян, кандидат от демократической партии на пост президента Соединенных Штатов<sup>18</sup>. Я встречал Брайяна и однажды слушал его речь: меня удивило, что он произвел благоприятное впечатление на Толстого. Вероятно, это произошло благодаря некоему сходству Брайяна с Генри Джорджем, которым Толстой очень восхищался. Тем не менее грубоватость и отсутствие культуры Брайяна не могли не вызывать чувства некоторой антипатии. Обычная культура не привлекала Толстого, и, вероятно, он нашел в Брайяне какое-то достоинство, не замеченное другими. В Брайяне Толстого интересовал не американский тип, а просто нравилась его искренность.

Очень интересовался Толстой Генри Джорджем, и вовсе не общественная пропаганда Джорджа была тому причиной. Толстой явно не обрел собственной позиции в вопросе национализации земли в России и не думал в этой связи об отношении крестьян к земельному вопросу. Вообще Толстой питал отвращение к правительственной администрации и не доверял ей, а потому неодобрительно относился к национализации, поскольку это могло повлечь за собой контроль со стороны правительства. Джордж показал земельный вопрос в новом свете, а положение дел в России, где состоятельные землевладельцы превратили в источник прибыли сельское хозяйство и изменили характер деревенской жизни, напоминало ситуацию в Калифорнии, где железнодорожные и землевладельческие компании также имели землю источником прибыли. Против такой политики и была в первую очередь направлена книга Генри Джорджа «Прогресс и бедность». Но все же главное, что интересовало Толстого в Джордже, было то же, что и в Диккенсе: его восхищение человеческим родом и сочувствие к нему.

Отношение Толстого к государству было более непримиримым, чем отношение Кропоткина. Он пришел к этой точке зрения не через Бакунина, как Кропоткин, а самостоятельно. Государство со своими законами осуществляло контроль за людьми, Толстой же не терпел малейшего контроля за своими действиями. В свою очередь он не испытывал никакого желания контролировать других. Поэтому он считал государство и его законы обременительными, даже если они и были благотворными. У нас были длительные беседы по этим вопросам, и Толстой часто подробно рассказывал мне о них.

В то время он говорил о положении России с малой долей надежды на скорые перемены и относился с недоверием ко всем политическим и даже общественным движениям. Тогда граф Витте<sup>19</sup> стоял у власти. Он обращался к Толстому в поисках поддержки переселения крестьян из густонаселенных губерний Европейской части России в Сибирь. Влияние Толстого на крестьян было таково, что важно было заручиться его поддержкой. При этом Толстой сказал мне, что не верит Витте и не хочет иметь с ним дело. Толстой полагал, что правительству следовало бы не только сделать скидку крестьянам для переселения в Сибирь, но предоставить бесплатный проезд и снабдить ссудами, дабы дать возможность обустроиться на новом месте.

В то время европейские железнодорожные и пароходные компании назначали крайне низкие цены на проезд для крестьян с их пожитками из Галиции и Италии в Америку, куда людей влекла надежда на высокие заработки. Возможно, для успеха политики переселения в Сибирь русскому правительству надлежало сделать гораздо больше того, о чем граф Витте мог мечтать.

По-моему, Толстой слишком хорошо понимал психологию русского крестьянина, чтобы идеализировать его, как это были склонны делать славянофилы и многие революционеры. Он понимал, что крестьянину нужно не просто улучшение своего экономического положения, но что гораздо важнее — развитие его умственного и духовного состояния. Поэтому улучшения положения русского крестьянства следовало достигать не теми методами, которые считались прогрессивными в Западной Европе. Толстой так же, как и Рёскин, питал отвращение к индустриализации и с неодобрением относился к прагматическому образованию, преобладающему в Европе и Америке.

Я часто бывал в деревне Ясная Поляна, которая вытянулась в одну улицу к западу от круглых столбов-ворот поместья. Иногда я ходил туда с Толстым, иногда один. Я убедился, что крестьяне в основном жили в условиях довольно примитивных даже для России. Они пахали сохой, которую клали на спину своим лошадям, когда утром устало брели в поле, а вечером — домой. Наделы крестьян были небольшими; все они работали на полях поместья. На сколько я мог установить, среди них не было состоятельных, все были бедными. Деревенские дома представляли собой в основном типичные избы русских крестьян; каждая изба имела двор, огороженный плетнем. Было там два или три кирпичных дома, построенных Толстым в виде эксперимента. В то время плата за работу в поле и по хозяйству была очень низкой: обычно двадцать копеек в день. Крестьяне работали по воскресеньям, однако отдыхали по многочисленным церковным праздникам.

Дешевизна домашнего труда в ту пору позволяла землевладельцам содержать если не большую, нежели до освобождения крестьян, часть челяди, то значительно больший штат слуг, чем тот, который сохранился в подобных хозяйствах Западной Европы. Мне не удалось узнать, сколько слуг было у Толстого: я спрашивал об этом Сергея, но он не смог ответить. От него я узнал, что у слуг в доме не было определенных обязанностей. Там было много людей, которых я описал в своей книге «Экономическая история России»<sup>20</sup> как «лежебок» и приживал, будь то помещики или крестьяне. Такие люди не получали денег, а лишь только пищу и ночлег в одном из многочисленных зданий. Я часто ездил с разными кучерами, и по крайней мере однажды меня вез один из таких нахлебников. Слуги, обычно работавшие в доме, были, конечно, более крепкими, они, без сомнения, были людьми, знающими свое дело. Моя спальня была маленькой, однако требовалось три горничных, чтобы содержать ее в порядке. За столом обслуживали два неуклюжих лакея, в белых хлопчатобумажных перчатках, скрывавших их грубые и, вероятно, не совсем чистые руки. Жизнь в Ясной Поляне была значительно проще, чем во многих помещичьих домах России; хотя если говорить о пище, то она была более чем обильной. Толстые отказались от закуски, или от стола закусок, с его изысканными *hors-d'oeuvre*<sup>\*</sup> и ликерами; и все же их стол был часто и щедро накрыт. В восемь утра подавался первый завтрак: чай, хлеб и мед; в одиннадцать был *déjeuner à la fourchette*<sup>\*\*</sup> — внушительная трапеза: мясо, овощи, квас и красное вино; в час подавался второй завтрак — еще одна внушительная трапеза: суп, мясо и т. д.; в пять вечера был полдник в саду; в семь подавался обед — полная, но не длительная трапеза; в восемь ужин: хлеб, мед и т. д. и затем, если мы засиживались допоздна, легкая закуска около одиннадцати часов, перед тем как всем разойтись. Толстой питался главным образом хлебом и молоком. Хотя мясо и вино были на его столе, он не прикасался к ним. По-моему, он мало ел фруктов, хотя яблоневый сад Ясной Поляны был знаменит.

Уровень жизни в Ясной Поляне, помимо характерной для России краткости промежутков между приемами пищи, был скорее ниже, нежели выше уровня семьи среднего достатка в Англии. Два расторопных слуги легко могли выполнить всю работу по дому, и один человек в качестве кучера и садовника

\* Закусками (франц.).

\*\* Легкий завтрак (франц.).

мог сделать все вне дома, за исключением работы в поле, саду и в лесу. То, что слуг было намного больше, означало, что их услуг не хватало. Крестьяне в Ясной Поляне и соседних деревнях жили более бедно, чем Толстые. И здесь вопрос остается открытым: стоило ли опускать уровень жизни семьи Толстого до уровня крестьян вместо того, чтобы поднять уровень самих крестьян?

Разъезжая по сельской местности в ту пору, я видел, что соседние деревни в других имениях были более процветающими, чем Ясная Поляна. Избы и дороги находились в лучшем состоянии, поля лучше обрабатывались. Сама Ясная Поляна не производила впечатления заботливо ухоженного имения. И все же кое-где встречались признаки заботы. Как я узнал, все это было результатом стараний старшей дочери Толстого, графини Татьяны, которая вела хозяйство в имении и доме. Сад хорошо плодоносил, фрукты собирали крестьяне и продавали их в Москве, где яснополянские яблоки высоко ценились. Казалось, за деревьями, которые в обилии росли в имении, заботливо ухаживали, а поля довольно хорошо обрабатывались.

Жизнь в помещичьем доме была свободной и легкой. Однажды из гарнизона Тулы прискакали верхом два офицера. Через несколько минут, быстро скинув нарядные кители, они появились в широких русских рубахах, больше всего подходящих для игры в теннис, который нравился многим членам семьи Толстого, включая и его самого. Во время недолгих перерывов между трапезами каждый занимался чем хотел — купался в реке, гулял, ездил верхом или в экипаже, — для каждого были лошади в огромных конюшнях, построенных еще в то время, когда помещичий дом был вдвое больше: половина его была уничтожена пожаром в начале девятнадцатого века. Многочисленные трапезы были неизменно веселыми собраниями. Беседа всегда велась на хорошем, а иногда на высоком интеллектуальном уровне. Как и все русские, Толстые любили рассказывать истории. Истории часто рассказывались на итальянском языке — для Ге, много лет жившего в Италии и предпочитавшего этот язык, затем другому — по-французски, третьему — по-английски. Затем история, соответственно, рассказывалась по-русски, а ее нюансы объяснялись мне по-английски. Все говорили по-английски, кроме графини Марии и Ге. Никто не завладевал беседой, каждый вступал в разговор, и вся обстановка была непринужденной и свободной. Если в это время Толстой страдал от семейных разногласий, он тщательно скрывал их.

В помещичьем доме была разнообразная, хотя и не очень большая библиотека. Многочисленные семейные портреты висели в столовой, гостиной и будуаре графини. Среди них портрет князя Горчакова, деда Толстого<sup>21</sup>, и один из портретов самого Толстого работы Репина. Здесь еще была икона размером тридцать на тридцать шесть дюймов — память о деде Толстого<sup>22</sup>. Бабушка Толстого<sup>23</sup> усердно откладывала золотые и серебряные монеты из своих денег на мелкие расходы и из тех подарков, что доставались ей от продажи леса или фруктов из поместья. Когда она собрала достаточное количество монет, то отдала их иконописцу, который прибил их к изображению. В течение многих лет эта икона находилась в часовне на дороге; однако, кажется, во время беспорядков после объявления об освобождении крестьян в 1861 году, семья решила, что будет благоразумнее перенести ценную икону в дом. По-моему, ее стоимость равнялась пятистам унциям золота.

Комната под сводами на нижнем этаже помещичьего дома, окна которой выходили на лужайку, в прежние времена использовалась как житница, теперь же в ней разместился кабинет Толстого. Коса и несколько других орудий висели по стенам, книг в комнате не было. В летнее время Толстой здесь писал. Поскольку большая часть его сочинений была написана летом, эта скромная комната была колыбелью многочисленного ряда художественных произведений, а также более поздних религиозных и педагогических сочинений, вышедших из-под пера Толстого за пятьдесят лет.

Ясная Поляна окружена густым лесом, и хотя дороги оставляли желать лучшего, мы совершали многочисленные экскурсии в экипажах. Иногда мы

выезжали в нескольких экипажах, а по бокам нас сопровождали верховые. В имении существует по крайней мере один природный феномен, представляющий интерес. Это плавающий в небольшом пруду остров, на котором растут несколько больших деревьев. Образовался он в отдаленный период благодаря скоплению растительности на плавающих ветвях или сваленном дереве. Мало-помалу мох и грязь отлагались на гряде, и так образовался настоящий плавающий остров. Говорили, что он время от времени меняет свое положение в зависимости от направления ветра.

Собираясь уезжать, я заметил Толстому, что, надеюсь, он когда-нибудь посетит Новый Свет. «Нет, — ответил он, весело подмигнув, — я готовлюсь к другому, лучшему миру».

## II. 1910

Судьба не была благосклонна ко мне: следующий раз я посетил Россию лишь одиннадцать лет спустя. Я отправился из Канады через Тихий океан и проехал по всей Сибирской железной дороге. Перед тем как пуститься в путешествие, я написал Толстому из Порт-Артура или, кажется, Мукдена и сообщил дату своего прибытия в Москву. Когда я приехал в Москву, там меня ждали письма графини, в которых она радушно приглашала меня сразу же по приезде отправиться в Ясную Поляну и как можно дольше погостить у них. Если бы я знал в то время, что скрывается за этими дружественными приглашениями, ничто не помешало бы мне без промедления отправиться в Ясную Поляну. Но я узнал об этом позже.

Знойную жару в Китае в июле месяце я переносил достаточно хорошо, но, когда я приехал в Москву в начале августа, в городе стояла необычно холодная погода, и я сильно мерз. На улице люди ходили в пальто, тогда как в мое предыдущее посещение Москвы, в августе, было нестерпимо жарко даже в самой легкой одежде. Вскоре я сильно простудился. Обдумывая целесообразность безотлагательной поездки в Ясную Поляну, я получил телеграмму от своего друга В. В. Святловского<sup>24</sup> из С.-Петербурга, который сообщал, что следующим вечером он будет проездом в Москве по пути в Ялту (в Крыму), и приглашал меня погостить у него неделю или две. Получить такое приглашение было очень приятно, потому что климат Ялты прекрасен, как раз то, что мне нужно. Я сразу принял приглашение и провел значительно больше времени на юге России, чем предполагал, а мой визит в Ясную Поляну откладывался с начала на конец августа.

По пути на север из Киева и Чернигова я остановился в Туле. Я быстро переезжал с места на место и не был в контакте с Толстыми. В Туле я узнал, где находятся разные члены семьи писателя. Мне пришло в голову, что, вероятно, губернатор Тулы<sup>25</sup> может знать, находится ли граф Толстой в Ясной Поляне или нет. Я зашел к нему. К сожалению, он председательствовал на заседании губернского правления и не мог принять меня, но весьма любезно послал своего секретаря сообщить мне, что граф Толстой со своей дочерью Татьяной, теперь госпожой Сухотиной, гостит в имении ее мужа<sup>26</sup> под Мценском, в Орловской губернии. Губернатор был настолько благовоспитан, что наказал секретарю узнать для меня расписание наиболее подходящих поездов и указать мне самый удобный путь. Я послал телеграмму Владимиру Черткову, литературному душеприказчику Толстого, с которым поддерживал отношения многие годы (он жил в небольшом имении около Ясной Поляны), и получил от него телеграмму, подтверждавшую слова губернатора и приглашавшую меня незамедлительно посетить его. Я приехал к нему вечером и нашел не только Черткова с женой<sup>27</sup>, но и его невестку графиню Ольгу, с которой встречался в 1899 году. От них я узнал очень печальные вести о семье Толстого. Граф Андрей Толстой, супруг графини Ольги, бежал с женой тульского губернатора, того самого, который был так внимателен ко мне<sup>28</sup>. За этим бегством последовал развод. Графиня с маленькой дочкой жила у своей сестры. Некоторые чле-



ны семьи Толстого доставили ему еще и другие огорчения, а отношения Толстого и его жены серьезно осложнились.

Вообще-то я уже слышал об этом, однако подробности, новые для меня, были весьма печальными. Чертков был скорее склонен к чисто эмоциональным оценкам, но, трезво взвесив все, я понял, что поведение некоторых сыновей графини Толстой и ее отношение к мужу говорили о том, что сама она, несмотря на многие хорошие качества, была скорее чрезмерно любящей матерью, чем преданной супругой. Я понял, что замужество Татьяны привело к большому расколу в семье. Ее практический ум служил объединяющим началом, и благодаря искусному управлению помещьем она содержала семью в хороших условиях. После того как она оставила правомочное управление, доходы семьи уменьшились; к тому же революция 1905 — 1907 годов вызвала повышение заработной платы работникам. Отношения Толстых со своими крестьянами, без сомнения, оставались такими же хорошими, как и прежде, но все же для защиты дома от нападения своих или соседних крестьян графиня наняла на службу вооруженного черкеса (горца с Кавказа), который во время моего визита все еще находился в Ясной Поляне. Более того, расточительность некоторых сыновей доставила графине финансовые неприятности. Чтобы пополнить свои доходы и как-то выйти из создавшегося положения, она потребовала соблюдения авторских прав на сочинения ее мужа за рубежом и в России. Эти поступки не встретили одобрения со стороны Толстого: он всегда отказывался принимать гонорары за свои сочинения. Граф жертвовал деньги, настойчиво предлагаемые ему издателями, и часто сам раздавал свои рукописи, не заботясь о разного рода прибыли. Когда острый экономический кризис довел графиню до истерики, пророкоподобное спокойствие Толстого было нарушено и весь строй семейной жизни был поколеблен.

Чертков сказал мне, что поездка Толстого в Мценск была, по сути, бегством. Он не мог выдержать напряженной обстановки дома и просто бежал от нее. Я размышлял, стоит ли мне последовать за Толстым в Мценск, так как очень хотел снова увидеть его. Чертков послал телеграмму госпоже Сухотиной, и я получил приглашение незамедлительно отправиться туда, как только поток посетителей, прибывших поздравить Толстого с его восьмидесятидвухлетием — 28 августа — прекратится. Я провел несколько дней с Чертковым и однажды съездил в Ясную Поляну. Графиня Ольга, обладавшая живым умом, поведала мне, что я встречу там с ее преемницей, прежней женой губернатора, а теперь супругой ее бывшего мужа, и сказала, что я найду ее очень глупой женщиной. «Не будь она такой, никогда бы не бежала с Андреем». В Ясной Поляне я встретил также графа Льва-младшего, одного из сыновей Толстого, с которым прежде не был знаком. Он известен тем, что написал «Прелюдию Шопена»<sup>29</sup>, ответ на «Крейцерову сонату» своего отца. Я не читал книги, поэтому не имею о ней никакого представления. Ее автор не произвел на меня впечатления. Говорил он как настоящий славянофил, доходя до крайнего шовинизма. По его мнению, русская душа должна властвовать миром. Под русской душой, я думаю, он понимал дух идеализма, однако я не вижу какого-либо особого достоинства в русском идеализме, который может дать ему или России право властвовать над другими странами.

У меня было время лишь для случайных наблюдений, однако признаки плохого управления имением резко бросались в глаза. Яблоки в саду были проданы еще на деревьях московскому торговцу. Их собирали работники, нанятые этим человеком, и под его надзором. Прежде Толстые заставляли своих крестьян собирать и отправлять фрукты под своим руководством. Дороги в имении были почти непроходимы днем и совсем непроходимы ночью. Деревня, без сомнения, приходила в упадок. Кирпичные постройки — эксперимент 1899 года, во время моего предыдущего визита — совершенно развалились; избы были ветхи, а вся деревня имела заброшенный вид. Я уехал из Ясной Поляны в крайне подавленном настроении.

Несколько дней спустя я прибыл в Мценск и проехал миль тридцать до имения М. Сухотина. Когда я ехал по имению, то сразу понял огромную разницу между этим именем и Ясной Поляной. Здесь, без сомнения, за всем хорошо ухаживали, все было в достатке. Помещичий дом был прост — большая столовая соединялась с соседними многочисленными маленькими комнатками, хозяйственные постройки расположены близко к жилью. Госпожа Сухотина (графиня Татьяна) и ее почтенный муж радушно встречали меня, любезно приветствовали и Толстой. Граф довольно хорошо себя чувствовал, хотя я заметил, что за одиннадцать лет, прошедших со времени моего предыдущего визита, он похудел и выглядел озабоченным. Ему только что исполнилось восемьдесят два года. Графиня последовала за ним в Мценск, но уехала за день до моего прибытия. Как только мы остались наедине, Толстой принялся рассказывать о своих семейных делах. Не знаю, правильно ли я поступил или нет, но, прервав его, сказал, что все уже слышал от Черткова и что ему будет больно повторять все это мне. Я попросил его поговорить о чем-нибудь другом. Может быть, я был не прав; но, чувствуя, что рассказ причинит Толстому боль, импульсивно помешал ему.

Все в великом человеке важно; существует определенный интерес к великим людям, когда несоразмерное внимание уделяется мелочам, а случайные ошибки или слабости преувеличены, так как образ, который часто остается в умах людей, есть лишь искаженная карикатура. По-моему, и образ Кромвеля многим представляется лишь в виде бородавки на слабом фоне лица, причем с главным вниманием именно к этой бородавке.

Я сожалею о том, что не дал Толстому высказать все, накопившееся у него на душе. Тем не менее в общем Толстой смог изложить мне свою точку зрения, а моральный долг требовал от меня вернуться в Ясную Поляну и узнать, что скажет графиня. Так я оказался посредником в активно развивающемся домашнем споре. Сложившаяся ситуация была нетерпимой. Уже слишком много людей было вовлечено в полемику или они сами ввязывались в ссору. Толстой и его семейные дела обсуждались на разные лады людьми малозначительными, как, например, литераторами, не только в России, но и за рубежом. Расхождения между Толстым и его женой стали предметом большой, а иногда пошлой сплетни, и разногласия, становясь достоянием гласности, лишь обострялись.

Я чувствовал, что мой долг — как-то помочь Толстому в столь неприятном положении, убедить его судить беспристрастно и внушить ему терпимость в спорах, которым он иногда придавал слишком большое значение.

Мы долго гуляли, и он говорил о будущем мира. Его не устраивали правительственные изменения, еще меньше — общественные перемены. По его мнению, мир крайне нуждался в религиозном движении. Я подумал о схожей идее Степняка<sup>30</sup>, человека совершенно другого склада ума, и хотел знать, суждено ли новому религиозному движению превратиться в формальную духовность, что произошло с большей частью религиозных движений в истории. Казалось, Толстой думал иначе. Он считал, что распространяющееся повсюду религиозное чувство без веры и обряда — это именно то, что нужно. С этой благочестивой надеждой, которую я полностью разделяю, великий вопрос должен был быть разрешен.

Находясь на четвертом бастионе в осажденном Севастополе, Толстой записывал в своем дневнике 5 марта 1856 года<sup>31</sup>: «Вчера разговор о божественном» и вере навел меня на великую громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. — Мысль эта — основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле. — Привести эту мысль в исполнение я понимаю, что могут только поколения, сознательно работаю-

щие к этой цели. Одно поколение будет завещать мысль эту следующему, и когда-нибудь фанатизм или разум приведут ее в исполнение. Действовать *сознательно* к соединению людей с религией, вот основание мысли, которая, надеюсь, увлечет меня.

Толстому было двадцать семь лет, когда он писал эти строки. Когда он говорил, по существу, те же слова мне, ему было восемьдесят два года и он находился на краю могилы. Он, можно сказать, начал и закончил свою жизнь с одним желанием — стать мессией или быть избранным для осуществления некой мессианской задачи. В своем дневнике он уже записал (в 1852 году): «Есть во мне что-то, что заставляет меня верить, что я рожден не для того, чтобы быть таким, как все»<sup>32</sup>.

Еще одним посетителем у госпожи Сухотиной был д-р Маковицкий, преданный друг и врач Толстого, который постоянно ухаживал за ним.

У меня было много дел в Москве и С.-Петербурге, а день моего отъезда из России неумолимо приближался, и, к моему великому сожалению, после слишком краткого визита я должен был уехать. Госпожа Сухотина, как и я сам, очень хотела, чтобы я остался: в то время Толстому нужно было лишь немного здорового и здравомыслящего окружения, защиты от идолопоклонства, с одной стороны, и с другой — от мелких семейных, денежных и других подобных забот, безнадежно затруднявших обретение того покоя и той простоты, к которым он стремился сам и убеждал стремиться других.

Когда я уезжал на станцию, то по русскому обычаю поцеловал Толстого на прощание, и когда увидел в дверях его высокую фигуру, машущую мне рукой, я понял, что прощаюсь с ним навсегда. Месяца два спустя я узнал, что он ушел из дома, в конце концов отрекшись от жизни, полной компромиссов.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Речь идет о картине И. Е. Репина «Л. Н. Толстой в лесу» (ГРМ).

<sup>2</sup> Брандес Георг (1842 — 1927) — датский литературный критик.

<sup>3</sup> Речь идет о романе «Воскресение».

<sup>4</sup> Толстая Мария Николаевна (1830 — 1912) — сестра Толстого. С 1891 года монахиня Шамординского женского монастыря.

<sup>5</sup> Рёскин Джон (1819 — 1900) — английский писатель и теоретик искусства.

<sup>6</sup> Тракта́т Толстого «Что такое искусство?» впервые был опубликован в журнале «Вопросы философии и психологии» (1897, № 5 и 1898, № 1) и почти сразу был переведен на многие европейские языки.

<sup>7</sup> Найт Уильям (Вильям) Ангус (1836 — 1916) — профессор философии Лондонского университета. Его книгу «Философия прекрасного» («The Philosophy of the Beautiful»; London, 1891) Толстой действительно использовал в трактате «Что такое искусство?». В Яснополянской библиотеке эта книга отсутствует, однако сохранилась другая книга: William Knight, «Aspects of theism» (London, 1893).

<sup>8</sup> Мереди́т Джордж (1828 — 1909) — английский писатель. Основной конфликт романов Мереди́та обусловлен столкновением естественного начала в человеке с требованиями буржуазного общества.

<sup>9</sup> Гарди То́мас (1840 — 1928) — английский писатель. В романах «Тэсс из рода д'Эрбервилей» (1891) и «Джуд Незаметный» (1896) дан анализ духовной, природной сущности человека.

<sup>10</sup> Трегубов Иван Михайлович (1853 — 1931) — в 1893 — 1897 годах сотрудник издательства «Посредник». В 1897 году подписал воззвание о помощи духоборам, за что был выслан в Курляндскую губернию.

<sup>11</sup> Бирюков Павел Иванович (1860 — 1931) — русский издатель, общественный деятель, автор капитальной «Биографии Льва Николаевича Толстого» (т. 1 — 4; 1922 — 1923).

<sup>12</sup> Толстой Андрей Львович (1877 — 1916) — автор воспоминаний «О моем отце». См. «Яснополянский сборник» (Тула, 1965, стр. 127 — 138).

<sup>13</sup> Дитерихс Ольга Константиновна (1872 — 1951) — первая жена А. Л. Толстого (1899 — 1906).

<sup>14</sup> Ге Николай Николаевич (Миколай Миколаевич; 1857 — 1940) — учитель, друг семьи Толстого.

<sup>15</sup> Ошибка. Речь идет о Шарле Саломоне (1862 — 1936), профессоре русского языка в Париже, редакторе журнала «*Musee social*».

<sup>16</sup> Мнение автора об «обращенности к Реформации» сестры Толстого не подтверждается другими источниками

<sup>17</sup> Ломброзо Чезаре (1835 — 1909) — итальянский психиатр и криминалист, родоначальник антропологического направления в уголовном праве. Посетил Толстого 15 августа 1897 года. Оставил воспоминания «*Мое посещение Толстого*» (Жснева, изд. Эллидина, 1902).

<sup>18</sup> Брайан Уильям Дженнингс (1860 — 1925) — американский юрист и политический деятель. Трижды (в 1896, 1900 и 1908 годах) безуспешно баллотировался на пост президента США. Был у Толстого в Ясной Поляне 5 декабря 1903 года. Корреспондент и адресат Толстого.

<sup>19</sup> Витте Сергей Юльевич (1849 — 1915) — граф, русский государственный деятель, в 1903 — 1905 годах — председатель кабинета, в 1905 — 1906-м — Совета министров.

<sup>20</sup> Mavor James. *Economic History of Russia*. London, 1914, 2 vols.

<sup>21</sup> Ошибка. Речь идет о прадеде Толстого Николае Ивановиче Горчакове (1825 — 1811), секунд-майоре в отставке.

<sup>22</sup> Речь идет об иконе Спаса Вседержителя. О ней С. А. Толстая писала: «Старинный образ Спасителя. При деде Льва Николаевича он находился в часовне, в Полянах, где он жил с семьей, и считался чудотворным. Когда он заболел, жена его, бабушка Пелагея Николаевна, дала обещание сделать на него серебряную ризу, если дедушка Илья Андреевич выздоровеет. Дедушка поправился, ризу заказали и образ взяли в дом, а в часовню заказали копию» (Пузин Н. П., Архангельская Т. Н. *Вокруг Толстого*. Тула, 1988, стр. 118).

<sup>23</sup> Пелагея Николаевна Толстая, урожденная княжна Горчакова.

<sup>24</sup> Святловский Владимир Владимирович (1869 — 1927) — русский историк. В 1902 — 1924 годах преподавал в Петербургском (Петроградском) университете.

<sup>25</sup> Имеется в виду Кобеко Дмитрий Дмитриевич (1867 — 1916?) — в 1907 — 1912 годах тульский губернатор.

<sup>26</sup> Сухотин Михаил Сергеевич (1850 — 1914) — зять Толстого, тульский помещик, депутат I Государственной думы от Тульской губернии. С 1899 года муж Т. Л. Толстой.

<sup>27</sup> Черткова Анна Константиновна (урожд. Дитерихс; 1859 — 1927).

<sup>28</sup> Мемуарист не совсем точен: А. Л. Толстой отбил жену не у губернатора Д. Д. Кобеко, о котором пишет, а у его предшественника на этом посту М. В. Арцимовича (1905 — 1907).

<sup>29</sup> Толстой Лев Львович (1869 — 1945) — писатель, публицист. Автор сборника «„Прелюдия Шопена” и другие рассказы» (М., 1900), воспоминаний «В Ясной Поляне» (Прага, 1923) и др.

<sup>30</sup> Степняк-Кравчинский Сергей Михайлович (наст. фам. Кравчинский; 1851 — 1891) — революционный народник, писатель. Член кружка «чайковцев», участник «хождения в народ». В эмиграции основал Фонд вольной русской прессы.

<sup>31</sup> Ошибка. Запись в дневнике Толстого от 4 марта 1855 года (ПСС, т. 47, стр. 37 — 38).

<sup>32</sup> Запись в дневнике от 29 марта 1852 года (ПСС, т. 46, стр. 102).



---

---

# ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

А. СОЛЖЕНИЦЫН



## ИОСИФ БРОДСКИЙ — ИЗБРАННЫЕ СТИХИ

*Из «Литературной коллекции»*

Этот томик избранных<sup>1</sup>, если читать весь подряд... Тут остановлюсь. В каком порядке стихи расположены? Не строго хронологически, этому порядку Бродский не вверяется. Значит, он нашёл какую-то иную внутреннюю органическую связь, ход развития? Тоже нет, ибо, видим: от сборника к сборнику последовательность стихов меняется. Стало быть, она так и не найдена. Но вот, когда читаешь весь том подряд, то, начиная от середины, возникает как бы знание наперёд всех приёмов и всего скепτικο-иронического и эпатирующего тона. Иронией — всё просочено и переполнено. Юмор? Если и сквознёт изредка, то не вырываясь из жёсткой усмешки.

Известно: после Первой Мировой войны ирония как манера взгляда на мир всё более захлёстывала западных интеллектуалов. До двух третей века многообразные советские заслоны мешали этому потоку захватить и подсоветские умы. С брежневской эпохи перетёк начался и к нам, сперва — в сферу частной (или «кухонной») мысли. Но уже с 80-х годов завидно уверенно возглашается: «ирония — религия нашего века», она захватывает весь небосклон мировосприятия, затем и самого субъекта: в XX веке для пишущего «невозможно принять [и] себя абсолютно всерьёз». (Хотя, заметим, каждому Божьему творению дано отроду чувствовать всё существующее всерьёз.)

И мода эта не могла не заполнить Иосифа Бродского, возможно, при очевидной его личной уязвимости, — и как форма самозащиты. Иронию можно назвать сквозной чертой, органической частью его мирочувствия и всеохватным образом поведения, даже бравадно педалируемым (в чём проглядывает и признак беспомощности). Неизменная ироничность становится для Бродского почти обязанностью поэтической службы.

Едче всего изъязвить таким подходом любовную ткань. Вот берётся Бродский за сюжет Марии Стюарт, столь романтически воспетый многими, и великими, поэтами. Но романтика для него дурной тон, а проявить лиричность — и вовсе недопустимо. И он — резкими сдёргами профанирует сюжет (заодно — и саму сонетную форму), снижается до глумления: «кому дала ты или не дала», «для современников была ты блядь», и даже к её статуе в Люксембургском саду: «пусть ног тебе не скидывать в зенит». Ещё и диссонансами языковыми: «сюды», «топ-топ на эшафот», «вдарить», «вчерась», «атас!», «и обратитесь не к кому с „иди на“», — и это чередуется со светскими реверансами — какое-то мелкое петушинство. И весь цикл (оттенённый признанием, что именно Мария Стюарт его, мальчика, «с экрана обучала чувствам нежным») написан словно лишь для того, чтобы поразить мрачно-насмешливой дерзостью.

Вот («Пенье без музыки») растянутая на 240 строк попытка объясниться с одной из отдалённых возлюбленных минувшего времени, насколько он остаётся с нею неразлучим, — апофеоз хладности и рассудливости, не случайно ещё

---

© А. Солженицын.

<sup>1</sup> Бродский Иосиф. Часть речи. Избранные стихи 1962 — 1989. М., «Художественная литература», 1990.

и построенный на геометризме (впрочем, шатком: перпендикуляр-то восставил, но спутал катет с гипотенузой, а сам образ звезды, на которую смотрят оба они, — стар, как мир). Или, вот, ещё объяснение, в необратимой разлуке («Прощайте, мадмуазель Вероника»). Стих по замыслу любовный? Но растянут на 160 строк ледяного холода (вместо тёплого бы восьмистишья?) и ещё засушен сложной строфикой, вытягиваемой изневольнo выкрученными фразами, и всё с переносами, переносами из строки в строку. Форма не вмещает? — но никак не *чувства*.

Чувства Бродского, во всяком случае выражаемые вовне, почти всегда — в узких пределах неистребимой сторонности, холодности, сухой констатации, жёсткого анализа. И когда Бродский пишет о себе «кровь моя холодна», и даже «я нанизан на холод», — это кажется вполне верным внутренне, а не по внешнему объяснению («я не способен к жизни в других широтах»). В этом неизменно приполярном душевном климате поражает скорее чувство, остро проступившее: «в темноте всем телом твои черты, / как безумное зеркало повторяя».

Отдельно заметно выделяется лишь рассеянный по годам цикл стихов, посвящённых М. Б. В исключении ото всего остального корпуса стихов Бродского в этом цикле, хотя и не сплошь, проявляется несомненная устойчивая привязанность, заножённость. Тоска по этой женщине прорезала поэта на много, много лет. Тут — прекрасные (и уже не длинные и уже отчётливее написанные, без синтаксических увязаний) стихи «Песенка», «Семь лет спустя», «Горение», «Я был только тем, чего / ты касалась ладонью...». И «Anno Domini», хотя тут уже с античной стилизацией. Но «Строфы» («Наподобье стакана») Бродский застуживает в долготу 200 строк и всё холодеющих размышлений. Так и «Келомякки» (к ней же) — 120 строк, и повернуты на предметную обстоятельность, утомительную рассудительность, — хотя тут и так несвойственное этому автору: «холодея внутри, источать тепло / вовне». А в «Элегии», — «До сих пор, всплывшая твой голос, я прихожу / в возбужденье», — если эта начальная строка верна, то всем остальным грузным стихом (защитной рефлексией?) чувство засушено (в прикрытие ли раны?).

Совсем другой полюс искреннего чувства поэта прокололся в раздражённой «Речи о пролитом молоке» (ещё 320 строк). В ней Бродский дважды повторяет: «Я сижу на стуле, тряусь от злости» — и по всему капризному стиху это разлито, «всех, скорбящих по индивиду <...> / всех к той матери по алфавиту»... (Написано в его 27 лет.)

Беззащитен оказался Бродский против издёрганности нашего века: повторил её и приумножил, вместо того чтобы преодолеть, утишить. (А ведь до какой бы хаотичности ни усложнялся нынешний мир — человеческое создание всё равно имеет возможность сохраниться хоть на один порядок да выше.)

Из-за стержневой, всепроникающей холодности стихи Бродского в массе своей не берут за сердце. И чего не встретишь нигде в сборнике — это человеческой простоты и душевной доступности. От поэзии его стихи переходят в интеллектуально-риторическую гимнастику. Этот эффект усиливается от столь же устойчивого, сквозного мировосприятия автора: он смотрит на мир мало сказать со снисходительностью — с безразличностью к бытию, с какой-то гримасой неприязни, нелюбви к существующему, а иногда и отвращения к нему. Да и прямо пишет: «Вещи и люди <...> терзают глаз. / Лучше жить в темноте. <...> Мне опротивел свет <...> как я переносу / небытие на свету» («Натюрморт»). «И вкус во рту от жизни в этом мире, / как будто наследил в чужой квартире / и вышел прочь!» Немало стихов, где Бродский выражает омерзение к тому, что попадает на глаза: тут и луны «прыщавая скула» и «часть женщины в помаде / в слух запускает длинные слова, / как пятерню в завшивленные пряди», — а мысли покрупней в тех стихах, бывает, и не найдёшь. Люди? — в «наготе и складках» мира «больше любви, чем в лицах». А и пейзаж вообразить «лучше всего безлюдный», да уж «ничего нет ближе, чем вид развалин». И правда, пейзажи у него большей частью безлюдны и лишены движения, а то и сгустки уныния («Сан-Пьетро»).

И при таком сплошном тускло-мрачном восприятии мира — неправдоподобно звучит единственный диссонанс: «пока мне рот не забили глиной, / из него раздаваться будет лишь благодарность». Но кроме этих строк — именно то Благодарность в стихах Бродского не звучит, нет.

Не удивительно, что сильнейшую встряску испытал Бродский, в его 24 года, от судебнo-ссылных испытаний. Впечатления эти он выразил в преувеличенно грозных стихах: «Я входил вместо дикого зверя в клетку, / выжигал свой срок и кликуху гвоздём в бараке...» (Срок — первоначально 5-летний лагерный — сведен был к 17 месяцам деревенской ссылки, по гулаговским масштабам вполне детский.) Ю. Чапский пишет, со слов Ахматовой<sup>2</sup>, что Бродского на три дня отпускали из ссылки в Ленинград и «самые авторитетные светила признали его больным», он привёз оттуда — медицинские справки о психопатии и других болезнях, но местный начальник не признал их достаточными для освобождения от работ. — Такая поездка видна и из дневника Л. К. Чуковской<sup>3</sup>; дал и местный врач освобождение от тяжёлой работы, но местное начальство не уступило.

Более достоверен тяжёлый отпечаток ссылных месяцев на тамошних его стихах. «Как смолу под корой, спрячь под веком слезу»; «...легла бессмысленности тень / в моих глазах <...> / Лишь сердце вдруг забьётся, отыскав, / что где-то я пропорот»; «Отчего молчишь и как сын глядишь?»; да ещё ж этот скрип телег: «дерут они глотку свою» и «деревья слышат не птиц, / а скрип деревянных спиц / и громкую брань возниц»; «Или спрячусь, как лис <...> / от двуствольных глазниц. / Спрячь и зажди мне рот! / Пусть при взгляде вперёд / мне ничего не встретит, / кроме жёлтых болот»; «лик её [природы] <...> делается злым. / И всюю пятернёю чувств <...> / отталкиваюсь я от леса»; «в моей груди / всех призраков и мертвецов буди»; «среди пустых небес / <...> бреду я по ничьей земле / и у Небытия прошу аренду»; «Да, здесь как будто вправду нет меня. / Я где-то в стороне»; «Тут, захороненный живьём, / я в сумерках брожу жнивьём» и «стерня, / как волосы на теле мёртвом»; «Вот я стою в распахнутом пальто, / и мир течёт в глаза сквозь решето, / сквозь решето непониманья».

Ярко выражено, с искренним чувством, без позы. И — что это? Даже сквозь поток ошеломлённых жалоб — дыхание земли, русской деревни и природы внезапно даёт ростки и первого понимания: «В деревне Бог живёт не по углам, / как думают насмешники, а всюду. / Он освящает кровлю и посуду <...> / В деревне он в избытке. В чугуне / он варит по субботам чечевицу <...> / Возможность же всё это наблюдать <...> / единственная, в общем, благодать, / доступная в деревне атеисту». И новое настроение: «Не перечь, не порочь». И сам уже в действии: «Воззри сюда, о друг- / потомок: / во всеоружьи дуг, / постромок, / и двадцати пяти / от роду, / пою на полпути / в природе». И даже такие прекрасные строки: «То ли песня навзрыд сложена / и посмертно заучена».

Животворное действие земли, всего произрастающего, лошадей и деревенского труда. Когда-то и я, ошеломлённым городским студентом угодив в лошадиный обоз, испытал сходное — и уже втягивал как радость. Думаю: поживи Бродский в ссылке подольше — та составляющая в его развитии могла бы существенно продлиться. Но его вскоре помиловали, вернулся он в родной город, деревенские восприятия никак не удержались в нём. Теперь «в жадный слух <...> / не входят щебет или шум деревьев — / я нынче глух», и стало в нём вскипать сильнейшее раздражение: хоть «лезть под кран, дабы / рассудок не спалила злота». Мы уже видели в «Речи о пролитом молоке»: «Я сижу на стуле, трясу от злости <...> / Двадцать шесть лет непрерывной тряски, / рытья по кар-

<sup>2</sup> «Русская мысль», 1989, 17 марта, стр. 11.

<sup>3</sup> «Знамя», 1999, № 7, стр. 146 — 154.

манам, судейской таски <...> / В голове моей только деньги». Мировая слава Бродского вокруг его судебного процесса поначалу сильно перешагнула известность его стихов. И, по-видимому, произвела сильное впечатление на самого поэта. На процессе защищая, по сути, лишь свой поздний тезис, что «искусство есть форма частного предпринимательства», он позже, в успехе, отклонился от верной самооценки. Ему начало мниться, что он провёл гигантскую борьбу с коммунистическим режимом, нанёс ему страшные удары, он сравнивает себя с Тезеем, победителем Минотавра («К Ликомеду, на Скирос»): «Вот она, победа! / Апофеоз подвижничества». И от накала этой, не явленной, борьбы возмущается окружающей трусостью: «дерьмо мужчины: / в теле, а духом слабы». (Как раз защитники Бродского явили нерядовое мужество.)

После нескольких лет запретной цензуры и, вероятно, растущего раздражения, Бродский эмигрировал. По общепринятой ныне версии о насильственном изгнании пишется об этом так: «В 1972 году советские власти вручили Бродскому, вопреки его желанию, визу на выезд в Израиль, фактически выслали из СССР». Сам Бродский пишет куда честней: «Бросил страну, что меня вскормила», «я сменил империю. Этот шаг / продиктован был тем, что несло горелым / с четырёх сторон». (Может быть, ещё какие-то детали объяснились бы нам из письма Бродского Брежневу 4.6.72, упоминаемого немецким журналистом Юргеном Серке в его книге<sup>4</sup>.) И позже: «А что насчёт того, где выйдет приземлиться, / земля везде тверда; рекомендую США».

И так получилось, что, выросши в своеобразном ленинградском интеллигентском круге, обширной русской почвы Бродский почти не коснулся. Да и весь дух его — интернациональный, у него отприродная многосторонняя космополитическая преемственность. Это открыло путь и его ранней привязанности к английской поэзии (уже в 23 года — отменно удачная «Большая элегия Джону Донну», немногим позже — столь характерные для него «Стихи на смерть Т. С. Элиота»). И — весьма удавшиеся его стилизации под античность. Это началось у него будто как игра — но игра, увлекшая его, и успешная. Он начинает как бы и реально жить в заёмном стиле «патрицианства». Уже и ссыльные стихи Бродского начиняются Августой, Полидевком, Эвтерпой, Каллиопой — это, может быть, якорь душевной устойчивости при его растерянности и отчаянии в ссылке. И правда, почему поэту не продолжить обрванную традицию уже умершего народа? Скажем, «Письма римскому другу» звучат и дышат так, будто и в самом деле дошли к нам из древнего Рима. Другие — вызывают сомнения, как поэмка «Post aetatem nostram» — уже не в каждой своей части обязательная: это рискованное погружение в бытовые детали неведомой греческой провинции, реалистичность до подробностей, ещё уганданных ли? Тут — чувствительно неосторожна всякая игра, например, с древней латинской пословицей: «„Dum spiro spero“, как сказал Декарт» (?).

Корпус стихов Бродского на античные мотивы отчетливо и выгодно выделяется во всём его наследии. Молодой Бродский заявлял: «Я заражён нормальным классицизмом», «я отдал предпочтение классицизму». Однако: такую отчётливость, даже до прозрачности, мы редко встретим у Бродского: конечно же в чеканном «Сретеньи», может быть в насмертии Жукову и к столетию Ахматовой, и эти яркие стихи только рельефнее выделяют однообразный тон многих других. Тон, по выражению самого автора, — «блеклый голос, / выющийся между» срифмованными строчками.

Тут надо начать с рифм. В рифмах Бродский неистощим и высоко изобретателен, извлекает их из языка там, где они как будто и не существуют. Рифмы — очень находчивые, являют его тонкое фонетическое ухо, много свежих и смелых, очень расширил пределы рифмы: *подробней — кровлей, плевел — север, отметки — по-немецки, горних — треугольник, средство — сердце*; нередко

<sup>4</sup> Serke Jürgen. Die verbannten Dichter. Hamburg, 1982.



играет ими в троерифмиях: *звёзды — извѣстка — войско*, добавляет ещё и внутри строк. При такой смелости, разумеется, переступает и меру, уже в спорность: та же «извѣстка» рифмуется у него с «известный», *ропот — рапорт — рупор, подделке — кривотолки, уехала — около* и др. И повторы рифм у него редки, кроме злоупотребляемого выноса предлога под конечное ударение.

Однако за эти просторные рифмы и за конструкцию изощрённых строф (ещё усложняемую разматыванием последствий рифмовки) Бродскому приходится платить большую цену. Эти же рифмы ведут его к безмерному (ускользающему от стройного смысла) наплетанию строк и строф — а рифмы, за которыми сперва внимательно следишь, уже перестают играть свою скрепляющую роль, перестают даже замечаться, они уже не работают; и когда вдруг (редко) стих белый, то и не сразу замечаешь, что белый. А в рифмах-то и немалое мастерство Бродского.

И ещё. В угоду сложной форме строф Бродский увлекается многоречием до захлёба, бывает вынужден разжижать текст, наполнять иные строфы вставными сторонними или банальными, а то и пустыми строками, только отвлекающими наше внимание; а сами строки дополнять необязательными словами и синтагмами. (Или фиксируется отброшенный в поисках вариант: «клеток — / то есть извилин».)

Вообще, с суверенностью строки в строфе, а то и целой строфы, — Бродский мало считается. Пресловутый enjambement, перенос из строки в следующую строку, — из редкого, интонационно выразительного приёма у Бродского превращается в затасканную обыденность, эти переносы уже не несут в себе эмоционального перелива, перестают служить художественной цели, только утомляют без надобности. И то, что сперва воспринимается свежо, — ставить под перенос предлог «на» или отрицание «не», — от безмерно обильного употребления приёма становится уже навязчивым и безвкусным. Настоячивая игра переносимых предложных переходов из строки в строку вносит не жар, как у Цветаевой, — но обдуманную аналитичность. А разбитие «то / есть» в две разные строки — уже не искусность, а неряшливость: вторую строку, начатую с урезанного «есть», уже и понять нельзя.

Вспомним, как Набоков сказал о Пушкине: «Каждый из его переносов естественны[й], как поворот реки». (Интересно отметить, что в нескольких стихах — тотчас за 40-летием Бродского, когда на время возвращается та упругость, как будто намечавшаяся в начале его поэтического пути, — численность этих переносов заметно уменьшается, и недоконченные фразы хоть и плутают по строкам, но нет такого увязания. К сожалению, эта перемена не утвердилась.)

А ведь только разохоться переносить — и синтаксические обороты вот уже не помещаются и в целых строфах; составными единицами стиха становятся уже даже не строфы, а группы строф — отчего раздувается объём стиха, расплывается форма. В иных («Anno Domini») — не завершена почти и каждая строфа, они цепляются друг за друга. От этой невместимости уже и в строфу возникает *вязкость* текста, нескончаемых фраз, закрученных цепочек ассоциаций — и автор и читатель с трудом вытягивают из них ноги, как из плетучей травы. Вязкая форма стиха заблуживает автора среди лишних, сбоку притягиваемых предметов, обстоятельств, боковых наростов, даже целых опухолей. Или, напротив, это помогает ему выразить непреодолимость земной, бытийной вязкости? Но при обоих объяснениях — создаётся впечатление нарочитого косноязычия, — неравно, конечно, от провального стиха — и к удачному.

Такое впечатление, что стихи нередко и рассчитаны на встречное напряжение читателя или ошеломить его сложностью. Многие из них заплетены как ребусы, головоломки. *Насквозь* прозрачный смысл в стихотворении бывает не часто. (Ну, это не у него же первого.) Сколько искривленных, исковерканных, раздёрганных фраз — переставляй, разбирай. Иные фразы так и не составились вовсе, «в грамматику без / препинанья». Бывают фразы с произносимым порядком слов. Существительное от своего глагола или атрибута порой

отодвигается на неосмысляемое, уже не улавливаемое расстояние; хотя формально имеется согласование, но до смысла нелегко доискаться. Фразы длинной по 20 стихотворных строк — это уже невладение формой? Переобременённые фразы приводят и к несуразным внутренним стыкам. Уморчиво было бы приводить примеры всех нескладиц.

Есть стихи и циклы, формально обозначенные как нечто целое, но не скреплённые в себе, внутреннее единство в них уже растеряно, распалось. От строфы к строфе плетётся капризное мелькание мыслей, фантазий или мало-смысленные словесные переливы: «А почему б не называться птичке / Кавказом, Римом, Кёнигсбергом, а?» — Или, словами автора: «это — ряд наблюдений», «это — записки натуралиста». И если цикл «Часть речи» сквозь многие отклонения изложения насажен на единый стержень неутолённого, скорбного любовного чувства, — то циклы «Колыбельная Трескового Мыса», таков же и «Литовский ноктюрн» (да каждый — по 300 строк) воспринимаются как надуманные конгломераты.

Стихи Бродского часто движутся сильнейшим желанием спрятать чувство, и оттого впечатление, что стих не *вылился*, а — расчётливо *сделан*. Порой поэт демонстрирует высоты эквилибристики, однако не принося нам музыкальной, сердечной или мыслительной радости. Virtuозность тоже становится однообразной. Как сказал Ж.-Ф. Милле: горе художнику, талант которого больше бросается в глаза, чем его создание.

Поэт настолько выходит из рамок силлабо-тонического стихосложения, что стихотворная форма уже как бы (или явно) *мешает* ему. Он всё более превращает стих в прозу (но и тоже очень нелёгкую для чтения). Начинаешь воспринимать так: да зачем же он вставляет в прозу рифмы? Бродский революционно *сотрясает* русское стихосложение. (В единственном нашем обмене письмами, году в 1978, я написал ему об этом.) Он вносит — сразу много резке, чем требует эволюция протекающего времени.

Бродский настойчиво придаёт своим стихам музыкальные названия: ноктюрн, полонез, квинтет, дивертисмент, романс, ария, колыбельная, песня, песни, песенка, пенье... В тексте нередко встречаем образования «до-ре-ми» и ещё длинней цепочки. Однако: музыкальности — во множестве его стихов никак не найти, не услышать, именно *звучания*, богатого и значительного, скорей — звуковое однообразие. А иногда — нарочито режущая фонетика. И ещё этот шип возвратных причастий: *движущиеся*, *развешивающиеся*, *болтающейся*.

Сопоставлю и с одобрительным замечанием Бродского о Вяземском, что он «был поэт из тех, для кого мысль в стихотворении важнее гармонии, кто готов пожертвовать музыкальностью и балансом ради сложности и точности мысли»<sup>5</sup>. А вот о себе: «Моя песнь была лишена мотива, / но зато её хором не спеть».

Распространено противоположное мнение: что стихи Бродского даже особо музыкальны. Ссылаются на его манеру чтения. Мне не пришлось его чтения слышать. Но я принципиально считаю, что качество стихов не должно зависеть от авторской манеры чтения. Уравнительно с поэтами минувшего времени: стихи должны *звучать* прямо с бумаги.

Принятая Бродским снобистская поза диктует ему строить свой стиль на резких диссонансах и насмешке, на вызывающих стыках разностильностей, даже и без оправданной цели. Если это реминисценции (а их немало у него, любит их, хотя какое уж это богатство), то — почти всё с насмешкой: «Служенье Муз чего-то там не терпит», «см. светило, вставшее из вод», «Я вас любил. Любовь ещё (возможно)», «как дай вам Бог другими — но не даст!» — и другие в той же подростковой манере снижения во-что-бы-то-ни-стало. Молодой Бродский ещё извинялся: «Ты, несомненно, простишь мне этот / гаерский

<sup>5</sup> Бродский Иосиф. Труды и дни. М., Издательство «Независимая газета», 1998, стр. 37.

тон. Это — лучший метод / сильные чувства спасти от массы / слабых». Но и с годами манеру эту он, к сожалению, не преодолел, скорее растиражировал.

И грубую разговорность он вводит в превышенных, неоправданных дозах. Текут виртуозные строфы — и вдруг втёсывается: «Кой ляд быть у небес /<...> в реестре». — «Непротивленье <...> мне — как серпом по яйцам». — «Хватит трепаться о пополаме». — Не всегда отчётливо проведёшь границу, где эпатаж, а где языковое неряшество: «любая душа переплунет лёдник»; «находились внутри из числа / людей, находившихся там постоянно» — ну что бы разуподобить слово (это из прекрасного стихотворения)?

Образы, тропы, сравнения бывают хороши: «дождь щиплет камни, листья», «дождь стёкла пробует нетвёрдым клювом»; лодки, баркасы, «как непарная обувь, разбросаны на песке»; это же сравнение (по забывчивости?) повторяется: лодки — «как непарная обувь с ноги Творца»; «вода, наставница красноречья»; осенний лист, «падающий, как обагрённый князь»; «стена осела дёснами в овраг»; «вереница бутылок выглядит как Нью-Йорк»; «колонны с дорической причёской»; в горле «холодным перлом перекачивается Гораций»; «небосвод разлук / несокрушимей потолков убежищ»; «тех нет объятий, чтоб не разошлись, / как стрелки в полночь»; «праздник кончиков пальцев в плену бретелек», «пол-литровая грудь», и это ещё не всё, разумеется.

А бывают и натянутые: «Луна, что твой генсек в параличе»; «звезда — моль, натёртая в пространстве светом»; «облокотясь на локоть, / раковина ушная» (эту тавтологию «облокотясь на локоть» повторяет он не раз). На многих надуманных образах отпечатлелась трудность их рождения или вымучивания: «подобие алфавита, / тепло есть знак размноженья вида / за горизонт»; мотылёк от оконной железной сетки «отскакивает, точно пуля, / посланная природой <...> / в самоё себя»; «поклёп постели, / сонный, на потолок»; «радиус, подвиги чьи / в захолустных садах созерцаемы выцветшей осью» — забезмерился в поисках образа. Впрочем не упрекнуть, что стихи Бродского перенасыщены метафоричностью, как это стало модным в те же десятилетия. А в поздние его годы образность стала вялей, поиски ленивей.

Однако во всех его возрастных периодах есть отличные стихи, превосходные в своей целостности, без изъяна. Немало таких среди стихов, обращённых к М. Б. Великолепна «Бабочка»: и графическая форма стиха и краткость строк передают порханье её крыльев (тут — и мысли свежи). «На столетие Анны Ахматовой» — из лучшего, что он написал, сгущённо и лапидарно. «Памяти Геннадия Шмакова»: несмотря на обычную холодность также и надгробных стихов Бродского, этот стих поражает блистательной виртуозностью, фонтаном эпитетов. — И наконец разительный «Осенний крик ястреба»: эти смены взгляда — от ястреба на землю вниз, и на ястреба с земли, и — вблизи рядом с летящим, так что виден нам «в жёлтом зрачке <...> злой / блеск <...> помесь гнева / с ужасом» — и отчаянный предсмертный крик птицы («и мир на миг / как бы вздрагивает от пореза») — и ястреба разрывает со звоном, и его оперенье, опушённое «инею, в серебре», выпадает на землю, как снег. Это — не только из вершинных стихотворений Бродского, но и — самый яркий его автопортрет, картина всей его жизни.

А в «Облаках» проявил Бродский необычный для себя неприятельский, лёгкий лирический тон. Некоторые стихи ранней молодости — «Ты поскачешь во мраке...» (хотя ещё сильно подражательно), «Рождественский романс», «В твоих часах...» — дают нам представление, каким естественным и благодарным путём развития мог бы пойти Бродский. Однако и рано же начались его деконструктивные эксперименты, отвлекшие от скульптурности формы.

Многолетнее пребывание на Западе дало Бродскому множество наблюдений, обильно отражённых в его стихах. И здесь не английские оказались на первом месте. («Темза в Челси» силится высказать нечто значительное, а нанизывается пустоватое.) Удачно и разнообразно переданы мексиканские («Мексиканский дивертисмент»); очень уж запоминается меткое: «где у черепа

в кустах всегда три глаза». И — множественно, и удачно — итальянские, более всего — Венеция, излюбленная им.

Бродский весьма отдаёт себе отчёт, как важна родственность языку, на котором пишешь, и не раз об этом высказывался, что даже и цели иной не имеет, как только служить русскому языку. В год эмиграции: «всё, что творил я, творил... ради речи родной, словесности». Но тут оценки могут сильно разойтись. *Глубинных* возможностей русского языка Бродский вовсе не использовал, огромный органический слой русского языка как не существует для него, или даже ему не известен, не проблеснёт ни в чём. Однако обращается он с языком лихо, то нервно его ломает, то грубо взрывает разностилем, неразборчив в выборе слов, то просто небрежен к синтаксису и грамматике.

Поэт широко открыл вход для таких выражений, которые, отдельно прочтя, трудно признать осколками стихов, поэтическими оборотами: *является в одно и то же время; представляет собой; посредством луж; при содействии луж; ряд наблюдений; предьявляя транзит; освоение космоса; данная песня; данный эффект; о вещах, не имеющих отношения; с точки зрения ландшафта; максимум крики чаек; в определённом возрасте; плюс готовность; в итоге вздрагиваешь*.

А следуя всё той же тактике языковых взрывов, поэт впережку посылает нам: «пусть КГБ на меня не дрожит», «сухой мандраж», «кладу на мысль о камуфляже»; «ах ты бя»; и несколько раз — прямой и прямой мат. (И во всём же этом щегольстве слух различает неорганичность автору даже и этой брани, заимствованность.)

Исжажданное ли окунанье в хляби языка, однако без чувства меры, приводит к лексике, подбираемой новичками для изображения простонародья (тут и нарочитая ирония, конечно): *не осерчай, ёёная, вестимо, менё, завсегда, даве, ноне, вчерась, неча, невесть, опричь, поди, супротив, эк, впрямь*. И рядом с этим всем высокопоэтическое славянское «зане» (и не раз, даже и в таком сочетании: «зане... есть предмет эволюции»).

Очень неосторожное, даже безответственное обращение со словом «вещь». Когда надо ли дозаполнить строку, или не находит Бродский точного слова для предмета, явления, он ставит «вещь», как это делают только в расплывчатом, мусорно-бытовом словоупотреблении. «Вещь» у него — это и памятник, и коровий нашлап, и «воздух — вещь языка», и сельские дома, «в деревянных вещах замерзая в поле»; и «не бздюме [?] утряски / вещи с возрастом»; и «идёшь на вещи по второму кругу, / сойдя с креста»; и «сиротство вещей, / не получивших грудь» (материнскую); «стулья и зеркало — <...> выход / вещи из тупика»; также и поезда — «железные вещи». (А в стамбульском его эссе<sup>6</sup>: «мест и характеров — то есть тех вещей»; «эпос, драма, мифологизация <...> все эти вещи»; «Чёрное море <...> в конечном счёте, плоская вещь».) Для разнообразия предлагает нам и «местные сырые дела».

Вопреки грамматике Бродский неправильно обращается с глаголом «суть»: многократно соединяет его с единственным числом существительного: *близна «суть отраженье», «это суть местный комплекс», «он суть», «будущее суть»...* — Унылое впечатление производит довольно частое и небрежное употребление слова «плюс»: «плюс нет» (чего), «плюс отсутствие», «плюс нас», «плюс эффект штукатурки». И не однократное, но многократнейшее, монотонное употребление на концах, затем уже и внутри стихотворных строк — «и проч.»; «и т. п.». Затем в строки вклиняются и «так наз.», «сах. песок», «пиш. машинка», «А. П. Чехов», «А. С.» (Пушкин). И кому, как не поэту, воспрещается нарушать эвфонию: «со взглядом» бы, а не «с взглядом», поди произнеси.

Так что принять Бродского за мэтра *языка* — трудновато.

Бродский настойчиво работает над поиском значительных мыслей, следы работы видны во многих местах его текстов. «Гражданин второсортной эпохи,

<sup>6</sup> Бродский Иосиф. Путешествие в Стамбул. — «Континент», 1985, № 46, стр. 67 — 111.

гордо / признаю я товаром второго сорта / свои лучшие мысли и дням грядущим / я дарю их как опыт борьбы с удушьем». Среди этих опытов есть несомненные: «в наше время / сильные гибнут. Тогда как племя / слабых плодятся»; «каждая могила — край земли»; «труд — это цель бытия и форма»; «прогресса нет, и хорошо, что нет»; «не в том суть жизни, что в ней есть, / но в вере в то, что в ней должно быть»; «всякий распад начинается с воли» — впрочем, довольно общеизвестно. — Встречаются мысли не вполне достоверные: «нет одиночества больше, чем память о чуде»; «оценить постоянство: как форму расплаты / за движенье — души»; «скорость внутреннего прогресса / больше, чем скорость мира». — А сверх того поэт нагромождает банальности, и в утомительном количестве: «только то тело движется, чья нога / перпендикулярна полу»; «пока существует обувь, есть / то, где можно стоять, поверхность, / суша»; «без мебели жить нельзя»; «любое движенье, по сути, есть / перенесение тяжести тела в другое место».

А ещё есть категория мыслей странных, зыбких, или, может быть, незрелых (но часто — с тягой к афористичности): «Одиночество есть человек в квадрате»; «история — короста суши»; «любовь — имперское чувство»; «календарь Москвы заражён Кораном»; «воздух и есть эпилог / для сетчатки»; «луг с поляной / есть пример рукоблудья»; «поэзия основана на сходстве / бегущих вдаль однообразных дней»; «окраска / вещи на самом деле маска / бесконечности».

Может быть, мы и не вправе желать ясности? По словам Ю. Серке, Бродский высказал ему так: «Мироздание никогда не сможет удовлетворить мыслящих. Определённость и достоверность — признаки неодухотворённого мышления... Своё достоинство приобретаешь... только в метафизической поэзии». Она — «единственный дышащий порядок», и искусство своё он назвал «трансцендентным». Именно на одухотворённое и высокое-высокое по значению мышление претендует Бродский, и называть его поэзию *метафизической* уже вошло в широкий обычай.

А если метафизическая — то какие субстанции могут быть для неё первой, нежели Время и Пространство? И ими-то Бродский занят чрезвычайно, эти слова мелькают у него едва ли не в каждом втором стихотворении. Но в каких, порой, странных формах мысли: «тело обратно пространству»; «да и что вообще есть пространство, если / не отсутствие в каждой точке тела?»; «пространство торчит преysкурантом»; бывает у него и «пространство в квадрате»; бывает: «пространство, прищурившись, подшофе, / долго смотрит ему [времени] в затылок»; и вообще «Время больше пространства. Пространство — вещь. / Время же, в сущности, мысль о вещи». — Теперь и мысли о самом времени. «Время есть холод», бывает и «время, упавшее сильно ниже / нуля» (тогда, может быть, оно и останавливается?..); также «Время есть мясо немой Вселенной», а также и «цвет есть время»; «время глядится в зеркало»; «Время создано смертью. Нуждаясь в телах и вещах, / свойства тех и других оно ищет в сырых овощах».

Да полно: торможение Времени и Пространства ещё не создаёт *метафизической* поэзии. (Ещё: из-за своего ли высокого внимания к Пространству, Бродский не раз и не два злоупотребительно тербит имена Эвклида и Лобачевского, притом без смысловой точности и глубины.)

Однако, видим и другой поток мыслей поэта: а теперь («Ария») «Что-нибудь из другой / оперы <...> лишь бы без содержания»; да и Муза ему «нашёптывает слова, не имеющие значенья»; «я, певец дребедени, / лишних мыслей, ломаных линий», «потому что за этим / не следует ничего». Или так: «То, чего нету, умножь на два: / в сумме получишь идею места».

Но этак есть опасность «остановить Титаник / мысли». И поэт не прекращает напряжённого поиска. Да, следы поиска повсюду, но не мешает ли находкам поза надменной отстранённости? монотонная мизантропия? некая наигранность интеллекта? Ищет, ищет — и какие же мысли находит? Что «Жизнь бессмысленна. Или / слишком длинна», «скушно жить», тоска-тоска

существования, меланхолия, разочарование — уж так это старо, этим-то и мировая литература была перегорчена и отведена прочь от здравости. Однако если принять всенасмехательский тон, то мысли становятся как бы неуязвимы для критики.

То и дело сдвигая стих в сторону прозы (и притом тяжеловесной), Бродский оставался в поверхностном убеждении принципиального превосходства поэзии над прозой и высказывал это не раз. Например в том же стамбульском эссе: что проза «лишена какой бы то ни было формы дисциплины» — весьма опрометчивое суждение. А в интервью с Джоном Глэдом на вопрос: «Поэты наверху, прозаики внизу?» — с лёгкостью отвечает: «ну это само собой»<sup>7</sup>. Не так-то «само собой». Вот Гёте высказал однажды: стихотворно пишет тот, кому нечего сказать: слово тянет за слово, рифма за рифму.

Всякий поэт через свои стихи выражает — и своё мирочувствие, и свои характеристики, и самого себя.

О мирочувствии уже написано выше. Можно ещё прибавить: гляжу «в пустоту — чем её не высветли»; «я не то что схожу с ума», но «мозг перекручен, как рог барана»; «за душой, как ни шарь, ни черта»; «разница между сердцем и чёрной ямой / невелика»; «человек есть конец самого себя»; «человек отличается только степенью / отчаянья от самого себя»; «мне опротивел свет»; «Я могу молчать. / Но лучше мне говорить. / О чём?.. О вещах, а не о / людях». Не находя не то что цели, но даже смысла в повседневном течении жизни — Бродский не струится вместе с жизнью, и не идёт с ней об руку — но бредёт потерянно, бредёт — никуда. (Только молодым, хотя после ссыльного испытания, он написал: «Их либе жизнь и обожаю хаос».)

Отстранение от людей Бродский выражает настойчиво: «я не люблю людей»; «я вообще отношусь с недоверьем к ближним»; «в определённом возрасте человек устаёт от себе подобных»; «не ваш, но / и ничей верный друг»; «сумев отгородиться от людей, / я от себя хочу отгородиться»; «поскорей бы, что ли, пришла зима и занесла всё это — / города, человеков» (сопоставим с его любовью к безлюдным пейзажам). Хотя не раз поминаются в стихах его эротические соединения, но постоянное амплуа Бродского: один, сам по себе, молчаливый сторонний наблюдатель, одинокий и гордый. Сквозь стих его часто сквозит пронзительно-презрительный тон.

В себе он и замкнут, и даже — посочувствуем — безысходно. Прочтём такое: «кого ж мы любим, / как не себя?». Годами Бродский себя саморазглядывает, и это ощущение, часто и не названное прямыми словами, нависает едва ли не над каждым стихом и тем пейзажем, который в нём описывается. От ранних лет Бродский бесспорно уверен в своём поэтическом успехе. «Ждать топора [это ещё в СССР] да зелёного лавра», «я дразню гусей и иду к бессмертью»; «имея возвышенный нрав». Правда, он не саморисуется, себя описывает без любования, небрежно: «дряблая мышца», «кудель седых подпалин», «с присохшей к губе сигаретою», — но это не помеха и его снобизму, то и дело мелькающему мимоходом. Позже поэт скажет — в признание? или в приличное объяснение? — «Снобизм? но он лишь форма отчаяния». Догадаемся: но и форма самозакрытия.

А каково в мирочувствии Бродского место религии?

Тут останавливает внимание несомненное тяготение Бродского к теме Рождества Христова. Как вспоминает сам автор, у него это «всё началось <...> по соображениям не религиозного порядка, а эстетическим»<sup>8</sup>, — уже в его советской молодости возникают трепетные рождественские образы — и живой отклик поэта на них: «и само Рождество / защищает от сжатия сердца»; «ты

<sup>7</sup> Глэд Джон. Беседы в изгнании. М., «Книжная палата», 1991, стр. 123.

<sup>8</sup> Бродский Иосиф. Рождественские стихи. М., Издательство «Независимая газета», 1996, стр. 63.

вдруг почувствуешь, что сам — / чистосердечный дар»; этот «напев, знакомый наизусть / <...> пусть он звучит и в смертный час, / как благодарность уст и глаз»; «видишь вдруг как бы свет ниоткуда», «и Младенца, и Духа Святого / ощущаешь в себе без стыда». А к концу жизни Бродского рождественские стихи становятся ежегодными и всё более вникают в саму картину рождественского чуда. Тут прорывается и тёплая тональность Пастернака: «Младенец дремал в золотом ореоле / волос, обретавших стремительно навыв / свеченья». — Уже сказано и о монолитном «Сретеньи», даже поразительном по достоверности евангельского чувства.

И всё же: толкователи Бродского соглашаются, что говорить о его определённом христианстве — нет оснований. Рождественская тема обрамлена как бы в стороне, как тепло освещённый квадрат.

Если то были зачатки религиозного чувства — они не выказались у поэта прочными. Незадолго до эмиграции он пишет «Разговор с небожителем»: «не помню толком, / о чём с тобой / витийствовал — верней, с одной из кукол, / пересекающих полночный купол» (отсылка к Лермонтову). В мире, «как на сопле, / всё виснет на крюках своих вопросов», и «вся вера есть не более, чем почта / в один конец». Да, «наг и сир, жлоблюсь о Господе», но «там, на кресте», который он ожидает себе, «не возоплю: „Почто меня оставил?!“ / Не превращу себя в благую весть!» (Можно понять, что такое превращение — и не вовсе отброшенный вариант.) «Благодарю за то, что / ты отнял всё, чем на своём веку / владел я», «благодарю <...> / что не дал прилипнуть / к тем кушам». И это звучит с индивидуальной достоверностью. (Характерна и пометка, что стих пишется на Страстной неделе, это — как бы реакция на неё.) Испытанную любовную страсть он броско сравнивает: «Назорею б та страсть, / воистину бы воскрес!» И, обращаясь к себе: «Помолись лучше вслух, как второй Назорей». Ещё в одном месте поэт примеряет: «то ли дёрнуть отсюда по морю новым Христом», в другом: «и шастающий, как Христос, по синей / глади жук-плавунец», в третьем: «чтобы ты наострился слагать из костей И. Х.»

В трудных ли поисках веры, в сомненьях, неясностях или в прямом атеизме проверочный камешек — перспектива смерти. Оттолкновение от веры почти автоматически и вскоре же толкает, а то и швыряет человека лбом в загадку смерти. Этого тупика не избежал и Бродский, и — в сильнейшей степени. Мысль о смерти не покидала его как будто почти всю жизнь, держала под постоянным угнетением настолько, что само жизненное существование теряло свою самостоятельность.

Уже в цитированном стихе, рядом, звучит: «Ну что же, рой! / Рой глубже <...> / шей сердцу страх пред грустной порой, / пред смертным часом. / Шей бездну мук, / старайся, перебарщивай в усердьи!»

Первая реакция здесь — бравада. «„Ты боишься смерти?“ — „Нет, это та же тьма; / но привыкнув к ней, не различишь в ней стула“». Вторая: но что же оно такое там? «Наверно, после смерти — пустота / <...> Я верю в пустоту. / В ней, как в Аду, но более херово»; «глухонемые владения смерти»; «это — не страх ножа <...> / но того рубежа, / за каковым нас нет»; «смерть придёт и найдёт / тело»; «мы останемся смятым окурком, плевком <...> / следим в обнимку с грязью».

И тогда начинается болезненная проработка тупика. «Раз перспектива умереть доступна глазу...» «Видимо, смерть моя / испытывает меня»; «дни расплетают тряпочку, сотканную Тобою»; «век скоро кончится, но раньше кончусь я», За 15 лет до своей смерти Бродский пишет: «Я <...> считаю с прожитой жизни сдачу», «можно смириться с невзрачной дробью / остающейся жизни», хотя, «сочиняя, перо мало что сочинило». (По свидетельству Ю. Серке, Бродский сказал ему: у него «одна цель: созреть для смерти».) В год переезда на Запад Бродский ошутительно разрабатывает тему смерти, и это («1972 год») — один из самых искренних его стихов: «Боязно! То-то и есть, что боязно»; «В мыслях разброд и разгром на темени. / <...> чую дыхание смертной темени / фибрами всеми»; «чёрный прожектор в полдень / мне зали-

вает глазные впадины»; «не горизонт вижу я — знак минуса / к прожитой жизни». Через восемь лет (второй раз появляется и Ты с большой буквы): «Наклонись, я шепну Тебе на ухо что-то: я / благодарен за всё; за куриный хрящик / и за стрекот ножниц, уже кроющих / мне пустоту, раз она — Твоя». Душа ищет, ей, всё же, непостижимо принять в Конце — пустоту.

Но осветление катарсиса так и не найдено, поэт и не пытается передать нам его.

Ещё годом позже: «Жизнь моя затянулась» — трижды в одном стихе, «затянувшаяся жизнь», «обострившийся слух различает невольню тему / оледенения». Бродский даже как бы призывает смерть. (В эти годы у него были и инфаркты, и операция на сердце.) — Ещё через несколько лет («Муха») в наблюдении за позднеосенней, обречённой, еле-еле переползающей мухой и даже роднясь с ней в этом жребии — «глянь, милая: я — твой союзник <...> / срок не ускоришь», повторяет прежнее: «жизнь затянулась», «мой дом в упадке» — и: «немного жутко». Вскоре («Послесловие») ещё: «Сумма дней, намозолив / человеку глаза»...

Так прежде своей физической смерти, и даже задолго, задолго до неё, Бродский всячески примерял к себе смерть. И тут — едва ли не основной стержень его поэзии. В поздних стихах его ещё нарастает мало сказать безрадостность — безысходная мрачность, отчуждение от мира. (Но и — с высокими нотками.)

Нельзя не пожалеть его.

Что до общественных взглядов, Бродский выражал их лишь временами, местами. Будучи в СССР, он не высказал ни одного весомого политического суждения, а лишь: «Я не занят, в общем, чужим блаженством». Его выступления могла бы призывно потребовать еврейская тема, столь напряжённая в те годы в СССР? Но и этого не произошло. Было, ещё в юности, «Еврейское кладбище около Ленинграда», позже «Исаак и Авраам» — но это уже на высоте общечеловеческой. Да ещё главка из «Литовского дивертисмента» — и всё. Еврейской теме Бродский уделил, кажется, меньше внимания, чем античной, английской или итальянской. На общественно-политические советские темы Бродский стал высказываться только уже за границей: «смело входили в чужие столицы, / но возвращались в страхе в свою» (отлично сказано!). И недолге вослед: «Там говорят „свой“ в дверях с усмешкой скверной», «пшеница перешла, покинув герб, в гербарий». (А «в стенку гвоздь не вбит и огород не полот» — это уже сбой, не о власти, а о безнадежном простонародьи.) Однако тут же чувствует нужным оправдывать своё прежнее общественное молчание: «Но было бы чудной изобразить барана, / дрожать, но раздражать на склоне дней тирана». Считать ли «откликом на общественные темы» его «Стихи о зимней кампании 1980-го года», то есть начавшейся афганской? Но это написано размыслительно-натужно, взглядом из космоса, без какой-либо общественной страсти, лишь одно отчётливое замечание: «Краска стыда вся ушла на флаги», да ещё поразительно стороннее к повседневному ходу жизни: «Слава тем, кто, не поднимая взора, / шли в абортарий в шестидесятых, / спасая отечество от позора». — И, наконец, через дюжину лет после эмиграции — непригляднейшее «Представление» — срыв в дешёвый раёшник, с советским жаргоном и матом, — и карикатура-то не столько на советскость, сколько на Россию, на это отвратительное скотское русское простонародье, да и на православие заодно: «Дайте мне перекреститься, а не то — в лицо ударю». Тут появляется и «Гоголь в бескозырке» и «Лев Толстой в пижаме», и он, оказывается, «предшественник Тарзана». Надо же было столько лет висеть в позе метафизического поэта, чтобы так «физически» вывалиться!.. Наконец и о Москве: «Лучший вид на этот город — если сесть в бомбардировщик».

Читаем теперь «Набросок», написан за несколько месяцев до выезда, только давал ли его автор тогда в самиздат? «Се — вид Отечества, гравюра. / На лежке — Солдат и Дура. / Старуха чешет мёртвый бок. / Се — вид Отечества, лу-



бок <...> / Борис у Глеба в морду просит» — значит, нарыв был давний, и мучил Бродского. Впрочем, в какой-то мере подобные мотивы прорывались у него и раньше, и каждый раз как бы побочным и малонужным плевком: «Да, русским лучше; взять хоть Иванова: / звучит как баба в каждом падеже»; там, в России, «пивная цельный день лежит в глухой осаде»; «кричит ворона / картавым голосом патриота» (и даже такое странное: «при слове „грядущее“ из русского языка / выбегают мыши»). В «Пятой годовщине» (1977) даже пейзажные приметы покинутой страны перечисляются без малейшего сожаления. Потом в выступлениях Бродский называл Россию своей «бывшей родиной». А в годы, когда все пути были открыты и ленинградские почитатели ждали его: «Зачем возвращаться в Россию, если я могу вернуться в Анн Арбор?»<sup>9</sup> Как мы знаем, Бродский не возвратился даже и на побывку, и тем отчётливо выразился.

Но выше этого частного нежелания возвращаться в Россию облаком нависала, вероятно, сущностная отчуждённость Бродского от русской литературной традиции, исключая расхожие отголоски, оттуда выхваченные; чуждость мировоззренческой, духовной, интеллектуальной сути её — как в линии Толстого, так и в линии Достоевского — да и Ахматовой же, несмотря на столькое личное общение с ней. И ещё отдалённой и чужее казался ему внутренний дух русской истории.

Это ярко проявлено в «Путешествии в Стамбул», 1985. (Правда, писал он его так: «начинаю уже испытывать раздражение: и в отношении самого себя, и в отношении материала... более всего мне хотелось бы сейчас бросить всю эту затею». Но — дописал, оттого ли, что «моё появление в Стамбуле мало чем отличается от константиновского», то есть Константина Великого, оно есть «форма самоутверждения» — вероятно, в поисках выводов, без труда и найденных тут. Скажу: дописал не в украшение себе.)

О Христианстве *в целом* тут прочтём: «Не оттого ли Христианство и восторжествовало, что давало цель, оправдывающую средства?» А дальше — к расколу церквей: «Не хочется обобщать, но Восток есть прежде всего традиция подчинения, иерархии» — (чего, конечно, нет в католицизме) — «выгоды, торговли, приспособления» — (чего, конечно, не знает Запад) — «т. е. традиция, в значительной степени чуждая принципам нравственного абсолюта» — (которую-то, очевидно, мы и наблюдаем на Западе). А потому Римской Церкви «естественно было от Византии отвернуться». Заметив по пути и об Исламе, что «все эти чалмы и бороды — эта униформа головы, одержимой только одной мыслью: рэзать <...> „рэжу“, следовательно существую», Бродский заключает, что Христианство хотя и «просуществовало в Византии ещё тысячу лет — но что это было за Христианство и какие это были христиане». Однако если, всё-таки, простояло 1000 лет — то хоть задуматься бы над их богословами, Соборами? а метафизируя — как обойти восточных мистиков? не попытаться постичь этот дух изнутри? Нет!

И ведь, похоже, не заняла бы Бродского Византия, и не поехал бы он в эту стамбульскую жару, пыль и грязь — если б не задался: на излёте, в натуре перехватить эту заклятую духовную эстафету от Византии к России. И вознаграждён живыми наблюдениями: вот, нынешний стамбульский базар «производит впечатление именно православной церкви». Россия переняла Христианство, «обвосточившееся до неузнаваемости»; «и Христианство, и бардак с дураком — [т. е. тюркские слова] — пришли к нам именно из этого места» — и вплоть до «вдохновенных, но баллистически реальных фантазий Циолковского» (вон оно всё откуда! другое дело — ракетчики американские). А у коммунистов, в их серпе и молоте, «молот — не модифицированный ли он крест?» «Русь получила... из рук Византии всё: не только христианскую литургию, но, и это главное, христианско-турецкую... систему государственности». Осмелиться возразить: да ведь православие Русь переняла в IX веке, ну пусть

<sup>9</sup> «Литературная газета», 1995, 5 апреля.

в X, — а турки подчинили Византию только с XV? Но бесполезно возражать, вспоминаю из томика стихов: «Я делаю из эпохи сальто». И остаётся в довесок узнать покорно: «Это неправда, что Русь сыграла роль щита, предохранившего Запад от татаро-монгольского ига».

Запад! Запад Бродскому люб — и не только потому, что в нём господствует Нравственный Абсолют, и не только потому, что он основан на индивидуальности и приоритете частной жизни; хотя в приверженности к демократии Бродского не упрекнёшь: ни в чём не проявлена. Тут у него весьма глубокая правильная мысль: демократия несовместима ни с каким монотеизмом, в том числе и с христианским. «Демократическое государство есть на самом деле историческое торжество идолопоклонства [политеизма] над Христианством». Но в язычестве ему отвратны человеческие жертвоприношения. Нет, пожалуй, «лучше жерла / единорогов Кортеса, чем эта жертва». И, по его мнению, неправильно, что «главным / злом признано вторжение испанцев / и варварское разрушение древней / цивилизации ацтеков. Это / суть местный комплекс Золотой Орды». Ну вот, мы и замкнулись, опять на Орде.

Однако отметим один стих, или полупоэмку Бродского, в середине его жизни на Западе, «Сидя в тени» («запахи нечистот / затмевают сирень»). Он наблюдает «свирепость резвых игр» детворы, видимо, американской. Тут какой-то «жилистый сорванец, / уличный херувим <...> / из рогатки в саду / целясь по воробью, / <...> убеждён — „убью” / <...> Апофеоз прыщей...» — да если б он один такой, но сколько их! И мрачные строки приходят к Бродскому: стиснутые громады современных зданий — это ульи, и «новый пчелиный рой / эти улья займёт / <...> дети вытеснят нас»... «После нас — не потоп / <...> но наваждение толп / множественного числа», так что «будущее черно / но от людей»... И перейдёт «*всё* во власть *ничего*».

Мысли, признаться, никак не демократические, а элитарные. Но сколько и демократы остаются таковыми лишь до той черты, пока не коснутся их индивидуальных прав.

А Бродский — он никогда и не присягал демократии. Он был всегда — элитарист, так и говорил откровенно. Он — органический одиночка.



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

НИКИТА ЕЛИСЕЕВ



## МЫСЛИТЬ ЛУЧШЕ ВСЕГО В ТУПИКЕ

*Кое-что об экзистенциальных мотивах в нашей литературе*

— Лев Глево... Лев Глебович! Ну и имя у вас, батенька, язык вывихнуть можно...

— Можно, — довольно холодно подтвердил Ганин.

*В. Набоков, «Машенька».*

**З**вучание. Экзистен... Экзистеци...стенциализм, ну и словечко, батенька, язык вывихнуть можно, проговаривая; слух сломать — вслушиваясь.

Причем очень хочется всадить в серединку слова — «ОН»: экзистенциОНализм. Наверное, хочется сказать, что это не я — экзистенци..., это он — экзистенци... Что-то в нем слышится зловещее. Экзи-СТЕН-циализм... То ли стон, то ли стена, то ли стенка... Между тем — звучание значимо. В слово не зря вписаны и стенка, и стон.

Позвольте дать грубый аллегорический конспект экзистенциализма.

Экзистенциализм — это рассказ о том, как существование становится сущностью, едва лишь существование поставят к стенке. Едва лишь оно предсмертно застонет, упершись лбом или затылком (как позволят) в стенку, как тотчас же в существовании обнаружится сущность.

«Мыслить лучше всего в тупике... на лету в бездну без надежд на спасенье», где «отчаянье и убыстренье обостряют твои мозги, в этой мгле, где не видно ни зги»...

Тут, правда, и застенки явственно стали слышаться. Что ж, и от него не откажемся. ЭкЗАСТЕНКциализм? Философия застенка? А? Неплохое название для статьи в каком-нибудь сорок девятом? «Философия застенка. О новых пьесах реакционного французского философа Ж.-П. Сартра».

*Низовые жанры.* Собственно говоря, экзистенциализм был с самого начала связан, сцеплен с бульварщиной. Светлана Семенова в своей любопытной статье («Новый мир», 1999, № 9) не обращает внимания на связь философии существования и «низких жанров» — детектива, мелодрамы, гиньоля. Ей-богу, зря! Сам отец основатель экзистенциальной беллетристики — Жан-Поль Сартр с удовольствием вспоминал о своем запойном детском и юношеском чтении всевозможных «ужастиков», приключений, детективов: «Излишней уравновешенности Жюль Верна я предпочитал несурзаицы Поля д'Ивуа... Тут грабили, убивали, кровь текла ручьем. Индейцы, индусы, могикане, готтентоты похищали юную красавицу, веревками скручивали ее старика отца, готовя ему мучительную смерть. Это было олицетворенное зло. Но его только для

---

Елисеев Никита Львович — литературный критик. Родился в 1959 году в Ленинграде. В 1980 году окончил исторический факультет Ленинградского педагогического института им. Герцена. Ныне сотрудник Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург). Впервые выступил в печати в 1992 году (в газете «Первое сентября»). В последующие годы публиковал статьи о современной литературе в журналах «Знамя», «Звезда», «Век XX и мир», «Постскриптум», «Новый мир». Лауреат премии нашего журнала за 1998 год.

того и показывали, чтобы повергнуть в прах перед добром...» (Ж.-П. Сартр, «Слова»).

Я позволю себе предположить, что это детско-юношеское чтение повлияло на взрослую философию и на воплощение этой философии в художественных образах. «Однажды в лиможском поезде я чуть не потерял сознание, листая альманах Ашетта: мне попала гравюра, от которой волосы вставали дыбом, — набережная в лунном свете, бугорчатая клешня лезет из воды, хватает пьяного, затягивает его в глубь водоема. Картинка была иллюстрацией к тексту, который я проглотил с жадностью».

Хотите увидеть этого гигантского краба, переползшего из детского запойного чтения во взрослое серьезное писание? Пожалуйста: «На спокойной испещренной черными горошинами воде плавала пробка. „А под водой? Ты подумал о том, что может находиться под водой?“ Скажем, какое-то животное. Огромный панцирь, наполовину увязший в грязи. Двенадцать пар ног медленно копошатся в тине» («Тошнота»).

А вот тот же краб, но еще страшнее, поскольку — метафизичнее: «...я тихо погружаюсь на дно, туда, где страх. Среди этих веселых и здоровых голосов я один... Господи, как они дорожат тем, что думают одно и то же. Стоит только посмотреть на выражение их лиц, когда среди них появляется вдруг человек с взглядом, как у вытащенной из воды рыбы... Когда мне было 8 лет и я играл в Люксембургском саду, был один такой человек — он усаживался под навесом у решетки... Он не говорил ни слова, но время от времени вытягивал ногу и с испугом на нее смотрел. Эта нога была в ботинке, но другая в шлепанце... Этот тип внушал нам ужас не жалким своим видом... а потому, что мы чувствовали: в его голове шевелятся мысли *краба* или *лангуста*. И нас приводило в ужас, что мысли *лангуста* могут вращаться вокруг навеса, вокруг наших обручей, вокруг садовых кустов. Неужели мне уготована такая участь?» (из той же «Тошноты». Курсив мой. — Н. Е.).

Так или иначе, но никакая философская система не оказалась столь приспособленной для низовых жанров, как экзистенциализм... И то сказать, где, как не в низовых жанрах литературы, создаются экзистенциальные ситуации? Где еще герой, «прижат к стене, вися на волоске», пытается строить «на плывущем под ногами, на уходящем из-под ног песке»?

Знаете ли, кто лучше всего почувствовал эту связь философии отчаяния и хеппи-эндистой бульварщины? Василий Васильевич Розанов — этот экзистенциалист до экзистенциализма, философ-газетчик, умудрившийся продемонстрировать воочию, как философское бытие-сознание прорастает из житейского быта, из сора полуосознанных привычек.

В «Опавших листьях» Розанов прекрасно описывает экзистенциальную ситуацию, в которую попал Шерлок Холмс, герой любимой, взалхлеб прочитанной книжечки («48 стр., 7 к. книжка»): «„Неужели же так и кончится его деятельная жизнь, посвященная всецело на благо человечества?“ — так предсмертно рассуждал Шерлок Холмс, вися в коптильне под ипотолком, среди окороков (*туда его поднял на блоке, предварительно оглушив ударом резины, разбойник*) и ожидая близкой минуты, когда будет впущен дым и он прокопится наравне с этими окороками».

*Высокая тема.* Или — «высокая болезнь»? Как угодно. Был еще один исток русской экзистенциальной беллетристики 20 — 30-х годов, который не попал в поле зрения Светланы Семенович. Ей, этой беллетристике, предшествовали романы Савинкова, тема которых формулируется до ужаса просто: жизнь только тогда чего-нибудь стоит, когда ее можно отдать за что-то, что больше ее... Свою жизнь, ну — или чужую. Жизнь приобретает смысл только рядом со смертью. Сознательно это проповедует Ропшин-Савинков, или нет — не так важно. Важно то, что это вычитывается из его романов.

Савинков был литературно одарен. «То, чего не было» — роман многозначный, и четкая формулировка, выводимая, словно за руку, из этого романа, — невозможна. Зато письмо террористки Натальи Климовой, опубликованное в № 8 журнала «Образование» за 1908 год, — высокопарное, риторическое и сентиментальное — вполне укладывается в экзистенциальные формулы абсурда существования, готовности к смерти и прочего, прочего. Наталья Климова была осуждена на смерть за участие в покушении на Столыпина. Тот самый знаменитый взрыв на Аптекарском острове. Климову приговорили к смерти. Потом помиловали. В промежутке между приговором и помилованием, то есть готовясь к небытию, Климова написала это письмо. Письмо опубликовали. Читая ныне этот текст, понимаешь, какую великую литературную революцию совершил Василий Васильевич Розанов. Никаких сомнений относительно того, что письмо написано искренне, быть не может. Женщина обречена петле и готовится встретить свое исчезновение достойно. Тем не менее — удивительная фальшь и высокопарность бьют в глаза. Такое впечатление, будто это письмо написал «Шерлок Холмс, вися в коптильне среди окопков и ожидая близкой минуты, когда будет впущен дым». Стиль. Розанов нас научил этой особой особенной искренности и распаханности, когда философствующий и «беллетриствующий» субъект взят со всеми его «почесываниями». Сведен с котурн и со сцены в «кабинет задумчивости» или в удобное кресло за разбором старинных монет. Вообще-то означенный субъект остается на котурнах и на сцене, только грань между сценой и жизнью истончается до почти полного исчезновения. Тем не менее...

Эрих Голлербах опубликовал последние предсмертные записи Розанова, которые тот надиктовывал своей дочери. Коснеющим языком, коснеющим сознанием он пытался уловить, сформулировать, что же это такое, когда «я» исчезает, когда в мире гаснут все фонари. Тоже своего рода — письмо из-под виселицы. Доблесть экзистенциалиста — до самого конца доиграть свою роль террористки (Климова), писателя (Розанов), революционера (Троцкий).

На последнем стоит подзадержаться. Почти убитый (с проломленной головой), шестидесятилетний старик просил, чтобы убийце сохранили жизнь: не убивайте, его надодесять говорить! Фроим Грач из рассказа Бабеля? «Чисто медведь. В нем десять зарядов сидит, а он все лезет...» Роль. Надо было доиграть свою роль — вот в чем штука. Перед смертью старичок попросился с миром так, чтобы мир услышал. Сказал своей жене: люблю тебя, счастлив, что ты была со мной; верю в грядущую пролетарскую революцию. Эти предсмертные утверждения были последними аргументами — в игре с судьбой. Первое было не просто констатацией факта, но яростной репликой в споре: несмотря ни на что (последней любовницей старичка была мексиканская художница Калло) все равно люблю тебя — и счастлив только с тобой. Второе утверждение не менее спорно. Ожидать в 1940 году пролетарской всемирной революции для такого умного политика, каким был Троцкий, мягко говоря, парадоксально. Это все тот же отчаянный выкрик в пустоту: несмотря ни на что верю в грядущую пролетарскую... Я всего только обрисовываю границы того поля, которое могло быть названо экзистенциальной позицией.

*Слуцкий.* «Угол». Я говорю о якобинцах... О тех, кто пытался преодолеть абсурд бытия — бунтом, отчаянием, надеждой... Таким якобинцем был Слуцкий. Пожалуй, ни у кого из поэтов первых послевоенных десятилетий я не встречал таких четких формулировок философии отчаяния, которое не разрешает себе быть отчаянием. В те поры, «в глухом углу времени», Слуцкий писал свои лучшие стихи: «Я строю на песке, а тот песок еще недавно мне скалой казался. Он был скалой, для всех скалой остался, а для меня распался и потек». Он вообще писал свои лучшие стихи тогда, когда судьба прижимала его к стене («А нам, евреям, повезло. Не прячься под фальшивым флагом, на нас без маски лезло зло. Оно не притворялось благом. Еще не начинались

споры в торжественно-глухой стране. А мы — припертые к стене — в ней точку обрели опоры»), когда судьба загоняла его в угол. Недаром сквозной темой, постоянно повторяющимся образом в поэзии Слуцкого становится «угол» — как местопребывание печали, свободы, слабости, наконец, Бога.

Начиная с «Госпиталя»: «Но прелым богом пахнет по углам» — и кончая последним предсмертным «Это я, Господи»: «В самый темный угол фетишей меж и пугал я тебя поместил. Господи, ты простил?»... «И печаль — это форма свободы. Предпочел ведь еще Огарев стон, а не торжествующий рев и элегию вместо оды... И какие там ветры ни дуют, им не преодолеть рубежи в темный угол, где молча тоскуют, и в чулан, где рыдают в тиши». Слуцкий — это тот «кимвал бряцающий», что научился любви.

Осмелюсь предположить, что первым экзистенциалистом в советской литературе был именно политрук Борис Слуцкий. «Ощущение трагедии в его стихотворениях часто перемещалось, помимо его воли, с конкретного и исторического на экзистенциальное — конечный источник всех трагедий» (Иосиф Бродский). Это он сформулировал: «Мыслить лучше всего на лету... в бездну без надежд на спасенье». Это он создал вполне экзистенциальный образ — лошади, тонущие в океане, который сначала казался им рекой.

*Страх справедливости.* Я обрисовываю, очерчиваю границы, но все еще не рискую их перейти. Тошнота просто-существования, которую надо бы чем-то перебить, переломить, чтобы на свет Божий явилась сущность... Все это — новое и необычное, острое и истинное — в конце концов постарело, притупилось и даже изолгалось. Рраз — и все с облегчением признали: «Жить очень тяжело. От этого — умирают» (Станислав Ежи Лец).

Экзистенциальная тема спустилась вниз — в детектив, в «фэнтези». Ей сделалось там удобно. В конце концов, это и была ее колыбель (см. выше).

Передо мной — книга Евгения Лукина «Зона справедливости» (М. — СПб., 1998)<sup>1</sup>. Я выбрал ее не потому, что она — лучшая. Вполне возможно, что эта книга — из худших. Выбрал потому, что она из характернейших. Здесь игра с отчаянием, парадоксы, пугавшие Достоевского и Честертона своей неразрешимостью, превращаются не то что в аксиомы — в трюизмы. Сюжетик прост. В некоем провинциальном городке обнаруживается место, где каждому воздается по заслугам...

Покуда по заслугам воздается тем, кто причинил ближнему своему только физическое насилие. Во дворе дома, где в начале войны были расстреляны чекисты, восстанавливается справедливость на самом примитивном, физическом уровне. Неведомая и невидимая сила наказывает провинившихся: ударил кого-то — получи затрещину, зарезал кого-то — получи нож под ребра. Символическая, сами понимаете, задумка. Такой вылепливается образ несправедливой, арифметической справедливости, которая горше и бесчеловечнее простой человеческой несправедливости. Какая-то неопределимая неопределенная сила, вроде чумы у Камю, наваливается на город. Но чума в одноименном романе экзистенциалиста поражает всех, правых и виноватых. Чума — изначально несправедлива. Борьба с ней — безнадежна и потому — героична. Не то в книге Е. Лукина: экзистенциальный мотив неведомой силы, безжалостной по отношению к человеку, выворачивается самым неожиданным образом. Она, эта сила, изначально справедлива. В отличие от выдуманной французским экзистенциалистом чумы с ней можно найти общий язык. Прежде всего — не «чистить рыло» ближнему. Но — не получается. Город охватывает страх. Из города — бегут... Лукин рисует вполне апокалиптические картины пустеющего города.

<sup>1</sup> Не путать волгоградского барда и фантаста с его тезкой — Евгением Лукиным, бывшим чекистом, а ныне литератором.

Сказка, разумеется. И сказка не слишком хорошо придуманная. Я не думаю, что люди настолько плохи, чтобы поголовно боялись восстановления справедливости. Лукин тоже так не думает. По крайней мере старается завершить свой роман героическим жестом в духе уже помянутой «Чумы» Камю. Жители из города бегут, а в город входят «наводить порядок» — войска. Герои-воины, ветераны недавних войн: «„Вам чего...“ — недружелюбно спросил Колодников угрюмый молодой человек со шрамом во лбу и орденской планкой на пестром комбинезоне... „Да я, собственно, вот что... — перехваченным горлом проговорил Алексей. — Я просто хотел спросить... вы ведь уже воевали где-то?“ Старлей всмотрелся, что-то, должно быть, для себя уяснил, потому что вдруг улыбнулся — кривовато и как бы через силу: „Воевали, отец, воевали... Спи спокойно, порядок будет“». Какой там будет «порядок», если в «зоне справедливости» механически отвечается — пуля на пулю, снаряд на снаряд, предоставляется догадаться читателю. Но я не об этом в полной мере двусмысленном финале. Я — об общей тенденции, в которую вписана книжка. Страх восстановления справедливости — вот как бы я назвал эту тенденцию. Четкое, опытом предшествующих поколений, историческим опытом подпитанное ощущение, что «если гром всемирный грянет над сворой псов и палачей», для нас солнце-то тоже не особо продолжит сиять огнем своих лучей. Нет уж, давайте по-старому, без справедливости. Горькое чувство — злодеи останутся не наказаны (в немалой степени питавшее экзистенциальное мировидение) — сменяется примирительным, пугливым: да все мы злодеи в той или иной мере. Все — повязаны, все одним отнюдь не миром мазаны. Обойдемся без наказаний. Этим чувством — не реабилитации, но амнистии — пронизана атмосфера времени. В этом мире граф Монте-Кристо оказался бы не рыцарем, наказывающим обидчиков, а шантажистом, роющимся в грязном белье уважаемых людей...

*Экзистенциалист и позитивист.* Я возвращаюсь к истории вопроса. Разлом традиционного образа жизни, традиционного существования — вот исток экзистенциального мироощущения. Человек — вышиблен, выкинут из колеи, или что-то заставляет его понять, что в его существовании таится нечто такое, что впору взвыть или... изменить существование, нарезать новую колею. Светлана Семенова выбрала «экзистенциальную тему» только в эмигрантской литературе. Между тем те, кто остался здесь, были не в меньшей (а может быть, и в большей) степени вышиблены из своего привычного существования. Лгали они себе и другим или пытались говорить правду, но быт для них дал трещину, и в трещине стало видно бытие. Или ничто. В этом смысле «Зависть» не менее «отчаянна», чем «Отчаяние». Ответом на разлом традиционного, прежнего, ответом на общественную катастрофу может быть и позитивизм. Позитивизм особого рода — религиозный, что ли? Да, именно так — религиозный позитивизм.

Спор между Шаламовым и Солженицыным (если очистить его от привходящих личных человеческих, слишком человеческих чувств) как раз такой спор: между атеистическим «экзистенциалистом», «лириком», поэтом и религиозным «позитивистом», «физиком». Удивительным образом вполне советский спор «физиков» и «лириков» (что-то насчет «ветки сирени в космосе») перетек в спор двух бывших зеков о «физиках» и «лириках» в концлагерях: «Все ученые (любого масштаба) и все инженеры (любой квалификации) всегда „на подсосе“, на прикорме у правительства при любой власти... Я считаю, что долг каждого честного писателя — героизация именно интеллигенции гуманитарной, которая всегда и везде, при всякой смене правительств принимает на себя самый тяжелый удар... И говорить, что изображение убитого художника подобно тому, как бы „художник рисовал собственное ателье“! Ведь художник-то убит в своем ателье».

Эти резкие слова Шаламова волят опровержения. В конце концов, и о конструкторском бюро инженера говорить с пренебрежением не следует по той же причине. В этом конструкторском бюро инженера и убили.

Но эти слова парадоксальным образом свидетельствуют об определенной романтической экзистенциальной позиции Шаламова. Эту позицию верно понял и верно сформулировал религиозный «позитивист», антипод Шаламова: «Он никогда, ни в чём ни пером, ни устно не выразил оттолкновения от советской системы... всю эпопею ГУЛАГа переводя лишь в метафизический план. На остаток — его разногласия с советской властью были, как у Синявского, „лишь эстетические“? Хотя нет. Та политическая страсть, с которой он когда-то в молодости поддержал оппозицию Троцкого, — видно, не забита и восемнадцатью годами лагерей».

Сказано верно. Хотя и не без некоторых передержек. Все-таки «Колымские рассказы» все целиком и есть обвинение советской власти в ГУЛАГе, причем настолько мощное, что вовсе не обязательно набирать жирным шрифтом обвинение в лоб... Иное дело, что Шаламов нигде не обвинял русскую революцию в создании ГУЛАГа. Солженицын прав, когда пишет о неизжитой, о невытравленной революционности своего латентного оппонента (назовем чудовище своим именем) — о троцкизме Шаламова. ГУЛАГ для Шаламова был результатом не победы, а поражения коммунистической революции, неудачи кардинального обновления мира и — шире — человеческой природы. Человека не удалось перевести в новую колею. Человек остался прежним — злым, готовым к насилию существом, чудовищем, чуть прикрытым тоненькой пленкой культуры, традиций, обычаев, элементарной воспитанности. Чуть увеличьте нажим — и пленка разорвется: «Я был участником огромной проигранной битвы за действительное обновление жизни. ...Не только государство подвергалось штурму, яростному, беззаветному штурму, а все, буквально все человеческие решения были испытаны великой пробой. Октябрьская революция, конечно, была мировой революцией. Все это было сломано, конечно, отеснено в сторону, растоптано. Но в жизни не было момента, когда она так реально была приближена к международным идеалам».

Это признание — основа философии отчаяния Шаламова. Человек — зол, человек — смертен, человек — слаб. Любые попытки переделать, исправить мир обречены. Остается только одно — искусство. Да и оно, если разобраться, наркотик, не более. «„Мадлена, поставьте, пожалуйста, снова эту пластинку. Один разок, как раз до моего ухода“». Мадлена смеется. Она крутит ручку, и все начинается сначала. Но теперь о себе я больше не думаю. Я думаю о том парне, который июльским днем, в жарких потемках своей комнаты сочинил эту мелодию... его страдания, его пот... трогают меня. Я встал, но какое-то мгновение нерешительно мнусь на месте. Мне хочется услышать голос Негритянки. В последний раз. Она поет. И вот уже двое спасены — еврей и Негритянка» (Ж.-П. Сартр, «Тошнота»).

Солженицыну этот текст может показаться пустым, риторичным, а вот Шаламов понимал и принимал этот пафос. Раз не удалось общественное всеобщее обновление мира, то пусть мир обновляется хотя бы на миг.

*Да здравствует смерть!* Вернемся к литературе «низовой», «фэнтезийно-приключенческой», непритязательной — если и притязающей на что-либо, то только на то, чтобы читатель понял: его смешат, веселят и развлекают люди знающие, философски и историософски «подкованные». Не какие-нибудь «бульварщики»! «Поздние александрийцы», «постмодернисты», «необарочники»... Цитат и аллюзий не счесть. Иные — смешные. Иные — не очень. «Впереди вдоль обочины... двигались два рослых мужика, тащили на плече толстое короткое бревно. Бревно было какое-то странное и пестрое. Вблизи бревно оказалось человеком, одетым в красный парчовый кафтан. Штаны у него были короткие, ножки пухлые, лицо бритое, а голова венчалась длинными



кудрявыми волосами. „А это, что ли, ваша покупка и есть? Кто таков? Кто велел людей продавать?“ Мужик нахлобучил шапку... „А мы, молодец, старинное пророчество исполняем... Жил в додревние времена один провидец и стихотворец, очень любил мужика, заботился о нем... И сложил заклятье такое: эх, эх, придет ли времечко? Приди, приди, желанное!“ — „И пришло?..“ — „Да покамест нет... Времечко придет, желанное наше, когда мужик не Блюхера и не вот этого облома, а совсем других с базара понесет. Как их... Имена какие-то чудные... Одно на белку похоже, другое на утку“» (Михаил Успенский, «Кого за смертью посылать» /СПб., 1998/). Ничего шуточка. Что-то из КВН на филологическом факультете года этак 1975-го.

Есть шутки и получше.

«Развлечений у скифов было два. Первое заключалось вот в чем: знатный воин залезал на одинокое дерево... Слуги подводили под дерево оседланного коня, скиф примеривался к конской спине и прыгал, растопыриваясь в воздухе. Если, рухнув в седло, скиф ломал коню крестец, то считался победителем и прославлялся веками. Если не ломал, то подвергался насмешкам и понуро шел в свой шатер, чтобы с помощью обильной пищи набрать вес для следующего состязания. В шатре его ждало и другое развлечение — усмирять строптивых рабынь. Но после подобного прыжка... усмирять было очень трудно, поскольку у прыгуна все там было отбито. Так что участвовать последовательно в двух развлечениях удавалось только самым выносливым».

Главное, однако, не в этих шутках; главное — в ситуации, которая этими шутками окружена. Ситуация, что и говорить, вполне экзистенциальная. Но мрак и отчаяние экзистенциалистов сменяются дурашливым весельем. Из мира уходит — Смерть. Для человека утопического сознания, для «обновителя жизни» борьба со смертью (даже если он этого не осознает) — главное. Главная несправедливость земного существования — смерть. Поэтому у самых последовательных утопистов победа над смертью встроена в их идеальный проект. Тут не один Николай Федоров вспоминается, но и Александр Богданов с его бессмертными обитателями коммунистического Марса («Красной звезды»). Богданов, впрочем, почувствовал ловушку в безбрежном, безграничном простом существовании и нашел выход. В его утопии практикуются добровольные самоубийства. Узнавший, испытавший все бессмертных, наскучив «просто-существовать», тихо уходит, ложится спать, навеки исчезает. Создатель Пролеткульта и первого в мире Института переливания крови нащупал тот переход от безудержного оптимизма покорителей природы к философскому отчаянию современного думающего человека, который многого не позволит совершить «покорителю» и «оптимисту»... Богданов — это тот позитивист, в глубине души которого сохранен огромный запас трагического мироощущения.

Современный писатель-фантаст Михаил Успенский — совсем другое дело. Не Смерть, а исчезновение Смерти из мира для него синонимично трагедии. Само собой, жить становится скучно. Половая потенция богатырей иссыкает. По дорогам бродят недорубленные, недорезанные кадавры и проч. Между тем повесть кончается хеппи-эндом. Богатырь, князь Многоборья, Жихарь вернул на землю смерть. Богатырь Жихарь — счастлив. Не важно, что за время его отсутствия его княжество развалилось. Не важны многие смерти, убийства — важно, что вернулась Жизнь, каковая (см. выше) вне смерти — бессмысленна. Жихарь улыбается, глядя на своего сына. «„Блин поминальный! — прошептал Жихарь. — Да ведь я за всеми за этими мелкими делами про имя-то позабыл!“ Он осторожно вынул младенца из колыбели, подошел к окну и, улыбаясь неведомо чему, стал тихим голосом перечислять-напевать все известные и дорогие ему имена. На какое имя дитя откликнется — то ему и носить».

Этот финал еще двусмысленнее, чем финал «Зоны справедливости». Еще — жутче. «Мелкие дела» богатыря Жихаря — возвращение на землю смерти. «Улыбается» он не «неведомо чему», а тому, что все его (жена, дочка, сын) остались живы. Умерли — другие. Жихарь улыбается чужим смертям.

Экзистенциальная тема, переключаясь в «низовой жанр», приобрела черты даже не абсурда, а какого-то торжествующего кощунства.

Выход заключался бы в том, чтобы аксиому экзистенциализма насчет смерти, придающей смысл жизни, превратить в убедительный парадокс. Смерть соглашается возвратиться на землю только в том случае, если Жихарь отдаст ей самое дорогое — своего сына. Открытый финал. Богатырь — думает. Даже если он согласится на такой обмен, счастливо улыбаться от возвращения на землю смерти он не сможет. Он вернул не чужую — свою смерть. И герой, и читатель вникнут в ужас исчезновения, пусть необходимый, полный смысла, но — ужас...

Вдумайтесь: человек, радующийся тому, что вернул на землю Смерть. До такого и Сартру с Камю не додуматься, и Бекету с Ионеско — не дочувствоваться.

*Смех, да и только.* О «Чапаеве и Пустоте» В. Пелевина говорили и писали много, но без этой книжки мне не обойтись. Она — своего рода мостик между «низовыми» жанрами, в которых экзистенциальная тема оглушается и опошляется, и серьезными книгами, в которых эта тема осмысливается и переосмысливается.

Оговорюсь: насколько мне понравилась «Жизнь насекомых», настолько не понравился этот «Чапаев...». Почему жуки, муравьи, мухи в «Жизни насекомых» вполне человечны, а люди в «Чапаеве и Пустоте» плоски, механистичны, как на экране плохого монитора? Почему восхитительная изобретательность «Жизни насекомых», пластичные набоковские превращения сменяются механическими передвижениями в четко расчерченном пространстве бреда? Здесь он — какой-то ловкий финт, фокус, позволяющий беллетристу молотить любую чепуху, любую «пустоту»...

Впрочем, порой Пелевин делается насмерть серьезен, патетичен. Его неприятие революции, большевизма и любых форм адвокатства «этих кровавых идиотов» не позволяет ему шутить и иронизировать. В буффонной, прокарнаваленной книжке, где даже харакири — кукольно и мультипликационно, такие прорывы ненависти впечатляют. Пелевин может найти общий язык с белым изувером-мистиком — бароном Унгерном фон Штернбергом (он изображен в фантастическом пелевинском романе с поражающей достоверностью: судя по воспоминаниям Першина, Алешина, Оссендовской, Макеева, «бог войны», «самодержец пустыни» таким именно и был — печальным мистиком со склонностью к истерии). Создатель «Чапаева и Пустоты» может «разговорить» современных бандитов, на их жаргоне преподать кое-какие азы буддийской или античной премудрости. О циниках и мистиках начала века умолчим и вовсе. Здесь он — как рыба в воде. И только один человеческий тип отвергается Пелевиным с порога, остается за скобками — революционеры. «Идиоты, — прошептал я... — Боже мой, какие идиоты... Даже не идиоты — тени идиотов. Тени во мгле».

В «менипповой сатире», в философской комедии, каковой является роман Пелевина, отсутствие, априорное зачеркивание одного из типов человеческой мысли, человеческого поведения выглядит нефилософично. Интеллигентку Марию Спиридонову «отлюбливали телеграфным столбом» и при царском режиме, и при советском, а она не переставала мечтать о «народном счастье». Понятно, что с точки зрения интеллектуалов-буддистов Пелевина интеллигентка Спиридонова — лох, клиническая идиотка, фрустрированная дура... Контакт с ней — невозможен. Она — на другой планете. Она говорит на другом языке, абсолютной абракадабре. Аксиоматичное еще в гимназии, в семье вдолбленное, впитавшееся в плоть и кровь Спиридоновой, Климовой и прочих интеллигенток-«идеалисток»: «жизнь свою за други своя», — кажется полной дурью для героев Пелевина. Какие «други»? Какая «жизнь»? Когда нет ничего, кроме сознания, творящего миры, громоздящего бред на бред, — что тут «отдавать»?

Бреды, которые глядят друг в друга и друг в друге отражаются, стали бы в романе у Пелевина много убедительнее, если бы основной бред — русская революция — не был наполнен не осваговскими штампами (пьяное быдло, во главе которого — клоуны или циники), но узнаваемыми деталями. Если бы кроме Чапаева и Котовского из интеллигентского фольклора обрел бы голос «Ф-Ф-урманов». Если бы рядом с человеком из бреда оказался бы какой-нибудь человек из истории, ну, скажем, рядом с петербургским поэтом-мистиком Петром Пустотой оказался бы Владимир Осипович Лихтенштадт, когда-то учитель школы для слабоумных в Ульяновке, когда-то переводчик Бодлера («Искусственный рай»), Вейнингера («Пол и характер»), Гёте («Трактат о цвете»), когда-то участник покушения на Столыпина, когда-то узник Шлиссельбурга, а ныне комиссар полка, направляющегося на фронт (ведь именно о таких, как Лихтенштадт, думал Пелевин, когда вылепливал своего Пустоту?).

Или Александр Александрович Богданов (которого я уже поминал), надевавшийся раздобыть бессмертие для каждого из человеческого рода и погибший в результате неудачно поставленного на себе опыта («Настоящая смерть большевика в науке», — неожиданно точно и неосознанно двусмысленно сказал об этой гибели Бухарин), — чем не антипод барона Юнгера (то бишь Унгера) фон Штернберга? Но вглядываться в людей такого рода Пелевину тошно. Он, человек эпохи революции, робеющей осознать себя революцией, чувствует глубинную связь с эпохой революции, осознавшей себя таковой, — и не решается вглядеться по-настоящему в ту, давнопрошедшую, плюсквамперфектную. Тогда был такой же бред, что и теперь. И вообще все вокруг бред, — таким парадоксальным способом пытается успокоить себя человек этой эпохи — нашей эпохи.

А вот и вовсе замечательный обмен репликами между психиатром и пациентом: «„Я много думал о том, почему одни люди оказываются в силах начать новую жизнь — условно назовем их новыми русскими, хотя я недолюбиваю это выражение...” — „Действительно, на редкость гадкое. К тому же перевернутое. Если вы цитируете Чернышевского, то он, кажется, называл их новыми людьми”». Неплохо. Однако достаточно перечитать то, что написал о грядущей судьбе своих «новых людей» Николай Гаврилович, чтобы почувствовать разницу.

«Недавно родился этот тип... Он рожден временем, он знамение времени, и, сказать ли? — он исчезнет вместе со своим временем, недолгим временем. Его недавняя жизнь обречена быть и недолгою жизнью... Через несколько лет, очень немного лет, к ним будут взывать: „Спасите нас!”, и что будут они говорить, будет исполняться всеми; еще немного лет, быть может, и не лет, а месяцев, и станут их проклинать, и они будут согнаны со сцены, ошканные, страшимые. Так что же, шикайте и страмите, гоните и проклинайте, вы получили от них пользу, этого для них довольно, и под шумом шиканья, под громом проклятий они сойдут со сцены, гордые и скромные, суровые и добрые, как были...»

Разница судьбоносна. «Новые русские» заряжены на победу и выживание. «Новые люди» были заряжены на поражение и гибель. Клим Самгин верно перефразировал жирондиста Верньо («Революция, как Сатурн, пожирает своих детей»): «Революция нужна для того, чтобы уничтожить революционеров». Этого последнего экзистенциального значения революционной позиции Пелевин и знать не хочет, и видеть не желает. Очень нужен ему этот экзистен... тьфу ты, язык сломаешь.

«— Эх, Петька, Петька, — сказал Чапаев, — знавал я одного китайского коммуниста по имени Цзе Чжуан. Ему часто снился один сон — что он красная бабочка, летающая среди травы. И когда он просыпался, он часто не мог взять в толк, то ли это бабочке приснилось, что она занимается революционной работой, то ли это подпольщик видел сон, в котором он порхал среди цветов. Так вот, когда этого Цзе Чжуана арестовали в Монголии за саботаж,

он на допросе так и сказал, что он на самом деле бабочка, которой все это снится. Поскольку допрашивал его сам барон Юнгерн, а он человек с большим пониманием, то следующий вопрос был о том, почему эта бабочка за коммунистов... А он ответил, что все, чем занимаются люди, настолько безобразно, что нет никакой разницы, на чьей ты стороне.

— И что с ним случилось?

— Ничего. Поставили к стенке и разбудили».

*Анти-Бобок. Собачье сердце.* В отличие от предыдущей книжка С. Чилингаряна «Бобка» проскользнула, прошла незамеченной. В прошлом году, правда, попала в букеровский «лонг-лист», но... какие только произведения не попадают в этот «лонг-лист». Книжка, впрочем, с самого начала оказалась в «мертвой зоне». В 1982-м — когда она была написана — повесть, начинавшаяся с того, что пес хлебает из собственной миски блевотину своего пьяного хозяина, вылетала из литературы по причине «чернушности», беспросветности и смакования шокирующих натуралистических подробностей. В 1997-м, когда повесть об одном годе жизни трехлапой несчастной собаки была напечатана в столичном журнале, ее не заметили по прямо противоположной причине. Слишком традиционно, слишком сентиментально: собачья непосредственность, собачья верность, которая оттеняет человеческую ложь, человеческое предательство. Надоело.

...Автор, наверное, и сам не замечает, с кем перекликается, зато я слышу, я. «Бобка» — «Бобок», разумеется. Фантазмагорический рассказ Достоевского об исчезнувших людях, в которых не осталось ничего человеческого, только инерция существования, какой-то «бобок», «бобок», «бобок», отзывается в повести Чилингаряна о Бобке, собаке, в которой рождается нечто человеческое через болезнь, калечество, близость смерти.

Конечно, грозный симптом, когда писателю легче увидеть человеческое в собаке, чем в ее хозяине. Вспоминается Андрей Платонов — это он опускался (или поднимался?) к бессловесным. От него же, от Платонова, сентиментальность, соединенная с жестоким всматриванием в то, во что всматриваться невозможно, отвратительно, страшно, — в издохшего пса, например: «Бобка припомнил еще одну живность, замеченную на Вэфе в тот раз: коротких белых червячков, сновавших в его пасти, — и от всего увиденного у него в затылок натекло знакомое томление. Но оно было недолгим; сразу же стало легче, словно там что-то освобожденно лопнуло под напором недоумения... Вся эта насекомая мелочь — открылось Бобке — творит над Вэфом совокупную работу: они хотят поскорее сжевать его и растащить во все стороны. Скоро от Вэфа ничего не останется... От неожиданности Бобка на миг испугался. Но и ужас схлынул под дальнейшим теплом осознания: ведь сам он Вэфа не сможет выручить — раз все чохом накинудись на него, исполняя свое насущное пропитание».

То, что дано в разухабистом фельетонном виде у Мих. Успенского (вне смерти человеческая жизнь обесмысливается), у Чилингаряна — философично, серьезно. Он не боится быть серьезным и сентиментальным. Это — хорошо. Современная литература уж слишком привыкла к смеху. Какой-то смеховой рефлекс. От этого непрерывного взрывающего смеха становится нестерпимо скучно. Зато такой смех очень облегчает работу писателя: я, дескать, шучу и играю, пишу разными стилями, понимать надо. Чилингарян играет почестному. Поэтому любая его неудача действительно его неудача: она вписана в его честную попытку дать картину мира постепенно очеловечивающегося, одухотворяющегося существа: «Пес... чутье вслушивался в земные звуки; смотреть старался по окрестностям и понятным предметам, хотя глаза так и подтягивало устрашительной силой вверх — дальше всматриваться в луну, чтобы постичь ее главную суть на небе (курсив мой. — Н. Е.)». Есть и совершенно платоновские обороты: «Но дальше Бобка вдаваться не стал, чураясь усиления

сосущей тяги в голове без пользы самосохранения. Он отвлекся удовольствием: долго лакал воду, накапливая в животе свежее умиротворение». Чилингарян не пародирует Платонова. Главная тема Платонова (человека революции) — пробуждение сознания, косноязычное постижение мира, увиденного впервые, — становится и главной темой чилингаряновского «Бобки». Несчастный трехлапый пес, на которого сыплются удары судьбы, — герой Платонова, живое существо из платоновского мира.

(Я думаю, что, если бы Платонову довелось прочитать «Собачье сердце», он был бы возмущен, оскорблен, рассержен. Объект издевательства для Булгакова — для Платонова объект трагедии. Медведь-молотобоец из «Котлована» — несчастная угнетенная очеловеченная тварь — кажется возражением на безжалостную и точную булгаковскую сатиру.)

Конечно, Чилингарян сглаживает чудовищный платоновский синтаксис, пытается вывести платоновскую ломку языка на какой-то средний литературный уровень. «У него осохли каемки глазниц, до того пристально вглядывался он в дальний берег. Он старался понять: что там? *Какая взаимность существования?..* люди там — все добрые, постоянные, не проезжающие с *попутной лаской*, как на станции (курсив мой. — Н. Е.)».

Сюжет повести — прост. Кобелю отхватило лапу. Пес остался инвалидом, калекой. В конце книги на него обрушивается еще несчастье — придавливает горящим столбом. Пес становится и вовсе никуда не годен. Хозяин его убивает. Всё.

Пока читаешь повесть, постепенно уясняешь себе: пес — обречен и отмечен. Смерть несколько раз слишком близко к нему подходит — то чуть не задалвил грузовик, то чуть не утащили собачеи, то чуть не утонул в озере, то чуть не растерзали здоровые псы — всякий раз чудом Бобка остается жив. Его жизнь — чудо. Напротив, его смерть — закономерность.

Когда понимаешь это, понимаешь и то, что повесть — символическая. Повесть написана не о собаке только (как и «Верный Руслан» Владимова не о конвойном только псе писан). Повесть — об изгое, чье изгойство сродни избранничеству.

Вся книга Чилингаряна — рассказ о том, как из слабости, неполноты, недостаточности рождается сила. Сила эта неведома ни окружающим, ни самому ее обладателю — невезучему трехлапому псу, но она есть, имеет место быть. Вполне бесполезная, ненужная. Из-за (чуть было не написал — благодаря) своего калечества Бобка достигает того, что сам автор называет «осознаниями»: «Мягкая накипь облаков волочилась к дальнему берегу, оставляя чистую глубь. Бобка полежал, наблюдая круговерть над озером, и вдруг сосредоточился: где-то чего такого он уже видел. Поднял морду и огляделся, желая прояснить недоумение. Но оно усилилось, сгустившись стуком в голове, когда он увидел тихо кипящий суп; сгустилось — и враз разрешилось. И Бобке представило подобие: поверхность супа напоминала толчею облаков над озером! Гулкий стук в затылке отошел, стало легче, но Бобка смешался: к чему это новое осознание — для какой пользы?.. Бобка покорился: надо теперь привыкать к этому бесполезному интересу, суетящемуся в голове».

Почти человек Бобкина душа рождается из недостатка физической силы, из боли, из преодоленного страдания. Удары судьбы на самом деле оказываются «дарами».

Само собой вспоминается «Холстомер» Льва Толстого. «Инаковость» изгоя у Чилингаряна усилена. Бобку его трехлапость еще дальше отбрасывает от мира «нормальных» существ, чем Холстомера его пегость. Впрочем, Чилингарян совершает еще одно отступление от толстовского образца: хозяин Холстомера отвратителен потому, что — бездельник, в чилингаряновской повести Хозяин Бобки (Чилингарян так и пишет с прописной буквы — Хозяин) — трудяга, но он все одно — отвратителен. По сравнению с ним его пес, напряженно, ни для чего (для новых «осознаний») вглядывающийся в окружающий

мир, — бездельник, «гуляка праздный». Однако он прекрасен — этот убогий нелепый пес, этот соглядатай странного мира, и мир рядом с ним становится прекрасен: «Толстячок разделся и принялся дуть в разложенную подстилку. Подстилка слегка шевельнулась, и толстячок подул глубже, закусив ее краешек. Уголки губ у него яростно оттягивались в устрашающей улыбке, как у молча озлобляющегося пса. Подстилка оживала, твердела, старалась уползти от толстячка, но он сильнее въедался в нее и сопел все громче — и она отзывалась резиновым дребезжанием. Он удерживал подстилку руками, обнимал, будто и сам от нее наливаясь силой, и наконец, кончив дуть, заткнул пробочкой получившийся упитанный матрас. ...Бобка со странным удовольствием наблюдал возникновение матраса, сам тоже дыша все глубже...» Разумеется, этот толстовский прием, названный Шкловским «остранением», — взгляд ребенка, дикаря, зверя на цивилизованный мир — сто раз использован, но от этого использовать этот прием не легче. Труднее. Как и вообще труднее работать, не передразнивая предшественников, но уважительно перекликаясь с ними. Тогда может случиться удача, как случилась удача с повестью «Бобка», родившейся на перекрестке, на пересечении силовых линий, идущих от «Бобка» Достоевского, толстовского «Холстомера» и ломаного, взрывом вздыбленного (словно перед смертью) платоновского синтаксиса: «Бобка поднял голову, извернулся и зыбко увидел привычный двор, штакетник, травянистый берег с камнями, а дальше угадывалось озеро — едва заметное, размытое, оно закатывалось за край земли, но еще раньше исчезло за углом дома. Хозяин тащил его в глубь двора».

*Бррр... или «человек из свойств».* Любимый мой литературный прием — оксюморон. Причем оксюморон такого рода, когда начинают за упокой, а кончают во здравие. Самый яркий пример такого оксюморонного построения — стихотворение Тютчева о декабристах. Начавшись с безусловного памфлетного поношения («Вас развратило Самовластье», «Народ, чуждаясь вероломства, поносит ваши имена»), оно кончается несомненной одической хвалой: развращенные самодержавием «вероломцы» оказываются безрассудными героями, сраженными «железной зимой», готовыми растопить «вечный полюс» своєю «скудной кровью». (Чем безнадежнее, чем обреченнее дело, тем героичнее, экзистенциальнее — это понятно.)

По такой же оксюморонной схеме памфлета, эпиграммы, внезапно оказывающихся панегириком, одой, построен небольшой роман А. Наймана. Б. Б., «человек из свойств», — не декабрист, разумеется, но, вне всякого сомнения, герой. Роман, названный совершенно непроизносимо «Б. Б. и др.» (какой-то брр, а не название), — современная величальная ода, парадоксальный оксюморонный памятник. Помните памятник Александру Третьему работы Паоло Трубецкого, вызвавший искреннее восхищение Розанова? Он может показаться карикатурой, шаржем, издевательством, но это — памятник тем не менее.

Фарцовщик, ловкач, делец Б. Б., почти Чичиков, человек (казалось бы), способный вызвать только раздражение, только неприятие, только издевательский смех, внезапно начинает вызывать уважение. Роль, которую он играет, оказывается героической, трагической ролью. В это невозможно поверить. «Б. Б. вышел из машины в испачканном глиной меховом ботинке с волочащимися шнурками и в сандали без ремешка, оба на босу ногу, и, что сильнее всего сразило математика, не ради какого бы то ни было доказательства и тем более эпатажа, а потому, что первые попались под руку. На прощание математик шепнул Найману: „Вы меня знаете, я люблю внушать отвращение, но перед этим — преклоняюсь”».

Когда подобный «комик» становится героем, вспоминаются какие-то давние афоризмы, например: «Я был рядовым той армии, где Чаплин был маршалом». Странное ощущение, но покуда я читал эту книжку, мне вспоминался автор совершенно из другого ряда — Борис Слуцкий. В своих ста-

тнях и воспоминаниях Найман позволяет себе пренебрежительные замечания о поэзии Слуцкого, однако как раз «Б. Б. и др.» свидетельствует, что Анатолий Найман недаром слушал лекции Бориса Слуцкого на Высших сценарных курсах и не зря читал ритмизованную, орифмленную прозу бывшего политрука. Перевод разговорной интонации в одическую, грубоватой иронии в почти сентиментальную патетику, чуть ли не ругани в едва ли не хвалу — характернейшая черта поэтики Слуцкого.

Социальное мало интересует Наймана. И это еще слабо сказано — Найман отталкивается от социального, перечеркивает социальное, типическое, «представительское» жирным крестом. Его интересует экзистенциальное, личностное, индивидуальное, неповторимое. «Тошнотворное школьное „представительство“: Печорин — представитель „лишних людей“, Чичиков — „нарождающейся“ буржуазии, Лопехин — „народившейся“... тип съел личность... Герой книги — не личность, а сюжет, история, в которую личность попала как представитель среды, в которой такие истории происходят... из какой вы страны? из какой семьи? профессия? партийность? Ага, понятно. А что вы там за личность, ни времени нет узнавать, ни сил... Ну добавим в опросный листок еще десяток-другой пунктов — и разойдется ваша личность без осадка, как таблетка растворимого аспирина». Но это неприятие литературного «представительства» не должно мешать нам признать то, что Б. Б. — несомненный «представитель», тип, как учили в советских школах. Именно так: Чичиков — представитель «нарождающейся» буржуазии, Лопехин — «народившейся», Б. Б. — «возрождающейся».

Я жалею, что эту книгу не прочел и не проанализировал на своем вульгарно-фрейдистском, почти марксистском остроумном жаргоне Борис Парамонов — ведь это то самое чаемое им «возвращение Павлуши Чичикова!» Можно даже сказать, что это — замысленный, но так и не сделанный (а не то чтобы сожженный!) третий том «Мертвых душ», тот самый том, в котором Чичиков обретает настоящую, истинную положительность, пройдя сквозь ад первого тома и чистилище второго. Можно и вовсе обнаглеть и заявить, что перед нами — «возрожденный» Лопехин, не вырубавший вишневого сад, но, напротив, тщательной тщательного сберегающий недовырубленные вишнево-садовые посадки: «Так что начались обэриуты... Они сами уже нет, а какие-то старухи, милые им, когда были молодыми и веселыми, еще мыкались по свету... Их длинная, разреженная, терпеливая очередь вползала в комиссионные магазины с черного хода, неся кто мраморное и фарфоровое барахло, кто английские и французские вокабулы, кто вот эти мятые неаппетитные рукописи, а с парадного входил... Б. Б. ... и великодушно спасал их — кого от голодного обморока, кого от полного забвения. У них... была нужда друг в друге, и стало быть, никаких нет оснований ни оплакивать одних, ни возмущаться другими». Или еще резче, еще определеннее — так, что и лопехинское, и чичиковское лезет в глаза: «Он ушел в дело с головой, вел таинственную жизнь, исчезал на неделю, поселял у себя в комнате неизвестно кого, сваливал в угол коробки с книжонками и брошюрками, которые выглядели макулатурой, мешки с тяжелыми досками, потрепанные футляры для скрипок, один раз принес старинное ружье, несколько раз — сабли и кинжалы, один раз — виолончель... Он не мог бы нам этих своих занятий объяснить, потому что хотя риск и решение частных задач возбуждали его и доставляли радостное вдохновение, но все вместе все-таки служило одной цели — большому и большому накоплению денег».

Не правда ли парадокс? Найману потому и удастся «социальное», что он пытается «дать» личность. И какую личность! Вочеловеченный динамит, что разрушил советский строй, — «проверенная десятилетиями, — а расширительно понимаемая, так и веками — кагэбэшная экзистенция, несокрушимо бесчеловечная, стала разбиваться о его несокрушимую бескачественность. ...Но мало того, что он сделался образцом человеческого в пространстве бесчеловечного, его арест постепенно и ни из чего не следуя... переменил освещенность

пространства, в котором продолжал находиться круг людей, оставшийся без него, — все мы, если сказать честнее».

Возмущение против этой книжки — понятно: если в свое время за Базарова обиделись, то как не обидеться за Б. Б., за этого Чичикова недавней современности, устоявшего под ударами репрессивной машины?

Между тем этот роман можно рассматривать и как историю гибели рода, семьи, как некий вариант советского «Дела Артамоновых» или советских «Будденброков». Была элитарная богатая семья, была квартира, да не просто квартира — «тут был целый этаж, бельэтаж, зеркальные окна, лепные потолки, люстры, наборный паркет, павловская мебель, севрские вазы, хрусталь, бронза, тяжелое столовое серебро», и все кончилось, рухнуло: «Я пришел на Фонтанку, и вдруг в первый раз квартира показалась мне словно бы ободранной. Не только потому, что потолки немного потемнели, и стекла пора было помыть, и картина с затонувшей лодкой вылезла сверху из рамы, да и пол хорошо бы подмести... а потому, что пахло жареной рыбой, батареи едва грели, и когда я вслед за отцом (главного героя. — *Н. Е.*) вошел в гостиную, там сидела за столом перед пишущей машинкой женщина, ни молодая, ни пожилая, ни хорошенькая, ни уродливая, худая, с улыбочкой на тонких губах, и как ее волосы произвольно ассоциировались с шампунем, а белый свитер со стиральным порошком, так и вся она — с побелкой и ремонтом, которые довели бы ее до женской кондиции». Оскудение, крах по всем будденброковско-артамоновским правилам происходит из-за детей, оказавшихся никудышными наследниками, «выродками», «декадентами». «„Скажите честно, вы могли когда-нибудь предположить, что Ника будет жить на пособие по бедности на другом конце земли, а он — в концентрационном лагере в Сибири?.. откуда может взяться в благополучнейшей профессорской семье дочь — бездомная нищая, а сын — арестант!“ Найман взял ее за руку. „Пожалуй что потому... что... оба они... поэты. Не в нынешнем духе, а в духе Вийона, нищего и каторжника, хотя... матери Вийона не легче оттого, что сын — поэт“». Таким вот неожиданным, хотя и весьма традиционным образом в материальном оскудении проявляется человеческое, слишком человеческое, сентиментальное и потому прекрасное.

*Памятник.* Итак, я возвращаюсь к любимейшей мне мысли. Памятник — вот что такое «Б. Б. и др.», настоящий современный памятник, не идеализирующий героя, но, напротив, подчеркивающий его едва ли не уродство, во всяком случае — экстравагантность, необычность. Если вам не нравится сравнение с памятником Александру Третьему, то вспомните грузного старого Черчилля, опирающегося на трость перед зданием английского парламента, или вытянутую каменную *некрасивую* физиономию Аденауэра на площади в Бонне, или круглую бронзовую голову Никиты на Новодевичьем — да мало ли *уродств*, которые художники XX века научили быть прекрасными? Б. Б. из того же разряда, из того же теста.

Сначала — буффонный карнавальный клоунский комизм. «Окно Наймана выходило прямо на крыльцо домишки, которое Б. Б. стал использовать как кухонный и одновременно обеденный стол. Примерно в час ночи он выносил на него свои припасы, лист фанеры и эмалированный таз и начинал резать овощи и фрукты, шинковать траву, вылушивать зерна гранатов и орехи, мешать деревянной ложкой, подливать подсолнечное масло, покряхтывать. В полвторого таз был полон, Б. Б. деликатно гасил свет, и до полтретьего Найман, лежа в постели, только слушал и воображал, что именно подцепляет звякающая ложка или вилка, царапает она дно таза, потому что уже близко к концу, или потому что масса поглощается сперва с одного края, или потому что регулярно разбрасывается по всей емкости, обеспечивая однородность; и почему так страшно клацают и скрежещут зубы и так часто и громко, иногда с воем, вырывается дыхание. Наконец питание прекращалось, но Б. Б. еще с



полчаса не уходил, слышно было, как медленно поворачивается таз, как палец ездит по его поверхности, собирая масло с остатками травы, как язык и губы облизывают палец...» Потом этот же буффонный карнавальный клоунский комизм приобретает героические черты. Клоун остается клоуном, но — пятки вместе, носки врозь — нелепой танцующей походкой входит в ров со львами. Б. Б. «восточной гимнастике отдавал теперь гораздо больше времени, гораздо дольше и чаще стоял на голове, и когда однажды в такой момент вошел дежурный по этажу и рявкнул „Встать!“, он ответил, не повышая голоса: „Я стою“, — и потом объяснил объяснившему карцер старшему офицеру, что в тюремном уставе не сказано, каким именно вставанием надо встречать посещающее камеру начальство».

Я уже рассуждал о парадоксальном сочетании в наймановской прозе «экзистенциального» и «социального»; то же и с другими двумя противоположными качествами — сентиментальностью и ироничностью. Найман хочет быть жестко, безжалостно ироничным. Да и одно из самых примечательных свойств Б. Б. для Наймана — холодность, ледовитость, полное отсутствие сентиментальности — «камуфляжа бесчеловечности». Он пишет о тюремных беллетристических опытах Б. Б.: «Того же градуса проза оказалась точной, легкой и острой, как только что выпавший, с ясно различаемыми снежинками снег», — и это для него идеал и образец. Однако чем более ироничным хочет быть Найман, тем более у него получается — сентиментально... Нужно очень рассердиться на автора и его alter ego Германцева, чтобы в конце повести не услышать признание в любви ко всем без изъятия — нелепым, непредставительным, потерпевшим поражение или, наоборот, выигравшим сражение, сломавшимся или устоявшим: «Окно выходило на двор, заваленный всякой дрянью, жестяными кожухами, ржавыми ваннами. От следующего двора его отделял серый дощатый забор с черными потеками от морозящего дождя. Поперек забора синей краской буквами вкривь и вкось было написано: „Красотуля, с добрым утром!“ Для кого-то, кто лежал в больнице и вышел или еще продолжает лежать».

*Сломленные.* Книга Наума Нима «Оставь надежду... или душу» прошла почти так же незамеченно, как и «Бобка»<sup>2</sup>. Все тот же «лонг-лист», а далее — тишина. Две повести Нима, начинающиеся немного кокетливым вступлением, могли бы привлечь внимание читающей публики — не привлекли...

Вступление, впрочем, не только кокетливое. В нем мне снова слышится скрытый парадокс. Человек сел за распространение самиздата (статья сто девяносто прим УК РСФСР); книги, которые он распространял, были о той жизни, в которой он оказался сам и о которой теперь сам же и пишет: плавное перетекание литературы в жизнь и жизни в литературу. Кстати, в первой повести Нима («До петушиного крика») есть и отсылка к предшествующей литературе: цитатой из лесковского «Человека на часах» Ним предвваряет свой рассказ о том, как был сломан человек, или (употребляя тюремный жаргон) рассказ о том, как человека «опустили».

«Человек на часах» — среди самых насмешливых, безжалостных и... экзистенциальных рассказов Лескова. Напомню его содержание: часовой бросил пост, чтобы спасти человека. Проезжавший мимо офицер подобрал спасенного, присвоил чужой подвиг себе. Часового наказали плетью, офицера — наградили. На честь воинской части не было положено пятна. Один из самых издевательских хеппи-эндов в литературе. Ним «пометил» свой рассказ, вставил его в совершенно определенную традицию. Назовем эту традицию традицией русского парадокса. В предпоследней главке архиерей объясняет полковнику Свиньину, отчего он был прав, наказывая солдата за нарушенный долг:

<sup>2</sup> В № 4 «Нового мира» за 1998 год была опубликована рецензия Елены Ознобкиной на книгу Наума Нима. (Примеч. ред.)

«Спасение погибающих не есть заслуга, но паче долг... Воину претерпеть за свой подвиг унижение и раны может быть гораздо полезнее, чем превозноситься знаком». Это кажется (да и является) лицемерием. В последней главке (похожей на странную мораль странной жестоко-насмешливой басни) Лесков пишет: «Я думаю о тех смертных, которые любят добро просто для самого добра и не ожидают никаких наград за него где бы то ни было», — и это не кажется лицемерием, хотя Лесков другими словами говорит то же, что и персонаж его рассказа — архиерей.

Почему «до петушиного крика»? Крик петуха — знак предательства Петра. Тот, кто предает измученного, избитого человека, предает и Христа... Такова или нет мысль автора, но она вычитывается из его текста. Иное дело, что для того чтобы не предать, нужно быть сверхгероем, святым. Просто у человека, у просто-человека это не выйдет, не получится. Ним разделяет шаламовский взгляд на лагерь. Лагерь, тюрьма — не-жизнь, анти-мир, его опыт — опыт отрицательный. Здесь нет ни довлатовского, по сути дела, облегчающего варианта: «лагерь... ад — это мы сами», ни солженицынского, по сути дела, героизированного: «Благодарю тебя, тюрьма» (тюрьма обнаруживает истинного, подлинного человека, истинное и подлинное в человеке). Уж скорее Ним согласится с перетолкованным афоризмом Уайльда: «Истина — на поверхности; внутри — нутро, кровавая трубка... мучительная ложь». Поэтом и героев для своих повестей он выбирает соответствующих. Это — не диссиденты, заряженные на подвиг, на противостояние, не бандиты, априорно асоциальные, то есть тоже готовые к драке. Нет, это — жулики, нормальные люди с некоторой склонностью к авантюризму. В иных условиях из них получились бы (и получаются) дельцы, бизнесмены, new russians — в условиях реального социализма они попадают в тюрьму. Ним не собирается читать мораль сломленным, не собирается объяснять, что им нужно было бы делать, чтобы не сломаться. Он отождествляет себя с ними.

«Загнанность и обреченность беззвучным воплем резанули душу, казалось, что его напрочь отвергающее все окружающее существо переместилось в мое тело и заныло, застучало кровью в висках, не умещаясь никак, не соглашаясь и не принимая того, что видели глаза, слышали уши, ощущали нос, язык, каждая клеточка... Нет, не Вадимово существо переместилось в меня — мое собственное, забытое мною же в недвижность и глухоту, запечатанное до каких-то иных времен, сейчас неудержимо высвобождалось из крепких пут, наваливалось на тот крохотный огрызок меня, которым я здесь выживал и балансировал...»

То, что для Пелевина — литературный прием, интересный опыт, для героев Наума Нима — жуткий опыт, трагический. Я имею в виду «пластичные» перемещения одной души в другое тело — в обезьянье тело, тело петуха, «петуха», заключенного жулика, заключенного диссидента.

*Встреча.* Встреча, которая происходит в повестях Наума Нима, — знаменательна. Это встреча тех, на кого пришелся сдвоенный удар последнего Дон Кихота и последнего Мефистофеля коммунизма — Андропова. Залп по жуликам и по диссидентам. Диаметральные противоположные, они разрушали социализм с двух сторон. И еще неизвестно, кто эффективнее. (Хотя почему неизвестно? Известно...) Жулики, «чернорыночники» разрушали социализм снизу, поскольку по социальной (естественной) необходимости зарождались в порах этого общества. («Достал партию дешевой бумаги», «Разбогател на импортном женском белье».)

Собственно говоря, такая встреча диссидента и жулика, идейного врага реального социализма и безыдейного врага социализма, уже была описана в литературе: «Женщина в море» Леонида Бородина. Но у Леонида Бородина стихия, противостоящая социализму и (в какой-то степени) идейным врагам социализма, — действительно стихия. Автор и его герой (его alter ego) не могут не

задохнуться от восхищения перед этой прущей на них аморальной природной естественной силой, неприемлемой для них, но тем не менее их восхищающей. Не «Женщина в море», но «Женщина и море» или «Женщина — море».

Иное дело — герои Наума Нима. Он тщательно подчеркивает обыденность своих несостоявшихся коммерсантов, их нормальную человеческую корысть. «„...Я книги размножал, и как утверждает суд, антисоветские“. — „И загонял?“ — „Суд решил, что загонял“. — „Понятно. Слушай, а это выгодно — книги сбывать? Сколько заработать можно?“ — „Как повезет — можно пять, а можно и семь... Я вот — пять“».

Встреча сугубого материалиста-«рыночника» (чему его только в советской школе учили!) и абсолютного идеалиста (выучили в советской-то школе) — так можно было бы охарактеризовать этот разговор. И этот разговор, этот диалог ведется на протяжении всей книги, обеих повестей Наума Нима. Становится понятно: двоянный удар Андропова пришелся по «вершкам» и «корешкам» построенного все ж таки фантастического идеологического общества — по бессребреникам, заряженным вполне идеалистическими ценностями, и по «материалистам», дельцам «околозаконного бизнеса». Самое любопытное в бытовании этих двух типов — их внутренняя враждебность друг другу, враждебность едва ли не большая, чем к врагу, породившему их, к социализму: «Вадим вспоминал и вспоминал, растравливая себя, раскручивал перед грязными и недоразвитыми своими нынешними товарищами красочный калейдоскоп оргий и развлечений... и закончил, выдохшись в описании очередного ресторанного кутежа, тоскливым охом: „Еще бы недельку хоть... Неделю одну — я бы такой бенз закатил! — потом хоть „стенку“ накручивай, не жалко“. Тогда вот в тишине завистливой, в паузе, плотно утрамбованной сожалениями о невозможном, несбыточном, и толкнул голос Матвейча: „И что бы ты устроил за бенз? — накрутил еще пару тысяч на спидометр? — схавал еще несколько пудов калорийной жратвы? — трахнул пусть и десяток новеньких — для тебя новеньких — „телок“? Из-за этого к стенке? Мера всей жизни — сколько-то там пудов питья, жратвы и не очень чистых тел? Забавно“».

Понятно, что «материалист» ломается скорее в нечеловеческих условиях. Ему не за что держаться в мире, где высшая материальная ценность — ломтик хлеба и маленькая горка сахара на нем. Но понятно и другое: «идеалист» ни в каком случае не может испытывать чувства превосходства над сломанным «материалистом». Если он, лежа на нарах, перечитывая Лескова, не способен защититься от издевательств и унижений слабого сломанного человека, то значит, и он «сломан» в чем-то очень существенном, важном. Его не «опустили», не превратили в «петуха», но он слышал «крик петуха» — можно ли в этом случае говорить, что он — уцелел?

Наум Ним стоит на точке зрения Оруэлла и Шаламова: сломать человека — нет ничего проще. Есть некий уровень давления на человека, который человек выдержать не может. Грех его за это упрекать. Этот общий экзистенциальный метафизический вывод смыкается, соединяется с очень интересным социологическим наблюдением.

Наум Ним (желая или не желая этого) объясняет, растолковывает, почему в России не получилось «среднего класса», почему вместо «среднего класса» вылепилась некая очень странная социальная субстанция — «новые русские». Тот социальный слой, из которого могли бы получиться дельцы (Вадим из «Петушиного крика», Максим из «Звезды светлой и утренней»), просто «ломался» в соответствующих учреждениях. Эти ребята не были созданы для героической борьбы, для христианского противостояния ненависти и насилию. Они были созданы для торговли, для «махинаций», для «крови экономики». А их вынуждали быть героями или бандитами.

Из повестей Наума Нима мораль не выводится. «Анти-мир», в котором оказываются его герои, настолько тупо-бесчеловечен и тяжел, что так или

иначе, но — ломает человека. Это — ад. А в аду, как известно, дьявол — положительный персонаж.

*Ад со стороны.* В аду — интересно. Это еще со времен Данта (ветхого) известно. И то сказать, Дантов рай — скучища неопишная. Какие-то зеркала, огоньки, кружащиеся сферы — и все. Зато уж ад! Один только гордый, несломленный Фарината, самый ад уничтожающий презрением, — чего стоит. Уточним определение: интересно слушать и читать про ад (наверное, по этой причине экзистенциализм в цене у писателей). В самом аду оказаться вовсе не интересно.

Философия и этика экзистенциализма ориентированы на ад. Варлам Шаламов однажды неплохо истолковал разные отношения писателей с адом: есть писатель — Орфей, вернувшийся из ада, а есть писатель — Плутон, на время поднявшийся из ада. Но возможен еще третий типаж. С безопасного расстояния, «через стекло» наблюдать за очень интересными муками грешников. Даже усомниться под конец — да полно! Так ли уж они страдают? Знаете, всюду есть свои радости. Бедняки тоже смеются, булку из лужи съела — вот и радость, почти вселенская...

Меня всегда интересовала особая любовь женщин-писательниц к тому, что можно назвать экзистенциальной темой, соединенная с пристальным вниманием к физиологии, к плоти, к «мерзкой плоти». Это, в общем-то, объяснимо: физиология философичнее социологии, поскольку ближе к вечности, к смерти, к зарождению жизни. Ну а женщина физиологичнее мужчины, потому, наверное, и философичнее, экзистенциальнее.

Мне вот еще что интересно в наших экзистенциалистках: «чернуха» для взрослых у них, как правило, соседствует с сентиментальными сценариями мультфильмов про домовят Кузю и Нафаню (по мотивам книжки Татьяны Александровой), сказками, рассказами для детей. Парадокс вполне объяснимый. «Панель перед мясными всегда мокрая» (В. В. Набоков). То есть жестокость, безнадега и всякое такое прочее взрослое, слишком взрослое волят компенсации, противовеса в виде сентиментального, сказочного, уютно-фантасического детского, чересчур детского. Но это несколько обидное объяснение. Можно и хвалительное. «О, как мы любим лицемерить / И забываем без труда / То, что мы в детстве ближе к смерти, / Чем в наши зрелые года» (Осип Мандельштам). То есть человек, способный написать детскую книжку, ближе к каким-то темным хтоническим безднам, ближе к смерти, к желанию, к просто-бытию, которое и физиологично, и философично.

«Ща! Он умел как никто, как один только он, ее всю истрогать, истискать, вот как масло по хлебу ее по матрасу размазать до полной прозрачности, как вообще истребить, и тогда наконец уже точно мертвую — колом насквозь». Когда на первой же странице рассказа, подписанного женскими именем и фамилией, читаешь подобный вопль тела, как-то неловко становится, как-то неловко. Героиня рассказа Марины Вишневецкой «Воробьиные утра» («Знамя», 1999, № 5) — бездомная алкоголичка, проститутка, ютящаяся в полуразрушенном доме. Это ее, стало быть, голос, ее воспоминания о любимом. Проституткам положено бесстыдство — я понимаю. Однако меня терзают смутные сомнения. Мне кажется, проституткам так осточертеневают всевозможные «размазывания» и «истискания», станут ли они с замиранием сердца о них вспоминать? «Не верю», — как говаривал Станиславский.

Невольно сравниваю: «Конечно, от этого не умирают. Если только не ломается позвоночник, но и тогда умираешь не сразу. Сколько прошло времени и сколько их было — не знаю. К рассвету я поняла, как происходит перелом позвоночника. Они делают так: женщину кладут на спину, закидывают ей ноги к плечам, и мужчина входит сверху, стоя на коленях. Если налегать слишком сильно, позвоночник женщины треснет. Получается это не нарочно: просто в угаре насилия никто себя не сдерживает. ...Я тоже думала, что они

убьют меня, что я умру в их руках. ... Так как в этом положении все время трещась спиной о пол, кожа со спины у меня была содрана, рубашка и платье прилипли к ссадине — она кровоточила, но я обратила на это внимание лишь потом. А тогда не замечала этого — так болело все тело» (Апэн Польц, «Женщина на фронте» /Будапешт, 1998/). Это — цитата из воспоминаний венгерской женщины, поднявшейся из ада войны, унижений, насилия. Стоит сравнить ее описание группового изнасилования с почти идиллическим у Марины Вишневецкой: «Она к ним... по-соседски пошла — со своими консервами, капуста под маринадом — вкусная очень и полезная. Так они ее вместо капусты по кругу пустили. Претерпевала, как могла. А оказалось — все задаром. Денег-то нету ни у кого». Зачем писать *об этом* через стекло? на безопасном расстоянии? А интересно! В аду — интересно.

«Бизнесменку небось догола-то не раздевает. У нее небось вместо сисек две авоськи с позавчерашним говном... А у Гози все тело упругое, белое, в эту осень вообще налилось как медом, как снежный кальвин, — в тридцать четыре-то, видимо, и не бывает иначе». То есть как это «не бывает иначе»? Еще как бывает-то и в тридцать четыре, и в тридцать, и в двадцать пять. Если женщина вроде героини рассказа Вишневецкой (тут необходим скрипучий мерзкий голосок) злоупотребляет спиртными напитками, спит не раздеваясь, не моется, ест где придется и что придется, трахается с кем попало, живет в разваливающемся доме без окон, без отопления — каким медом может налиться ее тело в тридцать-то четыре года?

Это ведь старая, жизнью не подтвержденная народническо-народная мечта-компенсация: если бедная, то красивая и молодая, если богатая, то уродливая и старая. Лучше всех эту мечту-компенсацию воплотил Галич в одной из своих баллад: «Тебя ж не Тонька завлекла губами мокрыми, / а что у папы у ее топтун под окнами... И с доскою будешь спать со стиральной / за машину за его персональную». У Галича получилось убедительно — у Вишневецкой не слишком. Бизнесменка, буде у нее какой-нибудь изъян в фигуре, исправит этот изъян шейпингом, диетой, массажем, чем там еще?

*Новая Кабирия.* Да, господа и граждане, великий лакировочный фильм Федерико Феллини оказал влияние на все советское и постсоветское искусство. Удовлетворил какую-то очень важную и очень человеческую потребность. Кабрию втоптали в грязь, обманули, ограбили, почти уничтожили, а она улыбается: «Грациа, синьоре, грациа». Тайна сия велика есть. Ничего там особенного в этом финальном эпизоде, никаких особенных изысков, режиссерских и операторских, но... раза четыре смотрел «Ночи Кабирии» и каждый раз, досматривая до этого сквозь слезы с улыбкой: «Спасибо, господа, спасибо», — шмыгал носом. Вранье, сказка вроде «Кубанских казаков», а вот поди ж ты... Феллини — великий соблазнитель.

Вот и Вишневецкая соблазнулась — чем мы хуже? У нас тоже — Кабирии. Тоже телом развратны, а душой прикосновенны к прекрасному, Богу, духу, смыслу и тайне. У них — ночи (Кабирии), у нас — утра (воробьиные). А вот не получается «у нас».

Да ведь «Воробьиные утра» — только по видимости об одном утре московской бездомной беременной проститутки. Перед нами — птичка Божия, что не свивает долговечного гнезда, потому и рассказ так назван — «Воробьиные утра», то бишь «Утра птички Божьей, воробьихи». Марина Вишневецкая описывает поиски пищи своей героиней воробьиным утречком: «Решила потихоньку подняться посмотреть, может, кто для кошек чего уже вынес. Их в Москве уважают непомерно — и своих, и любых... как раз после третьего этажа в пластмассовой банке творожок оказался. Понюхала — вот нисколько не залежалый, и поела его, он еще в молоке был немного разведенный, и выпила». Да это же презренной прозой пересказанное: «В помойке роется подружка / на пропитания предмет. / Заплесневелая горбушка / ее бесхитростный

обед. / Горбушку съест, попьет из лужи, / взлетит на ветку и поет. ...А там глядишь — пора на ужин». Такое впечатление, что Игорь Иртеньев спародировал рассказ Вишневецкой до того, как он был написан. «Молодой... возле лужи споткнулся, и две булки упали. И тогда она подошла и сказала: „Я очень извиняюсь. Я можно одну возьму?“ — „Да хоть обе!“ ... И она подняла их и потеряла о юбку. Булки были с вареньем, еще теплые. ...В палисаднике возле дома стоял куст, он почти уже облетел... он был весь в воробьях, как в какой-нибудь падальке непопадавшей. Она... шагнула поближе. И всё, сотня маленьких глоток заткнулась — разом, как один человек. И от этого сделалось тихо и как бы даже прекрасно. Так прекрасно, что даже не стерпеть». В самом деле красиво. Такая воробьиная улыбка Кабирии под занавес. Птичка Божия. «Она летом, когда камни уже насовала по карманам, чтобы броситься, поднялась [на мостик], вдруг видит, собака плывет, а луна была яркая, даже шкурку ее разглядела — желтая, как у Пирата... А речка-то, Яуза эта, как колодец, — в камне вся до самого верху... А собачка знай себе лапами перебирает — вот до того ей жить охота. А теперь этот — надо же, как распахался, — Петька, слышь, мамке же больно».

Воля ваша, но в иртеньевском ёрничанье меньше кощунства, чем в этом воробьином щебетании о жизни тридцатичетырехлетней беременной проспиритованной проститутки. Иртеньев ведь не над нищей, роющейся в помойке, издевается, а над теми, кто умиляется этой нищей, кто из копошения в помойке выдувает сентиментальный сюжет, пусть и с шокирующими подробностями.

К другим рассказам Вишневецкой — сужу по сборнику «Вышел месяц из тумана» (1999) — тоже можно предъявить немало претензий. И они — сентиментальны. Они чересчур «литературны». («Глава четвертая, рассказанная Геннадием» мне, например, представляется этаким гибридом джойсовского пира в заведении госпожи Коэн и путешествия Венедикта Ерофеева из Москвы в Петушки и обратно.) Они (эти рассказы) порой переполнены высокопарностями: «Это было красиво — в том смысле, в котором летают только красивые самолеты и одни лишь красивые формулы приближают нас к истине». Рассказ «Вышел месяц из тумана» сделан в ритмизованной манере автора «Петербурга» и «Москвы»: «Игорь жалобно замычал и, рванувшись к нему, нарочитыми жестами стал просить закурить, а когда затынулся, от якобы счастья завыл и еще беспардонно похлопал его по плечу — все буквально, как делают глухонемые. И услышал не только ушами, но всей облегченно осевшей спиной: инвалидное кресло опять закрипело...» — узнаю, узнаю этот ритм: «бюст, разумеется, Канта» и «коробка-сардинница» — все узнается. А ведь сказано было уже: «Муза русской прозы, простись навсегда с капустным гекзаметром автора „Москвы“!»

Но мир «интеллигентских» рассказов Вишневецкой знаком ей; это ее мир, и поэтому он выглядит узнаваемо-убедительным во всех своих смешных и страшных гротескных проявлениях: «В их первую ночь он ошеломил ее, четверокурсницу, срывающимся шепотом: „Троцкий в конце концов пришел к идее многопартийности!“ — „Не может быть!“ — „Да, но никому не говори!“... Диплом про торжество колхозного строя в Сибири он написал уже вместо нее, потому что она рожала и откармливала Женьку». А мир нищих, бомжей, проституток далек от Вишневецкой, как Северный полюс, поэтому рассказ «Воробьиные утра» прежде всего фальшив.

*Эдгар По из коммуналки.* Да, дьявол в аду — персонаж положительный, — эту «непричесанную мысль» Станислава Ежи Леца поневоле вспоминаешь, куда читаешь рассказы Юрия Мамлеева.

С каким удовольствием ныряет автор в мир выдуманных им ужасов. Бултых — как в теплую ванну. Пугает, а мне не страшно. Даже и не пугает. Выдумывает, наворачивает одно «невероятие» на другое. Эстрадный номер. Цирковая реприза.

В цирке, как известно, два клоуна — белый и рыжий. Юрий Мамлеев тоже клоун, но не белый и не рыжий, а черный. Прислушайтесь: «У хмуренького невеселого мальчишка Вовы родилась сестра... Все живое суетилось вокруг нее: мама забросила бить папу кастрюлей по морде, а папа забросил свою карьеру. А бабушке Федосье перестали сниться ее сны про сумасшедших. Даже котенок Теократ стал почему-то побаиваться мышей». Ведь это зачин вульгарного эстрадного выступления. Если уж бить, то кастрюлей и по морде — чтобы звонче. Звонче, жесточе, смешнее.

Читая Мамлеева, я в очередной раз почувствовал вовсе не мистическую, а вполне закономерную связь между экзистенциалистским и революционно-жестоким отношением к миру. Иное дело, что в прозе Юрия Мамлеева и экзистенциализм, и революционность оказываются спародированы и скомпрометированы, но — ей-ей — не по вине автора.

Для начала я хотел бы продемонстрировать удивительную «перекличку» двух идеологических врагов — поэта-экзистенциалиста, эмигранта Георгия Иванова и революционера, большевика Владимира Ленина. Вот давно уже полюбившаяся мне цитата из «Великого почина»: «...так иной житейски опытный человек, глядя на безукоризненно „гладкую“ физиономию и внешность „блаародного чаеака“, сразу и безошибочно определяет: „По всей вероятности, мошенник“» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч. Т. 39. М., 1963, стр. 23).

А вот слова лирического героя ивановского «Распада атома»: «Этих благополучных старичков, по-моему, следует уничтожать. — Ты стар. Ты благозвучен... А, собака! — Получай! У господина представительная наружность. Это ценится... В Англии, говорят, даже существует профессия — лжесвидетелей с представительной наружностью». У Ленина получилось изящнее, вероятнее всего потому, что он сориентировался на текст русской классической литературы: «„Че-о-эк, э, трубку!“ — произнес в галстух какой-то господин высокого роста, с правильным лицом и благороднейшей осанкой, — по всем признакам шулер» (И. С. Тургенев, «Лебедянь»).

Общее — недоверие к явлению, к внешности, к наружному. Согласитесь — это ведь вполне экзистенциалистская и (одновременно) вполне революционная черта. Явление — не манифестация сущности, но маска, натянутая на сущность. Внешнее, наружное — обман, прикрывающий чудовищное, отвратительное, но истинное. Стоит сорвать маску — и ползет гной, тошнота, в полной мере откроется мерзкая истина: «Я вдруг увидел маленький сад, заросший приземистыми, широкими деревьями, а с них свисали огромные покрытые волосками листья. И всюду кишели муравьи, сороконожки и моль. Были тут живогные еще более отвратительные: тело их состояло из ломтика поджаренного хлеба — из таких делают канапе с голубями, двигались они боком, переступая на крабьих клешнях...» Антуан Рокантен, протагонист сартровской «Тошноты», видит все эти ужасы пусть и в провидческом, но сне. А ну как описать этот чудовищный мир наступившим, в прямом смысле слова наступившим... на человека?

Так вот этим и занимается Эдгар По из коммуналки, черный клоун — Юрий Мамлеев. Результат — ошарашивающий: в лучшем случае — пародия. Количество ужасов переходит в иное качество. У Кафки один только Грегор Замза превратился в огромное насекомое. А если в насекомых превратится все семейство Замз? И что, если мирно собравшиеся за вечерним столом Замзы-насекомые сжуют одного очень противного и жирного родственничка — что это будет? Апокалиптический ужас Франца Кафки исчезнет, останется лихой эстрадный номер Юрия Мамлеева.

Двухголовые вампиры, оживающие покойники, старухи, отгрызающие половые члены у молодых самоубийц, онанирующие младенцы, заживо похороненные, обросшие шерстью, поедающие нечистоты существа не ужасают — смешат. Как там Смердяков солидно объяснял Федору Павловичу Карамазову? «Про неправду все написано!» Вот именно.

Между прочим, я знаю, кто мог бы проиллюстрировать рассказы Юрия Мамлеева — Алексей Меринов, карикатурист из «Московского комсомольца». Получился бы замечательный тандем, почти что Ярослав Гашек — Йозеф Лада. Моментально стала бы ясна газетная, карикатурная природа прозы Мамлеева. В его рассказах экзистенциальная проза возвращается к одному из своих «истоков» — к газетным, бульварным «ужастикам» начала века, к низкопробному грубому гиньолью. «Существо, рождавшееся в этот момент под моим пером, — спрут с огненными глазами, гигантский говорящий паук, двадцатитонное членистоногое... было мной самим, страшилищем, жившим в душе ребенка, то была скука моей жизни, страх смерти, моя бесцветность и испорченность» («Слова»). Забавно, что эта автохарактеристика детских графоманских писаний Сартра оказывается приложима к взрослой прозе Юрия Мамлеева. Причем к лучшему, что он написал, — к тем рассказам, где «ужасы» подпитаны черным гиньольным юмором и пусть и грубыми, но узнаваемыми чертами быта. «Я не Стенька Разин какой-нибудь, чтобы против смерти бунтовать!» — замечательная, надо признать, формулировка.

Худшие рассказы Мамлеева — те, где он делается серьезен и назидателен, где разоблачает «культ денег», «бездуховность», «американизм», «культ насилия». В этих рассказах пародийный гиньоль превращается в чудовищную (во всех смыслах — чудовищную) пошлость. Здесь тоже — своего рода возвращение к «истоку» экзистенциальной беллетристики, к выпренной антибуржуазной риторике. Газетная, карикатурная природа прозы Мамлеева и здесь налицо. Только это — другая газета и другие карикатуры.

Мамлеев поразительно инерционный писатель, писатель, привыкший идти по пути наименьшего сопротивления. Чудовищное, невероятное легче описывать, чем примелькавшееся. Описать человека, бредущего утром в ванной, да так, чтобы было интересно читать, — геркулесов подвиг писателя. Описать философствующего вампира, поедающего младенца на глазах у беспутной матери, — нет ничего проще. Перо летит по бумаге, и слова льются так, будто их рождает не память рабская, но сердце.

«„И тогда я понял, — доедая ножку младенца Никифора, сказал Петр Петрович, — что Он — главупырь и есть! Он для чего нас, ссволочуга, сделал? Для того, чтобы насладиться собственным бесконечным бытием. Мы — миг, а Он — вечность. Мы вспыхнули и погасли, а ему — в кайф. Он-то не погаснет! — Петр Петрович икнул и принялся обгрызать пальчики младенца. — Мм, самое вкусное, — объяснил Петр Петрович, — вот я и решил стать чем-то вроде Него. Живу, следовательно, убиваю. Убиваю, следовательно, живу. Когда всех — угроблю, Этот наверху (или внизу — где Он там?) завершит от скуки. И я Его услышу... А что вы, Марья Никаноровна, расстраиваетесь? Сынулька орет? Да он боли не чувствует — болевой шок — успокойтесь, Марья Никаноровна. Он от счастья орет, от радости. Не познавши страха смерти, он бремя существования с себя скидывает. Из временного возвращается в вечное. Ему — хорошо. Это нам с вами жить да мучиться, а ему хорошо”. Младенец Никифор затих. На его личике появилась странная улыбка. И откуда Петр Петрович доедал корытника, улыбка не сходила с уст доедаемого. Доев, Петр Петрович рыгнул, Марья Никаноровна профессионально заголосоила. В воздухе комнаты осталась реять нетронутой, несъеденной улыбка младенца Никифора», — подобные тексты можно гнать погонными километрами, поскольку автору подсовывает слова инерция философии, когда-то живой и героической, ныне мертвой, фантомной.

Можно избавиться от этой инерции? Отчего же нет? Необходимо усилие. Необходим поворот к — скучно сказать — реализму, к точности писательского видения мира. Приемы фантастики, фантазмагории автоматизируются быстрее, чем приемы реалистического письма. Потребны — Золя и Флоберы, а не Гофманы и Эдгары По. Визионерствовать и мрачно-весело философствовать научились все. Все научились складывать из взорванного мира более или ме-



нее пеструю мозаику, а вот четкость «соглядатайства», точное знание предмета — почти утеряны. Жаль.

Честное слово, «больше ничего не выжмешь из рассказа моего». В таком положении, прямо скажем, спасает — «чужая речь». «Чужая речь мне будет оболочкой», — М. В. Безродный здорово перевел эти слова на немецкий язык, точно и красиво: «Die fremde Sprache sei mir eine Hülle».

Вот чью книжку я совершенно зря миновал, рассуждая о «мышлении в тупике», — «Конец Цитаты»: она тоже строится на уходящем из-под ног песке. «Песок» этот — не коммунистическая вера, разумеется, а филология — нелепая, ненужная профессия, игра в бисер. В одном из фрагментиков текста у Безродного есть удивительная человечнейшая обмолвка. Сначала заголовок фрагмента — «К семинарским занятиям по фонике», а внизу в скобках (вроде подзаголовка, что ли?): «(Если, разумеется, договор все-таки заключат.)» — такая в этом а parte тоска, такое непрокламируемое отчаяние. Есть виртуозное владение профессией; имеет место быть адекватное понимание себя и обступяющего «себя» мира — ну и что? для чего? — «если договор заключат...».

Но перехожу к трещанию еще одной цитаты-цикады: «...нельзя сомневаться, что вместо твердой почвы под ногами, которую ощущают все люди, он чувствовал, что стоит над пропастью, что опереться не на что, что если отдаться „естественному“ тяготению к центру, то провалишься в бездонную глубину». Лев Шестов так писал о Паскале, а кажется, что речь идет о современном интеллигенте. И то сказать, кто сейчас не «продут ветром смерти», кто сейчас не чувствует, что если отдаться «естественному» тяготению к центру, то провалишься в бездонную глубину? «Экзистенциальная тема» кубарем скатилась в «низовые жанры», осознанная и проартикулированная, умерла, а ее герой, неприкаянный интеллигент, человек личный и лишний, жив и здоровствует, иногда бедствует, иногда не слишком...

---

ИРИНА РОДНЯНСКАЯ



## СВЯТО МЕСТО ПРАВЕЕ ЧУБАЙСА?

Считал и считаю, что государство должно быть выше бизнеса, что никто, даже крупный капитал, не должен расставлять министров, диктовать правительству.

*Анатолий Чубайс, из интервью этого года.*

**Е**ще одна цитата — со страницы «Известий» (от 3 сентября с. г.): «...самая серьезная проблема для России сегодня — это отсутствие государства» (мнение главного редактора газеты с вполне либеральной репутацией). Вероятно, и с теми и с этими словами вчуже согласится Юлия Латынина, нередкий известинский автор. Но именно — *вчуже*: зачем тосковать по тому, чего нет и, видно, уже не будет? Не лучше ли определить отсутствующему институту хоть какую замену, ту, что наклеивается в реальности? Впрочем, обо всем по порядку.

На нашем коммуникационном поле есть яркие публичные фигуры, для кого разные там союзы правых сил — просто ни рыба ни мясо с розовым отливом по краям. В политическом телемире это Михаил Леонтьев, привлекающий тем, что сумел внести в жесткую аналитику артистический элемент. «Однако забавно», — думает зритель-слушатель, даже когда тележурналист слегка завирается или по долгу службы солидаризуется с Александром Глебовичем Невзоровым. На печатной территории — это Юлия Латынина, публицист и писатель с обширным гуманитарным образованием и феноменальным «компьютерным» умом, автор экономико-социально-паракриминальных репортажей, в погоне за которыми она изъездила полстраны. А также сочинительница вереницы провокативно-инструктивных романов, написанных в разной манере и частично под псевдонимом «Евгений Климович» (тайны из своего тождества Климовичу она не делает).

Почему — «инструктивных»? Потому что в книжках этих повествование, будь оно изысканно-стилизированным или вульгарно-зазывным, всегда подчинено пропаганде определенных *взглядов*. Так было, когда Латынина писала «элитарным» слогом — в духе античного романа или дальневосточной старины (все вроде просто и ясно, фраза лаконичная, интонация энергичная, а на деле — ажурно-тонко и требует от читателя ума и еще ума). Так было, когда, став лихим Евгением, она придумывала сюжеты об обаятельном бандите. Так оказалось и нынче, когда, не распрощавшись с «климовической» стилистикой, но расставшись с чужим именем, она выпустила в первой половине нынешнего года роман «Охота на изюбря» (М. — СПб., серия «Русский проект»). В аннотации сказано, что книга «имеет все шансы стать национальным бестселлером». Осуществились ли шансы, пусть судят исследователи книжного рынка, но слово «национальный» зацепляет внимание своей незрешностью: к множеству искомой «национальной идее» роман и вправду прикосновенен.

Обращение к «низовым» литературным жанрам, как все знают, свойственно утопистам и идеологам. Школьницей средних классов я открыла только что купленную, никем мне еще не объясненную книжку «Н. Г. Чернышевский. „Что делать?“». Роман» и, увидев названия глав: «Дурак», «Первое следствие дурацкого дела», — погрузилась в чтение (до этого хорошо шел «Лунный

камень» Уилки Коллинза). Не скажу, чтобы роман меня «перепыхал», но кое-что запало надолго и не без пользы...

Юлия Латынина тоже немного претендует на то, чтобы своим триллером нас «перепыхать». Утопистка она или, напротив, наиреалистичнейший из социальных диагностов, ответить не берусь. Что-то соблазняет довериться ее логике, а что-то крупно настораживает. Для меня достаточно нащупать нервный узел, а дальше — электорат пусть сам разбирается. Так что побредем «по ходу текста», щепетильно избегая пересказа фабулы, что было бы подлостью по отношению к еще не прочитавшим пятисотстраничный и тем не менее стремительный боевик.

...А между тем если нас (меня) интересуют исключительно социальные роли и их оценка, так сказать, в авторских баллах, то обращение к роману «Охота на изюбря» — избыточная процедура. Все вроде бы можно узнать из любого аналитического репортажа Латыниной, а роман привлечь разве что для дополнительной иллюстрации ума холодных наблюдений.

Скажем, описывается борьба финансово-промышленных группировок за обладание Качканарским горно-обогатительным комбинатом в Свердловской области («Известия», 1999, 20 августа; статья «Акционер, ОМОН и паяльник» — в сущности, конспект еще одного триллера). Умозаключение мимоходом:

«Проницательный читатель, наверное, обратил внимание на одну отрадную черту этой истории. В ней действуют люди, которым нанять киллера — все равно что выпить воды. И тем не менее они нанимают не киллеров, а правоохранительные органы, поскольку это значительно экономней. Отсюда можно сделать вывод, что дешевизна услуг российских правоохранительных органов сильно способствует снижению числа заказных убийств».

То же самое вы обнаружите и в «Охоте на изюбря» (там даже глава есть: «Об особенностях приватизации силовых структур») — но только все будет еще увлекательней: со стрельбой, погонями и штурмом одной хорошо укрепленной дачки.

Окончательный итог статьи — вслед сообщению, что производственные дела на Качканарском комбинате нынче идут неплохо:

«По возвращении с Урала я рассказала биографию ГОКа одному из своих интеллигентных друзей, и он пришел в ужас: „Да это же упыри какие-то, они всем поотрывали головы, и это, по-твоему, хорошо? Только потому, что у них завод работает, а у других нет?..“ Печально, но это именно так. Феодализация российской экономики достигла такой степени, что... российские предприниматели, как и средневековые бароны, [не способны] на элементарную законопослушность. Когда тушат пожар — не смотрят, чиста ли вода. Единственным маяком в стране распадающейся морали может служить эффективность хозяина. Ворует хозяин для завода или у завода — вот и все критерии. ...Это история зарождения предельно жестоких и предельно эффективных собственников. Что поделать — в полной темноте и трассирующая очередь сойдет за луч света».

(Ну прямо «Мэри Глостер»! — есть у Редьярда Киплинга такая гениальная, по моему, поэма о «жестоком и эффективном собственнике» эпохи индустриальной революции.)

Тема неизбежной и по-своему продуктивной экономической феодализации современной России у Латыниной — давняя и заветная. Еще в романе «Бандит» и его продолжениях она наводила на мысль о сходстве рэкетирского налогообложения с той данью, что платили крестьяне своим высокородным защитникам в средневековой Японии («Семь самураев» — кто не помнит?). А сравнение гендиректора градообразующего предприятия с ханом, князем или герцогом не сходит у нее с уст: сюзерен это, а не преступник, хотя готов преступить любое положение. «Это государство у нас преступное и заставляет бизнесмена, чтобы выжить, нарушать закон» («Скандал в благородной прачечной» — «Известия», 1999, 9 сентября).

Вот и герой нового латынинского романа — сибиряк Вячеслав Извольский, он же хан ахтарский, владыка одного из крупнейших в стране и мире

металлургических комбинатов<sup>1</sup> — ввязывается в схватку... с кем? Тут-то понимаешь жест Юлии Латыниной, подписавшей вполне «климовический» по манере роман своим настоящим именем. Ведь положительному, условно говоря, герою (кому, вопреки всем грехам, сочувствует автор и чьей гибели, по законам жанра, не может хотеть читатель) противостоит не какая-нибудь «долголаптевская» братва, а все государство с обеими его ветвями и сучками власти (могущественная депутатская фракция «левых», предатель-губернатор, спецслужбы, налоговая полиция, арбитражный суд, доверенные банки с их всесилием) — все, все навалились на единственную производительную ячейку общества. При таком-то раскладе идейно ответственный автор, взявшийся к тому же исчерпывающе растолковать «как устроена российская экономика», просто не может себе позволить выступить под чужим именем — он отважно поднимает забрало.

По ходу затяжной позиционной войны, перемежающейся фронтальными столкновениями и рукопашными стычками (не счесть убитых, перебежчиков, и серьезно ранен сам главнокомандующий), Извольский, рука об руку с автором, декларирует свою позицию. Он убежден, «что его действия приносят выгоду не только комбинату, но и России», что сепаратист — вовсе не он, по принципу необходимой обороны добывающийся экономического суверенитета (даже местная АЭС должна отойти к нему в собственность), а губернаторы, ненавидящие Москву, хотя легко подкупаемые московскими банками.

Вообще говоря, грандиозная дуэль происходит между финансовым (в определенном смысле виртуальным) и производственным (во всех смыслах реальным) капиталом. (Заметка о романе в «Литературной газете» от 16 — 23 июня с. г. была озаглавлена абсолютно точно: «Феодалы и олигархи»). Государство — не более чем оруженосец банкиров, инвестирующих, подобно своим собратьям в средневековой Италии, деньги не в производство, а во власть; оно — пособник противника, а не сам противник. Вот легко узнаваемый портрет финансового олигарха, по тогдашнему совместительству высокого чиновника:

«Этот человек воплощал в себе все, что ненавидел Извольский: федеральную власть, используемую как высокодоходный финансовый инструмент, близость к Кремлю, абсолютную бессовестность и редкое умение осуществлять многоходовые комбинации, в процессе которых стратегические интересы страны преобразовывались в финансовые интересы автора комбинации».

Извольский изъясняется четко:

«Я не банкир. И вообще я не люблю банки... Я производственник. У меня карманные банки. А банкир — это у которого карманные заводы». И еще — в сторону антагониста: «Вы просто пауки... вы высасываете завод, как муху, и ползете дальше. Вам каждый год нужна новая муха, у вас такой способ питания».

«Феодал» Извольский настоящий патриот единой и неделимой — просто потому, что, как Дантон (или кто там?) не мог унести Францию на подошвах своих башмаков, так и он на тех же подошвах не сумеет унести из России свое достояние.

«...рано или поздно человек должен выбирать, что он хочет. Заработать денег и уехать на Гавайи или жить в России. ...Если ты хочешь работать в

<sup>1</sup> Судя по тому, что другие металлургические гиганты — Липецкий, Нижнетагильский — названы подлинными именами, за вымышленным Ахтарским мне тоже брезжит реальный прообраз — Кузнецкий металлургический комбинат, КМК в городе Новокузнецке (бывшем Сталинске). Там я некоторое время жила в военном детстве, потом, годы спустя, в городской библиотеке выдавала книжки охочим до чтения сталсварам (телевизора еще не было)... Как хотелось бы верить, что этот дорогой мне город попечением какого-нибудь хана Извольского сыт, свободен от преступности и рабочие там получают по тысяче и более долларов в месяц, а старики — изрядную прибавку к пенсии. Увы, подтверждения этому пока не имею.

России, то ты и деньги везешь в Россию... они же работать должны, деньги. ...Банк и предприятие по-разному устроены. Что такое деньги банка? Это просто записи на счетах. Они сейчас здесь, через минуту — в Америке, через две минуты на Кипре... Дунул — и все, бабки улетели в оффшор. А предприятие так не может. У него основные фонды. Я домну при всем желании на корреспондентский счет не переведу и через спутник на Багамы не сброшу».

Такая вот созидательная и полезная отечеству позиция. Но именно она в нынешнем отечестве оказывается не просто маловостребованной — смертельно опасной! В момент решающего тет-а-тета неприятель, заходясь ором, открывает карты:

«Вы... вы пошли против общественного строя страны, ясно? В этой стране правящий класс — банки!.. Мы можем все! Нам нужен такой-то курс рубля — и правительство держит этот курс рубля!.. И это делают три разных правительства, которые друг друга терпеть не могут! Потому что это уже не вопрос правительства, а вопрос сохранения правящего класса».

Однако Извольский и не силится идти против «правлящего класса» («Мы построили вполне средневековую экономику. Извини, но я не могу бороться с общественно-политической формацией. Я не революционер. Я директор») — он стремится обойти его с флангов. Если государственные законы — не более чем классовый инструмент (так когда-то и натаскивали нас по истмату), то некое подобие *общественного договора* теплится лишь в жизни «по понятиям». Ахтарский комбинат — это одна огромная «крыша», где воры, бандиты и махинаторы, тем или иным закулисным способом превращенные в гвардейцев сюзерена, уже не воруют, не убивают и не расхищают, а охраняют пасомую территорию. Остров спокойствия, комбинат

«вписывался в структуру существующих понятий и окрестными ворами воспринимался как еще одно, равновеликое им формирование».

Конечно, такого рода благоденствие достигается с помощью грязных технологий. (С подчеркнутой невозмутимостью описывая пытки и истязания, которым подвергают люди Извольского пленников из враждебного войска, Латынина как бы идет по стопам В. Тучкова, но если у того подобные эпизоды — стилизация чужих представлений, «концепт», то веселая крутость романистки подсвечена немного по-другому: что поделаешь, такова жизнь.) И к тому же достигается оно, это благоденствие, при условии равнодушного отсеечения всех тех градусов, весей и судеб с их болями и нуждами, кому не пофартило попасть под спасительную «крышу». Как водится в русском романе, возлюбленная Извольского Ирина выступает в функции его небестревожной совести и при всяком очередном извержении грязи тормошит недоуменными вопросами: ну можно ли так? Но каждый раз его экономически фундированные ответы понуждают совесть-Ирину замолкнуть.

«— А спрашивать не надо, — усмехнулся Извольский. — Надо верить. Ты мне веришь?»

Ирина посмотрела на лежащего перед ней человека. Что она, в конце концов, знала о нем? Что он стал владельцем 75-процентного пакета акций завода и вряд ли способ, к которому он прибег, сильно отличался от того, к которому прибег [банк] „Ивеко“? Что он знал, сколько стоит в России все — уголь, стальной прокат, зам. губернатора, федеральный депутат и вице-премьер? Что он даже на больничной койке не переставал единолично командовать предприятием и городом с населением в двести тысяч человек? Что две недели назад... хулиганы сломали... челюсть заместителю генерального директора „Сужэнерго“ и что это не могло бы произойти... без первоначального приказа Сляба<sup>2</sup>?

— Я тебе верю, — тихо сказала Ирина».

<sup>2</sup> Сляб (стальной брус, заготовка для проката) — прозвище гендиректора Извольского. Заодно — намек на то, что Извольский только заготовка будущей России, так сказать, промежуточный продукт.

Ох, недаром мне уже приходил на ум Чернышевский! Помните второй сон Веры Павловны? (Все больше помнят четвертый, но и второй любопытен.) Там трактуется о двух видах грязи: здоровой, «чистой» — и гнилой, «фантастической». У автора «Что делать?» здоровая грязь — это труженики, пусть темные, корыстные, неразборчивые; ну а гнилая грязь — паразиты, оторванные от положительной деятельности. У Латыниной, в сущности, то же самое: «здоровая» грязь производственника — и «фантастическая» грязь банкира. Самое занятное в этой последней диспозиции — крайний, можно сказать, мистический, материализм. Уверенность в том, что грязь, поелику — здоровая, может принести высокоорганизованные плоды путем их самозарождения, без засева идеальным семенем.

В биологии концепцию самозарождения похоронил Луи Пастер, который, будучи «фидеистом», наперед предположил, что из ничего и выйдет ничего, из хлама мышь, а из прокисшего бульона микроб не вылупится, — и доказал это опытным путем. Я понимаю, что с выводами относительно общественной жизни надо быть осторожней, опасаясь простых аналогий, — столько там наворочено мотиваций и разнонаправленных человеческих волей. И я склонна доверять каждому экономическому тезису и каждому социальному наблюдению Латыниной-журналистки, повывавшей и узнавшей в этой области в сто раз больше моего (пусть даже эти тезисы и наблюдения в известной мере совпадают с говорухинской мифологемой «великой криминальной революции», — в таких вопросах лучше обходиться без лицеприятия). Но если вернуться к роману, то в нем могут обнаружиться не учтенные очерковой диагностикой самосвидетельства.

Весьма философичный писатель и вместе с тем мастер напряженного сюжета Роберт Пенн Уоррен замечает:

«В каком-то смысле... писательское дело — экспериментальное, в нем выясняются пределы возможного... Эксперимент, как принято его определять, — это вопрос, поставленный природе, что справедливо и в применении к серьезной литературной работе. ...Писатель не работает дедуктивно... он пытается отыскать ценности в процессе проб и ошибок... Весь этот процесс — один длительный эксперимент над ценностями».

Конечно, «серьезной литературной работой» роман «Охота на изюбря» может быть сочтен, только исходя из глубочайшей серьезности его *внелитературной* проблематики. Рука романистки летала по клавиатуре, опережая мысленное слово — не выбирая выражений и подчас путая имена. «Жалости по всей этой сказке не было»; «он часто не ночевал дома ночью»; «напоминал медведя, поднявшегося на задние лапки»; «некоронованный диктатор» (как будто диктаторов непременно коронуют) — и много, много тому подобного. Заодно продемонстрировано уменье ботать по фене — в пределах нынешнего книжного этикета (*следак, винтарь, ментовка, непонятка, хвост дружит, влетел в блудняк, крутое кидалово, развели втемную, шлифуй базар* и проч., и проч.). И приправлено постельными (теми, что по-нынешнему именуются «эротическими») сценами, как бы списанными с инструкции для сочинителей верняков, — где-то же должны существовать такие инструкции, как в старину письмовники? Все это уравнивается, однако, отличным «саспенсом» (например, в главе «Правила игры без правил»); толстенный роман будет проглочен и теми, кто не слишком задумается над вложенными в него откровениями о нашем общественном строе.

Между тем роман есть роман. То есть «эксперимент над ценностями» и выяснение «пределов возможного». И этот роман, как и всякий другой, — тоже воображаемый полигон для проверки авторских наблюдений над жизнью. Результаты проверки могут не совпасть с предварительными данными.

Тут пора сказать, что кроме показательного Извольского — последней надежды Латыниной-экономиста — в романе есть еще один ведущий герой: бывший следователь, а ныне начальник службы безопасности Ахтарского комбината Денис Черяга. Он перекочевал из предыдущей книги (формально «Охота

на изюбря» — вторая часть диалоги), где и рассказана история его превращения из убогого государственного служащего в могущественного «визиря» при ахтарском хане. В помянутой выше рецензии «Литературной газеты» он с иронией назван порядочным человеком — таким, который продается всего один раз. Несправедливо. Черяга — порядочный человек, потому что он не продается: он вверяется позитивной творческой силе. И если при этом на него сыпятся еще и житейские блага, то это лишь добавка к нравственному удовлетворению и понятное вознаграждение за страшный риск новой службы. Другими словами, Черяга порядочный человек, потому что он человек и д е й н ы й. И сколько ни пытается автор Черягу очернить (невольный каламбур...) — его форсированной беспощадностью или охотно покупаемыми услугами проституток, — все равно ни здоровой, ни гнилой грязью не замазать ангелоподобной сути романтического, если не соцреалистического, персонажа. Вот — мотивы:

«...Денис понял, что Москвы больше нет. Страна распалась на феодальные княжества... не было в России нигде безличного закона, а была только личная преданность вассала сеньору, и нельзя было служить несуществующему закону, а можно было только выбрать, кому ты будешь служить: Салтычихе или Демидовым».

По идейным побуждениям Черяга выбирает «Демидовых» — в лице Извольского.

Термины вассалитета естественны в устах Латыниной, рисующей абрис нашей «средневековой экономики»: скажем, некие персоны из ее известинского очерка о Качканарском ГОКе «подобно мелкому барону, обиженному соседом-герцогом, принялись искать сюзерена покруче». Так — по жизни. Но Черяга залетел в романый мир из другого средневековья — из того, где перед лицом Всевышнего давали клятвы верности и где получали посвящение в рыцари. Мало того что он «верный пес, который не мог уйти от хозяина», — он Бертран из «Розы и креста».

Могут указать на чисто условное, на чисто литературное происхождение этого персонажа, придающего триллеру-исследованию декор человечности и душевной динамики; а так — что есть Денис, что нет его, *суть дела* не меняется. Стоп. Не тут-то было. Напомним: роман — экспериментальная площадка, а его фабула — проверочная модель социальных фабул, подбрасываемых действительностью. И вот возникает решающая ситуация и с к у ш е н и я Бертрана-Черяги: подтолкнув к смерти больного шефа (а это легко), он получит в свои руки завод-гигант и желанную женщину. Конечно же Денис устоял — устоял и роман. Не стоит роман без праведника. А будь все иначе, то есть по законам *интереса*, рухнул бы завод в руках неумелого наследника и разлетелась бы в прах ахтарская, сдобренная кровью и грязью, идиллия. Откуда бралась в давнем, подлинном средневековье — хотя бы иногда — Бертранова верность, Латынина знает не хуже меня. Но пусть ответит, откуда ей взяться теперь, «в стране распадающейся морали». Откуда ей взяться и застраховать одиночек Извольских от неминуемого общемирового поглощения «призрачной неэкономикой финансовых технологий»<sup>3</sup>?

Слабое звено бескрайней экономической «правизны», экономического либерализма, надеющегося вытащить себя — и всю страну — за волосы, не прибегая к санкциям морали и производного от нее права, — это слабое, утопическое звено, кажется, нащупано. Во всяком случае, нащупано в пределах одного романного построения. Без Черяги — не получится. А Черяга введен контрабандой...

Лучше без контрабанды. Лучше пусть Черяга служит тому, что прежде называли естественным законом и что, видно, написано в его сердце. И пусть из

<sup>3</sup> Выражение А. Неклессы из статьи «Пакс экономикана, или Эпилог истории» («Новый мир», 1999, № 9).

этого естественного (общечеловеческого) закона вытекают законы национального государства (здесь: нация = гражданству). Потому что только национальное государство может, если может, противостоять «призрачной неэкономике», не знающей границ (которая отталкивает и Латынину). И пусть эти государственные законы мешают жить по понятиям и «феодалам», и «олигархам». А в остальном — свобода. Это тоже позиция «справа», но не правее Чубайса — условного «Чубайса» как автора вынесенного в эпиграф заявления. Месту правее быть пусту.

Но ведь надеяться на становление *такого* государства, *таких* законов, *такого* права, *такой* морали — просто глупо, возразят мне. Латынина потому и выставила в виде единственного укрепленного рубежа свой крайний *экономизм*, что в стране, в социуме исчерпана строительная энергия идеализма! Очень может быть, что и так. А вдруг — иначе? Поскребем по сусекам.





# Р Е Ш Е Н И Я . О Б З О Р Ы

## ПРОПОРЦИЯ ВАЙЛЯ

Петр Вайль. Гений места. М., Издательство «Независимая газета», 1999, 488 стр.

«Вайль» — имя объяснительное: в переводе с немецкого означает «так как». Его книга «Гений места» — пятисотстраничный толковник: обстоятельств времени, кулинарии и искусства, которые сошлись в одном городе-месте.

Географический размах путешествий Петра Вайля поражает. Вверх по карте он набирает полста градусов северной широты: Дублин, Амстердам (выше — только родная Рига). Вниз — под сорок градусов южной широты: Буэнос-Айрес (ниже — только виртуальная Огненная Земля). Налево по шарикам — 120 оборотов: Сан-Франциско (левее, как говорил Георгий Иванов, — только стена). Направо — тоже не слабо: 140 от Гринвича, Токио, Киото (правее — лишь нулевой меридиан). Неохваченными остаются Австралия, Африка и Восток — за исключением Стамбула. Остальные континенты и регионы Петром Вайлем отмечены.

Принцип разговора прост: каждому городу автор подбирает классика жанра — от архитектуры до кинематографа. Классик призван дать ракурс взгляда на город — и наоборот. Иными словами, Новый Орлеан не поймешь без «Трамвая „Желание“», но и Теннесси Уильямс объясним только после прогулки по *Vieux Carré*.

Но Вайль идет дальше.

Подобрав первую пару, он сопоставляет ее со второй. В пространстве одной — за исключением нескольких случаев — страны он подбирает еще один город и еще одного классика, поэтому конечный результат напоминает сложные дроби: «Эль Греко — Толедо / Мадрид — Веласкес». Или: «Андерсен — Копенгаген / Осло — Мунк». Или: «Малер — Вена / Прага — Гашек».

С Праги мы и начнем — тем паче, что вот уже несколько лет Вайль живет в этом городе.

Поначалу дешифровка Вайлем этого фантастического города кажется слабой: вместо Кафки или Майринка — Гашек, вместо шума и ярости — застольный почти разговор.

Но в контексте всей книги это не кажется странным.

Вспомним: реальность Праги амбивалентна. Этот город — и самый призрачный, и самый плотский. Поэтому написанное на его тему всегда будет страдать или мистическим придыханием, или расчетливой приземленностью.

Вайль — не случайно, как позже увидим, — идет по второму пути. Его Прага прозаична, как кнедлик, который плавает в невероятном соусе на подступах к Градчанам в кабаке «У повешенного», где пиво «Вельвет» и сыр «Гермелин» особенно сладки. Прага прозаична, как округлости живота, удобренного «Праздром», — и загадочна, как искривление пространства, этому городу свойственное.

Вайль уверен, что Кафка — это пражское подсознание, а Швейк — его альтернатива: здоровый обывательский смысл. Кнедлики, пиво, заборный юмор с эротической подоплекой — из неотъемлемых пражских черт. И эти черты Вайлем отыграны. Да, Голем все еще мелькает в черных улицах чешской столицы — но Вайль выбирает другую Прагу, и делает это вполне сознательно.

То же самое можно сказать о всех парах, составленных Вайлем. О паре «Виченца — Венеция» — в первую очередь: поскольку Венеция Вайлем любима особо.

Но и к любимой Венеции Вайль подбирается «от противного» — через Виченцу, где работал Андреа Палладио: «Палладианские здания — архитектурное эсперанто, пунктир цивилизации. Самое представительное сооружение на свете — широкие ступени, ряд колонн, треугольник с барельефом, высокие окна: там тебе непременно что-нибудь скажут, объяснят, покажут».

...Если свернуть трубочкой фасад Базилики Палладианы на площади Синьории, то получится Колизей. Наоборот, если развернуть шестеренку Колизея, окажется, что перед нами экземпляр палладианской застройки.

«Считается, что Палладио возрождает античность. Так считал и он сам. Так оно и было. Но с поправкой: Возрождение изгоняло из греко-римской древности язычество, а с ним — низовую физиологическую телесность». То есть кухню и спальню.

Что сказать нам о Венеции Вайля? Что добавить к его Карпаччо? Что Венеция — в отличие от Виченцы — более физиологична и вместе с тем призрачна?

Что кухня там сливается со столовой, а вывеска — с покоем? Что Венеция верна лишь тому, кто ныряет в ее арки, пускаясь на свой страх и риск в путешествие по пространству «за фасадом»?

Что только у Карпаччо Вайль находит здоровое чувство юмора, которое потом откликнется у малых голландцев?

Что шлепанцы Святой Урсулы «посильнее будут» убийств на классические сюжеты?

«Карпаччо не просто кинематограф, а Голливуд: то есть высочайшее мастерство в построении истории, монтаже разнородных объектов, подборе главных героев и крупных планов; в результате — создание сложносочиненного, но целостного образа. И прежде всего — образа страны и ее обитателей». Примерно то же он скажет и о Вивальди, в котором «карпаччовская смесь аристократизма (изысканности) и популярности (увлекательности)...».

И наконец, обе эти фразы применимы в качестве эпиграфа к самому Вайлю.

Вот одно из ключевых его замечаний, взятых почти наугад из разговора о Флоренции: «Квартал Санто-Спирито вошел в пределы центра города еще в кварточенто, но за пятьсот с лишним лет центровым не стал: район это плебейский и оттого родной». Главное слово в пассаже — «плебейский», ибо на протяжении всей книги Вайль демонстрирует читателю именно плебейский взгляд на города и классиков.

Мы берем понятие «плебейский» в буквальном — а потому не обидном — смысле этого слова: «народный». Что такое «народный» в понимании Вайля? Это здравый, практичный, лукавый и умудренный взгляд на все вещи, включая шедевры литературы и зодчества. Это смесь аристократизма и популярности, которая покоряет Вайля в Новом Орлеане, Нью-Йорке, Амстердаме и Мехико: у Теннесси Уильямса, О. Генри, де Хооха и Риверы. Это искусство на грани кича, которое оказывается долговечнее и — главное — функциональнее плодов полета фантазии, в которых нет места реальной жизни реального человека. Недаром Вайль пишет с оглядкой на кич. Кич — это здоровая реакция народа на «завышенное» искусство, точнее, его практическое применение, когда силуэт Джойса лепят на майки, а под «Полет валькирий» американцы мочат вьетнамцев в фильме Копполы.

Все пары в книге Вайля работают на авторскую сверхзадачу: дать урок здравого смысла, вернуть искусству утилитарный аспект, вывернуть шедевр наизнанку и сделать его более доступным — «освоить», как он сам выражается.

Стиль тоталитарен — материал демократичен: на исходе XX века сомневаться в этом нет решительно никакой возможности. Дробь, которую образуют герои «Гения места», — иллюстрация этого тезиса и залог цивилизованного порядка, который стихийно проповедует Вайль. «Поэтика цивилизации — его тема», — как сказал в послесловии Лев Лосев.

Ганс Сакс, сапожник и поэт, сколотивший шесть тысяч произведений общим объемом в полмиллиона строк, — и заоблачный Вагнер. Домовитый Конан Дойл — и вечный странник Джойс. Карпаччо, у которого «бес... пыжится, сопит и похож на перепуганную собачку», — и Палладио, выхолостивший античность плоским фасадом. Андреа дельла Роббиа с веселенькими медальончиками из терракоты на Воспитательном доме — и Брунеллески, который «в процессе» забыл, что строит «для детей» и неправильно расчертил внутренние покои.

Главный урок этой книги — в том, что практичность долговечнее эстетства, а художественный вкус, который не чурается устриц à la Rockefeller и MTV, будет актуальнее произведений, созданных в башне из слоновой кости.

Великие шедевры великих творцов остаются — кто ж спорит. Задираешь голову перед собором Гауди — и кепка по-прежнему слетает с головы, так что выражение «шапки долой» стоит здесь понимать буквально. Но и от преклонения можно устать, особенно если учесть, как много накопилось шедевров, которые занимают

по отношению к тебе позицию тирана — и требуют благоговения. Человек сам хочет участвовать в создании шедевра, поэтому кухня, коррида, карнавал, пивной фестиваль и собственно город, где все это происходит, всегда будут собирать больше восторженной публики, чем «Отелло» или новое исполнение симфонии Малера. И Вайль пишет свою книгу с учетом того, что это — неизбежно.

В конце концов, город и место мудрее художника — недаром жилой квартал у реки не отдали Брунеллески на слом под архитектурный ансамбль. Ансамбль ансамблем, а жить-то где будем — не в храме же?

«Всегда есть сильный соблазн счесть гения больше места, и этому соблазну традиция велит поддаться. Стереотип здесь таков: великий художник — вселенная, его город — лишь ее фрагмент, эпизод. Но на самом деле пропорция... такова... отношение малого к большому, части к целому. Речь не о смирении, а о взаимосвязи одушевленного и неодушевленного, если угодно, содержания и формы — содержимого и сосуда. Город старше, разнообразнее, долговечнее, больше — не надо притворяться, это так».

И слава Богу.

Глеб ШУЛЬПЯКОВ.

\*

## НЕПРИЧЕСАННЫЕ МЫСЛИ О «НЕПРИЧЕСАННОЙ БИОГРАФИИ»

Л. М. Ариштейн. Пушкин. Непричесанная биография. Издание второе, дополненное. М., ИД «Муравей», 1999, 232 стр.

**В** течение прошлого и нынешнего года на московских книжных прилавках появилось два издания книги Леонида Аринштейна; кроме того, как сообщается на обороте титула второго издания, в сентябре прошлого года был отпечатан дополнительный тираж первого. Разумеется, это говорит о безоговорочном коммерческом успехе книги. (Издание осуществлено по Пушкинской программе Российского фонда культуры.)

Внешний вид книги, ее дизайн, обрамление авторского текста сразу завладевают вниманием. На обложке сверху — знакомые образы пушкинского окружения, обрывок пушкинской рукописи, скомпонованные в виде колоды карт; внизу — известное изображение Святогорского монастыря, повторенное на титуле. Книгу предваряет эпиграф Плетнева и короткое восторженное обращение к автору председателя упомянутого фонда Никиты Михалкова; оно и другие отклики, помещенные в конце издания, обрамляют текст хвалебным нимбом. «Непричесанная» биография героя дополняется панегирической, хоть и сжатой, биографией автора (нашлось место и для его фотопортрета). Книга богата иллюстрациями — привычно радующей взор пушкинской иконографией, портретами современников поэта, пейзажами и видами пушкинских мест; почти все узнается, будучи поддержано смежным текстом, и все же отсутствие уместного в данном случае сопровождающего научного аппарата, подписей и разъяснений оставляет читателя в некотором недоумении.

Одним из существенных рекламных компонентов является само название книги: «Пушкин. Непричесанная биография». Оставим пока в стороне эффектное отпричастное прилагательное и сосредоточимся на существительном. Можно ли трактовать как «биографию» повествование, затрагивающее лишь отдельные аспекты и периоды жизни избранного героя? В своем предуведомлении Аринштейн пишет, что он «не считал нужным уделять равное внимание всем событиям и всем сторонам жизни Пушкина (выделено автором книги. — Н. П.)». Думается, на столь объемный охват не могла бы претендовать никакая биография Пушкина, однако из названия книги все же вытекает обязательство коснуться всех этапов жизни поэта. Полагаю, что автор поступил бы осмотрительнее, преобразовав «гордый» и обязывающий именительный падеж названия в скромную предложно-падежную группу: «Из непричесанной биографии».

«Непричесанность» биографии, как читатель узнает из того же авторского предуведомления, связана с очищением жизнеописания Пушкина от «привычного хрестоматийного глянца», с неприятием «слащавого тона» в разговоре о его личной жизни. Но глянец этот в нашем пушкиноведении уже давно поистерся; начиная с книги П. Губера «Дон-Жуанский список Пушкина», личная жизнь поэта находится в поле пристального внимания исследователей. «Слащавый тон» если и проявляется в иных работах, отнюдь не доминирует, и поэтому притязание автора на его развенчание выглядит борьбой с ветряными мельницами.

Я покривил бы душой, если бы сказал, что книга Аринштейна скучна. Она написана легко и занимательно, хорошим слогом филолога-профессионала — «читается как детектив», по словам приобщенной к книге рецензии Е. Литовченко. Нельзя обойти молчанием отдельные удачи. Так, убедительны уточнения, относящиеся к «главным событиям» романа Пушкина с Воронцовой (речь идет о последних днях пребывания поэта в Одессе — июль 1824 года). Автор тонко корректирует Т. Г. Цявловскую, посчитавшую всадника в широкополой шляпе на рисунке Пушкина охотником, между тем как «на охоту не надевают такую шляпу»: мы видим на этом рисунке самого поэта (правда, непонятно, почему он, по заключению Аринштейна, скачет именно в Тригорское). Удачными представляются соображения, относящиеся к «творческому кризису» Пушкина 1835 года (первые три раздела главы «Между отчаянием и надеждой»). Аринштейн высказывает ряд интересных и проницательных наблюдений по поводу «николаевского цикла» стихотворений и по поводу стихов, связанных с императрицей Елизаветой Алексеевной.

Книга состоит из отдельных зарисовок в связи с эпизодами пушкинской творческой биографии; композиция отнюдь не следует хронологической канве. После начальной главы «Преображение Дон-Жуана», посвященной «любовным увлечениям Пушкина от лицейских лет до женитьбы», автор в главе «Между отчаянием и надеждой. (Преддзельная лирика)» обращается к каменноостровскому циклу. Затем повествование сдвигается к предшествующим годам: рассматриваются два «царственных» цикла — «николаевский» и «елизаветинский». Последние две главы перемещают читателя снова к концу жизни Пушкина — в 1835 и 1836 годы: речь в них идет соответственно о предположительно обращенном к Кюхельбекеру стихотворении «Кто из богов мне возвратил...» и о гипотезе автора относительно авторства полученного Пушкиным пасквиля. Следует сказать, что подобное «челночное» движение по пушкинской биографии вносит свою лепту в культивируемую автором стихию занимательности. Но обнаружить «глубину анализа и понимание движения души гения» (Е. Литовченко) я не мог.

В предуведомлении автор пишет: «Я убежден, что каждое произведение Пушкина, при всем обилии его поэтических смыслов, при всей поэтической отвлеченности от фактов реальной жизни, неизменно содержит некий глубинный автобиографический пласт. Докопаться до него чрезвычайно трудно. *Вероятность ошибочных интерпретаций здесь очень велика.* И тем не менее: творчество самого поэта — во многом пока еще не оцененный, но богатейший лирический дневник, которым я и попытался воспользоваться в меру своего разума (курсив мой. — Н. П.)».

Выделенная мной фраза как будто свидетельствует о понимании всех сложностей, подстерегающих исследователя на избранном пути, однако реальное весьма свободное обращение автора с «лирическим дневником» поэта говорит о другом. Неоднократно автор высказывает некое предположение, говорит о недостаточности свидетельств в его пользу, а затем, развивая и иллюстрируя его с помощью тех или иных пушкинских стихов или строк, уже обращается с ним так, как если бы речь шла не о гипотезе, а об очевидности. Возьмем, скажем, раздел «„Милая старушка“. 1824 — ?» (из первой главы), где речь идет об отношениях Пушкина с П. А. Осиповой. Автор сначала предупреждает читателя о недостаточности сведений для каких-либо уверенных утверждений по поводу степени близости этих отношений, затем обращается к михайловским стихам и некоторым известным фактам, склоняющим его к предположению о любовной связи, а в заключительной фразе раздела это предположение уже подается как «фоновое» утверждение: «Не исключено, что любовная связь с Осиповой ограничивалась лишь несколькими неделями осени 1824 г. и постепено сошла на нет по мере развития романа Пушки-

на с Ольгой Калашниковой». На предшествующих страницах мы встречаем показатели уместной в данном случае модальности предположения: «вероятно», «скорее всего», «каковы бы ни были в действительности отношения Пушкина с Осиповой», «даже если предположить...», но в процитированной фразе словосочетание «любовная связь» — подлежащее — дано как обозначение факта, а осторожное «не исключено» указывает лишь на продолжительность и сроки «связи», а не на предположительность самого факта. Простодушный читатель не станет разбираться в подобных лингвистических тонкостях и наверняка воспримет авторское предположение как достоверность.

Элегия «Погасло дневное светило...», по мнению автора, «едва ли оставляет сомнения в том, кому она посвящена»: ее адресатом автор считает Марию Раевскую, плившую вместе с Пушкиным в Гурзуф на военном бриге, когда он сочинял эту элегию. С тем, что в известной мере вдохновлена она была чувством, которое поэт испытывал к одной из своих молодых спутниц, спорить трудно, но все же откуда такая однозначность в определении адресата стихотворения? Ведь сам автор несколькими строками выше отмечает: «...ни одно значительное произведение Пушкина не дает однозначных соответствий реалиям жизни». Двумя страницами ниже автор называет в числе увлечений Пушкина в то лето 1820 года и других: Екатерину Раевскую, компаньонку Марии Анну Гирей... Известны и другие предположения о молодых женщинах, которые тогда могли вызвать у Пушкина мимолетные, но бурные чувства. В августовской элегии нет никакого конкретного женского образа (в отличие, скажем, от элегии «Редет облаков летучая гряда...» или от «Нереиды»); о душевном состоянии поэта сказано без упоминания той или тех, кем оно вызвано: «И чувствую: в очах родились слезы вновь; / Душа кипит и замирает; / Мечта знакомая вокруг меня летает», после чего поэт обращается к петербургскому прошлому: «Я вспомнил прежних лет безумную любовь». Только в последнем четверостишии поэт возвращается к своему теперешнему чувству: «Но прежних сердца ран, / Глубоких ран любви, ничто не излечило...» Мне бы хотелось, чтобы Аринштейн указал, в каких строках элегии есть женский образ («Не исключено, впрочем, что в приведенной элегии образ Марии частично слит с образом ее старшей сестры Екатерины...»); его, повторяю, в элегии нет, в ней даже о владеющем поэтом любовном чувстве говорится косвенно: ведь и строки о «ранах любви» можно отнести к прошлому, а не к настоящему.

Повторим, что такого рода произвольность, недостаточная обоснованность выводов, интерпретация гипотетически подаваемых заявлений как обоснованных утверждений являются характерными чертами рецензируемой книги. Вопросы встают один за другим. Почему стихотворение «Лаиса, я люблю твой смелый, [вольный] взор...» относится к Ольге Массон? Почему столь однозначно стихотворения крымского цикла «Нереида» и «Фонтану Бахчисарайского дворца» признаются обращенными к Марии Раевской?

По-видимому, многим лирическим шедеврам Пушкина суждено вечно хранить тайну: вряд ли когда-либо удастся точно установить их адресатов или вдохновителей. Более того, можно предположить, что те или иные стихотворения навеяны целым комплексом дум и чувств, которые трудно соотнести с каким-либо одним определенным лицом. Тут мы ступаем на ненадежную тропу догадок, иногда далеко расходящихся с каноническими представлениями, но автора это нимало не смущает. В этом есть нечто вроде цинизма занимательности (или — если хотите — занимательного цинизма): в дело идет то, что способствует интриге повествования, что противоречит принятому мнению, которое может показаться иному читателю пресным.

Произвольность и отважная бездоказательность автора не могут не поражать. Как вы думаете, чем вызвана бурная негативная реакция Пушкина на командировку для борьбы с саранчой? Оказывается, в этом виновата исключительно влюбленность в Воронцову: «...Пушкин просто физически не мог выносить мужчину рядом с понравившейся женщиной». Раз «Пушкин охотно разъезжал по краю», автору непонятно, что обидного поэт мог усмотреть в этом поручении. Надо сказать, что иные, потомки (к примеру, известный биолог Любищев) упрекали нашего поэта в столь неадекватной реакции на обычную служебную командировку, направленную

на общественно полезное дело. Есть свои резоны в такого рода упреках; равным образом можно попробовать упрекнуть поэта за общественное бездействие Болдинской осенью 1830 года, когда он уклонялся от участия в противохолевых мероприятиях. Пусть так, но дело в том, что если автор предполагает какие-либо неучтенные причины, лежащие в основе известных фактов, то все остальные он готов считать фиктивными. Так и в случае с саранчой: возможная обида Пушкина на то, что Воронцов видит в нем не поэта, а чиновника, «вандализм и придворное хамство» губернатора (характеристика несправедливая, но не будем сейчас ее обсуждать) — все это признается совершенно несущественным.

Порой Аринштейн выступает если не как очевидец событий, то как человек, получивший сведения от очевидцев, как имели основание писать П. В. Анненков, П. И. Бартенев, М. И. Семевский, Л. Н. Майков, встречавшиеся и беседовавшие с людьми пушкинского окружения. Он присваивает себе право на вымыслы и домыслы, заглядывая в глубины сознания героев и переходя на рельсы околонушной беллетристики.

«Сожженное письмо», по мнению автора, навеяно не письмом от женщины, а издевательским письмом от Александра Раевского (не сохранившимся); автор уверенно утверждает, что поэт бросил это письмо в огонь и «вид горящего письма, написанного где-то рядом с Воронцовой, вызвал в его воображении лирическую ситуацию». Поражает в этом пассаже даже не столько психологическая неубедительность объяснения, сколько его уверенная модальность: автор говорит как полный знаток, ему достоверно известно, что «в действительности, конечно, никаких писем Воронцова Пушкину не писала» и что пушкинская помета «u<ne> lettre d<e> [EW]» совершенно точно относится к письму от А. Раевского, полученному Пушкиным 5 сентября 1824 года. В такого рода случаях тон автора отличается победной уверенностью.

В главе «О первый из друзей моих» речь идет о стихотворении «Кто из богов мне возвратил...» — переводе-переложении оды Горация. Автор не обинуясь относит это стихотворение к Кюхельбекеру, связывая его создание с получением Пушкиным в марте — апреле 1836 года письма от друга из забайкальской ссылки. «Можно только удивляться, как случилось, что ни один исследователь биографии и творчества Пушкина не обратил внимания на то, что послание „Кто из богов мне возвратил...“ обращено к Кюхельбекеру!» — восклицает автор. Воскликнем и мы: можно только удивляться, как Аринштейн мог пройти мимо работы И. З. Сура, посвященной этому стихотворению, — статьи «„Кто из богов мне возвратил...“» (Пушкин, Пущин и Гораций), опубликованной во втором выпуске «Московского пушкиниста» в 1996 году, а еще раньше — в «Новом мире». В статье Сура отмечается, что на связи этого стихотворения с декабристами и михайловской ссылкой в пушкиноведении указывалось и ранее, но ни эти указания, ни работа Сура Аринштейном не упомянуты, и, таким образом, первенство в отношении столь важного наблюдения в глазах читателя остается за автором «Непричесанной биографии». Однако в этой главе мы все же находим аргументацию.

И Сура и Аринштейн обращают внимание на отброшенные варианты начальных строк, содержащих словосочетания «мой первый друг», «о первый из друзей моих». На память сразу приходит хрестоматийная строка из послания Пущину «Мой первый друг, мой друг бесценный!..»; для обнаружения этой связи не нужно быть пушкинистом: наиболее вероятный адресат послания — Иван Пущин. Сура тянет за эту ниточку и приводит в пользу данной гипотезы дополнительные аргументы, из которых упомяну только те, которые проявляются в тексте стихотворения наиболее непосредственно: 1) друг возвращается «в мой домик темный и простой», что стилистически выделяется на помпезном римском фоне и соотносится с неприязательным михайловским домом поэта, где произошла знаменитая встреча лицейских друзей 11 января 1825 года; 2) неумно-вакхический финал также скорее ассоциируется с этой встречей, сопровождавшейся возлияниями и «хохотом от полноты сердечной», нежели со случайной встречей с Кюхельбекером на станции Залазы 14 октября 1827 года. Мне представляется, что и аргументы Сура можно принимать лишь как правдоподобные, поскольку такова сама природа и суть пушкинских лирических свидетельств, а других в данном случае у нас нет. И все же

непосредственное чутье отодвигает предположение Аринштейна на второй план как менее вероятное.

Чтобы связать стихотворение с 1836 годом, когда Пушкиным было получено письмо Кюхельбекера, Аринштейн подвергает сомнению каноническую датировку стихотворения — 1835 год. И тут, по внимательному изучению палеографических и текстологических аргументов Аринштейна, приходится согласиться с такой теоретической возможностью. Однако — только с теоретической. Доводы же в пользу канонической датировки можно суммировать следующим образом (и они упоминаются самим Аринштейном). 1) Послание предполагалось включить в «Повесть из римской жизни» вместе с двумя другими античными переводами — из Анакреона «Поредели, побелели...» и «Узнают коней ретивых...», написанными 6 января 1835 года; таким образом, более вероятно временная близость послания этим стихам, чем сдвиг его на год позднее. 2) Аринштейн указывает, что беловой автограф послания находится «на разорванном вдоль втором полулисте почтовой бумаги с остатками последних строк письма М. И. Калашникова к Пушкину от первой половины 1835 г.». Далее предполагается, что воспользоваться почти полностью свободным листом этого письма Пушкин мог не сразу и не в первые месяцы после его получения, а спустя год, то есть в 1836 году. И все же к какому времени более естественно отнести подобное использование бумажного запаса? — кажется, что все же ко времени, более близкому к получению калашниковского письма. Для сколько-нибудь обоснованной передатировки пушкинского послания автору «Непричесанной биографии» нужно было бы найти какие-либо достаточно надежные факты, но таковых Аринштейн не приводит.

В главе «Николаевский цикл Пушкина» выстраивается серия стихотворений, обращенных к Николаю I. Среди них есть бесспорные, их отнесение к императору тривиально, но есть и проблематичные. Так, стихотворение «С Гомером долго ты беседовал один...» Аринштейн переадресует от Гнедича к императору, в целом опираясь на свидетельство Гоголя из «Выбранных мест из переписки с друзьями» и заголовок «К Н\*», данный этому стихотворению Жуковским в девятом томе посмертного собрания сочинений Пушкина. Можно согласиться с тем, что при отнесении стихотворения к Гнедичу возникает целый ряд неувязок, но, увы, таковые возникают и при безоговорочном отнесении его к Николаю I. «И светел ты сошел с таинственных вершин / И вынес нам свои скрижали» — ясно, что можно подразумевать под «скрижальями» при обращении к поэту, но что вынес император своим подданным, сойдя в зал, где «гремела музыка и кипели танцы»? «Ты любишь гром небес, но также внемлешь ты / Жужжанью пчел над розой алой. / Таков прямой поэт...» На стыке последних двух строк выявляется сложность в отнесении обращения «ты» к императору, который ведь не является поэтом. Об этом пишет автору и Е. Эткинд (это письмо приводится в конце книги). Аринштейн сам ощущает неувязку: «Это сближение образов царя и поэта нисколько, разумеется, не противоречит тому, что ода в целом обращена к Николаю Павловичу (курсив мой. — Н. П.)». Значит, *отчасти* она обращена и к Гнедичу?

Одно из самых поразительных утверждений автора касается стихотворения «Пророк», под которым, оказывается, стоит дата: «8 сентября 1826». Как может стоять какая-либо дата на отсутствующем документе! — ведь никакого автографа «Пророка» не сохранилось. Концепция, связывающая «Пророка» напрямую с императором, строится на отсутствующей дате. Рукописное наследие Пушкина содержит лишь один «след» «Пророка» — строку «Великой скорбью томим» в списке из тридцати стихотворений 1816 — 1827 годов, предназначавшихся поэтом для включения в собрание стихотворений (список датируется апрелем — августом 1827 года — см.: «Рукою Пушкина». М. — Л., 1935, стр. 238 — 239). Дата «8 сентября 1826» в пушкиноведении возникла из комплекса не вполне стройных мемуарных свидетельств. Кто знает, может быть, она и была под текстом «Пророка» — тут ничего нельзя утверждать уверенно. Но даже об этих косвенных источниках автор не сообщает, а просто помещает столь нужную ему дату (день встречи возвращенного из ссылки Пушкина с императором) в нужное ему место, не упоминая ни словом об отсутствии самого автографа. Правда, автор основывает свое утверждение ссылкой на авторитет Б. В. Томашевского, который в его присутствии говорил

академику М. П. Алексееву в начале 50-х годов о ключевом значении даты 8 сентября; в полном десятитомнике Пушкина, вышедшем четырьмя изданиями с примечаниями Томашевского, по поводу «Пророка» мы действительно находим уверенное указание: «Написано 8 сентября 1826». Тем не менее при отсутствии надежных документов подобного рода данные никак не могут иметь столь решающего значения.

О прочих несообразностях и научной несостоятельности книги можно было бы говорить еще долго и много, но этого не позволяет ограниченный объем рецензии. Я могу лишь безоговорочно согласиться с оценкой А. Курилкина, откликнувшегося на «Непричесанную биографию» в 36 выпуске «Нового литературного обозрения» (1999, № 2): «общая неудача книги» и ее «частные промахи» (в этой рецензии, кстати, убедительно отвергается гипотеза Аринштейна относительно Александра Раевского как автора пасквиля). И для меня — неудача книги очевидна, как и многочисленные частные промахи.

Р. С. Уже написав эту рецензию, я ознакомился с другой книгой Л. М. Аринштейна, вышедшей — через несколько месяцев после второго издания «Непричесанной биографии» — также в рамках Пушкинской программы Российского фонда культуры: «Пушкин: „Видел я трех Царей...”» (М., ИД «Муравей», 1999, 144 стр.). Ее тираж превышает тираж первой книги — 5000 экземпляров против 3000; она повествует об «отношении Пушкина к Императорам Дома Романовых» (из аннотации). Приблизительно сорок процентов текста второй книги заимствовано из первой: почти полностью совпадают очерки об императрице Елизавете Алексеевне и о Николае I (из первой книги во вторую перекочевала опечатка во французских лицейских «Стансах», весьма произвольно относимых автором к императрице). Вторая книга повторяет похвалы автору на обложке. Не веришь своим глазам, читая на стр. 52 о «поздравительной телеграмме [!] от Шатобриана» Александру Первому, оглашенной офицерам 2-й армии самим императором за семь лет до изобретения П. Л. Шиллингом первого телеграфического аппарата и тем более задолго до появления первых телеграмм.

Н. В. ПЕРЦОВ.



### СУДЬБА «РУССКОГО ОСТРОВА»

Русский Харбин. Сборник. М., Издательство Московского университета, 1998, 271 стр.

**Н**азвание книги «Русский Харбин» едва ли привлечет внимание широкого читателя. Бывших харбинцев (чьи воспоминания, рассказы, очерки, заметки, зарисовки и составили содержание данной книги), — как тех, кто в 30—50-е годы оказался в СССР, так и рассеянных по всему свету — осталось мало. У их потомков ныне другие дела и заботы, они тем более едва ли станут предаваться ностальгическим переживаниям над страницами этого сборника.

И все-таки думается, сборник найдет своего читателя в современной России. Ведь «русский Харбин» — не очередной культурный миф, а вполне реальная, несправедливо забытая страница отечественной (к тому же не столь уж и отдаленной) истории.

Книга скорее всего приурочивалась к 100-летию со дня основания Харбина — официальной датой закладки города считается 1898 год, — но, как это нередко у нас случается, вышла в свет лишь нынешним летом.

Итак, Харбин изначально возводился в пустой и безлюдной маньчжурской степи именно как русский город, как административный центр Китайской Восточной железной дороги (КВЖД), которая по двустороннему договору России с Китаем, подписанному в 1896 году, прокладывалась по территории Маньчжурии, наименее заселенному Северо-восточному региону Поднебесной империи. (Пекин предоставил России в аренду на 80 лет полосу отчуждения для прокладки этой дороги, с пра-



вом возведения там всех необходимых построек, вспомогательных служб и сооружений. По истечении срока аренды КВЖД переходила в собственность Китая.)

КВЖД, по сути дела, составляла один из сегментов грандиозной по протяженности железнодорожной магистрали Владивосток — Москва, к прокладке которой Россия уже приступила в ту пору. Маньчжурская ветка позволяла «спрямить» маршрут «Великого Сибирского рельсового пути», как он именовался в официальном рескрипте Александра III, более чем на 500 километров<sup>1</sup>. Это давало строителям существенный выигрыш во времени, ибо прокладку всей магистрали им предстояло завершить в 1901 году.

Таким образом, Харбин уже изначально существенно отличался от других будущих центров Русского рассеяния, таких, как Берлин, Прага, Белград, Париж, возникших стихийно в ходе революции и Гражданской войны, когда захват власти большевиками и начатый ими кровавый террор привели к массовому исходу российских граждан за пределы родной страны.

Эта диаспора в Китае оказалась одной из самых крупных, устойчивых и долговременных средоточий русской эмиграции. Она просуществовала полвека — вплоть до конца Второй мировой войны, когда советские войска вступили на территорию Маньчжурии, которая с 1931 года находилась под японской оккупацией. Захватив этот район Китая, японцы, как известно, создали там марионеточное государство Маньчжоу-Го во главе с «императором» Пу И.

...Составительница рецензируемого сборника Е. Таскина постаралась из разнородного, достаточно пестрого и неравноценного в литературном отношении материала создать нечто цельное, представив читателю как бы собирательный портрет города. Здесь и содержательный обзор богатой и многообразной театральной и музыкальной жизни Харбина, и рассказ о литературной и журналистской его среде. В частности, немалый интерес представляют заметки Ю. Крузенштерн-Петерца об иллюстрированном литературном журнале «Рубеж», просуществовавшем на чужбине с 1927 по 1945 год. «Рубеж» весьма успешно конкурировал в Русском Зарубежье с таким известным парижским еженедельником, как «Иллюстрированная Россия». Примечательно в этой связи одно из читательских писем, полученное редакцией с далекого африканского острова Занзибар. Автор письма сообщал о себе: «Я стал уже забывать родной язык, когда мне приятель прислал из Белграда несколько номеров вашего харбинского журнала. Я перечитал их уже несколько раз, и мне трудно передать вам, сколько радости доставили мне эти пять тоненьких журнальных тетрадок, напечатанных по-русски и рассказывавших мне кое-что и о том, как живут мои сородичи-эмигранты, умеющие и в изгнании служить русской культуре и русскому искусству».

Определяющим в работе составительницы над книгой явился хронологический принцип, и, думается, что тем самым было найдено оптимальное решение, отвечающее общей задаче. Читатель получает возможность как бы проследить всю историю рождения, становления, расцвета Харбина как города (где русское население в 20 — начале 30-х годов составляло несколько десятков тысяч человек) — вплоть до постепенного его угасания и утраты своей важной роли административного, культурного, научного центра эмиграции на Азиатском континенте. (Кстати, недавно телеканал НТВ передал из Харбина сообщение корреспондента своего Дальневосточного бюро Ильи Зимина. По словам журналиста, там осталось всего 14 русских: больных, одиноких стариков, которым некуда уехать из этого некогда родного, а ныне чужого им города.)

Избранный составительницей принцип организации материала позволил ей достаточно емко и выразительно представить меняющуюся панораму города, в процессе его движения во времени.

Например, в воспоминаниях известного эмигрантского писателя-дальневосточника Н. А. Байкова (1872 — 1958), озаглавленных «Мой приезд в Маньчжурию.

<sup>1</sup> Высочайший рескрипт был адресован цесаревичу Николаю, возвращавшемуся из кругосветного путешествия через Дальний Восток на родину. Именно здесь, во Владивостоке, будущий царь Николай II и заложил символический кирпич в фундамент первого станционного здания на транссибирском пути.

1902 год», запечатлены, что называется, вживе приметы только строящегося на берегу реки Сунгари Харбина. Это некая причудливая смесь сонной российской провинции с азиатской экзотикой и почти не тронутой дикой природой. «Ни пристани, ни Фудзядяна<sup>2</sup> не было и в помине. На берегу Сунгари, где теперь Полицейская улица, стояло несколько деревянных пагдаузов и складов и намечались две улицы — Китайская и Казачья, где построены были полуземлянки для размещения войск пограничной охраны. Вместо Фудзядяна стояли на берегу Сунгари четыре большие фанзы, где жили рабочие-китайцы. Вся площадь между теперешним Фудзядяном и Новгородней улицей представляла собой сплошное топкое болото, заросшее осокой и камышом, где водилось много уток, куликов и бекасов, на которых охотились весной и осенью местные охотники».

Весь претрый люд, сосредоточенный здесь, — амурские казаки, русские колонисты, прибывшие сюда из центральных районов страны на строительство Харбина и КВЖД, китайцы-землекопы, корейцы и маньчжуры — все объяснялись на своеобразном местном воляпюке — «пиджине». Он запечатлен в одном из рассказов харбинского поэта А. Несмелова. В рассказе о судьбе пропавшего без вести человека говорят русский и китаец:

«— Его, моя думай, уже живи нету.

— Почему, как? Объясни, что с ним могло случиться?..

— Его говори, моя живи теперь не хочу... Его говори, моя ходи Фудзядян, мало-мало ханжи пей и в Сунгари тописи есть».

..Следующий важный и противоречивый период в жизни «русского Харбина» 20-х годов запечатлен в автобиографических записках другой писатель-эмигрант, Вс. Н. Иванов (1888 — 1971), позже возвратившийся в Советский Союз. Он оставил яркое свидетельство о том времени, когда в зону отчуждения на КВЖД хлынули остатки разбитых большевиками белых армий, а с ними и тысячи русских беженцев, искавших хотя бы временное пристанище на «маньчжурке», как тогда называли КВЖД. И по свидетельству Вс. Н. Иванова, как правило, его находили. Автор воспоминаний пишет: «Я думаю, что Китай, принявший в пору 1920 года большую порцию, тысяч до 200 беженцев из России, представил им такие условия, о которых они могли разве что мечтать... Работали все инженеры, врачи, доктора, профессора, журналисты...»

В России, на юге, закончилась одновременно почти с Омском эпопея Добровольческой армии, Донской и Кавказских армий, генералы выехали за границу... И здесь, у нас, на Дальнем Востоке, как и всюду, гаснет интерес к слабеющей белой возне, потеряны все надежды... И в Харбине, в Китае люди тоже начинают устраиваться, кто как может, всерьез и надолго, обживают, — благо условия жизни в Китае исключительно благоприятны... Китайские власти не вмешиваются ни в какие русские дела.

При этом, отмечает мемуарист, главной темой, волновавшей тогда местную русскую печать, была проблема КВЖД. «Кому же теперь принадлежала она, кормилица всех русских в Харбине?... Строилась она на средства созданного специально для этого Русско-Китайского банка. Так с исчезновением Российской империи кто же являлся наследником КВЖД?»

Всю сложность и напряженность политико-экономической обстановки 30 — начала 40-х годов, возникшую на КВЖД и в Харбине в период японской оккупации, зримо воспроизводит в своих мемуарных заметках сама составительница Е. Таскина, донося до читателя то ощущение тревоги, подавленности и страха, которое постоянно испытывали харбинцы, когда по приказу оккупантов одна за другой закрывались русские газеты, русские высшие учебные заведения (в которых учились и китайские студенты). Именно тогда сама принадлежность КВЖД российской (в ту пору уже советской) стороне оказалась под большим вопросом. Практически СССР под сильным давлением японцев вынужден был «уступить» им дорогу буквально за гроши. Продажа КВЖД серьезно подорвала материальную основу существования многих харбинцев, служивших в этой системе. Без средств и

<sup>2</sup> Китайский пригород Харбина.

жизненной перспективы оказались сотни и тысячи семей, вынужденных либо брать советское подданство и возвращаться в СССР, где многих из них репрессировали, либо искать себе приют в других центрах Русского рассеяния — в Азии, Австралии, Америке.

Японская оккупация, продажа КВЖД — первый серьезный удар по этому анклаву русской культуры в Китае. Но названные события явились только предвестником окончательного его краха: он наступил несколько позже, на рубеже второй половины 40-х годов.

Новые серьезные испытания в жизни русских харбинцев последовали как раз тогда, когда, казалось бы, осенью 1945 года в Маньчжурию пришли *свои* — советская армия, только что разгромившая германский фашизм.

У здания советского генерального консульства в Харбине выстраивались длинные очереди эмигрантов всех возрастов, жаждавших получить паспорта для возвращения на родину. Советских солдат на улицах города встречали как освободителей, внешне представители нашего командования и консульские чиновники всячески поддерживали и поощряли патриотический порыв харбинцев. Последних заверяли, что родина ждет их возвращения, что там у них начнется вольная и спокойная жизнь. Но на деле это был показательный спектакль. Вместо условий, обещанных в щедрых посулах и заверениях, русских (уже в телячьих вагонах) отправляли в северные или отдаленные районы СССР, где они порой оказывались на положении спецпереселенцев, которым запрещалась свобода передвижения и устанавливался ряд других ограничений.

Контакты советских военнослужащих с местным русским населением решительно пресекались, виновники, нарушившие соответствующие указания, сурово наказывались. Такое настороженное, исполненное подозрительности отношение к эмигрантам нашим солдатам объясняли тем, что в этой среде много шпионов, скрытых врагов советской власти и т. п.

В рядах маньчжурской эмиграции имелись отдельные группы и объединения экстремистского толка вроде нескольких десятков юных молодчиков из «Русской фашистской партии», как громко они себя именовали (а их «фюрер» Константин Родзаевский заявлял, что «сталинизм — это как раз то самое, что мы ошибочно называли „русским фашизмом“»). Но спецвойска НКВД и СМЕРШа, производившие, как сейчас сказали бы, «зачистку» в эмигрантской среде, стригли всех харбинцев под одну гребенку, видя в каждом из них только замаскированного врага.

Так насильственно оборвалась история русского Харбина, много лет замалчивавшаяся у нас. Даже теперь — в рецензируемом сборнике — завершающий этап харбинской трагедии упомянут как бы походя, мимоходом, будто и не было всех этих драматических событий.

Значительно подробнее о разгроме этого последнего крупного скопления русских людей на китайской территории повествуется в двухтомном историко-документальном труде русского писателя-эмигранта Петра Балакшина (1898 — 1990)<sup>3</sup>. К сожалению, его книга даже не упомянута в рецензируемом сборнике.

...Некоторые завершающие главы работы П. Балакшина невольно напоминают страницы известного романа-памфлета Василия Аксенова «Остров Крым». Оказывается, как и в упомянутом романе, в любой мало-мальски значимой эмигрантской организации, как правило, имелся либо засланный туда загодя агент НКВД, либо купленный органами или завербованный ими путем шантажа осведомитель. Почти на всех бывших царских генералов и высших офицеров существовали подробнейшие досье, с их домашними адресами, по которым и забирали людей. Проколов при этом, как правило, не случалось, механизм работал отлаженно, четко.

Дочитывая сборник, невольно задаешься вопросом: а могла ли быть у этого «Русского острова», как иногда называли Харбин, иная, более удачливая судьба? Ведь уникальность подобного этнического, социального, политического феномена явно заслуживала иной участи. Не случайно все, жившие или побывавшие в этом

<sup>3</sup> Балакшин П. Финал в Китае. Возникновение, развитие и исчезновение Белой эмиграции на Дальнем Востоке. В 2-х томах. Сан-Франциско — Париж — Нью-Йорк, «Сирис», 1958 — 1959. Том 1, 374 стр. Том 2, 430 стр.

городе, отмечают как положительную особенность его многонациональную основу. Здесь рядом с русскими мирно и естественно жили и хозяева этой земли — китайцы, но кроме них — корейцы, маньчжуры, украинцы, поляки, белорусы...

Харбин был уникальным социальным и культурным образованием, имевшим оригинальную историческую перспективу. Увы, сталинскому руководству требовалось одно: оно жаждало ликвидировать любую независимую от Кремля русскую колонию, в какой бы части света она ни находилась. Поэтому советские репрессивные органы имели в Харбине одну сверхзадачу, которую они и выполняли с завидным усердием: как можно больше русских эмигрантов любыми средствами — обманом, лживыми посулами, запугиванием, шантажом — заманить в Советский Союз. Дальнейшие судьбы этих людей организаторов депортаций не интересовали. Таков был конец этой своеобразной русской диаспоры, с ее особой культурой, наукой, искусством. Казалось, все сгинуло, растаяло без следа. Но вот «русский Харбин» как бы возрождается на страницах книги, которая, будем надеяться, не последняя, рассказывающая о мире русской эмиграции XX века.

С. ЛАРИН.

**П. Е. СПИВАКОВСКИЙ. Феномен А. И. Солженицына. Новый взгляд. (К 80-летию со дня рождения). М., ИНИОН РАН, 1999, 135 стр.**

Павел Спиваковский уже известен своими публикациями о творчестве Солженицына в журнале «Литературное обозрение» (1996, № 1; 1999, № 1), а также в «Филологических науках» (1997, № 2) и других научных изданиях. В своей новой работе исследователь обращается к мировоззрению Солженицына и проблематике его прозы, размышляет о новом виде полифонии и онтологической символике, содержащихся в произведениях автора «Красного Колеса». Завершает книгу библиография изданий А. И. Солженицына и работ о нем — 534 наименования на русском и иностранных языках.

Прежде всего Спиваковский «высвобождает» писателя из своеобразного заключения, в которое поместила его критика, в свое время вынужденно сосредоточенная лишь на двух его ранних рассказах — «Один день Ивана Денисовича» и «Матрёнин двор». Отнюдь не преуменьшая этапного значения этих вещей, в центр «феномена А. И. Солженицына» исследователь выдвигает его самое масштабное и наименее изученное произведение — эпопею «Красное Колесо». Своей монографией Спиваковский активно вмешивается в полемику, которая уже не одно десятилетие ведется вокруг Солженицына в эмигрантских кругах и в России: автор вступает в диалог с работами Ж. Нива, Л. Лосева, М. Шнейерсон, Д. Штурман, В. Краснова, Вл. Новикова, И. Роднянской и многих других.

Примечателен в данном отношении первый раздел книги — «Солженицын как художник и мыслитель», где развенчиваются бытующие в науке и вузовском преподавании мифы о монархизме автора «Красного Колеса» и присущих ему попытках реставрации дореволюционного прошлого. Выясняется, что «монархизм» Солженицына ситуативен и в основе своей демократичен, ибо монархию в России вплоть до отречения Николая II поддерживало подавляющее большинство населения страны. Если для дореволюционной России самой демократичной формой правления, по Солженицыну, была монархия, то применительно к нашему времени писатель однозначно высказывается за демократию, не приемля идею восстановления российской монархии.

Обстоятельно, с опорой на художественные произведения и статьи писателя Спиваковский раскрывает адогматическую и качественно новую по сравнению с русской прозой 20-х годов солженицынскую концепцию русской революции и личности Ленина. Последний — не только человек, одержимый жаждой политической борьбы, но и богоборец, типологически близкий к сатанизму. Использование средневекового жанра видения в «ленинских» гла-

востях — не только человек, одержимый жаждой политической борьбы, но и богоборец, типологически близкий к сатанизму. Использование средневекового жанра видения в «ленинских» гла-

вах «Красного Колеса» помогает писателю показать «скрытые метафизические истоки революции».

Художественному новаторству солженицынской эпопеи посвящен четвертый раздел книги — «Новый вид полифонии („Красное Колесо“)». Отталкиваясь от бахтинской теории полифонического романа, опираясь на нарратологическую методологию, удачно дополняя ее суждениями В. В. Виноградова об «актерском лике» автора и наблюдениями Б. А. Успенского над поэтикой композиции, Спиваковский формулирует новый тип полифонии, обнаруженный им в произведениях Солженицына. Исследователь называет его полифонией перцептивных миров; или индивидуальных восприятий, так как «полифоническое столкновение происходит здесь главным образом не на идеологическом уровне, а на уровне сопоставления взаимоисключающих субъективно-индивидуальных миров персонажей, существующих в одной и той же жизненной реальности».

Как заметила Т. Г. Винокур, уже в «Одном дне Ивана Денисовича» Солженицын максимально сближает образ автора (в терминологии Спиваковского — имплицитного автора) и главного героя, описывая Шухова извне, но с его же точки зрения. Спиваковский показал, что в «Красном Колесе» точка зрения имплицитного автора неоднократно отождествляется с точками зрения многочисленных персонажей эпопеи.

Теория полифонии нового типа позволяет Спиваковскому прийти к перспективным в научном отношении обобщениям о взаимодействии в творчестве Солженицына реалистической, модернистской (влияние прозы Е. И. Замятина и М. И. Цветаевой, Д. Дос Пассоса) и постмодернистской форм типизации. Деконструкция единого образа автора, частое использование монтажного стыка, коллажа и ряда других приемов свидетельствуют о некоторой типологической близости поэтики «Красного Колеса» постмодернизму, хотя мировоззренчески постмодернизм Солженицыну глубоко чужд. Так развевается легенда о Солженицыне-«архаисте».

Глубокий и оригинальный формальный анализ отнюдь не самоцель для исследователя. Для Спиваковского это способ проникновения в онтологиче-

скую символику писателя, свидетельствующую о существовании в подлинной жизненной реальности наивысшей точки отсчета. И ею «является в художественном мире Солженицына отнюдь не автор-творец... а лишь сам Бог».

Из адогматического мировосприятия писателя, по мнению московского литературоведа, вытекает и концепция человека у Солженицына. Анализируя рассказы 90-х годов, исследователь демонстрирует отрицание писателем безрелигиозно-гуманистического (антропологического) типа сознания и утверждение «нравственного возвышения» как высшего смысла существования человека на Земле.

В книге разработаны и другие интересные литературоведческие проблемы. Это онтологическая символика, «память» о жанрах жития в «Матрёнинном дворе» и видения в «Красном Колесе», своеобразие содержания и поэтики (в частности, художественного пространства) солженицынских двучастных рассказов 90-х годов, а также знаменитое лексическое «расширение» как форма языкового новаторства писателя.

Книга Спиваковского — одно из первых российских исследований, на высоком научном уровне рассматривающих феномен Солженицына как художника и мыслителя.

Татьяна ДАВЫДОВА.

\*

**М. БУБЕР. Проблема человека. Перевод с немецкого. Киев, «Ника-Центр», «Вист-С», 1998, 132 стр.**

Не будет преувеличением сказать, что развитие антропологической мысли застыло на месте. На философском небосклоне сверхновые давно уже не вспыхивают, а познание человека стало прерогативой искусств. Заинтересованному читателю не остается ничего иного, как обратиться к мыслителям прошлого. Наиболее удачный и сжатый экскурс в историю проблемы человека совершает М. Бубер в своей работе 1942 года, вышедшей по-русски не так давно в Киеве.

Как известно, Кант поставил перед философией четыре вопроса: «1. Что я могу знать? 2. Что я должен? 3. На что я могу уповать? 4. Что такое человек?»

На первый вопрос ответ дает метафизика, на второй — мораль, на третий — религия и на четвертый — антропология.

Бубер прослеживает путь, проделанный философской антропологией от античности до наших дней. В истории человечества мыслитель выделяет эпохи «уверенности человеческого бытия в космосе» и эпохи неуверенности. Прозрения о сути и природе человека напрямую зависят от самоосознания человека в эти эпохи: «В ледяном холоде одиночества человек непреклоннейшим образом становится для себя самого вопросом, и именно потому, что вопрос немилосердно взывал к его самым сокровенным глубинам и вовлекал их в игру, он превращался для самого себя в опыт».

Греки осмысливали мир как замкнутое в себе пространство. Если у Платона человек — «гость на чужбине», то у Аристотеля человеку уже «пожаловано собственное жилище в доме мира». Поскольку человек не бездомен, то антропологическая проблема и не возникает. У Аристотеля человек постоянно говорит о себе в третьем лице (то есть осознает себя как «он», а не как «я»), будучи для самого себя лишь «случаем».

Первым, у кого человек заговорил от первого лица, стал Блаженный Августин. Единый сферический мир Аристотеля распался на «империю света и империю тьмы». Человек у Августина разделен между обеими империями и является одновременно «полем битвы и ее ценой».

В послеавгустиновской Европе для одинокой души новый космический дом строит вера. «Схемой этой картины мира является крест, продольная балка которого — конечное пространство от небес до преисподней — проходит через сердце человека, а поперечная балка символизирует конечное время от сотворения мира до конца дней, при этом его середина — смерть Христа — приходится, прикрывая и избавляя, на центральную часть пространства, на сердце бедного грешника». Но теологической системе мира Фомы Аквинского суждено будет разрушиться «из-за того, что мир проявляет себя безграничным». Человек вновь беззащитен и бездомен и в одиночестве вновь задает вопрос о себе устами Паскаля.

Паскалю отвечает Кант: «То, с чем ты встречаешься в мире и что тебя пугает, тайна его пространства и его времени, является тайной твоего собственного восприятия мира и твоего собственного существования».

Гегель — следующий, кто берется построить для человека новый дом и дать новую уверенность. Гегель возводит его во времени, которое является «высшей силой всего сущего» и которому «реальность человека является чуждой». В сфере влияния Гегеля возникает историческое учение Маркса. Но «проблемы человеческого решения как начала события и судьбы, в том числе и общественного события и судьбы, здесь не существует вообще».

Проблематика человека со всей остротой проявляется у Ницше. Он видит в человеке не «бытие для себя», а некое становление, «попытку, прощупывание, ошибку» и даже не какое-то существо, а черновую форму существа. В конечном итоге Ницше выводит формулу: «Человек есть что-то текущее и пластичное — из него можно делать то, что хочешь».

Одинокому человеку не остается более ничего другого, как стремиться к интимному общению с самим собой. На этой «ситуационной основе» строится философия Хайдеггера, в которой ставится вопрос о человеческом существовании в связи с его собственным бытием. Но «существование» Хайдеггера монологично: «можно протягивать руки навстречу... своему изображению или отражению, но не своему реальному Я».

Вторая значительная попытка XX столетия решить проблему человека принадлежит, по мнению Бубера, Шелеру. Шелер утверждает, что в наше время человек «больше не знает, что он есть, но одновременно он также знает, что он не знает». Философ размышляет о человеческом Я как «единственном месте богостановления». Но человек «болен», в нем дух отделен от «порыва». Если Хайдеггер вместо реального человека рассматривает некоего «метафизического гомункулуса», то Шелер стремится показать сущность человека по образцу философа.

Бубер отталкивается от индивидуалистической антропологии: «Фундаментальным фактом человеческого существования не является ни отдельный че-

ловек как таковой, ни общность как таковая». Такой «фундаментальный факт» — связь человека с человеком, называемая Бубером сферой «Между». (Более того, по горячему убеждению мыслителя, сама наука о человеке «должна исходить из рассмотрения предмета „человек с человеком”».) Именно в этой сфере происходят реальные события, диалог и урок. Бубер определяет сферу «Между» следующим образом: «В затемненном зале между двумя чужими друг другу слушателями, которые в одинаковой чистоте и с одинаковой интенсивностью внимают звукам Моцарта, возникает едва осязаемая и тем не ме-

нее элементарная диалогическая связь, которая исчезает, как только загораются огни». Огни загораются, и человек вновь остается один...

О том, что человек одинок изначально и что одиночество как таковое присуще только человеку, проникновенно написал Ортега-и-Гасет. Человек большую часть жизни проводит в одиночестве, в одиночестве рождается и в одиночестве умирает. И суждено ли ему вообще постичь загадку собственного существования? — вопрос, на который у Бубера нет ответа.

Мстислав КНЯЗЕВ.



# И Е Ж Р О Л О Г

## ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ ЛИХАЧЕВ

Л. Д. ОПУЛЬСКАЯ,  
доктор филологических наук,  
заведующая отделом  
русской классической литературы ИМЛИ РАН.

Незадолго до рождения Дмитрия Сергеевича Лихачева Антон Павлович Чехов отправил своему брату-художнику длинное письмо о воспитанности, ее признаках и условиях. Закончил письмо словами: «Тут нужны непрерывный дневной и ночной труд, вечное чтение, штудировка, воля... Тут дорог каждый час...» Дмитрий Сергеевич провел так всю жизнь — и когда был «ученым корректором», и когда стал прославленным академиком.

Какая-то особая, изысканная и вместе с тем очень простая интеллигентность, воспитанность, сквозившая в каждой черте, каждом слове, улыбке, жесте, прежде всего поражали и пленяли в нем. Жизнь отдавалась служению высокой науке и культуре, изучению ее, защите — словом и делом. Ибо «счастлив тот народ, который имеет великую литературу на своем языке».

Волею судьбы в годы перестройки Дмитрий Сергеевич был приближен к власти и пошел на это столь странное для кабинетного ученого сближение, чтобы получить возможность оберегать культуру. Не только своего народа. Культуру вообще.

Умение видеть находящееся далеко за горизонтом блистательно проявилось в те двадцать лет (1970 — 1990), когда Д. С. Лихачев возглавлял редколлегия «Литературных памятников» вслед за выдающимися русскими интеллигентами, академиками С. И. Вавиловым, В. П. Волгиным, Н. И. Конрадом. Слагая полномочия, согласился на роль почетного председателя, чтобы, если понадобится, не дать в обиду любимое детище.

Совсем неудивительно, что Дмитрий Сергеевич, помимо членства в Российской академии наук, стал академиком или членом-корреспондентом Академий наук Австрии, Болгарии, Венгрии, Геттингена (Германия), США, Матицы Сербской, почетным доктором университетов в Оксфорде, Эдинбурге, Бордо, Цюрихе, Будапеште, Торуни, Софии, Сиене, Праге...

Задушевной любовью всегда оставалась, конечно, русская литература, особенно древняя. Свой патриотизм Дмитрий Сергеевич доказал многими делами: книгой «Оборона древнерусских городов» (Л., 1942), создававшейся в условиях блокады; «Заметками о русском» (М., 1981); всеми исследованиями в области древнерусского искусства; председательством в правлении отечественного Фонда культуры (1986 — 1993). В кратком деловом письме, адресованном в Потаповский переулок, нашлось место для того, чтобы рассказать о прекрасном храме конца XVII века, созданном «Петрушкой Потаповым» и уничтоженном в 1936 году.

Главным при этом было убеждение: «Культура — это нравственность прежде всего». Так устанавливалась преемственная связь между стариной и литературой нового времени — например, воинскими повестями начиная с XIII века и толстовской «Войной и миром». Находились проникновенные слова для повести Валентина Распутина «Пожар» и силы для защиты квартиры Марины Цветаевой, для протеста против чрезмерной технизации и сокращения гуманитарных дисциплин в школе.

В другой области — текстологии, составляющей фундамент литературной науки, — Д. С. Лихачев выдвинул и обосновал принципы, характерные именно для отечественной филологии. Как и многие, многие другие, считаю себя его учени-



цей и теперь могу признаться в том, как была потрясена, встретив в книге «Текстология. На материале русской литературы X — XVII вв.» (М. — Л., 1962) отсылки к моей скромной статье о документальных источниках атрибуции. Но это принцип Д. С. Лихачева: не разговаривать о «молодых», а в самом деле помогать им, с уважением относясь и к малым достижениям, если только они есть. К молодежи обратил Дмитрий Сергеевич свои замечательные «Письма о добром и прекрасном».

Тихий голос, милая улыбка, какой-то детский искренний смех — и одновременно стойкость, гражданское мужество, умение терпеть, бороться и защищать. Так Дмитрий Сергеевич защитил чеховскую «Степь», издание повести в серии «Литературные памятники». «Хорошо бы нам не отказываться от наших художественных приоритетов», — писал он.

Мудрость Дмитрия Сергеевича Лихачева утешала, ободряла, давала надежду. Поразительна в этом смысле одна из последних его книг «Заметки и наблюдения. Из записных книжек разных лет» (Л., 1989). Это как бы завещание всем нам...



### Сергей АВЕРИНЦЕВ

(«Литературная газета», 1999, № 40, 6 — 12 октября).

О человеке, личность которого приобрела символическое значение, принято при конце его жизни говорить, что вместе с ним уходит эпоха. Решусь сказать несколько иначе: с Дмитрием Сергеевичем Лихачевым от нас уходит невосстановимый культурный тип. Увы, таких людей мы больше не увидим.

В нем жила память прежде всего о том, что успел застать и увидеть в самом конкретном и простом биографическом смысле. Им была прожита с сознательно зорким вниманием долгая жизнь посреди катаклизмов сменявших друг друга эпох: никогда не забуду, как в пору горбачевских реформ, когда большинство наблюдателей изнутри и извне еще продолжали исходить из постулата касательно эластичности устойчивости советского режима, он при встрече сказал мне, что узнает в том, как разительно у людей вдруг переменились лица, опыт, уже пережитый им в отрочестве, в роковом 1917 году, и потому ждет в самом близком будущем самых основательных перемен. Ну часто ли нам в те дни приходилось разговаривать с носителем живой и притом такой осознанной, такой отчетливо артикулируемой памяти о событиях, положивших более семи десятилетий тому назад начало циклу, который тогда как раз подходил к концу? В чьей еще индивидуальной памяти круг сомкнулся так осязаемо? Здесь перед нами редкий случай, когда сама по себе продолжительность жизни из простого биографического обстоятельства претворяется в особый шанс для мысли, и у нас все причины вспоминать то, что в прежние времена, не похожие на наши, принято было говорить о мудрости седин, о сокровищнице опыта... Но у меня есть чувство, что с кончиной Дмитрия Сергеевича окончился временной цикл значительно большей продолжительности, чем сроки его жизни: пришла к завершению пора ученых-славистов, скажем, буслаевского типа, и еще шире — эпоха специфических форм русского и европейского самосознания и самоощущения, по-старинному отмеренной русской близости и русской дистанции по отношению к Европе, дистанции в самой близости, но и близости в самой дистанции. (Тезис о существовании европейской субстанции Европы был в его устах не отвлеченным положением, но чем-то вроде личного самоопределения. Конечно, он-то принадлежал Европе — той Европе чуть ли не Венского конгресса, которая нынче жива разве что в красоте нескольких старцев его поколения и тоже уходит в каждом из них.) С ним окончилось время определенной умственной формации, аксиомы которой восходили еще к культуре ранних славянофилов. Перед тем как первый раз отправиться в британские края, мне случилось разговаривать с Дмитрием Сергеевичем, и он, напутствуя меня, говорил об Англии, о Шотландии. Пе-

рассказать его слова я не берусь — слишком важна интонация, важен тон, который, по известному выражению, делает музыку. Но с тех пор мне навсегда стало существенно понятнее, например, то, что писал о своих британских впечатлениях Хомяков. Два голоса поясняют друг друга. И вот что важнее всего в наше время имитаций: у него это было естественно, это была вправду его природа.

В эти дни мы все должны вспомнить с благодарностью, как он защищал ценности этой жившей в нем культурной традиции перед лицом страха и равнодушия в советские десятилетия, часто в одиночестве, «один въединенный и уединяясь», как сумел сказать в XV веке Елифангий Премудрый о св. Стефане Пермском. А мне вспоминается, с какой простотой, без лишних объяснений я всегда мог в дурную идеологическую погоду прибегать к его помощи; у меня есть причины для благодарности весьма личной.



# БИБЛИОГРАФИЯ

## КНИЖНАЯ ПОЛКА



**Белла Ахмадулина.** Друзей моих прекрасные черты. Стихотворения. М., «ЭКСМО-Пресс», 1999, 462 стр., 10 000 экз.

**Григорий Бакланов.** Собрание сочинений. В 3-х томах. Том 1. Июль 1941 года. Мертвые срама не имут. Навеки — девятнадцатилетние. М., «Русская книга», 1999, 432 стр., 3000 экз.

**Роберт Бернс.** Собрание поэтических произведений. Вступительная статья, составление, комментарии Е. Витковского. М., «Рипол Классик», 703 стр., 11 000 экз.

**Дино Буццати.** Татарская пустыня. Предисловие Х.-Л. Борхеса. Перевод с итальянского Ф. Двин. СПб., «Амфора», 1999, 302 стр., 10 000 экз.

Роман итальянского писателя Дино Буццати (1906 — 1972), известный у нас больше по фильму Валерио Дзурлини «Пустыня Тартари». Писатель, по мнению Борхеса, «возвращает роман к его древнему истоку — эпосу. Пустыня здесь — и реальность и символ. Она безгранична, и герой ожидает полчищ, бесчисленных, как песок». Книга вышла в новой издательской серии «Амфоры» «Личная библиотека Борхеса» («Год за годом наша память создает разнородную библиотеку из книг или отдельных страниц, чтение которых делало нас счастливыми и радость от которых нам было бы приятно разделить с другими... Задача серии, для которой я пишу предисловия... быть источником этого удовольствия» — Борхес).

**Бхагавадгита.** Перевод с санскрита, исследования и примечания В. С. Семенова. 2-е издание, исправленное, дополненное. М., «Восточная литература. РАН», 1999, 255 стр., 5000 экз.

**Станислав Игнаций Виткевич.** Дюбал Вахазар и другие неэвклидовы драмы. Составители А. Базилевский, С. Исаев. Перевод с польского, предисловие А. Базилевского. М., ГИТИС, «ВАХАЗАР», 1999, 360 стр., 1000 экз.

Второе в России издание пьес одного из классиков польской драматургии нашего века Станислава Игнация Виткевича (1885 — 1939); первым был сборник «Сапожники», изданный в серии «Библиотека журнала „Иностранная литература“» (М., «Известия», 1989).

**Андрей Вознесенский.** Жуткий Crisis Супер стар. Новые стихи и поэмы. 1998 — 1999 годы. Графические композиции и рисунки автора. М., «Терра», 1999, 223 стр.

**Александр Галич.** Песни. Стихи. Поэмы. Киноповесть. Пьеса. Статьи. Екатеринбург, «У-Фактория», 1999, 656 стр., 7000 экз.

**Александр Говорков, Кирилл Ковальджи, Юрий Хоменко.** Три берега. Стихи о любви. М., РИФ «РОЙ», 1999, 176 стр.

Сборник любовной лирики, проиллюстрированный графикой Павла Бунина.

**Глеб Горбовский.** Окаянная головушка. Избранные стихотворения. 1953 — 1998. СПб., «Историческая иллюстрация», 1999, 432 стр., 1000 экз.

**День поэзии. 1999.** Составитель Г. Иванов. М., «Вече», 1999, 224 стр., 5000 экз.

**Тимур Зулфикаров.** Алый цыган!.. Золотая Русь!.. Умиравший поэт!.. Прощайте!.. Поэмы. Стихотворения. Притчи. Песни. М., «Академия поэзии», «Московский писатель», 1999, 424 стр., 2000 экз.

**Франц Кафка.** Собрание сочинений. Америка. Роман. Новеллы и притчи. СПб., «Симпозиум», 1999, 752 стр.

Новое издание Кафки содержит неизвестный ранее русскому читателю полный текст «Дневников» и писем писателя.

**Клиенты Афродиты, или Вознагражденная чувствительность.** Орден куртуазных маньеристов. М., «АСТ-Пресс», 1999, 335 стр., 3000 экз.

**Кирилл Ковальджи.** Невидимый порог. Книга новых стихотворений. М., «Книжный сад», 1999, 192 стр.

«Листы рассыпаны. Мне надо их собрать. / Судьба несброшюрована. Страницы / опять от сквозняка по половицам / летят то за окно, то под кровать. / Хватаю их, боюсь, что не успею...»

**Нина Краснова.** Храм Андрея на виртуальном ветру. (Субъективные заметки). М., «Московский Парнас», 1999, 125 стр., 500 экз.

Поэт о поэте — Нина Краснова об Андрее Вознесенском.

**Евгений Лапутин.** Мои встречи с Агастесом Кьюницем. Роман. М., Творческий центр «Новая Юность», 1999, 256 стр., 3000 экз.

**Мария Варгас Льюса.** Тетушка Хулия и писака. Роман. Перевод с испанского Л. Новиковой. СПб., «Азбука», 1999, 415 стр., 10 000 экз.

**Милорад Павич.** Внутренняя сторона ветра. Роман о Геро и Леандре. Перевод с сербского Л. Савельевой. СПб., 1999, 112 стр., 10 000 экз.

**Мария Петровых.** Домолчаться до стихов. Стихотворения. М., «ЭКСМО-Пресс», 1999, 432 стр.

**Эдгар По.** Полное собрание рассказов. СПб., «Кристалл», 1999, 1088 стр., 10 000 экз.

**Ирина Полянская.** Прохождение тени. Роман, рассказы. М., «Вагриус», 1999, 446 стр., 7000 экз.

Серия «Женский почерк». Роман печатался в «Новом мире» (1997, № 1, 2).

**Борис Поплавский.** Автоматические стихи. Вступительная статья Е. Менегальдо. М., «Согласие», 1999, 228 стр.

Первая публикация одноименного цикла стихов Поплавского, над которым он работал в 1930 — 1933 годах.

**Роман о Тристане и Изольде.** Средневековый роман. Перевод с французского Ю. Стефанова. Калининград, «Янтарная сказка», 1999, 136 стр., 5000 экз.

**Ольга Славникова.** Стрекоза, увеличенная до размеров собаки. Роман. М., «Вагриус», 1999, 494 стр., 5000 экз.

Серия «Женский почерк».

**Наталья Смирнова.** Любовные истории цветов и овощей. Екатеринбург, Издательство Уральского университета, 1999, 192 стр., 500 экз.

Книга прозы молодого уральского прозаика.

**Тэффи.** Новеллы. Составитель Л. Калюжная. М., «Звонница-МГ», 1999, 352 стр.

**Людмила Улицкая.** Веселые похороны. Повесть, рассказы. М., «Вагриус», 1999, 334 стр., 7000 экз.

Повесть «Веселые похороны» печаталась в «Новом мире» (1998, № 7).



**Монахиня Амфросия (Оберучева).** История одной старушки. М., Издательская группа Свято-Троице-Серафимо-Дивеевского женского монастыря, Храм святых безсеребрянников и чудотворцев Космы и Дамиана на Маросейке, 1999, 412 стр.

Воспоминания монахини Амвросии, в миру Александры Дмитриевны Оберучевой (1870 — 1943).

**Нина Берберова.** Александр Блок и его время. Перевод с французского А. Курс, А. Райской. М., Издательство «Независимая газета», 1999, 256 стр.

**Андре Бретон.** Антология черного юмора. Перевод с французского Сергея Дубина. М., «Carte Blanche», 1999, 544 стр., 2500 экз.

**В. И. Вернадский.** Дневники. Март 1921 — август 1925. Ответственный редактор В. П. Волков. 2-е издание. М., «Наука», 214 стр., 500 экз.

**Я. Друскин.** Дневники. Составление, подготовка текста, примечания Л. С. Друскиной. СПб., «Академический проект», 1999, 605 стр., 2000 экз.

**А. Д. Галахов.** Записки человека. Вступительная статья, составление, подготовка текста и комментарии В. М. Боковой. М., «Новое литературное обозрение», 1999, 448 стр.

Первое полное издание мемуаров литератора из круга авторов «Отечественных записок» 40 — 50-х годов, московского жителя, в кругу своих добрых знакомых имевшего Гоголя, Белинского, Погодина, Каткова, Тургенева, Григорьева и других; автора известнейшего учебника и хрестоматии по русской литературе, по которым учились в гимназиях во второй половине XIX — начале XX столетия, Алексея Дмитриевича Галахова (1807 — 1892).

**Аполлон Григорьев.** Письма. Издание подготовили Р. Виттакер, Б. Ф. Егоров. М., «Наука», 1999, 473 стр. 1150 экз.

**И. А. Ильин.** Собрание сочинений. Дневник. Письма. Документы (1903 — 1938). М., «Русская книга», 1999, 606 стр., 4000 экз.

**В. В. Зеньковский.** История русской философии. В 2-х томах. М., «АСТ», Ростов-на-Дону, «Феникс», 1999, 10 000 экз. Том 1 — 544 стр. Том 2 — 540 стр.

**Илья Кабаков, Борис Гройс.** Диалоги (1990 — 1994). М., «Ad marginem», 1999, 192 стр., 1000 экз.

**Геннадий Красухин.** Доверимся Пушкину. Анализ пушкинской поэзии, прозы и драматургии. М., «Флинта», «Наука», 1999, 396 стр., 3000 экз.

**Ирма Кудрова.** Гибель Марины Цветаевой. М., Издательство «Независимая газета», 1999, 319 стр., 5000 экз.

**Ж. Лакан.** Семинары. Книга 2. «Я» в теории Фрейда и в технике психоанализа (1954/1955). В редакции Ж.-А. Миллера. М., «Гнозис», «Логос», 1999, 519 стр., 5000 экз.

**Жан-Люк Нанси.** Corpus. Перевод с французского Е. Петровской и Е. Гальцевой. М., «Ad marginem», 1999, 256 стр.

Трактат современного французского философа о «мышлении тела».

**А. М. Песков.** Павел I. М., «Молодая гвардия», 1999, 422 стр., 5000 экз. (В серии «Жизнь замечательных людей»).

**Марко Поло.** Книга о разнообразии мира. Предисловие Х.-Л. Борхеса. Перевод со старофранцузского И. Минаева. СПб., «Амфора», 1999, 381 стр., 10 000 экз. (Издательская серия «Личная библиотека Борхеса» — см. аннотацию к Дино Буццати.)

**Карлос Рохас.** Мифический и магический мир Пикассо. Перевод с испанского Н. Матяш. М., «Республика», 1999, 10 000 экз.

**Славянская мифология.** Справочник. Автор-составитель В. С. Капица. М., «Мегатрон», 1999, 259 стр., 5000 экз.

**А. С. Суворин.** Дневник Алексея Сергеевича Суворина. Текстологическая расшифровка Н. А. Роскиной. Подготовка текста Д. Рейффилда, О. Е. Макаровой. М., Издательство «Независимая газета», 1999, 667 стр.

**М. Тарковская.** Осколки зеркала. М., «Дедалус», 1999, 285 стр., 5000 экз.

Воспоминания дочери выдающегося поэта о семье Тарковских.

**А. М. Смелянский.** Предлагаемые обстоятельства. Из жизни русского театра второй половины XX века. М., «Артист. Режиссер. Театр», 1999, 351 стр., 3000 экз.

**Сюрреализм и авангард.** Материалы российско-французского коллоквиума. М., ГИТИС, 1999, 190 стр., 1000 экз.

**Ю. А. Шрейдер.** Ценности, которые мы выбираем. Смысл и предпосылки ценностного выбора. М., «Эдиториал УРСС», 1999, 206 стр., 2000 экз.



**Достоевский и мировая культура.** Альманах. № 12. Редактор-составитель К. А. Степанян. М., «Раритет-Классика плюс», 1999, 271 стр., 1000 экз.

Научное издание, созданное в 1993 году как орган российского Общества Достоевского и предназначенное для публикации наиболее интересных и значительных иссле-

дований российских и зарубежных специалистов по Достоевскому, а также философских и публицистических эссе, архивных материалов, рецензий на новые книги о творчестве Достоевского, фильмы и спектакли, созданные по его произведениям. В редакционный совет альманаха входят К. Ашимбаева, В. Богданова, И. Волгин, В. Захаров, Т. Касаткина, Л. Сараскина, К. Степанян (главный редактор), Б. Тихомиров, В. Туниманов, Г. Щенников.

Двенадцатый выпуск альманаха составлен на основе материалов X симпозиума Международного общества Достоевского, проходившего с 26 июля по 1 августа 1998 года в Нью-Йорке, и включает в себя новые работы литературоведов Слободанки Владив-Гловер (Австралия), «Сакральное в „Братьях Карамазовых” — вероисповедание или феноменология сознания?»; Тоёфуса Киносита (Япония), «Ирония судьбы или ирония романтическая? По поводу трагедии рассказа „Кроткая”»; Татьяны Касаткиной (Москва), «Прототип словесных икон в романах Достоевского»; Ольги Меерсон (США), «Библейские интертексты у Достоевского. Кошунство или богословие любви?»; Карена Степаняна (Москва), «„Мы на земле существа переходные...”, „Реализм в высшем смысле” в романах „Бесы” и „Идиот”»; Елены Новиковой (Томск), «Соня и софийность. (Роман Достоевского „Преступление и наказание”»); Романа Кацмана (Израиль), «Преступление и наказание: лицом к лицу» и другие работы. Здесь же помещен доклад нейрофизиолога Николая Богданова, предложившего новый взгляд на взаимосвязи художественного творчества и эпилепсии.

В разделе «Публикации» В. Н. Абросимова представляет переписку А. Г. Достоевской с детьми в 1917 — 1918 годах: «А. Г. Достоевская: последний год жизни в воспоминаниях и письмах. Часть I». Завершают выпуск альманаха рефераты работ «Раскольники в поисках души» Л. Донер (США) и «Национальные боги и Бог Израиля» Мартина Бубера, выполненные И. Роднянской.

Составитель Сергей Костырко.

**«НОВЫЙ МИР» РЕКОМЕНДУЕТ:**

**Я. Друскин. Дневники.**

**Станислав Виткевич. Дюбал Вахазар и другие неевклидовы драмы.**

**ПЕРИОДИКА**



*«Ариэль», «Вопросы литературы», «Время МН», «День литературы», «Дружба народов», «Ex libris НГ», «Завтра», «Известия», «Иностранная литература», «Книжное обозрение», «Коммерсантъ-Власть», «Континент», «Контрапункт», «Лебедь», «Литературная Россия», «Митин журнал», «Москва», «Московские новости», «Наш современник», «Нева», «Независимая газета», «Неприкосновенный запас», «Новая Юность», «Новое литературное обозрение», «Новый Журнал», «Общая газета», «Огонек», «Октябрь», «Особая папка НГ», «Православная беседа», «Современная русская литература с Вячеславом Курицыным», «Урал»*

**Вуди Аллен.** Сводя счеты. Рассказы. Предисловие и перевод с английского Сергея Ильина. — «Новая Юность», № 35 (1999, № 2).

*Он снял мои любимые фильмы — «Энни Холл» и «Манхэттен». «Небольшая книжечка „Сводя счеты” (Woody Allen. Getting even. NY, 1971), из которой взяты публикуемые ниже произведения, представляет собой сборник пародий... Здесь осмеиваются жанры — мемуары, детективы, аналитические статьи, эзотерические антологии, телефесы и все, что угодно», — объясняет переводчик.*

**Марк Альтшуллер.** Материалы о Марине Цветаевой в архиве Е. И. Альтшуллер-Еленевой (1897 — 1982). — «Новый Журнал», Нью-Йорк, № 215 (1999). Электронная версия: <http://www.lebed.com>

В частности, два очень важных письма 1952 года от Веры Набоковой к Екатерине Еленевой. «Муж поручил мне поблагодарить Вас за ваше любезное письмо, а также передать Вам, что он высоко ценит Цветаеву как писательницу и поэтессу.

Несмотря на это он в настоящее время не расположен о ней что-либо писать. Вам не может не быть известно, что Цветаева имела, несомненно, отношение к советскому шпионажу, а может быть, даже и к похищению Кутепова» (из письма от 23 ноября 1952 года). «Для нас нет никакого сомнения, что Цветаева была умной женщиной. К тому же как художник не могла не быть сугубо чуткой. Жила с мужем вместе, часто в большой тесноте. Неужели Вы допускаете, что за долгие годы, когда все мысли Эфрона должны были быть заняты одним (такие преступления ведь не совершаются „между прочим“), Цветаева бок о бок с ним ничего не знала о его деятельности? Что ж, многие „наци“ уверяют, что ничего не знали о лагерях, а Плевацкая пыталась сделать вид, что ничего не знала о деятельности своего мужа Скоблина (по глупости она сама себя выдала; Цветаева была умнее, конечно)» (из письма от 12 декабря 1952 года). Предисловие к сборнику прозы Цветаевой (Нью-Йорк, 1953) вместо Набокова написал Федор Степун.

**Лев Аннинский.** Заговаривающий бездну. — «Литературная Россия», 1999, № 32, 20 августа.

О песнях Михаила Щербакова. Из цикла «Барды». О создателях знаменитой песни «Я был батальонный разведчик...» см. в статье Л. Аннинского «Удар костылем» («Литературная Россия», 1999, № 26, 9 июля).

**Андрей Балдин.** Притяжение большого меридиана. — «Особая папка НГ». Специальное приложение к «Независимой газете». 1999, № 3, август.

Архитектор, художник, писатель Андрей Балдин — о том, что «ось мира проходит через Константинополь». Весь этот выпуск «Особой папки НГ» посвящен *кризису идентичности* Восточной Европы: *он вызван югославской войной и сделал актуальным византийское наследие*. В выпуске напечатаны интересные материалы Рустама Рахматуллина, Дмитрия Замятина, Владимира Ешкилева, Ильи Бражникова и других.

**Валерий Барзас.** Многоэтажная Ахматова. — «Нева», Санкт-Петербург, 1999, № 7.

Начитался мемуаров: «...условно говоря, я представляю Анну Андреевну Ахматову — состоящей из множества отдельных, но не замкнутых друг от друга „Ахматовых“ — по духовному росту: от нижайшей к высочайшей...»

**Владимир Березин.** Самоучки и посредники. — «Ex libris НГ», 1999, № 30 (102), август.

Одна из *многочисленных* рецензий на роман Антона Уткина «Самоучки» («Новый мир», 1998, № 12; М., «Грантъ», 1999). См. также рецензии Лизы Новиковой «Два века ссорить не хочу» («Дружба народов», 1999, № 7) и Ольги Славниковой «Жить не получается» («Урал», 1999, № 7).

**Владимир Бондаренко.** Ахмадулина в возрасте Ахматовой... — «День литературы», 1999, № 8 (26), август.

Критик обнаружил у Ахмадулиной *народнические, некрасовские* мотивы.

**Евгений Верещагин.** Хотя и скрытая, но все же полная и счастливая жизнь! Из воспоминаний о проф. А. Ч. Козаржевском и о доперестроечной церковной жизни в Москве. — «Континент», № 99 (1999, № 1). Электронная версия: <http://www.members.home.net/continent>

Из жизни советских *криптохристиан*.

«*Всех этих слов на русском нет...*». — «Иностранная литература», 1999, № 7. Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/inostran>

Сергей Гандлевский, Ирина Волевич, Виктор Голышев и Григорий Дашевский размышляют о проблемах *перевода* ненормативной лексики.

**Владимир Гандельсман.** Сталинская «Ода» Мандельштама. — «Новый Журнал», Нью-Йорк, № 215 (1999).

«Ода» в свете известной работы М. Гаспарова «О. Мандельштам. Гражданская лирика 1937 года» (М., РГГУ, 1996). См. также заметки В. Гандельсмана «Подтверждающий эпитет» («Октябрь», 1999, № 8) — фрагмент неопубликованной книги «Чередования».

**Владимир Глоцер.** Не выплеснуть бы с водой ребенка. — «Книжное обозрение», 1999, № 30, 26 июля.

Критические заметки о детском книгоиздании. Запоминается приведенное автором *bon mot* Маршака: «Литература без критики — это улица без фонарей, — на ней возможен любой разбой».

**Константин Гордеев.** Православные в Интернете: форпост веры или заигрывание с Велиаром? — «Православная беседа», 1999, № 3.

Автор статьи уверен, что, вступая во взаимодействие со сложными самоорганизующимися системами, к каковым он относит Глобальные Информационные Сети и отчасти персональные компьютеры, человек оказывается лицом к лицу с иной, *нечеловеческой формой жизни*, бытие которой все больше выходит из-под его контроля, причем «источником энергии (то есть фактически *пищей!*), поддерживающей существование и развитие этих систем, является человеческое сознание, а в конечном итоге и душа». Электронную версию этой статьи см. на сайте «Библиотека православного христианина»: <http://www.wco.ru/biblio>

**Нина Горлаинова, Вячеслав Букур.** Капсула. Повесть. — «Урал», Екатеринбург, 1999, № 4. Электронная версия: <http://www.art.uralinfo.ru/literat/Ural>

*Всё Пермь да Пермь. Знать, еще не вся.* См. короткий рассказ тех же авторов «Постсоветский детектив» («Новый мир», 1999, № 10).

**Ана Мария Дали.** Сальвадор Дали глазами сестры. Предисловие и перевод с испанского Натальи Малиновской. — «Дружба народов», 1999, № 8, 9. Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/druzhba>

«Когда я писала книгу „Сальвадор Дали глазами сестры“, мне хотелось, чтобы читатель почувствовал атмосферу нашего дома, в котором мой брат провел первые двадцать шесть лет своей жизни. То, что он сам написал об этом в „Тайной жизни“, предельно далеко от реальности...»

**Н. Н. Денисов.** Екатерина III. — «Урал», Екатеринбург, 1999, № 1.

В России снова монархия. Государыня. Царевубийца.

**Джеймс Джойс.** Из Финнеганова Уэйка. Изоклал российской азбукой Анри Волохонский. — «Митин журнал». Главный редактор Дмитрий Волчек. Санкт-Петербург, № 58 (1999). Электронная версия: <http://www.vavilon.ru/metatext/mitin.html>

Начало см. в № 53 — 57 «Митинового журнала», рекламным слоганом которого можно было бы взять фразу одного из его авторов — Дмитрия Подковырина: «Гомосексуализм — это праздник, который всегда с тобой». См. в № 58 полный указатель содержания «Митинового журнала» за 1985 — 1999 годы.

**Дон-Аминадо.** Афоризмы. Предисловие Анатолия Иванова. — «Новый Журнал», Нью-Йорк, № 215 (1999).

Оказывается, знаменитую фразу, что *лучше быть богатым, но здоровым, чем бедным и больным*, придумал в 30-е годы Дон-Аминадо (Аминад Петрович Шполянский).

**Юрий Дружников.** «Исчезли юные забавы». Полемика вокруг одного стихотворения. — «Новый Журнал», Нью-Йорк, № 215 (1999).

О пушкинском послании «К Чаадаеву». При военной диктатуре декабристов Пушкину досталась бы роль... Маяковского.

В статье Евгении Щегловой «Мифология обывателя, или Евгений Онегин — терминатор» («Нева», 1999, № 7) утверждается, что Юрий Дружников в своей книге «Русские мифы» (СПб., 1998) сам эти «мифы» выдумывает и сам «разоблачает».

**Евгений Евтушенко.** Последний идеалист. — «Общая газета», 1999, № 32, 12 — 18 августа. Электронная версия: <http://www.og.ru>

Лев Копелев и Генрих Бёльб. Копелев и Солженицын. Евтушенко и Копелев.

**Галина Ермакова.** «Позвольте мне остаться у вашего огня». — «Дружба народов», 1999, № 8, 9.

Исповедь учителя. См. также скорбные размышления Анатолия Шикмана «Прощай, профессия» («Неприкосновенный запас», 1999, № 4).

**Никита Заболоцкий.** «Природы очистительная сила». Социально-этические элементы натурфилософской поэзии Заболоцкого. — «Вопросы литературы», 1999, № 4, июль — август. Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/voplit>

О том, как современная Заболоцкому советская действительность отразилась в его натурфилософских стихах.



**Михаил Золотоносов.** До встречи в Гефсиманском саду. — «Московские новости», 1999, № 30, 10 — 16 августа. Электронная версия: <http://www.mn.ru>

Критические заметки о текущей прозе. На примере журналов «Новый мир» и «Знамя» (поскольку «все лучшее все равно оседает там, на другие журналы или не хватает прозы, или в них публикуются те же авторы, что и в двух журналах-лидерах»). О том, что отсутствие сюжета делает прозу невозможной, «проза — это не некие *слова о мыслях*». И проблему питерский критик видит в том, что мастерства нынче не хватает именно на сюжет и на создание литературного *образа мира*. Заслуживает внимания его наблюдение, что внутри нынешней корпорации пишущих нет *ни одного* — кроме Пушкина — общепризнанного имени, которое вызывало бы позитивную оценку во *всех* тусовках.

**Михаил Золотоносов.** Уязвленная душа. — «Московские новости», 1999, № 33, 30 августа — 6 сентября.

К 100-летию Андрея Платонова. «Именно радищевский фон (250-летие Радищева и платоновский замысел „Путешествия по маршруту Радищева“». — *А. В.*) позволяет верно понять природу **феномена Платонова**: это реликт просветительского классицизма внутри культуры „социалистического реализма“. Платонов, по мнению критика, разделил судьбу Радищева, стал *автором для филологов* — «наилучшая судьба для подлинно великого русского писателя. Никакая власть не захочет употребить в своих целях».

**Андрей Зорин.** Как я был председателем. — «Неприкосновенный запас». Очерки нравов культурного сообщества. Критико-эссеистическое приложение к журналу «Новое литературное обозрение». 1999, № 4 (6). Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/nz>

Букеровская закулиса 1998 года.

**Леонид Зорин.** «Я выбрал профессию для чудаков». Беседу вел Алексей Филиппов. — «Известия», 1999, № 147, 11 августа. Электронная версия: <http://www.izvestia.ru>

«Наверное, Ермолова была отличной актрисой — и все же я подозреваю, что она отчаянно завывала и ломала руки. Когда я читаю ее письма („чудные мгновения“, умноженные на „дивные восторги“), мои подозрения усиливаются. Ульянов, Неелова, Андреев, на мой взгляд, ничуть не ниже любого из своих великих предшественников».

**В. Л. Каганский.** Экологический кризис: феномен и миф культуры. — «Неприкосновенный запас». Очерки нравов культурного сообщества. 1999, № 4 (6).

Миф *чистой природы* — агрессивный и всеобъемлющий.

**Михаил Козаков.** Нью-Йорк, Нью-Йорк... — «Огонек». Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. 1999, № 22, 26 июля. Электронная версия: <http://www.gopnet.ru/ogonyok>

Гастроли в Америке. Образы города. Рубрика «Русский путешественник».

**Леонид Карасев.** Масло на Патриарших, или Что нового можно вычитать из знаменитого романа Булгакова. — «Ex libris НГ», 1999, № 30 (102), август.

Что общего между Аннушкиным *маслом* и *кремом* Маргариты? Отрывок из книги «Вещество литературы».

**Наталья Кольцова.** Роман Евгения Замятина «Мы» и «петербургский текст» русской литературы. — «Вопросы литературы», 1999, № 4, июль — август.

О том, как «Медный всадник», «Записки сумасшедшего», «Преступление и наказание» и «Петербург» проявились в известной замятинской антиутопии.

**Николай Коляда.** Dreisiebenas (Тройкасемеркатуз), или Пиковая дама. Драматическая фантазия на темы повести Александра Сергеевича Пушкина. Немецкие тексты — Alexander Kahl. — «Урал», Екатеринбург, 1999, № 6.

«ПЕРВЫЙ ИГРОК. ...Как его звали?

ТОМСКИЙ. Кого?

ПЕРВЫЙ ИГРОК. Этого Гегманна?

ТОМСКИЙ. Не знаю.

ПЕРВЫЙ ИГРОК. Ну, имя, имя же у него было? Владимиг, или Николай, или Александр? Или хотя бы Фигитц, или Петег, или Пауль, или еще как?

ТОМСКИЙ. Кто ж его знает...»

**Михаил Копелиович.** Групповой портрет с Окуджавой. — «Континент», № 99 (1999, № 1).

Посвящения друзьям в поэзии Окуджавы. Ко второй годовщине со дня смерти поэта.

**Наум Коржавин.** Дети идеократии — при идее и после. — «Континент», № 99 (1999, № 1).

Сравнительный анализ двух мемуарных книг — о советских разведчиках. Одна принадлежит Элизабет Порецки, вдове взбунтовавшегося против Сталина и убитого за это Игнаса Рейсса («Тайный агент Дзержинского», М., 1996), другая — его более благополучному коллеге П. А. Судоплатову («Разведка и Кремль», М., 1996). Коммунистическая идейность и коммунистическая безыдейность (обе хуже).

**Михаил Кралин.** Лидесса. — «Вопросы литературы», 1999, № 4, июль — август. Лидия Чуковская.

**Максим Кронгауз.** Сочинение на тему сочинения. — «Неприкосновенный запас». Очерки нравов культурного сообщества. 1999, № 4 (6).

Аргумент в пользу сочинения как вступительного экзамена в вуз один: оно позволяет судить о грамотности, способности мыслить и знании литературного источника. Аргументов «против» значительно больше. Самый простой: сочинение не позволяет судить о грамотности, способности мыслить и знании литературного источника.

**Вячеслав Курицын.** Работа над цитатами, посвященная роману Виктора Пелевина «Generation 'P'». — «Неприкосновенный запас». Очерки нравов культурного сообщества. 1999, № 4 (6).

«Поразительно, но очень немногие из рецензировавших роман обращают внимание на то, что это жестокая и вполне трагическая книга». Полемика с А. Немзером. См. о романе статью Ирины Роднянской «Этот мир придуман не нами» («Новый мир», 1999, № 8).

**Александр Левинтов.** Паханы и пацаны (не по Тургеневу). — «Лебедь». Бостонский независимый альманах. 1999, № 131. Электронная версия: <http://www.lebed.com>

О языковых мутациях, кризисных состояниях русского языка в XX веке. Позволю себе большую цитату: «Начиная с лета 1941 года в Германию хлынул огромный поток советских военнопленных... Немецкие хозяйки в ожидании гибнущих на фронтах мужей пользовались услугами этих военнопленных достаточно интенсивно. К концу войны сформировались не только семьи, но целые улицы, кварталы и поселения, где мужчины разговаривали между собой на одном языке, женщины — на другом, а между собой — по преимуществу с помощью детей. В сознании детей сложился устойчивый стереотип о русском (русском), женском (немецком) и детском (русском и немецком) языках. Дети видели, что только они в состоянии владеть языком в полном объеме, а затем, по мере взросления (думалось им), один из языков теряется по половому признаку. При этом мера доверия к каждому из родителей определялась по мере вхождения в язык этого родителя... К сожалению, этот феномен был растворен: часть семей просто распалась, часть метнулась от советского „освобождения“ в разные концы света, часть полностью рассосалась в Германии. Я встречал этих бывших детей — людей с уникальными лингвистическими способностями и явными сексуальными искажениями в психике».

**Серго Ломинадзе.** Страницы детства. — «Дружба народов», 1999, № 8, 9. Советские 30-е.

**Энн Лоунсберн.** «Кровно связанный с расой». Пушкин в афро-американском контексте. — «Новое литературное обозрение», № 37 (1999). Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/nlo>

«В течение года я проводила опрос среди водителей нью-йоркского такси. Я говорила, что пишу о русском поэте Александре Пушкине, и спрашивала, известно ли им его имя. Оказалось, что белые водители никогда не слышали о таком авторе, а практически все черные слышали. Они знают, что Пушкин был негр».

**Юрий Малецкий.** Проза поэта. Роман-завязка? — «Континент», № 99 (1999, № 1).

Наши за границей. «Вечерами в окно светила жирная баварская луна...» Криминальный поворот сюжета. Много разговоров и размышлений. «Завязка», видимо, предполагает развязку в будущем сочинении. См. предыдущие романы Ю. Малецкого в «Континенте»: «Убежище» (№ 81) и «Любью» (№ 88). Автор с 1998 года живет в немецком городе Аугсбурге.

О наших в Германии см. также — Ольга Бешенковская, «Viehwasen. 22. Дневник сердитого эмигранта» («Октябрь», 1998, № 7).

**Джамия Мамедова.** Чужие здесь ходят. — «Ex libris НГ», 1999, № 32 (104), август. О *толстяках, шпионах и иностранцах* в детской советской литературе.

**Жорес Медведев.** Секретный наследник Сталина. — «Урал», Екатеринбург, 1999, № 7.

Сталин. Маленков. Суслов.

**Рой Медведев.** «Самое важное сейчас, как уйдет Ельцин». Беседу вел Борис Евсеев. — «Книжное обозрение», 1999, № 33, 16 августа.

Среди прочего: «Шолохов умер, а архива Шолохова нет!.. На моем веку умирали Симонов, Твардовский, я с ними был дружен. Колоссальное количество неопубликованных и неоконченных рукописей оставалось. То есть всегда остается литературный архив. А здесь его нет. И это, конечно, загадка».

**Павел Морозов.** Дети Тьмы выходят на свет. — «Время МН», 1999, № 147, 16 августа.

Сатанинские секты в России не только существуют, но и множатся.

**Александр Неклесса.** Творческий континент Россия. — «Москва», 1999, № 8.

Заместитель директора Национального института развития Отделения экономики РАН — о России реальной и *потенциальной*. Среди прочего: сырьевые ресурсы страны не только не безграничны, но в значительной степени (кроме газа) уже исчерпаны. См. также его статьи «Мир на краю истории, или Глобализация-2» («Москва», 1999, № 4) и «Пакс экономикана, или Эпилог истории. Размышления у дверей третьего тысячелетия» («Новый мир», 1999, № 9).

**И. Нетбай.** Кто такой Печорин? Что такое Печорин? — «Вопросы литературы», 1999, № 4, июль — август.

Печорин есть *пародия*.

**Новый русский букварь.** — «Современная русская литература с Вячеславом Курицыным». Адрес в Сети: <http://www.guelnan.ru/slava/texts/bukvar.htm>

Оригинальный «Новый русский букварь», созданный филологом Катей Метелицей и художником Викторией Фоминой (М., 1998) выставлен в Сети. Без картинок. «У ВОДАНА ВОДИЛА, У ВОДИЛЫ ВОЛЫНА».

**Евгений Носов.** Алюминиевое солнце. Рассказ. — «Москва», 1999, № 7. Электронная версия: <http://www.moskva.cdru.com>

Новый рассказ известного курского прозаика. См. его рассказ «Темная вода» в «Новом мире» (1993, № 8).

**Олег Павлов.** Почему плакала девочка? — «Москва», 1999, № 7.

В июльских номерах *трех* толстых литературных журналов («Дружба народов», «Москва», «Октябрь») Олег Павлов напечатал *три* разные, но равно одобрительные рецензии на книгу рассказов Александра Яковлева «Пешком из-под стола» (М., 1998). Видимо, книга того стоит.

**Письма В. В. Набокова П. А. Перцову.** Публикация, предисловие и примечания Максима Д. Шраера. — «Контрапункт». Ежемесячный литературный журнал. Главный редактор Михаил Володин. 3000 экз. Бостон, 1999, № 4. Электронная версия: <http://www.k-punkt.com>

Одиннадцать писем к Петру А. Перцову (Peter A. Pertzoff, 1908 — 1967) — американскому переводчику рассказов Набокова.

**Ирина Поволоцкая.** «Мы живем на заре человечества». Беседу вела Мария Пупшева. — «Книжное обозрение», 1999, № 32, 9 августа.

«Я люблю придумывать... Настоящая литература — это вымысел, даже если это литература „конца века“, о которой так модно говорить», — замечает автор «Разновразия» («Новый мир», 1997, № 11).

**Владимир Покровский.** Туринская реликвия может быть подлинной. — «Общая газета», 1999, № 32, 12 — 18 августа.

Ученый-ботаник Авиноам Данин из Иерусалимского университета, изучив изображения растений на Плащанице и найденную на ней пыльцу растений, пришел к выводу о полной несостоятельности распространенной версии о европейском средневековом происхождении Туринской святыни. См. также — Андрей Ваганов, «Геоботаника и христианство» («Независимая газета», 1999, № 148, 13 августа), Александр Марголин, «Споры о плащанице Христа не утихают» («Известия», № 150, 14 августа).

**Михаил Пришвин.** Дневник 1923 года. Публикация и примечания Я. Гришиной. Вступление Я. Гришиной и Н. Полтавцевой. — «Октябрь», 1999, № 8. Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/October>

«При сборах в Москву (вчера был новый Петров день, 29 июня): раньше я всегда чувствовал в литературе кого-то над собой, как небо, теперь небо упало, разбилось на

куски, и каждый кусок объявил себя небом, каждый работает теперь в размере своего обломка, и над собой нет общего неба. Раньше, очень давно, мне казалось, что если все мои родные, милые люди умрут, то для кого я буду писать, когда они умерли? Я стал писать еще лучше и больше. Может быть, и теперь так: без неба писаться будет лучше?..»

**Олег Проскурин.** Постмодернистская война и кризис репрезентации. — «Неприкосновенный запас». Очерки нравов культурного сообщества. 1999, № 4 (6).

«„Либерально-демократические ценности” оказались скомпрометированы натовскими бомбардировками почти так же, как были в свое время скомпрометированы идеалы Просвещения якобинским террором...» Автора интересует в данном случае *восприимчивость войны, бытие войны не на полях балканских сражений, а в «дискурсивной практике»*, потому что, на его взгляд, сама возможность этой войны была обусловлена «не столько роковым стечением исторических обстоятельств, не столько злой волей Милошевича или Клинтона, сколько шаблонами мышления (если это можно назвать мышлением) эпохи, которую принято любовно называть „постмодернистской”...»

**Александр Пятигорский.** «Литература и миф». Беседа Григория Бондаренко с известным философом, профессором Лондонского университета. — «День литературы», 1999, № 8 (26), август.

Вопрос: «Как автор исследования о масонах („Who is afraid of Freemasons?” — *A. B.*), что Вы можете сказать о наличии или отсутствии иронии в масонском мифе?» — Ответ: «Я понимаю, что только мифологический подход к масонству чрезвычайно односторонен, но мое общение с масонами, прежде всего с учеными-масонами (я говорю про современных масонов), свидетельствует о том, что если у них чего и не хватает, так это иронии и самоиронии. Это очень серьезные джентльмены, которые осознают ответственность и важность миссии мифологического продолжения этого нелепейшего из религиозных феноменов. В этой нелепости я вижу нечто очень важное, потому что нелепо, нелепо, а они тянут эту квазибиблейскую мифологию за собой...»

**Айяла Раз.** Мода в Эрец-Израэль. Что носили в начале века. Перевел Вульф Плоткин. — «Ариэль». Ежеквартальный журнал израильской культуры. Редактор Ашер Вайль. Редактор русского издания Софья Тартаковская. Иерусалим, № 30-31 (1999). Электронная версия: <http://www.israel-mfa.gov.il>

Отрывок из книги А. Раз «Смена костюмов: сто лет моды в Эрец-Израэль» (1996). С иллюстрациями. Сдвоенный номер журнала «Ариэль» посвящен 50-летию Государства Израиль.

**Марина Райкина.** Москва закулисная. — «Октябрь», 1999, № 8.

Жизнь театральная. Поцелуй на сцене. Новогодние елки. Как играют спектакли тридцать первого декабря и первого января. Полностью книга выходит в издательстве «Вагриус».

**Андрей Ранчин.** О диагнозах и рецептах, или Как нам толковать Солженицына. — «Неприкосновенный запас». Очерки нравов культурного сообщества. 1999, № 4 (6).

Уважительная полемика с Андреем Зориным («Врач или боль?» — «Неприкосновенный запас», 1999, № 1) о либерализме/нелиберализме Солженицына.

**Мария Ремизова.** Необходимая связь. — «Независимая газета», 1999, № 146, 11 августа. Электронная версия: <http://www.ng.ru>

Беседа с лауреатом премии Антибукер-98 прозаиком Андреем Волосом. Премированное — в виде рукописи — произведение «Хуррабад» так и не вышло отдельным изданием (фрагменты печатались в «Новом мире» и «Знамени»). Автор родился и вырос в Душанбе. «Да, для меня та жизнь рухнула. Но в этом нет трагедии. Это просто жизненная драма. Не случись эта, была бы другая. Трагедия в том, что множество людей погибло или пережило ужасные несчастья и страдания. Стало уже расхожим присловьем: погиб не герой, погиб хор».

**Мария Розанова.** Маяковский и Ленин. — «День литературы», 1999, № 8 (26), август.

«У Маяковского было три любви: Лиля, революция и Ленин, и все три любви были безответны: Лиля изменяла с кем попало, революция — с бюрократией, а Ленин — с Надсоном...» Доклад, прочитанный на конференции «Маяковский и XX век» (Париж, Сорбонна, 1993).

**Ольга Седакова.** «Там тебе разрешается просто быть...». Беседу вела И. Кузнецова. — «Вопросы литературы», 1999, № 4, июль — август.

Аверинцев. Мамардашвили. Иоанн Павел II.

**Михаил Синельников.** Заговор неудачников. Субъективные заметки о субъективной антологии. — «Книжное обозрение», 1999, № 33, 16 августа.

*С искренним пристрастием* — об антологии русской поэзии XX века под общей редакцией В. Кострова и Г. Красникова (М., «ОЛМА-Пресс», 1999, 926 стр.). «...Одаренко — одаренный. Френкель — „Давай закурим“. Б. Филиппова мало. Грибачева, гонителя и эпигона Пастернака, так много! Чиннова достаточно. Анстей без главного. А. Лебедев вправду данными стихами исчерпан, но они живут. Кс. Некрасова не умрет никогда. Нет лагерного Бокова. Тушнова красива на фото. Дудин — в итоге „аква дис-тилята“. М. Львов — что-то брезжило...» И так почти о каждом из 750 авторов, представленных в антологии.

**Гертруда Стайн, или Американка в Париже.** — «Иностранная литература», 1999, № 7.

В очередной выпуск «Литературного гида» вошли следующие материалы: Клодия Рот Пирпонт, «Мать утраты смыслов. Гертруда Стайн как первооткрывательница литературного модернизма»; Шервуд Андерсон, «Творчество Гертруды Стайн»; Гертруда Стайн, «Тихая Лена» (повесть), «Париж Франция» (фрагмент книги); Джеймс Р. Меллоу, «Зачарованный круг, или Гертруда Стайн и компания» (главы из книги); а также — краткая летопись жизни и творчества Гертруды Стайн.

**Василий Субботин.** По краю земли. Записки старика. — «Урал», Екатеринбург, 1999, № 2, 3, 4, 5.

Воспоминания, автобиографические записки старого писателя.

**Сергей Татевосов.** Красная Шапочка против США. — «Коммерсантъ-Власть». Аналитический еженедельник. 1999, № 30, 3 августа. Электронная версия: <http://www.kommersant.ru>

«Ветхий завет изъят из школьных библиотек в двух десятках штатов (США. — А. В.) из-за наличия в нем „сексуальных и жестоких сцен“. Излишняя жестокость стала причиной запрета в некоторых школах сказок Шарля Перро и братьев Grimm. „Барон Мюнхгаузен“, „Над пропастью во ржи“ и „Ромео и Джульетта“ запрещены из-за того, что „неверно ориентируют молодежь“... Представители афро-американских организаций Америки подсчитали, что на первых 35 страницах приложений Гека Финна слово „ниггер“ употребляется 39 раз. Естественно, многие школы и округа эту книгу запретили».

**Татьяна Толстая.** Архангел. — «Контрапункт». Ежемесячный литературный журнал. Бостон, 1999, № 4.

От автора: «Это — отрывок из романа, а может быть — обрывок, начало без середины и конца. Как человек, привыкший медленно писать короткие тексты, я чувствую себя неловко, отдавая в журнал нечто незаконченное, неприлично молодое, находящееся, так сказать, в становлении...»

См. также ее интересное эссе о ее детских, юношеских взаимоотношениях с русской и иностранной литературой — ответ на анкету «Мировая литература: круг мнений» («Иностранная литература», 1999, № 8).

**Наталья Трауберг.** «Главное в переводе — сделать так, чтобы воздействие твоего текста было равно воздействию оригинала». Предисловие Людмилы Улицкой. Взяла интервью Зоя Светова. — «Неприкосновенный запас». Очерки нравов культурного сообщества. 1999, № 4 (6).

«Мне кажется, что перевод умирает. Но, если нужно, он воскреснет, но очень в малом размере. Большинство же людей будут читать в подлиннике, собственно, повсюду в мире к этому идет. Это не утопия, выучить язык не так уж трудно. Перевод не существовал в Средние века. Человек переписывал, заменив две буквы, и называл это собственным произведением. Или менял 99 процентов текста и называл это переводом. Границы перевода четко определились лишь к XIX веку. Я думаю, что в будущем останутся люди, которые, имея другую профессию, прочтя что-то на иностранном языке, скажут: „Я хочу, чтобы эта книга была по-русски, чтобы она существовала внутри моего языка“. Такое вполне возможно, особенно со стихами».

**Александр Уланов.** Не зеркало, но окно. Современная русская поэзия — предварительные предположения. — «Ex libris НГ», 1999, № 31 (103), август.

Новые имена: Сергей Завьялов, Шамшад Абдуллаев, Мария Максимова, Николай Звягинцев, Галина Ермошина, Станислав Львовский, Ольга Зондберг.

О прозе Ольги Зондберг и Станислава Львовского см. в статье Олега Дарка «Поколение земноводных. Русская проза конца века. Предварительные итоги и продолжение» («Ex libris НГ», 1999, № 22, июнь).

**Павел Флоренский.** Письма 1900 г. (Первый семестр первого курса университета). Публикация Павла В. Флоренского, Юлии О. Флоренской и Василия П. Флоренского. — «Новый Журнал», Нью-Йорк, № 215 (1999).

Поступление в Московский университет, начало самостоятельной — вдали от родителей — жизни. «Дорогой папочка!.. Если мы производим известные действия над рядом величин, то, по общепринятым взглядам, в результате может получиться 0. Даже при бесконечном (повторении) числа действий такой результат возможен. Но мне это кажется не только совершенно непонятным, таинственным, но прямо-таки несправедливым, если хочешь, безнравственным» (из письма от 10 ноября 1900 года).

**Мариэтта Чудакова.** Подвиг честного человека. — «Известия», 1999, № 155, 21 августа.

К 70-летию Вячеслава Вс. Иванова: *стоит родиться в России с умом и талантом!*

**Сергей Чупринин.** Будьте реалистами — требуйте невозможного! Беседу вела Евгения Ульяченко. — «Книжное обозрение», 1999, № 32, 9 августа.

О проекте энциклопедического словаря-справочника «Новая Россия: мир литературы», охватывающего десятки тысяч имен: это будет не «книга для чтения», подобная словарю Казака, а именно справочник, протокольно суховатый, лишенный каких бы то ни было оценок.

**Игорь Шафаревич.** Зачем нам сейчас об этом думать? — «Завтра», 1999, № 29, 20 июля. Электронная версия: <http://www.zavtra.ru>

Против коммунизма, против КПРФ, против фальшивого образа Сталина — «русского патриотического вождя». Газета «Завтра» показывает пример *патриотического плюрализма*.

См. также статью Игоря Шафаревича «Тридцать седьмой год» («День литературы», 1999, № 8 (26), август), в которой автор полемизирует с распространенным мнением, что основным содержанием «37-го года» было истребление так называемой «ленинской гвардии».

**Священник Ярослав Шипов.** Отказываться не вправе. — «Наш современник», 1999, № 1, 4, 5, 6, 7, продолжение следует.

Записки сельского батюшки.

**Василий Шукшин.** «В родной стране, как на чужбине». Публикация Галины Костровой. — «Москва», 1999, № 7.

Из рабочих записей. Заготовки к рассказам («Слезы»: «Жил такой странный человек — плакал от благодарности за всякую мелочь, какую ему сделают. „Шизя” — называли его. Он долго сидел в тюрьме»).

См. также статью Александра Цыганова «Прорваться в будущую Россию» («Литературная Россия», 1999, № 30, 6 августа) о том, что Шукшин (будто бы) умер не своей смертью.

**Е. Эткинд.** Поздние уроки. Читая переписку М. К. Азадовского и Ю. Г. Оксмана (1944 — 1954). — «Вопросы литературы», 1999, № 4, июль — август.

Борьба с «космополитами» на филологическом факультете ЛГУ.

В УХОДЯЩЕМ ГОДУ УМЕРЛИ ПОЭТЫ НИКОЛАЙ ТРЯПКИН, ЕВГЕНИЙ БЛАЖЕЕВСКИЙ, ВЕНИАМИН БЛАЖЕННЫЙ, ИГОРЬ ХОЛИН, ГЕНРИХ САПГИР.

**ХРОНИКА:** учрежден Межрегиональный литературный конкурс имени Нины Искренко («Ex libris НГ», 1999, № 30, август); первым лауреатом новой премии имени Александра Блока стала Л. Б. Либединская — «За благородство» («Ex libris НГ», 1999, № 30, август); роман «Мастер и Маргарита» признан читателями газеты «Речь Посполита» лучшей книгой XX века («Московские новости», 1999, № 30, 10 — 16 августа); в Оренбурге открылся памятник Александру Пушкину и Владимиру Далю («Книжное обозрение», 1999, № 34, 23 августа).

АДРЕСА: Русский ПЕН-Центр: <http://www.penrussia.org>; тексты русских классиков в Публичной электронной библиотеке Евгения Пескина: <http://www.online.ru/sp/eel/russian>; «Ostrovok», открытый Алексеем Нагелем (стихи, проза, песни, новости, дискуссии): <http://www.ostrovok.de>; литературная «Колонна», редактируемая Даниилом Давыдовым: <http://www.postman.ru/~column>; литературный интернет-журнал «Русский переплет»: <http://www.pereplet.ru>; крупнейший российский банк данных по изобразительному искусству: <http://www.artinfo.ru/ru>; все российские и зарубежные музеи: <http://www.museum.ru>; весь Шекспир по-английски: <http://www-tech.mit.edu/Shakesreare>

ПОПРАВКА: в сентябрьском номере журнала на стр. 247 напечатано, что набоковский комментарий к «Евгению Онегину» под редакцией А. Н. Николюкина выпущен издательством «Высшая школа»; следует читать: Издательство НПК «Интелвак».

ДАТА: 6 (18) декабря исполняется 180 лет со дня рождения поэта Якова Петровича Полонского (1819 — 1898).

Составитель Андрей Василевский.

## ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

### *Декабрь*

**10 лет назад** — в № 12 за 1989 год напечатана «Новая проза. (Из черновых записей 70-х годов)» Варлама Шаламова и главы из книги Анатолия Марченко «Мои показания».

**20 лет назад** — в № 12 за 1979 год напечатана «Повесть о Сонечке. (Часть вторая)» Марины Цветаевой.

**30 лет назад** — в № 12 за 1969 год напечатаны повесть Юрия Трифонова «Обмен», повесть Александра Яшина «Сладкий остров» и статья В. Лакшина «„Мудрецы“ Островского — в истории и на сцене».

**35 лет назад** — в № 12 за 1964 год напечатан роман Анатолия Рыбакова «Лето в Сосняках».

**50 лет назад** — в № 12 за 1949 год, посвященном 70-летию И. В. Сталина, напечатана пьеса Всеволода Вишневского «Незабываемый 1919-й».

**65 лет назад** — в № 12 за 1934 год напечатаны приветствия советских писателей к десятилетию «Нового мира» (от Бориса Пастернака: «Поздравляю редакцию с десятилетием журнала. Не верится, что это всего десятилетие, — столь определяющая часть жизни падает на эти годы. Кажется, чуть ли не с первого литературного рождения журнал вел меня, воспитывал и передельывал к лучшему...»).

АЛЕКСАНДР ЯКОБСОН



## РАЗГОВОР О ДЕМОКРАТИИ: ОТ ПРОТАГОРА ДО 19 ДЕКАБРЯ

*Накануне выборов в Государственную Думу РФ нам показалось небесмысленным узнать, какую видится со стороны демократической перспектива России — в свете общих представлений о демократических институтах, их истоках и современных вариантах. Подходящего собеседника мы нашли в лице Александра Якобсона, сына известного литератора, педагога и правозащитника Анатолия Якобсона, в 1973 году эмигрировавшего вместе с семьей в Израиль под давлением репрессивных органов.*

*Александр Якобсон — историк-правовед, политический деятель либерального направления, публицист. Родился в 1959 году в Москве. В 1985 году окончил Иерусалимский университет по специальности история и политические науки. Тема докторской диссертации (1995 год) — избирательная система в республиканском Древнем Риме. Ныне — профессор древней истории Иерусалимского университета. В 1987 — 1992 годах был помощником депутата кнессета от одной из либеральных партий; в 1993 — 1996 годах — политическим советником министра образования Израиля. С одной стороны, автор предлагаемых ниже заметок следит за общественно-политической ситуацией в России как независимый наблюдатель, с другой — необорванная психологическая связь со старой родиной делает его наблюдателем внимательным и заинтересованным.*

*Мы обратились к А. Якобсону с рядом примерных вопросов, способных заинтересовать в настоящий момент нашу общественность. Существуют ли альтернативы современному демократическому государственному устройству? Принимаются ли в нем решения под контролем общества — или скорее закулисно? Не ведет ли разделение властей в государстве такого типа к двоевластию (особенно если дело касается России)? Возможно и следует ли на нынешнем этапе ограничить избирательное право граждан тем или иным цензом с целью повысить качество избираемого депутатского корпуса (такие голоса раздавались в нашей печати)? Каковы преимущества и недостатки президентской и парламентской форм республиканского строя, разных избирательных систем? Какова оптимальная тактика избирателя — западного и российского?*

*Ответное письмо автора содержит разъяснения по некоторым из названных тем.*

**Д**орогие друзья! Я постараюсь ответить на ваши вопросы, используя одновременно оба своих «конька» — античную историю и израильскую политику. Так что если мои ответы будут слишком академичными и оторванными от действительности, можно будет оправдать это тем, что они исходят от кабинетного ученого, а если, наоборот, они будут слишком ангажированными и вульгарно-актуальными, то и это вас удивлять не должно — чего другого можно ожидать от политика?

Как следует относиться к современной демократии западного образца — как к одной из множества существовавших и существующих политических систем или же как к нравственной установке? Думаю, тут есть некий парадокс: система, основанная на свободомыслии и критическом подходе к действительности, превратилась в наше время в своего рода догму. Сказать сегодня «я против демократии» — почти что объявить себя врагом рода человеческого. Политическая система, возникшая в определенное время, в определенной части земного шара, в определенных социальных, культурных и политических условиях, считается сегодня



единственным носителем (в политической сфере) вечных моральных ценностей — свободы и достоинства человеческой личности. Однако очевидно, что свет был не без добрых людей и до возникновения современной демократии западного типа. Почему бы не предположить, что какая-то другая политическая система придет на смену современной демократии без ущерба для общепринятых нравственных принципов? (Позволю себе пользоваться этим и подобными терминами, не вдаваясь в философские и теологические споры и дефиниции.)

Мне кажется, можно определить отношение современной демократии к «вечным ценностям» следующим образом: на нынешней стадии развития общества и общественного сознания (в первую очередь, но отнюдь не только европейского) невозможно отвергать основной принцип демократии — политическое равноправие всех граждан, — не отвергая при этом принцип равного человеческого достоинства всех людей. Сегодня любая попытка отойти от принципа всеобщего и равного избирательного права путем, например, установления имущественного или образовательного ценза (которые в свое время существовали в цивилизованных странах и казались многим разумными и необходимыми) неизбежно натолкнется на эмоциональную реакцию тех, кого такая попытка заденет: «Разве я не человек? Разве я не такой же человек, как вы, — почему же я не имею такого же права голосовать, как и вы?» То есть мы услышали бы некий вариант известного монолога Шейлока из шекспировского «Венецианского купца». Хотя Шейлоку, конечно, не пришло бы в голову, что отсутствие у него права участвовать в политической жизни Венеции попирает его человеческое достоинство. Более того, насколько я представляю себе политическую систему аристократической Венецианской республики, вполне вероятно, что сам Антонио, купец венецианский, не имел права участвовать там в политической жизни. И при этом он, вероятно, не чувствовал себя униженным и оскорбленным; напротив, надо полагать, он был уважаемым и лояльным гражданином. Но сегодня любая попытка лишить какую-либо категорию граждан политического равноправия была бы неизбежно воспринята всем обществом как признак того, что этих лиц, грубо говоря, не считают за людей. А если так, то, очевидно, даже самым суровым критиком современной западной демократии следует с ней примириться — во всяком случае, с ее основными принципами.

Идея универсальности человеческого достоинства и исходной равноценности людей, разумеется, не нова и не является изобретением современной демократии. В европейской традиции эта идея тесно связана с иудео-христианским представлением о человеке, созданном по образу и подобию Божьему. Все люди равны в том смысле, что они равны перед Создателем. Из этого, в принципе (хотя далеко не всегда на практике), делался вывод о некой фундаментальной нравственной равноценности Божьих созданий. Современная демократия распространяет эту равноценность на сферу гражданской и политической жизни; политическое равноправие провозглашается естественным правом человека.

«Мы считаем следующие истины самоочевидными, — гласит американская Декларация независимости, — что все люди созданы равными, что их Создатель наделил их некоторыми неотъемлемыми правами, в числе которых — жизнь, свобода и стремление к счастью; что для того, чтобы обеспечить эти права, учреждаются правительства среди людей, основывающие свою справедливую власть на согласии управляемых». Одна логическая цепочка ведет в этом тексте от равенства всех людей перед Создателем до идеи народного суверенитета как практического выражения принципа свободы и равноправия граждан. Как известно, авторы этой декларации не сделали из нее естественного, казалось бы, вывода о всеобщем и равном избирательном праве (даже для белых мужчин). Одно дело — провозгласить некие принципы, а другое — воплотить их в жизнь. Однако для общества, провозгласившего такие принципы, путь к демократии в ее современном виде представляется естественным. Надо сказать, что идея естественных прав человека, изначально связанная с иудео-христианским взглядом на отношения между человеком и Создателем, прошла в западном мире процесс секуляризации — в Европе гораздо больше, чем в Америке. Религиозный человек может не без основания гордиться тем, что именно религия дает наиболее авторитетный и убедительный ответ на вопрос, почему, собственно, все люди равны и кто дал человеку его есте-

ственные права; нерелигиозный человек, со своей стороны, не преминет отметить, как часто и с каким энтузиазмом эти естественные права попирались и попираются во имя религии.

В принципе, можно спорить о том, насколько правомерно «политизировать» идею нравственной равноценности людей. В свое время, как известно, считалось, что, хотя все созданные по образу и подобию Божию равны перед Создателем, это не противоречит тому, что некоторые из детей Создателя могут держать своих братьев в рабстве. Это мнение можно подтвердить весьма авторитетными цитатами, но маловероятно, что кто-нибудь будет сегодня на нем настаивать. «Я не знаю, что значит какой-то прогресс», — как сказал Поток-богатырь, — но, во всяком случае, очевидно, что некоторые вещи, принятые в прошлом и даже освященные традицией, совершенно неприемлемы для нравственного чувства современного человека — пусть этот человек ни в какой прогресс не верит. Можно оспаривать теоретическую обоснованность равноправия, но трудно отрицать сегодня моральную и эмоциональную неприемлемость неравноправия.

Представление об универсальной ценности человеческой личности было знакомо некоторым античным философским течениям, но принято считать, что афинская демократия — первая известная нам — не связывала себя с этим представлением. Однако есть текст, в котором, как мне кажется, можно проследить такую связь, хотя трудно сказать, насколько этот подход был характерен для сторонников афинской демократии. Речь идет о диалоге Платона «Протагор». Сократ, по обыкновению, выступает в нем выразителем идей самого Платона, который, как известно, был противником демократии, видя в ней власть невежественной толпы. Оппонентом Сократа в диалоге выступает Протагор, знаменитый софист, близкий к правящим кругам афинской демократии (в частности, к Периклу). Спор в диалоге идет, собственно, не о демократии, а о том, можно ли научить человека гражданской добродетели; но по ходу дела говорят вещи, важные для нашей темы.

Сократ: «Я, как и прочие эллины, признаю афинян мудрыми. И вот я вижу, что когда соберемся мы в народное собрание, то если нужно городу что-нибудь делать по части строений, мы призываем зодчих в советники по делам построек, а если по части корабельной, то корабельщиков, и таким же образом во всем прочем, чему, как афиняне думают, можно учиться и учить; если же станет им советовать кто-нибудь другой, кого они не считают мастером, то, хотя бы он был чрезвычайно красив и богат и благороден, его совета все-таки не слушаются, но поднимают смех и шум, пока или сам он, пытаясь говорить, не отступится, ошеломленный, или не стащит и не вытолкает его стража по приказанию пританов. Значит, в делах, которые, как они считают, зависят от умения, афиняне поступают таким образом. Когда же понадобится совещаться о чем-нибудь касательно управления городом, тут всякий, вставши, подает совет, все равно будь то плотник, будь то медник, сапожник, купец, судовладелец, богатый, бедный, благородный, безродный, и никто их не укоряет, как в первом случае, что, ничему не научившись и не имея никакого учителя, такой человек решается все-таки выступить со своим советом; потому что, ясное дело, афиняне считают, что ничему такому обучить нельзя».

Понятно, что за иронической хвалой «мудрым афинянам» стоит отрицательное отношение Платона к афинской демократии и к ее иррациональному механизму принятия политических решений. Протагор отвечает на эти слова Сократа мифом. Когда боги создали людей, Прометей похитил для них огонь и научил их различным «умениям», позволившим им построить цивилизацию, но не смог дать им «умение жить сообща», то есть гражданскую добродетель. Поэтому, «чуть люди собиравшись вместе, так сейчас же начинали обижать друг друга, потому что у них не было умения жить сообща; опять приходилось им расселяться и гибнуть». Заботясь о человеческом роде, Зевс посылает Гермеса, чтобы дать людям «совестливость и правду, чтобы они объединяли их стройным общественным порядком и дружественной связью». Посланец богов спрашивает Зевса, каким образом распределить совестливость и правду между людьми: дать ли ее всем или, как с другими умениями, только мастерам дела? «Всем, — сказал Зевс, — пусть все будут к этому причастны; не бывать государству, если только немногие будут причастны к ним, как бываю причастны к другим знаниям». «Так-то, Сократ, — продолжает Прота-

гор, — и вышло по этой причине, что афиняне, как и все остальные люди, когда речь заходит о плотническом умении или об умении в каком-нибудь другом ремесле, думают, что лишь немногим пристало участвовать в совете; когда же они приступают к совещанию по части доблести гражданской, где все дело в справедливости и благоразумии, тут принимают они, как и следует, совет всякого человека, так как всякому подобает быть причастному этой доблести, а иначе и государствам не быть» («Протагор», перевод Владимира Соловьева — в кн.: Платон. «Избранные диалоги». М., 1965).

Таким образом, Протагор мотивирует право «плотника и сапожника» участвовать на равных в политической жизни тем, что политика — это не профессия, доступная только знатокам. Гражданская доблесть (или добродетель; «арете» по-гречески) — качество, позволяющее человеку быть хорошим гражданином, — заключается в «совестливости и правде» — в том нравственном чувстве, которое отличает, по воле «отца богов и людей», человека как такового от других созданий. Но если так, то никто не вправе лишить «сапожника» политического равноправия — это означало бы отнести к нему как к неполноценному человеку.

Значит ли это, что сапожник должен управлять государством? В демократических Афинах он в значительной мере им управлял. Режим прямой демократии означал, что все важнейшие решения принимаются непосредственно народным собранием. По свидетельству Платона, в «технических» вопросах у народного собрания хватало ума заслушивать мнение специалистов — но окончательное решение оставалось за собранием. Сегодня так не управляют ни одной страной. Даже там, где референдум (современная форма прямой демократии) является существенным элементом политической системы, подавляющее большинство решений, которые в Афинах принимались народом на площади, принимается парламентом, правительством или профессионалами-технократами государственного аппарата. Принято говорить, что прямая демократия, по примеру древнего полиса, технически невозможна в современном государстве с его обширной территорией и большим населением. Но ничего похожего на прямую демократию в афинском стиле нет и в Лихтенштейне или Сан-Марино. Сегодня современная техника связи могла бы позволить в развитых странах превратить всенародный референдум в основной метод принятия важных политических решений — но никакой тенденции к этому не наблюдается. Надо сказать, что референдум прочно вошел в практику современного демократического мира; в частности, во многих странах выработана процедура принятия решения о проведении референдума и формулировки задаваемого гражданам вопроса — с целью избежать грубого манипулирования со стороны власти. Тем не менее представительная демократия сохраняет свои позиции, и референдум нигде не стал основным методом управления государством. Очевидно, что на это есть причины не только технического порядка. Персонифицируя в стиле Протагора современную демократию, можно сказать, что ее отношение к теории демократии, изложенной в рассказанном им мифе, неоднозначно. С одной стороны, современная демократия верит в достоинство человека и его неотъемлемые естественные права, делает из этой веры практический вывод о гражданском и политическом равноправии и реализует эти принципы более последовательно и радикально, чем когда-либо в истории. С другой стороны, она не принимает тезиса о том, что практическое управление государством — это исключительно дело «совестливости и правды», а не знания и умения. Конечно, современные политики, избранные народом, — отнюдь не философы, которые, по мнению Платона, должны (в идеале) управлять государством. Вряд ли Платон, живи он сегодня, признал бы демократического политика таким же знатоком в деле управления государством, как врача — знатоком в деле врачевания. И все же этот политик — не платоновский сапожник и не пресловутая ленинская кухарка. Но хотя он и больший знаток в политике, чем они, ему не следует относиться к ним без должного уважения, ибо именно «сапожник и кухарка» его избирают и переизбирают.

Таким образом, можно сказать, что современная представительная демократия устанавливает на практике некое равновесие между собственно народом и народными представителями, которые неизбежно являются управленческой элитой — хотя и зависимой от общественного мнения. Многие из теоретиков либеральной

демократии прямо указывали, отстаивая представительную систему правления, на заключенный в ней существенный элитарный элемент. Сравнивая современную демократию с античной политической теорией и практикой, можно сказать: то, что мы сегодня называем демократией, во многом скорее ближе к так называемой «смешанной форме государственного строя», чем к прямой демократии афинского типа. Демократический парламент менее демократичен, чем афинское народное собрание. Верховный суд США, состоящий из судей, назначенных пожизненно, имеющий право отменять законы, принятые демократическим парламентом, — такое учреждение невозможно определить, пользуясь греко-римской терминологией, иначе как аристократическое.

Итак, современная демократия сочетает всеобщее и равное избирательное право с существенным элитарным элементом в системе управления. Это надо иметь в виду, обсуждая вопрос о взаимоотношениях избирателей с народными избранниками. Конечно, народ — хозяин; он избирает политика на ограниченный срок и может прогнать его на следующих выборах, если тот его не устраивает. Но народные представители недаром избираются на несколько лет — как правило, на четыре года. Это весьма продолжительный срок, дающий политикам некоторую независимость по отношению к общественному мнению и его колебаниям. Для сравнения: в Афинах и в Риме должностные лица избирались на год. В Афинах народное собрание могло сместить должностное лицо в ходе его каденции; в Риме, как правило, нет, и эта разница справедливо считается одним из признаков большей демократичности Афин. В современной демократии «отзыв» народом своих представителей не практикуется. Более того, президент США или России, избранный на второй срок, знает, что не может быть переизбран, и это придает ему еще большую независимость — хотя он должен быть заинтересован в том, чтобы на следующих выборах победила его партия или его сторонники, и поэтому не может игнорировать общественное мнение. Результаты такой независимости могут быть положительными или отрицательными, но важно понять, что сама эта черта органически присуща представительной демократии.

Поэтому, исходя из принципов современной демократии, можно сказать, что, управляя государством и неся ответственность за его судьбу, политик должен руководствоваться в первую очередь своим пониманием интересов страны, а не последним опросом общественного мнения, — иначе он флюгер, а не государственный деятель. Конечно, любой политик стремится к популярности, но честный политик должен быть готов пожертвовать популярностью ради блага государства. Понятно, что этот аргумент может быть всего лишь предлогом для циничного и корыстного политика, пренебрегающего общественным мнением. Но ведь и противоположный аргумент — насчет того, что нужно следовать во всем воле народа, — может служить оправданием весьма неблагоприятных поступков. Вообще было бы наивно думать, что какой-либо государственный строй может быть более совершенным, чем сама человеческая природа.

Принципиальная проблема возникает, когда благо государства — как политик его искренне понимает — диктует ему шаги, прямо противоречащие его предвыборным обещаниям. К сожалению, нарушение предвыборных обещаний (которые, в погоне за голосами, часто раздаются с большой легкостью) — явление отнюдь не исключительное в демократических странах, и происходит это нередко по мотивам менее возвышенным, чем те, о которых я говорил выше. Мне не хотелось бы здесь теоретизировать по поводу легитимности нарушения предвыборных обещаний. И тем не менее очевидно, что бывают ситуации, в которых такие решения оправданы и необходимы. Едва ли кто-нибудь сомневается сегодня в том, что решение де Голля уйти из Алжира, прекратив колониальную войну, было правильным — хотя оно противоречило его неоднократным заявлениям и обещаниям. Правда, это решение было утверждено референдумом. Однако можно считать, что тот, кто ведет мирные переговоры с противником и заключает с ним соглашение — даже если оно подлежит потом утверждению на референдуме, — в какой-то мере ставит свой народ перед совершившимся фактом: принято думать, что отклонение уже подготовленного мирного соглашения на референдуме маловероятно (возможно,

справедливость этого мнения будет в скором времени проверена в Израиле на обещанном референдуме в случае заключения мирного договора с Сирией).

Переходя к собственно российским проблемам — о которых я имею лишь общее представление, — прежде всего следует сказать, что в нынешних условиях в России президентский режим кажется единственно возможным. Но вовсе не потому, что только президентский режим способен дать стране сильную и стабильную исполнительную власть, так необходимую России. Напротив — парламентский режим в его английском варианте, когда правящая партия имеет, благодаря мажоритарной избирательной системе, абсолютное большинство в парламенте, дает лидеру этой партии, премьер-министру, пока его партия стоит за ним, большую реальную власть, чем та, которой располагает, например, президент США. Из переписки между Рузвельтом и Черчиллем времен Второй мировой войны ясно следует, что, хотя по протоколу первый был главой государства, а второй — всего лишь премьером правительства, на деле Черчилль, стоявший во главе стабильного большинства в палате общин, был гораздо большим хозяином в своем доме, чем Рузвельт, которому приходилось постоянно оглядываться на Конгресс. Однако, имея в виду нынешнюю картину российской многопартийности и характер самих российских партий и партийных блоков, очевидно, что парламентский режим означал бы на деле чехарду разношерстных и крайне нестабильных коалиций (более разношерстных и менее стабильных, чем принято в благоустроенных парламентских государствах с пропорциональной системой выборов и с коалиционным правительством — например, в Германии). Более того — британская система обеспечивает партии, получившей относительное большинство голосов избирателей, абсолютное большинство в парламенте и полный контроль над исполнительной властью<sup>1</sup>. Не знаю, дало бы введение чисто мажоритарной системы выборов (вместо существующей смешанной) такой же результат в России; данные выборов по одномандатным округам до сих пор, насколько мне известно, позволяют в этом сомневаться. Но если и «есть такая партия», которая получила бы «необъятную власть» в результате введения парламентского режима и мажоритарной системы выборов, то это коммунисты — а они, насколько я понимаю, все еще довольно существенно отличаются от английских лейбористов или консерваторов... На это можно возразить, что коммунисты могут провести на выборах своего президента, и тогда все полномочия, вручаемые президенту нынешней конституцией, окажутся в их руках. Но для этого им понадобится абсолютное большинство голосов избирателей, в то время как при парламентском режиме в сочетании с мажоритарной системой (без которой, как мне кажется, эффективный парламентский режим в России немыслим) не исключено, что они могли бы прийти к власти, имея только относительное большинство в народе.

Таким образом, президентской системе правления нет, по-видимому, реальной альтернативы в сегодняшней России. При этом условия конфликты между ветвями власти никого не должны удивлять — просто потому, что эти «ветви» не подчиняются, в отличие от того, что имеет место при парламентском режиме, одной и той же политической воле. В Америке такие конфликты — обыденное явление, особенно когда (как сейчас) одна партия контролирует Конгресс, а другая — Белый дом. Разногласия между Белым домом и Конгрессом нередко приводят к тому, что американская администрация не может вести желательную для нее политику по многим важным вопросам. Однако эти конфликты не приводят к столь тяжким

---

<sup>1</sup> Краткое напоминание. Принцип мажоритарной избирательной системы: один округ — один депутат (тот, кто получил в этом округе хотя бы относительное большинство). При этой системе партия, вышедшая на первое место в большинстве округов страны, получает в парламенте абсолютное большинство мест, для чего, таким образом, ей не требуется набрать половину и более голосов электората. Так, у лейбористов в настоящее время абсолютное большинство в парламенте, хотя за них голосовало менее 50 процентов избирателей. Соответственно британские правительства, как правило, однопартийные, а не коалиционные. При пропорциональной избирательной системе места в парламенте распределяются между партиями пропорционально количеству голосов, отданных за представленные этими партиями списки кандидатов. В сегодняшней России, как известно, принята смешанная избирательная система: половина депутатов — от округов, половина — по партийным спискам.

последствиям, как в России, из-за более развитой политической культуры, более отлаженных конституционных механизмов, и в первую очередь потому, что между основными политическими силами США — как, впрочем, и во всем западном мире — нет сегодня той идеологической пропасти, которая разделяет политиков в России. Итак, возможность противостояния между ветвями власти заложена в самой сути президентского режима, и ее нельзя устранить каким-либо «техническим» конституционным способом. Можно надеяться, при оптимистическом варианте развития событий, на смягчение этих противоречий по мере того, как политическая жизнь России войдет в нормальное русло. Тогда политические компромиссы, неизбежно присущие будням демократии, не будут восприниматься как измена принципам и идеалам.

Теперь — к вопросу о «всевластии президента» в нынешней российской политической системе. Конституция 1993 года действительно дает президенту весьма широкие полномочия, но я не думаю, что здесь есть основания говорить о президентском «всевластии». Сегодня, насколько я понимаю, символом этого «всевластия» служит право президента навязать Думе кандидатуру премьер-министра с помощью угрозы роспуска и досрочных выборов. Отрицательная реакция общественного мнения на то, как пользуется Ельцин этим правом в последнее время, вполне естественна. Однако для сравнения: президент Франции по конституции Пятой республики имеет право распускать парламент по своему усмотрению (хотя не чаще, чем раз в год) — не только в качестве «наказания» за строптивость в вопросе о премьер-министре, но просто средь бела дня, в надежде получить на выборах более удобное политическое большинство. Таким образом, его полномочия в этом вопросе шире полномочий российского президента; причем избирается президент Франции на семь лет. Это, однако, не делает французского президента «всевластным», хотя при основании Пятой республики такие опасения высказывались. Роспуск парламента и досрочные выборы — обоюдоострый меч в руках президента. Идя на этот шаг, он рискует получить враждебное парламентское большинство и в придачу всенародный вотум недоверия, который серьезно ослабит его политические позиции. Нормальная оппозиция в нормальной политической стране не боится досрочных выборов, когда чувствует за собой поддержку общественного мнения. Судя по некоторым комментариям, одной из причин, по которым думское большинство вынуждено утверждать премьеров из опасения роспуска, является тот факт, что различные фракции боятся потерять возможность пользоваться зданием Государственной думы и связанными с ним услугами в ходе предвыборной кампании. Если это так, то это — ненормальная и, следует надеяться, временная ситуация. Ни правые, ни левые партии во Франции не станут голосовать в парламенте за неуютную им кандидатуру премьер-министра по подобным соображениям.

Когда президенту Франции противостоит сплоченное парламентское большинство, имеющее своего кандидата на пост премьер-министра и не боящееся досрочных выборов, премьер-министром неизбежно становится именно этот кандидат. Таким образом, Пятая республика, которую критики называли в свое время суперпрезидентской, на деле функционирует как полупарламентская. При нормальном развитии политической и партийной системы Россия вполне может со временем прийти к такому же результату, даже без изменения нынешней конституции — хотя трудно поверить в это, наблюдая за тем, как назначает и смещает сегодня Ельцин своих премьеров. Та свобода маневра, которой обладает сегодня президент России при назначении и смещении правительства, — результат не только нежелания «левой» оппозиции рисковать досрочными выборами, но и того факта, что само понятие «парламентского большинства» носит в сегодняшней российской политике достаточно условный характер. Отсутствие подлинного парламентского большинства, обладающего единой политической волей и возглавляемого единым лидером, — именно это позволяет президенту назначать и смещать премьер-министров по своему усмотрению; как сказано выше, это те самые условия, которые делают сегодня президентский режим в России неизбежным.

Все это, однако, не означает, что в своем выборе премьера и министров президент ничем не ограничен и может позволить себе руководствоваться личной при-

хотью — даже если последние события производят на общественное мнение именно такое впечатление (дискредитируя в его глазах само понятие президентской системы правления). Правительство должно быть в любом случае таким, чтобы оппозиции было выгоднее согласиться на него, чем превращать борьбу с ним в свой главный козырь в избирательной кампании. Вероятно, что список политиков, которых Ельцин, даже если бы и захотел, не назначит в правительство, достаточно внушительен.

Более того, чтобы управлять страной, любое правительство должно проводить через парламент законы (в первую очередь экономические) и раз в год — государственный бюджет. Тот факт, что современным государством невозможно управлять без постоянной законодательной деятельности, включая принятие бюджета, позволяет современному парламенту оказывать значительное влияние на политику исполнительной власти и косвенным образом на ее состав, независимо от формальных полномочий парламента в сфере формирования и смещения правительства. Исторические корни этого явления достаточно глубоки. Конституция Второй империи Наполеона III была задумана так, чтобы лишить парламент всякого влияния на исполнительную власть. Однако по мере того, как постепенная либерализация режима обеспечила свободу выборов в Законодательное собрание, возникла так называемая «либеральная империя», с явной тенденцией к назначению министров, приемлемых для парламента (и поэтому способных обеспечить парламентское большинство для правительственных законопроектов). Вопреки полуабсолютистской репутации кайзеровской Германии, канцлер, назначаемый и смещаемый кайзером, не мог функционировать, если ему противостояло стабильное большинство в рейхстаге; сам «железный канцлер», Бисмарк, пал в значительной мере из-за такого противостояния. Сегодня объем текущего законодательства, необходимого для управления страной, гораздо больше, чем в XIX веке, и, следовательно, влияние парламента на исполнительную власть сильнее. Если состав парламента — результат свободных выборов и если у исполнительной власти нет возможности издавать законы и проводить бюджет в обход парламента (например, с помощью президентских указов; поэтому возможность судебного контроля над ними так важна), то это создает некий «прожиточный минимум» парламентаризма и дает парламента со временем весьма значительное политическое влияние. В современном мире только фиктивный парламента может быть бессильным. Следует это иметь в виду тем в сегодняшней России, кто относится с пренебрежением и равнодушием к парламентским выборам, считая, что «все равно Дума ничего не решает». Это, по-моему, большая ошибка: результаты парламентских выборов — дело первостепенного политического значения; прямо или косвенно состав Думы будет неизбежно влиять на состав правительства и на всю политику исполнительной власти.

И на парламентских, и на президентских выборах избиратель иногда стоит перед необходимостью выбирать «меньшее из зол» — двух или нескольких. Это — неизбежный недостаток представительной демократии: ни один кандидат, ни одна партия не могут представлять точку зрения всех своих избирателей по всем вопросам на все сто процентов. Наши представители — особенно лидеры крупных политических течений, неизбежно являющихся коалициями различных мнений и интересов, — могут представлять каждого из нас лишь приблизительно, иногда весьма частично. В благополучных западных демократиях избиратель, оказавшись в ситуации, когда ни одна из предлагаемых ему альтернатив не вызывает у него восторга, нередко в день выборов остается дома, полагая, что от того или иного результата голосования не следует ожидать ни особой пользы, ни особого вреда. В менее благополучных демократиях такое решение может быть опасно: в поляризованном обществе наибольшую избирательную активность проявляют, естественно, более крайние — часто антидемократические — элементы; тот, кто воздерживается от голосования, увеличивает их удельный вес. Если зло А явно и существенно хуже, чем зло Б, и при этом очевидно, что А и Б — единственная реальная альтернатива друг другу, тогда тот, кто не голосует за меньшее зло Б (не голосуя вообще или голосуя за заведомо нереального кандидата), прямо увеличивает шансы А победить на выборах. Впрочем, если дело происходит в Новой Зеландии и если самое большое

зло, на которое способен А, — это увеличение налоговой ставки на лишний процент, тогда принципиальному избирателю, может быть, и не стоит идти на гнилые компромиссы для того, чтобы придать своему голосу большую политическую эффективность...

Платон был против демократии, так как считал, что политика — дело знатков, и не верил в способность рядового гражданина быть рациональным в своих политических решениях. Протагор защищал демократию, считая, что политическое решение диктуется в первую очередь нравственным чувством, присущим каждому нормальному человеку. На деле было бы желательно, как для рядового гражданина, так и для политика, сочетать при принятии политических решений нравственное чувство и здравый смысл.

Иерусалим.  
Август 1999.

## МОСКОВСКИЙ ЛИТФОНД/АЛЬФА-БАНК

Экспертная комиссия по подведению итогов конкурса на соискание стипендий Альфа-банка и Московского Литфонда рассмотрела 302 творческие заявки и приняла решение присудить стипендии 15 писателям:

**БЕРНШТЕЙН Инне Максимовне** — перевод с английского романа П. Г. Вудхауза «Не позвать ли нам Дживса?»;

**ВАНХАНЕН Наталье Юрьевне** — перевод с испанского романа Сальватора Дали «Тайные Лики»;

**ВАРЛАМОВУ Алексею Николаевичу** — роман «Купавна»;

**ВИНОГРАДОВУ Игорю Ивановичу** — монография «Горнило сомнений и „Осанна“ Федора Достоевского»;

**ВОЛГИНУ Игорю Леонидовичу** — документальная биография Ф. Достоевского «Пропавший заговор»;

**ВОЛОДАРСКОЙ Людмиле Иосифовне** — перевод с английского романа Филипа Сидни «Аркадия»;

**ВСЕЕВУ Борису Тимофеевичу** — роман-апокриф «Отреченные гимны»;

**КЛИМОНТОВИЧУ Николаю Юрьевичу** — документальный роман «Далее везде»;

**КОВАЛЬДЖИ Кириллу Владимировичу** — книга миниатюр в прозе «Моя мозаика»;

**РОГОВУ Владимиру Владимировичу** — перевод с английского трагедии неизвестного автора XVI века «Арден из Февершема»;

**РОЩИНУ Михаилу Михайловичу** — проза-пьеса «Застава»;

**СИТКО Леониду Кузьмичу** — книга воспоминаний «Бутырская тюрьма 1948 года»;

**СУРОВЦЕВУ Юрию Ивановичу** — публицистическое эссе «Споры о „Русской идее“»;

**ФРЕЙЛИХУ Семену Израилевичу** — книга мемуаров «Заколдованный круг»;

**ХОЛМОГОРОВУ Михаилу Константиновичу** — роман «Баловень судьбы. Эпизоды из жизни Георгия Андреевича Фелицианова (1890 — 1991 гг.)».



## СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ЗА 1999 ГОД



### РОМАНЫ. ПОВЕСТИ. РАССКАЗЫ

**Михаил Ардов.** Вокруг Ордынки. Портреты. V — 88; VI — 112.

**Виктор Астафьев.** Затеси. Новая тетрадь. VIII — 5.

**Георгий Балл.** Лодка. Мистерия. IV — 67.

**Михаил Беленький.** Обсерватория. Уроки ясновидения. III — 123.

**Юрий Буйда.** Рассказы о любви. XI — 86.

**Михаил Бутов.** Свобода. Роман. I — 11; II — 14.

**Светлана Быченко.** Возвращение. Документальные сказки. VII — 103.

**Алексей Варламов.** Ночь славянских фильмов. Рассказы. X — 75.

**Андрей Волос.** Сирийские розы. Повесть. IX — 66.

**Владимир Глоцер.** Марина Дурново. Мой муж Даниил Хармс. X — 98.

**Нина Горланова, Вячеслав Букур.** Постсоветский детектив. Рассказ. X — 70.

**Борис Екимов.** Пиночет. Повесть. IV — 3; Житейские истории. XI — 73.

**Сергей Зальгин.** После инфаркта. Рассказ. IX — 105.

**Фазиль Искандер.** День писателя. Рассказ. IV — 49.

**Милан Кундера.** Обмен мнениями. Маленькая повесть. Перевела с французского Елена Румильяк. XI — 106.

**Ирина Полянская.** Читающая вода. Роман. X — 9; XI — 13.

**Валерий Попов.** Чернильный ангел. Повесть. VII — 8.

**Андрей Савельев.** Ученик Эйзенштейна. Повесть. Предисловие Вл. Новикова. V — 3.

**Игорь Сахновский.** Насущные нужды умерших. Хроника. IX — 5.

**Роман Сенчин.** Алексеев — счастливый человек. Рассказ. V — 66.

**Лоренсо Сильва.** Слабина большевика. Роман. Перевела с испанского Л. Силянская. VII — 115; VIII — 115.

**Ольга Славникова.** Один в зеркале. Роман. XII — 11.

**Алексей Славовский.** День денег. Плутовской роман. VI — 3.

**Александр Солженицын.** Угодило зёрнышко промеж двух жерновов. Очерки изгнания. Часть первая (1974 — 1978). II — 67; Желябугские выселки. Двучастный рассказ. Адлиг Швенкиттен. Односуточная повесть. III — 3; Крохотки. VII — 101.

**Владимир Тучков.** Русская книга военных. I — 81.

**Антон Уткин.** Южный календарь. Рассказы. VIII — 85.

**Дмитрий Шеваров.** Расскажи мне что-нибудь о пароходах. Рассказ. XII — 119.

**Галина Щербакова.** Актриса и милиционер. Повесть. III — 67.

### СТИХИ И ПОЭМЫ

**Елена Аксельрод.** Море сухое. VII — 112.

**Сергей Алиханов.** Мы не нужны тебе, моя страна. XII — 115.

**Максим Амелин.** Веселая наука, или Подлинная повесть о знаменитом Брюсе, переложенная стихами со слов нескольких очевидцев. VI — 141.

**Наталья Аришина.** Это Пушкин в России всегда виноват. IX — 100.

**Татьяна Бек.** Меж звездой и булыжником Пресни. XII — 111.

**Дмитрий Быков.** Пауза. I — 3.

**Константин Ваншенкин.** Сквозь розоватое стекло. VII — 109.

**Нина Горланова.** В детские края. XI — 67.

**Ольга Ермолаева.** Очередной отпуск. III — 60.

**Владимир Захаров.** И звезда ни гугу. II — 63.

**Натан Злотников.** Красновидовские строфы. IX — 103.

**Евгений Карасев.** Отдельные фотографии. V — 80.

**Виктор Коллегорский.** Вон корабль в волнах, смотри. VIII — 106.

**Николай Кононов.** Саратовские страдания. I — 119.

**Владимир Корнилов.** Круговорот. X — 5.

**Андрей Костин.** Знакомый почерк. VIII — 104.

**Эльмира Котляр.** ЦМШ. VII — 93.

**Юрий Кублановский.** Блуждающий зуммер. IV — 44; Сбылись времена. IX — 61.

**Марина Кудимова.** Шитье золотое, слова. X — 67.

**Александр Кушнер.** Начать сначала. II — 3.

**Владимир Леонович.** В четыре руки. III — 63.

**Семен Липкин.** Вспоминаю. I — 77; Стальной трепещет свет. VIII — 3.

**Инна Лиснянская.** В компьютерном окне. II — 9; Область вымысла. X — 94.

**Лариса Миллер.** Сик транзит. III — 120.

**Сергей Надеев.** Легко ли быть непризнанным поэтом. VIII — 102.

**Олеся Николаева.** И разлука поет псалмы. XI — 7.

**Денис Новиков.** Предлог. V — 63.

**Сергей Новиков.** Спектральная вода. IX — 98.

**Вера Павлова.** Логопедия. IV — 64.

**Герман Плисецкий.** Ненаписанные стихотворенья. Публикация Д. Г. Плисецкого. VIII — 79.

**Дмитрий Полищук.** Гиппогриф. VIII — 110.

**Игорь Померанцев.** Зависть к маркшейдерам. I — 122.

**Алексей Пурин.** Адресат. VII — 3.

**Юрий Ряшенцев.** Вороний пророк. III — 56.

**Ольга Сульчинская.** Свиток. VI — 102.

**Александр Тимофеевский.** Дымок спаленной жнивны. XI — 70.

**Елена Ушакова.** Белый след. III — 117.

**Илья Фаликов.** На морском велосипеде. IV — 97.

**Александр Фролов.** Перед прочтением сжечь. V — 59.

**Александр Шаталов.** Город и окрестности. II — 60.

**Алла Марченко.** Фаддей (Тадеуш): суперагент. VII — 183.

**Джеймс Мейвор.** Граф Лев Николаевич Толстой. 1898 — 1910. Вступительная статья, перевод с английского и примечания В. Александрова. XII — 163.

«...Неповторимый в своих сочетаниях момент». Письма А. К. Герцык к родным и друзьям. Вступительная статья, составление, подготовка текста, публикация сотрудника Дома-музея М. И. Цветаевой Татьяны Никитичны Жуковской, примечания Н. А. Богомолова и Т. Н. Жуковской. Послесловие Н. А. Богомолова. V — 156.

«Пошли толки, что деньги московские...». Письма Ильи Эренбурга Михаилу Кольцову 1935 — 1937 годов. Вступительная статья, публикация и комментарии А. И. Рубашкина. Послесловие Юрия Кублановского. III — 164.

«Речь не о книгах, а о жизни...». Переписка Фридриха Ницше с Готфридом Келлером, Георгом Брандесом и Августом Стриндбергом. Перевод с немецкого, вступительная статья и примечания Игоря Эбаноидзе. IV — 130.

**Л. В. Розенталь.** Свидетельские показания любителя стихов начала XX века. **Александр Носов.** Голос из публики. Вместо послесловия. I — 137.

*А. С. Пушкин. 1799 — 1999*

**Сергей Аверинцев.** Гёте и Пушкин (1749 — 1799 — 1999). VI — 189.

**Сергей Бочаров.** «Заклинатель и властелин многообразных стихий». VI — 179.

**Рената Гальцева.** Поэт и царь Давид. VI — 199.

**Ирина Сурат.** «Да приступлю ко смерти смело...». О гибели Пушкина. II — 166.

## ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

**В. Э. Вацуру.** «Видок Фиглярин». Заметки на полях «Писем и записок». VII — 193.

**Игорь Дедков.** «А я говорю вслух: конца света не будет...». Из дневниковых записей 1981 — 1982 годов. Публикация и примечания Т. Ф. Дедковой. IX — 136; XI — 162.

## ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

**А. Солженицын.** С Варламом Шаламовым. IV — 163; Из «Литературной коллекции»: Феликс Светов — «Отверзи ми двери». I — 166; Пантелеймон Романов — рассказы советских лет. VII — 197; Александр Малышкин. X — 180; Иосиф Бродский — избранные стихи. XII — 180.

*А. С. Пушкин. 1799 — 1999*

**Александр Кушнер.** Заметки на полях. VIII — 181.

## ИЗ НАСЛЕДИЯ

**В. В. Розанов.** Апокалиптика русской литературы. Вступительная статья, публикация и комментарии В. Г. Сукача. VII — 145.

## ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

**Марк Костров.** По реке Мсте от Новгорода до Кривого Колена. VIII — 139.

## ВРЕМЕНА И ПРАВЫ

**Лев Айзерман.** Русские классики в стране «новых русских». VII — 158.

**Игорь Андреев.** В джунглях прапамяти. Африканские заметки. III — 151.

**Андрей Виноградов, Дмитрий Шушарин.** Потомки дракона. X — 160.

**Борис Фаликов.** Неоязычество. VIII — 148.

**Татьяна Чередниченко.** Радость (?) выбора (?). I — 125.

ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ.  
ПОЛИТИКА

**Михаил Горелик.** Фотолюбитель из Лицманштадта. XI — 158.

**Андрей Зубов.** Сорок дней или сорок лет? V — 123.

**Юрий Каграманов.** Америка далекая и близкая. XII — 126.

**Александр Неклесса.** Пакс экономикана, или Эпилог истории. Размышления у дверей третьего тысячелетия. IX — 118.

**Владимир Ошеров.** Тинейджеры у власти. XII — 153.

**Валерий Сендеров.** Заклясть судьбу? Злободневность Освальда Шпенглера. XI — 148.

**Юрий Симонов.** Либерализм и христианство. Размышления ученого на пороге XXI века. II — 141.

**Дмитрий Юрьев.** Сияющая бездна. XI — 125.

## ОПЫТЫ

**Сергей Боровиков.** В русском жанре. Над страницами «Войны и мира». IX — 176.

**Михаил Золотоносов, Николай Кононов.** З/К., или Вивисекция. *Ирина Роднянская.* Неединственность смысла; шутка. IX — 163.

**Дмитрий Шушарин.** Пройдя до середины. Главы из книги. VI — 173.

*А. С. Пушкин. 1799 — 1999*

**Дмитрий Шеваров.** Пьеро Белкин. IV — 170.

## ПОЛЕМИКА

**Все про тот же «третий путь».** Александр Носов — Татьяне Чередниченко. Татьяна Чередниченко — Александру Носову. IV — 102.

**Алена Злобина.** Случай Хармса, или Оптический обман. II — 183.

**Михаил Золотоносов.** Книга о «голубом Петербурге» как феномен современной культуры. V — 185.

**Юрий Каграманов.** Черносотенство: прошлое и перспективы. VI — 151.

**Татьяна Касаткина.** Как мы читаем русскую литературу: о сладострастии. VII — 170.

## МИР НАУКИ

**Генетика, общество, биоэтика: Леонид Корочкин.** В лабиринтах генетики; **Ирина Силуянова.** Пародия на бессмертие. IV — 110.

**Владимир Губайловский.** Век информации. VIII — 169.

**Борис Иоффе.** Особо секретное задание. Из истории атомного проекта в СССР. V — 144; VI — 161.

**Николай Курек.** Разрушение психотехники. Послесловие Юрия Кублановского. II — 153.

## ПО ХОДУ ДЕЛА

**Александр Архангельский.** Крыша для элиты. I — 174; Долгое прощание у порога будущего. III — 176; Социальный диагноз: короткая память. V — 192.

## ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

**Сергей Антоненко.** Поколение, застигнутое сумерками. IV — 176.

**Никита Елисеев.** Пятьдесят четыре. Букериада глазами постороннего. I —

178; Мыслить лучше всего в тупике. Кое-что об экзистенциальных мотивах в нашей литературе. XII — 194.

**Марк Липовецкий.** Растратные стратегии, или Метаморфозы «чернухи». XI — 193.

**Вл. Новиков.** Филологический роман. Старый новый жанр на исходе столетия. X — 193.

**Виталий Свинцов.** Достоевский и «отношения между полами». Об одном факте, зафиксированном в «Летописи жизни и творчества Ф. М. Достоевского». — Об интересе Достоевского к феномену нимфофилии. — Об антропологии Достоевского. *Ирина Роднянская.* Между Коном и Достоевским. Реплика Виталию Свинцову. V — 195.

**Светлана Семенова.** Два полюса русского экзистенциального сознания. Проза Георгия Иванова и Владимира Набокова-Сирина. IX — 183.

**Владимир Славецкий.** Поздние «александрийцы». III — 179.

#### *Борьба за стиль*

**Григорий Кружков.** Рубище певца: Мандельштам и Йейтс. VIII — 196.

#### *По ходу текста*

**Ирина Роднянская.** Неподражательная странность. II — 192; Жизнь врасплох. IV — 186; Наши экзорцисты. VI — 202; Этот мир придуман не нами. VIII — 207; И Кушнер стал нам скучен... X — 206; Свято место правее Чубайса? XII — 217.

#### *А. С. Пушкин. 1799 — 1999*

**Татьяна Касаткина.** После литературоведения. III — 186.

### РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

**Станислав Айдиня.** Городской альманах (Александровская слобода. Историко-литературное художественное издание). III — 202.

**Павел Басинский.** Поздние цветы империи (Владимир Шапко. Берегите запретную зонку; Владимир Шапко. Юная жизнь Марки Тюкова. Роман). V — 216.

**Михаил Бутов.** У кого суп жидкий, у кого жемчуг мелкий, или Самый насто-

ящий роман (Вячеслав Репин. Звездная болезнь, или Зрелые годы мизантропа. Роман). VI — 211.

**Дмитрий Быков.** Последняя (Нонна Слепакова. Полоса отчуждения). II — 207; Трогательная книга, или О вреде твердой обложки (Игорь Меламед. В черном раю. Стихотворения, переводы, статьи о русской поэзии). IV — 195; Хорошее место в поисках времени (На невском сквозняке. Современный петербургский рассказ). VI — 216.

**Михаил Горелик.** Заколдованная деревня (Борис Хазанов. Далекое зрелище лесов. Роман). I — 198.

**Священник Алексей Гостев.** Опыт богословской культурологии (О. Николаева. Современная культура и православие). XI — 235.

**Дмитрий Дмитриев.** «Живые портреты» Наталии Бианки (Наталия Бианки. К. Симонов, А. Твардовский в «Новом мире». /Воспоминания/). IX — 216.

**Никита Елисеев.** Лакуны и «антилакуны» (Русские писатели, XX век. Библиографический словарь). VII — 215.

**Евгений Ермолин.** Закладка (Андрей Дмитриев. Закрытая книга. Роман). IX — 206.

**Алена Злобина.** Исчезающий след (Russkaya Klassika. Литературный гид). VII — 212.

**В. К.** О попытках «завершить» Французскую революцию (Франсуа Фюре. Постигание Французской революции). IV — 205.

**Катя Капович.** Живое перо портретиста (Самуил Лурье. Разговоры в пользу мертвых; Самуил Лурье. Некрасов и Смерть. Ч. 1). I — 216.

**Елена Касаткина.** Обреченный разговаривать с людьми (Франц Кафка. Дневники). V — 218; Оттуда моды к нам, и авторы, и музы... (А. Роб-Грийе. Дом свиданий; М. Турнье. Философская сказка; М. Турнье. Элеazar, или Источник и Куст. Жиль и Жанна; П. Киньяр. Записки на табличках Апронении Авици; Р. Барт. Фрагменты речи влюбленного). XI — 225.

**Татьяна Касаткина.** Подростковый период... (Алексей Варламов. Купол. Роман). XI — 211.

**Алексей Колобродов.** Gursky-коктейль: от протокола к карнавалу (Лев Гурс-

кий. Убить президента. Роман; Лев Гурский. Спасти президента. Роман). III — 199.

**Сергей Костырко.** О роковых тайнах женской души (Вера Калашникова. Ностальгия). I — 202.

**Юрий Кублановский.** Неостывшая переписка (Существование ткань сквозная. Борис Пастернак. Переписка с Евгенией Пастернак. Дополненная письмами к Е. Б. Пастернаку и его воспоминаниями). I — 211; «Письма к ближним» — и дальним (М. О. Меньшиков. Выше свободы). V — 224; Утопия геополитического самодержавия (Збигнев Бжезинский. Великая шахматная доска). VII — 227.

**А. В. Лавров.** «Секрет приятного стиля» (М. Кузмин. Дневник 1934 года). V — 221.

**Сергей Ларин.** Язык тоталитаризма (В. Мокиенко, Т. Никитина. Толковый словарь языка Совдепии; Виктор Клемперер. ЛТИ. Язык Третьего рейха. Записная книжка филолога). IV — 200; Утаенный подвиг (А. Паперно. Ленд-лиз. Тихий океан). VI — 220; Судьба «Русского острова» (Русский Харбин. Сборник). XII — 231.

**Борис Любимов.** Воцерковление филологии (В. Н. Топоров. Святость и святые в русской духовной культуре. Т. 1. Первый век христианства на Руси). III — 205.

**С. Мадиевский.** Почему Холокост? (Гуннар Хайнзон. Почему Освенцим?). IX — 219.

**Мария Майофис.** Мемуары «литературного старовера» (Михаил Дмитриев. Главы из воспоминаний моей жизни). VII — 225.

**Алла Марченко.** От чего так легко зарыдать... (Андрей Дмитриев. Поворот реки. Повести и рассказы). I — 194.

**Олеся Николаева.** Творчество или самоутверждение? (Библия: канон и интерпретация). I — 205.

**Валентин Оскоцкий.** Оскал холокоста (В. М. Алексеев. Варшавского гетто больше не существует). III — 208.

**Н. В. Перцов.** Непричесанные мысли о «Непричесанной биографии» (Л. М. Аринштейн. Пушкин. Непричесанная биография. Издание второе, дополненное). XII — 226.

**Дмитрий Полищук.** «Не могу не материться» (Александр Покровский. Бегемот; Александр По-

кровский. «...Расстрелять!». Книга рассказов; Александр Покровский. «...Расстрелять!». Часть вторая и прочие части. Рассказы и повести). XI — 215.

**Мария Ремизова.** Ирония, вернейший друг души (Татьяна Толстая, Наталия Толстая. Сестры). IV — 193; Наше историческое ничтожество? (Игорь Волгин. Колебясь над бездной. Достоевский и императорский дом). VII — 222.

**Ольга Славникова.** Деревенская проза ледникового периода (Василий Белов. Час шестой. Роман; Василий Белов. Дорога на Валаам. Писательская тетрадь; Валентин Распутин. Видение. Вечером. Рассказы; Валентин Распутин. Мой манифест. Нежданно-негаданно. Рассказ; Валентин Распутин. Новая профессия. Рассказ; Ольга Вельдина. Прокляты, но не убиты. Беседа с Валентином Распутиным). II — 198; Существование в единственном числе (Андрей Битов. Неизбежность ненаписанного. Годовые кольца 1956 — 1998 — 1937). VII — 205; Обитаемый остров (Юрий Буйда. Прусская невеста. Рассказы). IX — 212.

**Алексей Смирнов.** Прибавленный свет (Валентин Берестов. Избранные произведения в 2-х томах). III — 194.

**Светлана Чекалова.** Набоков на кафедре, или Рецензия на рецензию (В. В. Набоков. Лекции по европейской литературе; Виктор Ерофеев. Любимый писатель и голый король). XI — 232.

**Дмитрий Шеваров.** «Откровение помыслов» (Майя Кучерская. История одного знакомства). VII — 210; Обстоятельства чтения (Сергей Боровиков. В русском жанре). XI — 220.

**Юлий Шрейдер.** В традициях христианского персонализма (Сергей Николаев. Расконвоированные). I — 220.

**Глеб Шульпяков.** Записки из мертвого замка (Луи-Фердинанд Селин. Из замка в замок). II — 212; Точная рифма к «Онегину» (Владимир Набоков. Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин»; Владимир Набоков. Комментарии к «Евгению Онегину» Александра Пушкина). XI — 227; Пропорция Вайля (Петр Вайль. Гений места). XII — 224.

**Владимир Юзбашев.** Зеркальный террариум (Милорад Павич. Пейзаж, нарисованный чаем). XI — 221.

**Дмитрий Бавильский.** — Игорь Клех. Инцидент с классиком. IV — 210.

**Павел Басинский.** — Русские писатели. 1800 — 1917. Биографический словарь. Т. 4. X — 229.

**Татьяна Давыдова.** — П. Е. Спивковский. Феномен А. И. Солженицына. Новый взгляд. (К 80-летию со дня рождения). XII — 235.

**Михаил Золотоносов.** — С. М. Дубнов. Книга жизни. Воспоминания и размышления. Материалы для истории моего времени. VIII — 229.

**В. К.** — И. И. Веницкий. Нечто о привидениях. Истории о русской литературной мифологии XIX века. II. Марина Могильнер. Мифология «подпольного человека»: радикальный микрокосм в России начала XX века как предмет семиотического анализа. X — 223.

**Елена Касаткина.** — Соломон Волков. Диалоги с Иосифом Бродским. III — 216.

**Татьяна Касаткина.** — Прп. Иустин (Попович). Достоевский о Европе и славянстве. VI — 225.

**Александр Касымов.** — Сергей Самойленко. Стихи. X — 219.

**Мстислав Князев.** — М. Бубер. Проблема человека. XII — 236.

**Алексей Колобродов.** — Олег Михайлов. Пляска на помойке. Роман. X — 217.

**Сергей Костырко.** — Анатолий Азольский. Кровь. Роман. VIII — 218.

**Юрий Кублановский.** — I. Вениамин Блаженный. Стихотворения. II. Евгений Карасев. Бремя безверья. Стихи. III — 212; I. Ярославское восстание. Июль 1918. II. И. А. Тихомиров. Граждане Ярославля. Из записок ярославского старожилы. XI — 240.

**Олег Ларин.** — Н. Осипов. Занимательная ботаническая энциклопедия. VIII — 230.

**Валерий Липневич.** — Светлана Алексиевич. У войны не женское лицо. Последние свидетели; Светлана Алексиевич. Цинковые мальчики. Зачарованные смертью. Чернобыль-

ская молитва. II — 215; Афанасий Мамедов. На круги Хазра. Повесть. IV — 208.

**Алексей Машевский.** — Елена Невзглядова. Звук и смысл. «Urbi». Литературный альманах. Вып. 17. VIII — 224.

**Олеся Николаева.** — Абрам Терц. Кошкин дом. Роман дальнего следования. IV — 212.

**Вл. Новиков.** — Андрей Немзер. Литературное сегодня. О русской прозе. 90-е. II — 216; I. Виктор Кравец. Разговор о Хлебникове. II. С. Е. Бирюков. Теория и практика русского поэтического авангарда. VI — 223.

**Марина Новикова.** — С. И. Пискунова. «Дон Кихот» Сервантеса и жанры испанской прозы XVI — XVII веков. X — 227.

**Елена Ознобкина.** — I. Мартин Хайдеггер. Прологомены к истории понятия времени. II. Я. Э. Голосовкер. Засекреченный секрет. Философская проза. VIII — 226.

**Л. Опульская.** — Сергей Толстой. Осужденный жить. Автобиографическая повесть. III — 218.

**Лиля Панин.** — Владимир Гандельсман. Долгота дня. III — 214.

**Константин Паскаль.** — Катя Капович. Суфлер. Роман в стихах. VIII — 222.

**Олег Рогов.** — Галина Гордеева. Печать. [Стихи 60 — 90-х годов]. X — 221.

**Алексей Смирнов.** — I. Борис Чичибабин. В стихах и прозе; Всеми живому не чужой. Борис Чичибабин в статьях и воспоминаниях. II. Наум Басовский. Свободный стих. Стихотворения и поэмы 1977 — 1997. VIII — 219; В. З. Санников. Русский язык в зеркале языковой игры. X — 226.

## ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

**А. В. Блюм.** За кулисами одного события. VII — 237.

**Генрих Иоффе.** Между Достоевским и Кунаевым. IX — 238.

**Вадим Кожин.** Уточнение позиции. X — 231.

«Несколько личных примечаний...». IV — 226.

**Андрей Симолин.** «Любовь к не вполне осязаемым вещам». X — 233.

**И. Сиротинская.** Александр Солженицын о Варламе Шаламове. IX — 236.  
 «...У вас есть читатель!...». IV — 219.  
 «Этот журнал — моя жизнь, моя радость и боль...». VII — 231.

### ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ

**Станислав Айдинян.** — Ренате Эфферн. Трехглавый орел: русские гости в Баден-Бадене. IX — 229.

**Евгений Добренко.** — Джефри Брукс. Спасибо товарищу Сталину! Советская публичная культура от революции до холодной войны. IX — 233.

**Юрий Каграманов.** А могло бы быть иначе? (Виртуальная история: альтернативы и противофакты). IV — 215.

**Татьяна Николеску.** — I. Джан Пиретто. 1961 год в Москве. II. Александр Блок. Двенадцать. Скифы. Родина. III. Нина Каучишвили. Мать Мария. Путь монахини. IX — 230.

**К. Старосельская.** Без предвзятости... (Эстер Гессен. Дороги, которые мы не выбираем). VIII — 232.

**Ольга Филатова.** — Русский современный писатель в Германии. Справочник. IX — 228.

### БЕСЕДЫ

«Люди столько не живут, сколько я хочу рассказать». С Галиной Щербаковой беседует Михаил Бутов. I — 224.

«Прошлое неозвратно». С Никитой Алексеевичем Струве беседует писатель Вячеслав Репин. III — 220.

### АНКЕТА

«Выражается сильно российский народ!». Отвечают Людмила Улицкая, Галина Щербакова, Михаил Бутов, Елена Невзглодова, Валентин Непомнящий, Валерий Белякович, Вера Павлова. II — 219.

### ВЫБОРЫ-99

**Александр Якобсон.** Разговор о демократии: от Протагора до 19 декабря. XII — 255.

### ИНСТИТУТ «ОТКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО»

**А. Ливергант.** О конкурсе «Пушкинист». VII — 252.

### БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

**Александр Лебедев.** Благотворительность как норма и нормы благотворительности. X — 250.

### ПРЕМИЯ

**Максим Амелин.** Краткая речь в защиту поэзии. IV — 228.

**Александр Кушнер.** Присутствие поэзии в самой жизни. VIII — 236.

**Олег Чухонцев.** «Цель поэзии — поэзия...». VIII — 234.

### «НОВЫЙ МИР» В INTERNET

**Сергей Костырко.** Два года. I — 238.

**О «Свободе» внутри текста.** Интервью с Михаилом Бутовым в Интернете. VIII — 250.

### НЕКРОЛОГ

«И даже если сердце остановится...». Памяти Яна Гольцмана (Галина Корнилова). VI — 227.

Памяти Дмитрия Сергеевича Лихачева (Л. Д. Опульская, Сергей Аверинцев). XII — 239.

### БИБЛИОГРАФИЯ

**Книжная полка.** II, V — 227; VI — 228; I, III, IV — 230; X — 235; VIII — 238; IX — 240; VII — 241; XII — 242; XI — 244.

**Периодика.** II, V — 230; VI — 231; I, III, IV — 232; X — 238; VIII — 241; IX — 243; VII — 244; XII — 245; XI — 247.

### Авторы этого года

Аверинцев С. (VI, XII), Айдинян С. (III, IX), Айзерман Л. (VII), Аксельрод Е. (VII), Александров В. (XII), Алиханов С. (XII), Амелин М. (IV, VI), Андреев И. (III), Антоненко С. (IV), Ардов М. (V — VI), Аришина Н. (IX), Архангельский А. (I, III, V), Астафьев В. (VIII), Бавильский Д. (IV), Балл Г. (IV), Басинский П. (V, X), Бек Т. (XII), Беленький М. (III), Белякович В. (II), Блюм А. (VII), Богомолов Н. (V), Боровиков С. (IX), Бочаров С. (VI), Брандес Г. (IV), Буйда Ю. (XI), Букур В. (X),

- Бутов М. (I, II, VI, VIII), Быков Д. (I, II, IV, VI), Быченко С. (VII), Ваншенкин К. (VII), Варламов А. (X), Василевский А. (I — XII), Вацуро В. (VII), Виноградов А. (X), Волос А. (IX), Гальцева Р. (VI), Герцык А. (V), Глоцер В. (X), Горелик М. (I, XI), Горланова Н. (X, XI), Гостев А. (XI), Губайловский В. (VIII), Давыдова Т. (XII), Дедков И. (IX, XI), Дедкова Т. (IX, XI), Дмитриев Д. (IX), Добренко Е. (IX), Екимов Б. (IV, XI), Елисеев Н. (I, VII, XII), Ермолаева О. (III), Ермолин Е. (IX), Жуковская Т. (V), Залыгин С. (IX), Захаров С. (II), Злобина А. (II, VII), Злотников Н. (IX), Золотоносов М. (V, VIII, IX), Зубов А. (V), Иоффе Б. (V — VI), Иоффе Г. (IX), Искандер Ф. (IV), В. К. (IV, X), Каграманов Ю. (IV, VI, XII), Капович К. (I), Карасев Е. (V), Касаткина Е. (III, V, XI), Касаткина Т. (III, VI, VII, XI), Касымов А. (X), Келлер Г. (IV), Князев М. (XII), Кожин В. (X), Коллегорский В. (VIII), Колобродов А. (III, X), Кононов Н. (I, IX), Корнилов В. (X), Корнилова Г. (VI), Корочкин Л. (IV), Костин А. (VIII), Костров М. (VIII), Костырко С. (I — XII), Котляр Э. (VII), Кружков Г. (VIII), Кублановский Ю. (I — V, VII, IX, XI), Кудимова М. (X), Кундера М. (XI), Курек Н. (II), Кушнер А. (II, VIII), Лавров А. (V), Ларин О. (VIII), Ларин С. (IV, VI, XII), Лебедев А. (X), Леонович В. (III), Ливергант А. (VII), Липкин С. (I, VIII), Липневич В. (II, IV), Липовецкий М. (XI), Лиснянская И. (II, X), Любимов Б. (III), Мадиевский С. (IX), Майофис М. (VII), Марченко А. (I, VII), Машевский А. (VIII), Мейвор Д. (XII), Миллер Л. (III), Надеев С. (VIII), Невзглядова Е. (II), Неклесса А. (IX), Непомнящий В. (II), Николаева О. (I, IV, XI), Николеску Т. (IX), Ницше Ф. (IV), Новиков В. (II, V, VI, X), Новиков Д. (V), Новиков С. (IX), Новикова М. (X), Носов А. (I, IV), Ознобкина Е. (VIII), Опульская Л. (III, XII), Оскоцкий В. (III), Ошеров В. (XII), Павлова В. (II, IV), Панн Л. (III), Паскаль К. (VIII), Перцов Н. (XII), Плисецкий Г. (VIII), Плисецкий Д. (VIII), Полищук Д. (VIII, XI), Полянская И. (X — XI), Померанцев И. (I), Попов В. (VII), Пурин А. (VII), Ремизова М. (IV, VII), Репин В. (III), Рогов О. (X), Роднянская И. (II, IV — VI, VIII — X, XII), Розанов В. (VII), Розенталь Л. (I), Рубашкин А. (III), Румильяк Е. (XI), Ряшенцев Ю. (III), Савельев А. (V), Сахновский И. (IX), Свинцов В. (V), Семенова С. (IX), Сендеров В. (XI), Сенчин Р. (V), Силуянова И. (IV), Сильва Л. (VII — VIII), Симолин А. (X), Симонов Ю. (II), Сириянская Л. (VII — VIII), Сиротинская И. (IX), Славецкий В. (III), Славникова О. (II, VII, IX, XII), Слаповский А. (VI), Смирнов А. (III, VIII, X), Солженицын А. (I — IV, VII, X, XII), Старосельская К. (VIII), Стриндберг А. (IV), Струве Н. (III), Сукач В. (VII), Сульчинская О. (VI), Сурат И. (II), Тимофеевский А. (XI), Тучков В. (I), Улицкая Л. (II), Уткин А. (VIII), Ушакова Е. (III), Фаликов Б. (VIII), Фаликов И. (IV), Филатова О. (IX), Фролов А. (V), Чекалова С. (XI), Чередниченко Т. (I, IV), Чухонцев О. (VIII), Шаталов А. (II), Шеваров Д. (IV, VII, XI, XII), Шрейдер Ю. (I), Шульпяков Г. (II, XI, XII), Шушарин Д. (VI, X), Щербакова Г. (I — III), Эбаноидзе И. (IV), Эренбург И. (III), Юзбашев В. (XI), Юрьев Д. (XI), Якобсон А. (XII).



## SUMMARY



The Olga Slavnikova's novel «The Only One in the Mirror» and a story by Dmitry Shevarov «Tell Me Anything about Ships» are published in the Issue 12.

The poetry is represented by new poems, written by Tatyana Beck and Sergey Alikhanov.

The section «Philosophy. History. Politics» is dedicated to the nowadays life in the USA. Here you can read the article «The Far and Close America» by a well-known culture researcher Yury Kagramanov and also find the Yury Osheroev's article «Teenagers in Power».

Under the heading «Close Remote Past» the Canadian professor James Mavor's memoirs about Lev Tolstoy are published, translated from English.

Aleksander Solzhenitsyn goes on with his «Literary Collection», publishing his sketches about the Iosif Brodsky's poems.

The literary critique is represented by the Nikita Eliseev's article «It Is Better to Think in the Blind Alley». Irina Rodnyanskaya is responsible for the heading «Along the Text Lines».

The article of the historian Alexander Yakobson «Conversation about Democracy: from Protogor to the 19-th of December» in Issue 12 is specially dedicated to the State Duma elections.



**Рукописи не рецензируются и не возвращаются.**

**Редакция журнала «Новый мир» не имеет никакого отношения к деятельности одноименных компаний в Москве и за ее пределами.**

Общественный совет: С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, С. Г. Бочаров, Д. А. Гранин, Б. П. Екимов, Ф. А. Искандер, Ю. М. Каграманов, А. А. Ким, А. С. Кушнер, Д. С. Лихачев, Б. Н. Любимов, А. М. Марченко, В. С. Непомнящий, П. А. Николаев, Т. В. Чередниченко, М. О. Чудакова

Главный редактор **А. В. Василевский**

Редакционная коллегия: **М. Е. Борщевская**, **М. В. Бутов** (ответственный секретарь), **Р. Т. Киреев**, **С. П. Костырко** (редактор электронной версии журнала),

**Ю. М. Кублановский**, **С. И. Ларин**, **О. И. Новикова**, **А. А. Носов**,

**И. Б. Роднянская** (зам. главного редактора), **О. Г. Чухонцев** (зам. главного редактора)

Корректоры **Н. Н. Замятина**, **Т. И. Филиппова**

Редактор-библиограф **А. И. Фрумкина**

Компьютерная верстка — **И. Н. Колесникова**

Компьютерный набор — **Т. В. Дорофеева**

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2.

Телефоны: главный редактор — 209-57-02, ответственный секретарь — 209-91-81,

отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88,

отдел публицистики — 229-25-83, историко-архивный отдел — 209-12-50,

для справок, продажа журналов — 200-08-29.

Факс: 200-08-29. Электронная почта: nmir@aha.ru или seva@mail.cnt.ru

Электронная версия журнала: <http://www.infoart.ru/magazine>

Свидетельство Государственного комитета Российской Федерации по печати № 138 от 9 января 1998 г.

Учредитель и издатель — АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“».

Сдано в набор 20.08.99 г. Подписано к печати 26.10.99 г. Формат бумаги 70x108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бумага кн.-журн.

Высокая печать. Объем 17,0 п. л., 23,8 усл. печ. л., 28,7 уч.-изд. л.

Тираж 14 215 экз. Зак. 5650. Цена договорная.

Отпечатано в Полиграфическом производственном объединении «Известия»

Управления делами Президента Российской Федерации.

103798. Москва. Пушкинская пл., 5

**«НОВОМУ МИРУ» ИСПОЛНЯЕТСЯ 75 ЛЕТ!  
В 2000 ГОДУ ВЫЙДЕТ В СВЕТ 900-Й НОМЕР ЖУРНАЛА.  
В 2000 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 90 ЛЕТ  
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. Т. ТВАРДОВСКОГО**

**Уважаемые читатели!**

В декабрьском номере «Нового мира» за прошлый год было напечатано обращение к читателям с просьбой письменно ответить на ряд интересующих нас вопросов.

И сейчас нам хотелось бы вновь предложить вам высказаться, каким, по вашему мнению, был наш журнал в уходящем году.

С какого года вы читаете наш журнал? Каким образом получаете «Новый мир»: по подписке, берете в библиотеке, покупаете в розницу, берете у знакомых?

Какие новомирские публикации 1999 года вам запомнились? Почему? Каких авторов, не печатающихся пока в нашем журнале, вы хотели бы видеть на его страницах?

Считаете ли вы оптимальным нынешнее соотношение между художественной литературой, актуальной публицистикой, историко-архивными материалами и литературной критикой?

До какой степени текущая политика должна отражаться на страницах «Нового мира» или журналу следует стать чисто литературным органом, оставив злобу дня другим, более оперативным средствам массовой информации?

Считаете ли вы достаточным разнообразие точек зрения, представленных у нас? Следует ли чаще передавать слово нашим оппонентам?

Нравится ли вам традиционное полиграфическое оформление журнала или хочется увидеть его в новом обличье?

Ваши мнения, замечания и предложения очень важны для нас. Наиболее интересные письма будут опубликованы.

Пишите нам по адресу: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путьковский переулок, 1/2, Редакция журнала «Новый мир»; или по электронной почте [nmir@aha.ru](mailto:nmir@aha.ru) или [seva@mail.cnt.ru](mailto:seva@mail.cnt.ru). Не забудьте указать ваш возраст, образование, место жительства, профессию.

Редколлегия журнала «Новый мир».